

Николай Зубовский



Николай Зубовский

ЦВЕЛА
ЗЕМЛЯНИКА



Николай Зукoвскiй



Николай Тухачевский

ЦВЕЛА ЗЕМЛЯНИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1970

*К 25-летию победы над фашистской
Германией*

ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

В этой вступительной статье к сборнику военных произведений Николая Корнеевича Чуковского вы не найдете углубленного исследования его творчества. Нет в ней и того, что составляет содержание биографических очерков — рассказа о жизни писателя.

Нельзя счесть ее и воспоминаниями о нем: слишком мало судьба отвела мне времени на знакомство и дружбу с Николаем Корнеевичем.

Цель моя одна. Мне хочется просто сказать все, что я думаю о нем — прекрасном мастере слова и удивительном человеке.

Многие из тех, кто прочтет этот сборник, узнают из этого чтения, каким был Чуковский-литератор. Мне хочется, чтобы, хотя бы с моих слов, они почувствовали также, что это был за человек.

Потому что главное, что можно сказать про него, — это что в нем обе эти составные части, писатель и человек, были слиты в нераздельном единстве. Писательство определяло многие черты его человеческой личности, человечность составляла стержень и основу того, что и как он писал.

Каждый, кто знал Николая Корнеевича близко, подтвердит, что это было так.

С осени второго года войны и по середину лета года третьего мы с ним жили и работали бок о бок. Немного, конечно; счет нашей дружбе — на месяцы. Но кто определит высокий коэффициент духовной отдачи военных месяцев и недель?

Одно время мы жили в большой светлой комнате опергруппы Вишневого в Пубалте, потом — то в номере тогда нацело «оморяченной» «Астории», то, наконец, в хитроумными способами полученной нами во временное пользование маленькой квартирке на Песочной, на улице Попова.

Однако все это координаты второстепенные. Главной координатой было: блокада — Ленинград. Ею определялось все.

В комнате опергруппы мы с Чуковским обитали чаще всего вдвоем.

За ширмой у двери было, правда, отделение шофера и ординарца В. В. Вишневого, Евгения Ивановича Смирнова, но этот приятнейший и веселейший из современных моторизованных Лепорелло обычно либо ездил со своим шефом, либо же мотался неведомо где под предлогом вечных поисков «запчастей» и «горючего».

Бывая дома, он богатырски похрапывал на своей флотской коечке и нам ничем и ни в чем не мешал; при нем мы работали так же, как и без него: ежедневно и ежечасно.

Удивительней было то, что и друг другу мы оба никак не мешали. Мы наловчились действовать так, как если бы между нами существовала совершенно особенная разборная или прозрачная, но в то же время звуко- и светонепроницаемая стенка. Она воздвигалась и исчезала только по взаимному нашему желанию. Если мы хотели, наши жизни и занятия не пересекались: он был сам по себе, я — сам по себе. Но стоило захотеть, и наши два «я» мгновенно превращались в «мы». И конечно, мы не были бы писателями, если бы упустили такую возможность, — мы неустанно наблюдали друг друга. Так, боковым зрением, искоска... Ну еще бы! Впервые в жизни на долю нам обоим выпала редчайшая прелесть: «видеть, как пишет писатель». Мы не могли пренебречь ею.

С первых же дней совместной жизни то, как он писал, поразило меня. Потому что я никогда с такой манерой работать не сталкивался...

Николаю Чуковскому для работы не нужен был ни письменный стол, как, скажем, Тургеневу или Лескову, ни высокая конторка, как Хемингуэю. Он нуждался в одном: в крошечном клочке горизонтальной поверхности, ну хоть в половине подоконника, чтобы уместить на нем два-три листка бумаги. Любого формата, любого качества.

Зато ему, кроме этого, была нужна комната. Вся комната. Чем больше, тем лучше. Чем пустее, тем удобнее.

Работая, он неустанно и свободно двигался по ней. Он ходил взад и вперед, от окон к смировским ширмам, преимущественно по диагонали, но ходил так, как если бы на полу была начерчена точная граница между его и моим треугольником жилплощади.

Никакой такой линии раздела владений, конечно, не существовало, но он никогда не переступал через нее. И в то же время совершенно не обращал на меня никакого внимания:

Лицо его на ходу непрерывно менялось, походка тоже. Он перемещался то задумчивым шагом, то короткими бросками. Иногда он негромко, но выразительно похлопывал чему-то в ладоши. Иногда глуховато подборматывал себе под нос. Иногда загадочно и сдержанно усмехался...

Случалось, его красивое лицо вдруг выражало нечто вроде растерянности или недоумения, вызванных какой-то внутренней неожиданностью. Он внезапно останавливался на полушаге и замирал, словно бы не решаясь опустить вторую ногу на пол, как породистый сеттер на стойке... Потом выражение его менялось: он тряс отрицательно головой, с пренебрежением (бывало и с отвращением) отмахивался от чего-то незримого и продолжал путь с того самого полушага.

А в другой раз прямо с этой своей стойки, как сомнамбула, он крадучись подходил к столу (возможно, идеалом его был и впрямь кусок подоконника, но, на худой конец, он удовлетворялся и несколькими дециметрами на углу стола) и, не садясь на стул, стоя, низко склонившись над столом, писал. И ТТ — оружие индивидуальной обороны, — подвешенный под

кителем к флотскому ремню, тяжелый в своей кожаной кобуре, постукивал при этом по его флотским офицерским брюкам...

Чернил и перьев Чуковскому для работы тоже не требовалось. На столе на самом краешке, скупое очищенном от посторонних предметов, возле листков бумаги, выданных из каких-то разносных или бухгалтерских книг, лежал один, иногда два карандашных «окурка» длиной в полпальца, если не менее. Ими он и писал. И держал где-то в тайниках — может быть, в ящиках стола, может быть, в недрах чемодана или полевой сумки — немалый запас таких огрызков. Он дорожил ими: иногда извлекал их все сразу, раскладывал по столу, нахмурясь, разглядывал, отбирал наилучшие, отсортировывал непригодные, но заботливо прятал обратно все. Ни разу не увидел я у него ни одного целого карандаша, ну хоть бы в качестве полуфабриката, заготовки...

Чтобы не возникло недоразумения, оговорюсь: я ведь тоже не сидел в это время, наострив уши и вперив глаза в Николая Корнеевича. Я тоже работал, но по-своему. У меня была тяжелая, неуклюжая, но верная трофейная машинка, описанная и увековеченная Николаем Корнеевичем в одном из его мемуарных отрывков. «Мерседес» эта грохотала так, что, случалось, заглушала даже шум обстрела или тьяканье зениток во время тревоги, как бы выполняя функции некоторой «обратной звукомаскировки».

Я, в свою очередь, приучился вести себя так, как если бы, кроме меня, никого в помещении не было. Но время от времени тем самым боковым зрением я видел его, боковым слухом слышал его передвижения, и, странным образом, эти звуковые и световые впечатления не только не мешали мне, но как-то удивительно способствовали работе... Как, впрочем, и аппетитный, зевоту наводящий храп Жени Смирнова за ширмочками, материя которых, бывало, даже парусила и раздувалась под воздействием титанического шоферского дыхания.

Стоило, однако, в нашу комнату войти кому-нибудь постороннему, как мгновенно возникали «помехи». Тотчас же мы оба, иной раз с досадой, иногда — ленив все-таки человек — с облегчением (не от нас

зависит перерыв), прекращали свои занятия и уже не делали в тот день никаких попыток вернуться к ним.

Так продолжалось из месяца в месяц.

Поработав всласть за пубалтовской желтой стеной, на наружной штукатурке которой внизу была выведена всем известная тогда формула: «Эта сторона наиболее опасна во время обстрела!», мы начинали все более откровенно поглядывать друг на друга и, уловив, наконец, что «делу — время» для обоих кончается и наступает «потехе — час», потягивались, посмеивались, подшучивали друг над другом, — ох, эти ядовитые и вежливые эпиграммы Коли Чуковского! — и откладывали свое писательство в недолгий ящик. И начинались уже чисто человеческие (кто знает, может быть, они будут уже завтра укладываться и в писанные строки?) разговоры. Длинные, бывало на сутки, всеохватывающие, нужные обоим нам...

Так мы действовали и в «Астории» и на Песочной. И все время, присматриваясь к этому моему приятнейшему «партнеру» (не нахожу другого слова), я думал: вижу-то ведь я все-таки лишь внешние черты его творческой работы. А что скрывается за ними? Как претворяется в литературу весь этот матерьял? Все, что добывается во время поездок в части, что возникает из наблюдений над жизнью заблокированного города в ее трагическом и величавом целом, из замеченного, подсмотренного и подслушанного на лету в кают-компании, в словах того же умного и «себе на уме» Жени Смирнова, в разговорах с Вишневым, Азаровым, Кроном, с пубалтовцами, с приезжающими с фронта и с тыловых аэродромов летчиками, с которыми у Чуковского уже сложились и продолжали складываться отличные, теплые, с одной стороны, почти родственные, а с другой — совершенно воинские, основанные на взаимном доверии, уважительные отношения, — вот этого я совершенно не знаю.

Я понимал, что проникнуть в эту глубинную лабораторию творчества может помочь только чудо. И случилось так, что — не тогда, много позже, уже после окончания войны — такое чудо свершилось. Мне открылась возможность — пусть на один миг, пусть лишь краешком глаза — заглянуть в эту алхи-

мическую реторту мастерства. На один миг — значит, без права судить обо всем уверенно, без права на безапелляционные выводы... Только осторожно. Только неустанно думая о возможных ошибках понимания...

В мае тысяча девятьсот сорок пятого года я до зубной боли завидовал Чуковскому: ему удалось получить командировку в только что капитулировавшую Германию, в самый Берлин. Я полгода назад побывал в Румынии, Болгарии, на Балканах в самый момент их освобождения. И теперь мое начальство слышать не хотело о втором выезде в какую-нибудь даль.

А Николай Корнеевич съездил и вернулся. И при первой встрече он, разумеется, счел необходимым рассказать мне все самое удивительное, что ему пришлось там увидеть и запомнить. Это удивительное он обнаружил не только в стратегическом феномене победы, не только в величии и торжестве огромного исторического события, которое ему выпало на счастливую долю наблюдать собственными глазами — наблюдать Берлин после безоговорочной капитуляции и русского солдата у дверей Имперской канцелярии. Прежде всего он заметил и поразился там чисто человеческим отношениям, круто, резко, как на сверхконтрастном снимке, складывавшимся в тот момент, когда девятый вал истории только-только убегает в глубь моря с омытого им берега. Поразился сложности жизни человеческих душ «в полосе приобая»...

Он рассказал мне, как еще в поезде, уносившем его в разгромленную гитлеровскую Германию, он познакомился с едущим туда же лейтенантом, украинцем, огромного роста и с детской простодушностью. Как они вдвоем добрались до знаменитого Кюстринского моста — единственной переправы через Одер. Как ночевали там в бараке коменданта переправы. Как этот комендант был озабочен явлением почти стихийной силы и масштаба: только что закончилась эвакуация немецкого населения с исконно польских и теперь ставших по-настоящему польскими земель на правом берегу пограничной реки. На этой стороне немцев уже не осталось. На том берегу скопилась и

все еще не могла рассосаться огромная пробка, тысячи этих «беженцев».

Тут, в комендатуре, предстало перед ними странное и жалкое существо — молодая женщина, немка, в клеенчатом плаще с капюшоном, в разбитых тапочках на худых ногах... Она пришла сюда пешком из Берлина. Она рвалась за мост: она была убеждена, что там остались ее старики родители; одни, сами они не могли тронуться с места... Работники комендатуры по-человечески сочувствовали ей, но пропустить ее на этот берег не могли. Да и зачем: ни одного немца по эту сторону уже не осталось. Ни одного...

В это время действовало распоряжение: в армейские машины беженцев, бредущих на запад, не брать. Это было естественно: у военного транспорта свои важнейшие задачи, своя ограниченная подъемная сила...

Но — я помню выражение лица Николая Корнеевича, когда он рассказывал мне об этом, — почти все грузовики, движущиеся туда, были перегружены женщинами, старцами, детьми... Сердце советских водителей не выдерживало и они нарушали распоряжение. А ведь каждый из них помнил сорок первый, сорок второй годы, наши тыловые дороги...

Случилось так, что за мостом та молодая немка в своих жалких тапках на запыленных голенастых ногах снова попала навстречу двум русским. Работница какой-то берлинской торговой фирмы, она говорила по-английски, а этот язык Николай Корнеевич знал великолепно. Почти насильно немку посадили в кабину машины, в кузове которой они ехали сами. И жизнь осуществила на их глазах сюжетный ход, придумать которого нельзя.

Через несколько километров пути из кабины раздался истерический вопль: «Мутта!» На краю дорожного кювета, сгорбленная, босая, сидела старуха. Ее мать. Умершего в пути мужа она оставила за Одером. Дальше идти не было сил. Оставалось умереть тут, на этой канаве...

Старую немку с детской коляской, набитой каким-то несчастным барахлом, тоже погрузили в машину.

«А что сделаешь, товарищ старший лейтенант? Люди же, не лягухи хладнокровные...» — пожав плечами, пробормотал шофер...

Николай Корнеевич мне много рассказывал тогда остро наблюденных, точно зафиксированных литературской тренированной памятью «жизненных историй», возникавших одна за другой на их пути. Все они, как выжженные, перешли и в мою память, чтобы навсегда сохраниться там; такой он был рассказчик. И, слушая это, я все время думал: «Писатель, видевший такое, не может не написать о нем. Так вот, что же сделает, как поступит он со своим огромным матерьялом? Как отработает он его, как пропустит сквозь творческую веялку, через центрифугу своего вкуса, воображения, мировоззрения своего? Узнаю ли я об этом?»

С того дня прошло много лет, два десятилетия... Ничего не зная о ее содержании, я взял в руки повесть Чуковского «Последняя командировка»...

Прочтите ее, она входит в этот сборник.

Старший лейтенант Нечаев в первые недели мира едет в Берлин. На первых страницах повести он знакомится в вагоне с огромным, неуклюжим лейтенантом-украинцем...

Я буквально вздрогнул. Не вчитываясь в книгу, я начал торопливо листать ее. И вот — Кюстринский мост. И вот измученная молодая женщина в дождевике с капюшоном... «Майне мутта...» — настаивает она и упрямо рвется за мост, на тот берег...

Я понял, какая большая удача выпала на мою долю.

Я вернулся к самому началу повести. Совсем другими глазами я перечитал ее начало. Не останавливаясь, я буквально «помчался» по ней дальше. Это было естественно: все в повести было умно, тонко, очень увлекательно, очень сюжетно заострено. Быстро я дочитал до конца и задумался.

Да, это было то же и не то. Стало несомненно: этот писатель строит свои произведения не на чистой творческой интуиции, не на богатом своем воображении. Он отправляется от реально пережитого, от своеглазно увиденного, от того, что он по-настоящему узнал и за достоверность чего может поручиться.

Все это так.

Но он отнюдь не передает читателю в необработанном виде накопленное сырье даже самых живых наблюдений. Это не фотография. Он глубоко и проникательно вынашивает виденное в себе. Он препарирует его, отправляясь и от личного своего и от более широкого — общенародного — анализа собранных фактов. Не подправляя эти факты ради их большей стройности, занимательности, убедительности, но группируя их так, чтобы за ними, как их тень, возникло нечто большее, чем они сами: то, что обычно мы именуем типическим.

Так биолог, рассматривающий на предметном стеклышке микроскопа мир крошечных живых существ, не ограничивается пассивным наблюдением. Он пускает под стеклышко каплю органической краски, и очертания этих одноклеточных приобретают пластичность, четкость, выразительность. Одни принимают краситель, другие нет. Одни выступают вперед, другие тушуются. И в этой, казалось бы, искусственной расцветке выражается настоящая правда их существования. Но он никогда ничего не меняет в их сущности.

В устном рассказе Николая Чуковского был психологически очень любопытный образ — неглупая, ни в чем активно не виноватая женщина-немка, глубоко страдающая, самоотверженно борющаяся, чтобы помочь своим близким, трогательно радующаяся при встрече с матерью, пассивно, но искренне сознающая великую беду и большую ответственность своего народа за свершившееся и свершенное им.

В повести этот образ уступил место совершенно другому. Женщина осталась вроде как и той же самой. Но душа этой немки тяжко пригнетена — можно сказать, раздавлена — годами фашизма, десятилетием или двумя жизни и формирования в капиталистическом мире, на службе у хозяина. В книге она не ищет родителей, она только прикрывается этим доводом, чтобы проникнуть за роковую черту. За линией границы, там, в Кюстрине, осталась модель прибора, сконструированного фирмой, в которой она работала. Хозяин фирмы, гоподин Херберт Борманн, поручил ей с риском для жизни («для

моей жизни, натюрлих, разумеется!») пробраться за новую линию границы, за Одер. Там, в Кюстрине, осталась новая марка арифмометра, на которой фирма сможет когда-нибудь недурно заработать.

И она пошла? Что же она — фанатичка-фашистка? Нисколько. Хотя, конечно, много лет она привычно вскидывала руку, выкрикивая «Хайль Гитле-э-э!». «Natürlich! Естественно! Жить-то надо».

Там, в живом устном рассказе, было одно, тут, в повести, отсеялось, оттряслось, отстоялось, как на обогатительной фабрике, добавилось нечто более глубокое, обдуманное, иначе понятое — другое.

И в то же время за образом «немки из повести» автор позволяет все время тому, кто знает ее историю, и тому, кто ее не знает, почувствовать как бы просвечивающие черты некоего первоначального наброска, как бы то, что художники называют «подмалевком», — тот, первый образ «немки из жизни»...

Тяжелая, болезненная перестройка идет в душе этого исковерканного жизнью третьего рейха человека. Женщина и меняется в душе, и боится перемениться. Она и хочет поверить в то неправдоподобное, в то совершенно для нее новое, что принесли сюда, в Берлин, и Советская Армия и этот вот старший лейтенант Нечаев, и не может поверить им. Постепенно, под влиянием дополнительного обстоятельства, под влиянием личного чувства, которое еще невозможно назвать ни любовью, ни даже влюбленностью, начинает возникать во фрейлейн Фенске другой человек... Но именно только начинает, чуть брезжа...

И именно поэтому в такую перемену веришь. Не в мгновенную и элементарно простую, по мановению волшебного жезла — в трудную, робкую, неуверенную и далеко еще не завершенную к концу книги перемену. В такую, какими только и бывают подлинные перестройки душ в реальной жизни.

Повесть достоверна от первого слова до последнего. Она стала такой потому, что «человек Н. К. Чуковский» положил в ее основу то, что он увидел, услышал, ощупал сам в Берлине сорок пятого года. Своими руками, своими ушами, своими глазами. Но в такой же степени еще и потому, что он это виденное, слышанное, испытанное на все пять чувств пере-

осмыслил и переоценил с позиций не просто человека, а писателя. Человека мыслящего. Мыслящего воина. Мыслящего вчерашнего блокадника. Мыслящего советского гражданина...

Пожалуй, я написал сейчас ключевое слово, без которого нельзя понять творчество Н. К. Чуковского: его литературный мир населяют мыслящие люди.

Он сам на протяжении всей жизни своей был образцовым «мыслящим человеком», и, несомненно, именно потому почти в каждом его произведении центральное место занимает именно такой мыслящий человек. Далеко не всегда (хотя и нередко) это интеллигент по профессии и образованию: квалифицированный историк Нечаев из «Последней командировки», инженер-полковник Корниенко, журналист Соколовский, строитель Дмитриев из рассказа «Суд». У Дмитриева, впрочем, нет в кармане диплома об окончании высшей школы. Но тот, кто, не имея диплома, может говорить о любящей женщине такими словами: «Я... увидел ее лицо... Такое женское, такое человеческое лицо, прозрачное от нежности и страсти... Счастлив мужчина, которому хоть раз удалось увидеть лицо женщины таким», — тот вполне заслуживает внутреннего диплома на звание мыслящего (и чувствующего) человека.

Или вот: полиграфический работник из рассказа «Девочка-жизнь»; ему не откажешь в интеллигентности, вероятно даже закрепленной дипломом. Но ведь рядом с ним живет и умирает, спасая жизнь другим, трогательная, героическая, трагическая душа — девочка Ася. Той жизни, которая была отпущена ей страшной блокадной судьбой, далеко не достало для того, чтобы получить даже аттестат зрелости, чтобы ребенок мог стать мыслящим человеком. А все же в самой глубине этой души с самых ранних лет было, очевидно, заложено все то, что нужно для формирования такого человека. Потому что «мыслящий» в том высоком смысле, какой имею в виду сейчас я и какой, несомненно, всегда имел в виду Николай Корнеевич, означает и «чувствующий». Я бы

сказал сильнее: чистые рационалисты, мыслители холодно-логические, бесстрастные, всегда антипатичны Николаю Корнеевичу. Потому он и не делает их героями своих произведений.

Потому именно в спорах между холодноватым умником Новиковым и непосредственно размышляющим над сложностью мира Нечаевым автор всегда на стороне старшего лейтенанта.

Одни из этих рассказов трагичны — «Девочка-жизнь», за душу берущая история юного существа, в страшных условиях блокады находившего в себе силу спасти взрослых людей и в конце погибшего; «Цвела земляника» — крошечная повесть о героизме, о простой, но светлой, как цвет земляники, юной любви, раздавленной тяжелыми гусеницами фашистских танков.

Очень многие из них — военные рассказы — завершаются смертными концами...

Умирает боец с железной волей Катерина Ивановна, неудачно сброшенная во вражеский тыл. Но смерть настигает ее уже по нашу сторону фронта, куда она прорвалась сама и сумела провести смелого, честного, но не столь прочного на излом летчика. И в этом ее подвиге есть то «что-то», что снижает трагизм ее гибели...

Погибает хозяин пса Кайта, летчик Маньков, но Кайт переходит к лучшему другу Манькова, капитану Кожичу, и после нескольких дней великого отчаяния — отчаяния инстинкта, отчаяния преданного собачьего сердца — Кайт как бы познает неизбежность и полноту произошедшей замены одного героя другим, столь же достойным. И — странное дело — автор умеет так показать, так подать эти совершенно вне-разумные «движения души» животного, что читатель не только испытывает глубокую симпатию к умному, доброму, благородному зверю, но как-то распространяет свои читательские выводы далеко вширь и вглубь, начинает думать о дружбе вообще, о преданности, о любви и в человеческом — сознательном, высочайшем — смысле и плане.

Даже эти жестокие по темам своим рассказы оставляют после их прочтения скорее чувство гордости и радости за человека, чем безнадежного отчаяния;

оставляют надежду на лучшее в будущем, как ее оставляет в душах людей гениальный «Похоронный марш на смерть героя» Бетховена.

Есть в сборнике несколько произведений, которые, несмотря на их остродраматический, может быть, остротрагический накал (они тоже относятся к войне), имеют счастливые, благополучные концы.

Это превосходно написанный, почти что военно-исторический, очерк о победоносной обороне острова Сухо — крошечного, но неизмеримо важного нашего опорного пункта на Ладожском озере в октябре 1942 года. Маленький гарнизон советского клочка земли, отлично понимая, что от существования на нем наших батарей, от того, что остров в наших руках, зависит многое в снабжении да и в самой борьбе блокированного Ленинграда, сумел в жестоком бою с подавляющими силами морского десанта противника продержаться до прихода кораблей Ладожской флотилии, воистину став насмерть на скалах и песках ничтожной точки суши, затерянной в просторах гигантского озера.

Из 30 вражеских мателотов * 16 были потоплены, один захвачен в плен. Так в сводках летописи.

Н. Чуковский, однако, написал не развернутую рефизию о событиях. Не очерк в буквальном, суховатом смысле этого слова. Он написал об этом живой, горячий, красочный рассказ. И в этом рассказе моряки-береговики, моряки из плавсостава зажили своей подлинной, кипучей, героической, без всякого эффекта и на сто процентов пропитанной главным — мыслью, чувством, любовью к Родине, пониманием и своего личного долга и развертывающихся во всем мире событий жизнью — жизнью граждан, людей мыслящих и чувствующих, хотя, пожалуй, далеко не все они могли быть зачислены в интеллектуалы. Все они были ими в потенции, в росте, в возможности.

Счастливым можно по праву назвать и конец рассказа «В последние дни». Уже война кончилась, а человеку все еще грозит смерть... Не заметь Лукин точно место падения сбитого зенитным осколком то-

* Так на флоте именуется каждый соседний корабль в строю.

варища, не возьмись он, вымотанный до предела, вторично полететь к тому месту и указать его пилоту гидросамолета, а на следующее утро и катерам, летчик Седов, несомненно, погиб бы. Да и за ночь в наддувной лодчонке среди бурного моря он испытал столько, что назвать конец рассказа счастливым можно только по той великой снисходительности, какую люди, бывшие от смерти в четырех шагах, испытывают ко всему, что не кончается ею...

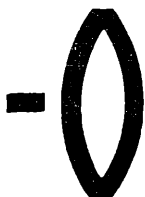
Все это я пишу для того, чтобы еще раз сказать: думающий, чувствующий советский человек — юный, средних лет, пожилой, человек-мужчина и человек-женщина, на войне и в мирном мире — вот то, что всего дороже Чуковскому, вот тот образ, которому посвящены почти все его произведения.

Во всех рассказах сборника живут, движутся, не думая ни о славе, ни о воинской выслуге, но много думая о дружбе, о боевом товариществе, о человечности, о верности Родине и высоким идеалам, воплощенным в ней, отличные, мыслящие советские люди. Не только думая, но и действуя так, как действовал на войне и в мире и сам автор этих рассказов.

Завидую тем, кто будет читать этот сборник впервые.

ЛЕВ УСПЕНСКИЙ

ТРУДНА ЛЮБОВЬ



1

— пять карты! — сказал политрук Чирков и поморщился. — Терпеть не могу карт! — Как хотите, — проговорил капитан Гожев примирительно. — Бывает, без карт не обойдешься. Если, например, сидишь в такой яме.

— Каждый вечер играть в дурака! — продолжал Чирков раздраженно. — Поневоле дураком сделаешься.

Кто-то сидевший в темном углу и потому невидимый тихонько кашлянул:

— Кхе-кхе...

— Мы играем вовсе не каждый вечер, и греха в игре нет, — сказал Гожев рассудительно. — Это вы несерьезно. Но если в дурака надоело — не надо. Попросим Елену Андреевну погадать нам на картах.

— Уже всем все нагадано, — сказал Чирков.

Крохотная электрическая лампочка, прикрытая бумажным колпачком, освещала только середину стола. В этом светлом круге на столе двигались пальцы двух маленьких женских рук, торчавших из слишком длинных рукавов черной краснофлотской шинели; они без конца однообразным механическим движением тасовали карты. Политрука Чиркова раздражали, кажется, не столько карты, сколько эти руки.

— Всю не всем все нагадано, — возразил Гожев мягко. — Вот товарищ интендант третьего

ранга. Он новый у нас человек. Ему еще не гадали.

И посмотрел на Криницкого.

Криницкий почувствовал, что все на него смотрят и ждут ответа, хочет ли он, чтобы ему погадали. А ему между тем было это до того безразлично, что он решительно ничего не мог сказать. Он был все еще ошеломлен стремительным перелетом через Финский залив, посадкой на темном незнакомом аэродроме, где вокруг загадочно гремело и выло, и внезапным своим появлением в этой странной избе, глубоко врытой в землю, среди незнакомых людей, которых он видел в первый раз.

Прошло еще не больше двадцати минут с тех пор, как пропагандист полка политрук Чирков встретил Криницкого на аэродроме и привел в эту землянку. Грохот рвущихся снарядов, сливаясь в почти непрерывный вой, доносился и сюда, но приглушенно. Да если бы Криницкий и не был только что с самолета, он все равно не мог бы заинтересоваться никаким гаданием, потому что та жестокая душевная боль, которая мучила его уже несколько дней и которую он должен был от всех скрывать, делала его безучастным ко всему, что он видел вокруг.

— Ну что на картах можно нагадать товарищу интенданту? — продолжал Чирков настойчиво, но несколько сдерживая свое раздражение из уважения к гостю. — Опять «казенный дом», опять «дорога». Как будто это и без гадания не ясно. Раз человек на военной службе, значит, он живет в казенном доме; раз человек в командировке, значит, ему предстоит дорога...

— Действительно, Петр Иванович прав, карты надоели, — сказала женщина мягко, и руки ее опустили колоду на стол; и Криницкий впервые услышал ее голос — спокойный, ровный, удивительно ясный. — Я нашему гостю и без карт погадаю.

— Кхе-кхе... — раздалось в темном углу.

— Как же так? — спросил Гожев. — По руке, что ли?

— Нет, — сказала она. — По лицу.

Она слегка нагнулась вперед над столом, вглядываясь в лицо Криницкого, и свет озарил ее всю. Старая, потрепанная шинель была слишком велика для нее и неуклюже топорщилась; она тонула в своей шинели. Тонкое, живое лицо ее, внезапно освещенное, находилось в резком противоречии и с этой шинелью, и с узенькими старшинскими полосками на рукавах, и со всей этой темной, сырой и мрачной землянкой.

Совсем молодое лицо. Без румянца. С той ровной бледностью, которая появляется у тех, кто редко бывает на воздухе. Слегка запавшие щеки, тонкий, прямой нос почти без переносицы, чистый лоб, крупный упрямый рот. И серые глаза, серьезно и сочувственно смотрящие Криницкому в лицо.

— Простите, как ваше имя-отчество? — спросила она.

— Николай Николаевич, — ответил Криницкий. — Интендант третьего ранга Николай Николаевич Кривошеин.

— Но ведь вы — Криницкий.

— Как же, — сказал Гожев, — в нашей газете мы всегда читаем ваши заметки.

— Лет пятнадцать назад, когда я начал работать в газетах, мне казалось, что Криницкий гораздо красивее, чем Кривошеин. А потом привык.

— Ведь вы сами вызвались лететь к нам на аэродром, — сказала она. — Вас никто не посылал.

— Вызвался? — удивился Криницкий. — Пожалуй, верно, сам вызвался. Я пошел к редактору и попросил. Он поколебался и позволил... Как вы узнали?

— Просто так. Мне подумалось, — сказала она. — Для работников военной авиационной газеты у нас на аэродроме ничего интересного нет. Газете нужны летчики, а летчиков мы тут почти не видим. Прилетят, сядут, заправятся минут за десять, пока немцы не успели поджечь самолеты на земле, и улетят. Ничего тут, кроме обстрелов, нету...

— Да, немцы бьют по нас здорово, — сказал Гожев. — Пристрелялись за год. Ползком живем.

Криницкий все это знал. Аэродром лежал на том

отрезанном от всего мира участке южного берега Финского залива, который мы и теперь, через год после того, как немцы окружили Ленинград, продолжали удерживать в своих руках. Могучие орудия кронштадтских фортов не дали здесь немцам выйти на самое побережье. Участок этот был настолько невелик, что немецкая артиллерия простреливала его насквозь. И аэродром, расположенный всего в нескольких километрах от передовой, под немецким огнем, не мог служить базой для наших самолетов. На него иногда садились только наши истребители из полков, стоявших на северном берегу Финского залива и в Кронштадте; они торопливо заправлялись горючим и летели дальше, сопровождая бомбардировщики, у которых запас горючего был гораздо больше. Представитель авиационной газеты вряд ли мог найти здесь что-нибудь ценное, разве кое-какой материал для мелких заметок. И уж во всяком случае, не было здесь материала для тех больших, обстоятельных очерков о боевых действиях нашей авиации, которые Криницкий время от времени посылал в Москву, в центральные газеты, и успех которых еще неделю назад так волновал его.

— Тут немало таких, — сказала она.

— Каких? — спросил Криницкий.

— Вызвавшихся. Которые сами напросились.

— Почему? — спросил Криницкий.

— Разве вы не знаете, что у людей иногда так поворачивается судьба, что хочется зарыться головой в землю, уйти в такое место, где нет ничего, кроме обстрела, темноты и работы?

— Знаю, — сказал Криницкий.

Он сказал «знаю», и у него перехватило дыхание, потому что он выдал себя. За всю эту неделю ни один человек не догадался о том, что с ним творится. Даже тот его товарищ по редакции, который, ничего не подозревая, показал ему письма... Те письма, из которых Криницкий все узнал... Он испуганно глянул на Гожева и Чиркова, чтобы определить по их лицам, догадались ли они.

— У кого не бывает служебных неприятностей! — сказал Гожев мирно. — Только у того, кто не служит.

— Бывают и другие неприятности, неслужебные, — мягко возразила Елена Андреевна.

Криницкий глядел на нее почти с испугом. Неужели она что-нибудь знает о его тайном несчастье? Откуда?

— Сколько бед иногда происходит оттого, что мы не умеем доверять людям, — негромко проговорила она вдруг, словно думая вслух.

— Как? Как вы сказали? — спросил Криницкий, поражаясь и волнуясь все больше.

— Людям не умеем доверять, — повторила она. — И оттого мучаем и мучаемся.

— Нет, позвольте, позвольте, — торопливо перебил ее Криницкий, совсем забываясь от волнения. — Что значит — не умеем? Разве все достойны доверия?

Но тут далеко, в конце длинного наклонного прохода, связывавшего эту врытую в землю избу с поверхностью, стукнула наружная дверь, и все повернули головы, прислушиваясь.

2

Когда далекая наружная дверь распахнулась, гул взрывов сразу стал громче. Потом дверь захлопнулась, и раздались тяжелые шаги, гремевшие по дощатому настилу наклонного прохода.

Елена Андреевна поспешно встала. Она оказалась среднего роста, даже скорее маленькая. Ноги ее тонули в громоздких, неуклюжих кирзовых сапогах. Топорщившаяся шинель сидела на ней как большой мешок. Но движения у нее были легкие. Она бесшумно скользнула в сторону от стола, от света, и сразу стала почти невидимой, так как большая часть землянки была погружена во тьму.

А между тем гремящие шаги приближались. Дверь открылась, и вошел крупный мужчина в мокром кожаном реглане.

Ему пришлось нагнуться, чтобы не стукнуться лбом о притолоку. Войдя, он остановился и зажмурился от света. Он жмурился, а все его молодое, широкое, румяное лицо расплывалось в улыбке. Он

казался почти толстяком — плечистый, широкий в кости, добродушный, здоровый. Черты лица у него тоже были крупные, особенно нос, бесформенный и мясистый. Капельки дождя блестели в его густых черных бровях, и теперь, когда он улыбался, на его левой щеке ясно была заметна ямочка.

— А, Григорий Осипович! — сказал капитан Гожев. — Что ты поздно сегодня?

— Правую рефугу — в щепки. Прямое попадание, сволочь. Я поставил туда плотников.

— А как ремонт? — спросил Гожев.

— Идет. Там сейчас Сидоров мотор налаживает. Я посплю часа четыре, потом пойду к нему, и мы мотор поставим. К утру будет как игрушка... Люблю поспать, когда время есть! Могу спать при любых обстоятельствах.

— Это признак здоровья, — сказал Гожев.

— Не жалуюсь.

Он говорил быстро и громко, все еще оживленный работой, от которой только что оторвался. Говоря, он скинул с себя реглан и бросил его на свою койку, несомненно собираясь укрыться им. Повернувшись, он внезапно заметил Криницкого и уставился на него.

— А у нас гость, — сказал Гожев. — Что же ты не здороваешься, Гриша? Вот. Журналист. Из газеты.

Криницкий привстал и пожал большую руку с широкой ладонью:

— Кривошеин.

— Завойко. Инженер по ремонту. Из Ленинграда? Прилетели? Я видел, как садился У-2. В столовой уже были?

— Я предлагал зайти в столовую, хотя ужин уже кончился, — сказал Гожев. — Но товарищ интендант не захотел, говорит — ужинал перед вылетом. Мы с Чирковым привели его к нам, потому что койка Терехина свободна, Терехин сегодня ночует в Кронштадте.

— Вот теперь вы нам все расскажете, — сказал Завойко. — А то мы сидим здесь безвыходно и ничего, кроме грязи да елок, не видим. Как там, в Ленинграде, сейчас с продовольствием?

Он присел на свою койку, чтобы стянуть с себя сапоги, и только тут внезапно увидел Елену Андреевну.

Он вскочил. Опять сел. Опять вскочил. Большое лицо его быстро бледнело.

— Кхе-кхе... — донеслось из угла.

Завойко хотел что-то сказать, но не мог совладать с дыханием. Выражение его глаз, казавшихся совсем темными на побледневшем лице, менялось с удивительной быстротой, переходя от восторга к тревоге, к испугу и опять к восторгу.

— Я не знал, что вы здесь... — выговорил он, наконец, сдавленным голосом.

— Да, я здесь и сейчас уйду, — сказала Елена Андреевна сухо.

— Уже! — воскликнул он с откровенным отчаянием.

Он глянул в лица мужчин: не поддержит ли его кто-нибудь, не уговорит ли остаться? Но никто не пришел ему на помощь. Один только капитан Гожев сказал неуверенно:

— Еще час ранний...

— Мне пора, — ответила она все так же сухо и двинулась к двери. — Вы спать хотели. Зачем вам мешать? Не собираюсь.

— Я вовсе не хочу спать! — воскликнул Завойко пылко. — Я не буду спать! Я пойду вас проводить!

И он стал торопливо накидывать на себя свой кожаный реглан.

— Нет, вы не пойдете меня провожать, — сказала она твердо. — Вы будете спать. Вы можете спать при любых обстоятельствах. Это признак здоровья.

Лицо Завойко из белого стало малиновым — такая явная насмешка была в ее словах. Он попятился и снова сел на свою койку, озираясь с беспомощным и несчастным видом.

— Меня проводит старший лейтенант Устинович, — продолжала Елена Андреевна.

Она повернулась к тому темному углу, где сидел человек, изредка произносивший «кхе-кхе», и проговорила совсем другим голосом — мягким, ласковым, каким разговаривают с детьми:

— Сергей Филиппыч, ведь вам сейчас на дежурство, нам почти по дороге...

Старший лейтенант Устинович, сидевший в темном углу, опять сказал только «кхе-кхе», но мгновенно поднялся и вышел на свет. Криницкий впервые увидел его. Это был еще очень молодой человек, среднего роста, узкоплечий, хилого сложения, белокурый, в очках, с изможденным, нездоровым лицом. На его желтоватых впалых щеках дрожали два пятнышка румянца, появившиеся, по-видимому, от волнения. Он снял свою шинель с гвоздя на стене и стал торопливо надевать ее, не попадая в рукава.

Елена Андреевна повернулась к Гожеву, выпрямилась, сдвинула каблуки кирзовых сапог:

— Разрешите идти, товарищ капитан?

Гожев кивнул.

Она уже открыла дверь, но вдруг обернулась и взглянула на Чиркова.

— А уж вы, товарищ политрук, ни за что не пошли бы меня проводить, я знаю, — сказала она.

— Разумеется, не пойду, — ответил Чирков.

— Вы принципиально женщин не провожаете или только потому, что я ниже вас по званию? — спросила она.

— Нет, я вас не провожаю потому, что вы — это вы, — ответил Чирков.

Услышав этот презрительный, полный откровенной вражды ответ, она опустила голову и сказала беззлобно, с огорчением:

— Как это все грустно...

И вышла, сопровождаемая Устиновичем.

3

На аэродроме действительно «жили ползком», как говорил Гожев.

Немцы обстреливали аэродром всякий раз, когда на него садился самолет. И когда самолет с него взлетал. И когда на ближних участках фронта что-нибудь происходило. И когда только опасались, что может что-нибудь произойти. И просто по часам —

на рассвете, в обед, на закате. Иногда в полночь, иногда позже. И, уж начав бить, били долго, упрямо, заново и заново перемешивая взрывами песок, дерн, хвою, бревна, камни, сучья, сосновые шишки.

Летное поле было устроено прошлой осенью на бывшем выгоне деревни. Жители деревни давно разбежались, а избы их врыли глубоко в землю, превратив в землянки. Все это изобрел Гожев: возле каждой избы вырыли яму, потом в яму по наклонному деревянному настилу скатили избу, целиком, со всем, что в ней было, — с русской печью, полатями, лавками, столами; потом покрыли избу пятью накатами бревен и засыпали сверху песком.

И деревня теперь снаружи казалась двумя рядами низких песчаных бугорков, над которыми в холодные дни вились столбики дыма. Внутри, в избах, все оставалось по-прежнему: возле печей стояли ухваты и горшки, в углу висели иконы, на стенах — семейные фотографии, и только заколоченные досками окна напоминали, что кругом земля. В этой вечной подземной тьме вот уже год шла почти вся жизнь тех, кто служил на аэродроме.

Здесь, под Ленинградом, да и всюду на севере, линии фронтов установились еще прошлой осенью и с тех пор почти не менялись. В минувшее лето — второе лето войны — главные битвы перекинулись на юг, на Украину, к Дону. До тех мест отсюда были тысячи километров, и сведения о том, что там совершалось, доходили скупо и кратко. Но основное знали: там в тяжелейших боях наши войска продолжали отходить, оставляя город за городом, и вот уже вся Украина захвачена немцами, и Дон перейден, и битва кипит уже возле самой Волги, под Сталинградом, где происходит что-то пока еще не совсем ясное, но чрезвычайно важное. И служившие на аэродроме следили за всем, что совершалось там, с напряженным вниманием; исполинская трагедия войны, распадавшаяся для миллионов отдельных людей еще и на миллионы отдельных трагедий, поглощала все их душевные силы. Но говорили между собой об этом они довольно мало. Они наверняка знали, что неизбежно придет и их час, что великая битва перекинется и сюда, и были готовы

к этому часу. А тем временем их жизнь, твердо сложившаяся за год, была до предела занята ежедневным тяжелым трудом: выравниванием летного поля, которое каждый день заново перепахивали снаряды, закапыванием в землю запасов горючего, заправкой и ремонтом самолетов — постоянным ремонтом, потому что наши самолеты, поврежденные в боях над захваченной врагом территорией, чаще всего садились именно на их аэродром, как самый ближний к линии фронта. И люди здесь работали так же, как и жили, — «ползком», чтобы осколки снарядов перескакивали через спины. И почти после каждого артиллерийского налета по аэродрому расплзлась весть о чьей-нибудь смерти.

Знакомство с этой жизнью Криницкий начал в той зарытой в землю избе, где его случайно поселили. Соседом Криницкого по койке оказался капитан Гожев, и невольно он прежде всего пригласился к Гожеву.

Капитан Гожев занимал должность заместителя начальника штаба полка, но штаб его находился далеко, на другой стороне Финского залива, и он связывался с ним только по телефону. Здесь он был старший, и все тут создавалось при его участии: и место для аэродрома выбрал он, и в столовой меню утверждал он, и ни один самолет не приземлялся и не вылетал без его ведома. Это был плотный, небольшого роста человек, круглолицый, хозяйственный, с людьми доброжелательный и мягкий, но редко улыбающийся, не любящий шуток и уважающий только серьезное. Когда ему не нравилось что-нибудь, он говорил:

— Это несерьезно.

На Урале, в маленьком городке, жила его жена с двумя детьми. Несмотря на занятость, он почти каждый день писал ей письма. Эти письма, написанные крупным твердым почерком, он часто оставлял в землянке на столе, и их невольно читали все. Но в них и не содержалось ничего такого, что нельзя было бы прочесть всем. Сплошь, от начала до конца, они состояли из одних только хозяйственных распоряжений. Он наставлял жену, как конопатить стены, как чистить колодец, как солить огурцы, как

смазывать детскую обувь, чтобы не промокала. Фотография жены висела у него над койкой, и, глядя на изображение этой тоненькой маленькой женщины с измученным испуганным лицом, не верилось, что она могла конопатить стены, чистить колодец и исполнять все прочие бесчисленные распоряжения мужа. Весной Гожев был на Урале в командировке — доставал запасные части к самолетам — и полдня провел дома. Он рассказывал, как жена провожала его на вокзал, и жаловался:

— Ей слово скажешь, а у нее слезы — кап-кап... Несерьезно.

Когда-то он служил военным летчиком, но года за два до войны ушел в запас и поступил учиться в оперную студию: у него был баритон. Едва началась война, он вернулся в авиацию, но уже не летал, а пошел на штабную работу. Иногда по вечерам в землянке он пел. И голос у него был недурен, и слух верен, но слушать его не особенно любили. Пел он как-то чересчур старательно, слишком добросовестно. Впрочем, репертуар у него был отличный — знаменитейшие арии из классических опер. Обыкновенные песни, которые пели кругом, он презирал.

— Ну что вы поете? — говорил он. — Несерьезно.

На аэродроме его за глаза называли «сундучником». Это прозвище он получил потому, что под койкой его стояли сундуки, в которых было, как утверждали, все на свете. Идя, он всегда смотрел себе под ноги, в землю, и замечал всякую мелочь, и все подбирал — гайки, гвозди, пуговицы, веревочки, — и тащил к себе в сундук. Когда кто-нибудь смеялся над этим, он сердился и говорил:

— Сам потом у меня попросишь.

И был прав — так и случалось. Если внезапно нужна была какая-нибудь вещь, которую нигде не могли достать, шли к Гожеву, и он с торжеством вынимал ее из сундука.

Рядом с койкой Гожева стояла койка Чиркова, политрука, пропагандиста полка. Чирков был лет на десять моложе Гожева — ему недавно исполнилось двадцать три. В первый вечер он показался Криниц-

кому несколько угрюмым, раздражительным, но уже наутро Криницкий понял, что таким он становился только в присутствии той женщины, Елены Андреевны. Наутро он оказался добродушным, разговорчивым, мальчишески подвижным. Полный любопытства ко всему на свете, он мечтательно вскидывал волосы, падавшие ему на лицо.

Он был рад появлению Криницкого на аэродроме, возможности поговорить со свежим человеком, да еще журналистом. Он задавал ему множество вопросов о положении на фронтах и о международных отношениях, полагая, что Криницкий осведомлен о многом таком, чего он сам не знает. Но Криницкий знал ничуть не больше его и потому отвечал скупое. Тогда Чирков принялся излагать Криницкому свои собственные взгляды и соображения.

— Мы обязаны выстоять! Если мы не выстоим, что ждет людей во всем мире? — говорил он, возбужденно шагая взад и вперед по узкому пространству между столом и печью. — И мы выстоим. Кроме победы революции, человечеству не на что надеяться. Вы согласны?

Он весь был захвачен мыслями об истории, о судьбах человечества. Вскидывая волосы, он говорил, что гитлеровское нашествие — продолжение все той же интервенции, что была двадцать лет назад, при Ленине. Задавить революцию, которой они смертельно боятся, — вот их цель. Поминутно спрашивая Криницкого: «Вы согласны?», он утверждал, что мировая борьба за коммунизм вся еще впереди.

— Весь век наш такой, он весь полон одной борьбой, которая решит все, за всю историю, за все века! Мы не можем не победить, мы обязаны победить, мы победим!.. Они хотят, чтобы мы отдали им Ленинград! — он рассмеялся презрительно и зло. — Отдать город, в котором все началось! Ведь как раз там в семнадцатом году первая петелька соскочила, и вся их гнилая ткань поползла, и теперь уж ничем не починишь... Я вот хожу по землянкам, к техникам зайду, к мотористам, к зенитчикам, провожу политинформацию, а потом так разговариваем обо всем, о большом и маленьком. У нас на аэродроме знаете

какие головы есть! Особенно у мотористов подобрались...

И Криницкий ясно представил себе, как рассуждает он таким же вот образом с молоденькими бойцами-мотористами в черных, блестящих от масла комбинезонах и как они, наверное, любят его за увлеченность, простоту, мечтательность, за веру в мировую революцию, за вот эту его потребность думать вслух и за то, что он, в сущности, такой же мальчишка, как они сами. Пока Чирков говорил, Гожев внимательно слушал, не перебивая. Он, видимо, уважал Чиркова за его способность думать об истории, о судьбах человечества, потому что его собственные мысли всегда были проще и конкретнее. Слушая, он все поглядывал на ноги старшего лейтенанта Устиновича, сидевшего с книгой в руках, и, когда Чирков умолк, сказал:

— Как вы, Устинович, сапоги стаптываете! Нерезьезно.

— Кхе-кхе... — кашлянул Устинович, не отрываясь от книги, и спрятал ноги под койку.

Он был удивительно молчалив, этот Устинович, почти никогда не раскрывал рта и только тихонько покашливал. Даже ночью, сквозь сон, Криницкий слышал время от времени его «кхе-кхе». Возможно, у него было что-нибудь неладное с легкими. Благодаря своей молчаливости он из обитателей землянки дольше всех оставался для Криницкого неясен. Постепенно — и не в первый день, и не от самого — Криницкий узнал, что родом Устинович из Минска, что в самом начале войны у него на глазах были убиты авиационной бомбой отец, мать и две сестры и что оттого он такой молчаливый и странный. До войны он был студентом-химиком, и потому его назначили начхимом полка. Он должен был обеспечить оборону личного состава от химического нападения, но немцы не отважились применить газы, и начхиму, в сущности, нечего было делать. Его отправили на этот аэродром, и здесь он исполнял обязанности оперативного дежурного в землянке командного пункта, дежуря иногда по две смены подряд. Он мало ел и мало спал и все свободное время проводил за чтением; читал что попадалось и, кончив одну книгу,

сразу принимался за другую. В жизни подземной избы он почти никакого участия не принимал, сожители заговаривали с ним редко и относились к нему с ласковым сожалением.

Зато инженер Завойко стал понятен Криницкому чуть не с первого взгляда — до того это был открытый, ясный человек. Когда он, большой, оживленный, вваливался в землянку, — а появлялся он всегда неожиданно, так как работал по ночам не меньше, чем днем, и, например, в то первое утро пришел спать, когда все собирались на завтрак, — врытая в землю изба начинала казаться еще теснее и наполнялась топотом сапог, громким его голосом, сложными, приятными запахами слесарной мастерской, прелых листьев, бензина, ветра, гари, сосновой хвои. Родился и вырос он на Урале, но в каждой его повадке, в добродушном лукавстве глаз чувствовался украинец. Он весь был захвачен работой и, войдя, всегда без всякого предисловия рассказывал о том, что только что делал.

— Он у нас Иисус Христос, — сказал о нем Криницкому Чирков. — Воскреситель. Разбитые самолеты воскрешает.

И Криницкий сразу почувствовал, сколько дружбы и уважения скрыто в этих насмешливых словах.

— У Христа работенка легкая была: дотронулся — и воскресил, — добродушно ответил Завойко. — А у нас руки обдерешь и лоб расшибешь, прежде чем воскресишь.

— Ну, если ты не Христос, так доктор, — согласился Чирков. — Лечишь самолеты.

— И не доктор, а портной, — сказал Завойко. — Заплаты ставлю.

Он славился заплатками, которые ставил на пробитые пулями части самолетов. Вырежет из жести кружок и забьет дырку. Оборудованием на аэродроме располагал он самым бедным и примитивным и тем не менее заставлял летать самолеты, которые другим казались безнадежными. Бывало, мотор никак не заводится, а Завойко поковыряет в нем гвоздиком — и, глядь, самолет взлетел.

— Он у нас великий человек, — сказал Чирков. — Швабру летать заставить может.

— Ну уж великий! — засмеялся Завойко. — Эксплуатационники и ремонтники великими не бывают. Великими признаются только изобретатели, конструкторы. А слыхано ли где-нибудь о великом ремонтнике?

Но Чирков сразу же заступился за изобретателей и конструкторов.

— С изобретателями ты себя не равняй, — сказал он. — На изобретателях будущее держится. Тебе удастся гвоздем самолеты чинить, потому что авиации всего-то еще только сорок лет. Тех самолетов, которые будут, гвоздем не починишь. А сейчас — начало, первые шаги. Все вокруг нас — еще только начало. Мы живем на заре человеческой истории. В будущем школьники будут путать наше время с каменным веком...

— Видите, каков у нас политрук? — сказал Завойко Криницкому. — Философ. Самодеятельный мудрец.

В ласково-насмешливых словах этих была настоящая гордость за Чиркова.

— Когда мы победим окончательно, все будет другое, даже люди, — продолжал Чирков, не обратив на слова Завойко никакого внимания. — Люди станут прекрасны. Их не будет коверкать ни горе, ни злора, ни нужда, ни война. Все то, что мы сейчас требуем только от лучших, будет у всех, у каждого.

— Не всегда от людей нужно требовать, — сказал Завойко. — Иногда их достаточно понять.

— А ты что, со мной не согласен? — спросил Чирков запальчиво.

— Почему не согласен? Согласен, — ответил Завойко. — Я с тобой всегда во всем согласен, кроме одного.

— Кроме чего? — спросил Чирков и настороженно сдвинул брови.

— Строг ты очень. Строг невпопад, — сказал Завойко, и лицо его внезапно стало хмурым. — Строг к людям. Не к будущим. К нынешним.

Чирков вскочил. Глядя Завойко в глаза, он произнес напряженным от гнева голосом:

— А ты хочешь, чтобы я в такое время все прощал разным... разным... — он не находил нужного слова.

— Каким это разным?

Завойко круто повернулся к Чиркову, выпрямился во весь рост, и большое, широкое лицо его с неуклюжим носом медленно багровело.

— Пора завтракать, — сказал Гожев спокойно. — Пойдемте.

Все эти люди и их отношения между собой были бы очень любопытны Криницкому, если бы он прибыл сюда на неделю раньше. Но теперь, ошеломленный своим несчастьем, свалившимся на него так неожиданно, он ни к чему не приглядывался, не прислушивался и видел все как сквозь туман.

Он был высокий, сухощавый, сутуловатый человек средних лет, много и нервно куривший. Никто не должен был знать о его несчастье. Сжигаемый горем, Криницкий вынужден был вести себя так, чтобы по его поведению никто ни о чем не догадался. Только бы не выдать свою муку необдуманном словом, жестом, выражением лица! Он с ужасом вспомнил, что вчера вечером, впервые войдя в эту землянку, он почти выдал себя. То есть он ничего не сделал и не сказал такого, что дало бы возможность кому-нибудь догадаться, но та женщина каким-то образом догадалась. Это было непостижимо, непонятно, но так. Или, может быть, не так? Может быть, ему помешало? Случайность, совпадение?.. Неужели она случайно сказала ему, что бывают минуты, когда хочется зарыться головой в землю? Или что мы не умеем доверять людям и оттого мучаемся? Глупости, мы мучаемся оттого, что слишком доверяем!.. К черту, не надо думать об этом, а надо встретиться с той женщиной и понять, догадалась она или нет...

— Перед завтраком сдайте свой продовольственный аттестат Кудрявцевой, — сказал Гожев, выходя вместе с Криницким.

— Какой Кудрявцевой?

— Елене Андреевне.

— Почему Елене Андреевне? — удивился Криницкий.

— Потому что она писарь продчасти.

Выйдя из землянки, Криницкий зажмурился от света. Небо было пасмурно, но земля сияла; лес, окружавший летное поле со всех сторон и подходивший к землянкам вплотную, пылал осенней листвой. Осины рдели до самых вершин, березы горели сквозным золотом. Золотые листья, опадая, медленно плавали в воздухе, и легкие их вороха, грудясь на земле, возле темных стволов, словно светились изнутри.

— Вот эта тропинка приведет вас в часть, — сказал Криницкому Гожев.

И Криницкий зашагал.

Лес сразу обступил его. Исковерканный, измятый обстрелами лес, в котором каждое дерево — калека. Косые, однорукие ели, березки, переломанные пополам и упершиеся кудрявыми вершинками в землю, стволы, торчащие под странными углами на вывороченных глыбах земли, — и всюду на сломках, на ранах крупные капли застывшей еловой смолы и слезы березового сока. Однако искалеченный этот лес оставался лесом, полон был милых знакомых запахов прели, грибов, увядающей листвы, продолжал жить стойкой, внутренне спокойной жизнью. И вьющаяся тропинка, по которой шагал Криницкий, пестрая и мягкая от листьев, убегала вглубь, в чащу, с такой привычной, издавна любимой таинственностью, что сжималось сердце.

Когда разорвался первый снаряд, Криницкий не упал просто потому, что не успел. Угрюмым гулом прокатился взрыв над его головой, над вершинами, и Криницкий замер, озираясь. Когда разорвался второй снаряд, Криницкий не упал потому, что не упал человек, которого он внезапно заметил шагах в десяти от себя, в стороне от тропинки.

Человек этот, в летном комбинезоне, в меховых унтах, держал левой рукой берестяной кузовок, а правой быстро и спокойно собирал крупные ягоды голубики. Роста он был небольшого, и ему почти не приходилось нагибаться. После второго взрыва он повернул юношеское круглое лицо к Криницкому и приветливо улыбнулся ему, как знакомому. Кри-

ницкий почувствовал, что где-то уже его видел, но не успел вспомнить, где именно, так как новый взрыв, гораздо более громкий и близкий, чем прежде, потряс воздух.

Не желая, чтобы посторонний человек принял его за труса, Криницкий усилием воли заставил себя не упасть. И напрасно, потому что молоденький летчик немедленно со всего роста рухнул в кусты голубики, крикнув:

— Ложитесь!

Уже опять раздавался отвратительный вой приближающегося снаряда, и Криницкий упал ничком, уткнувшись лицом в мокрую траву. Грянул взрыв, совсем близкий, оглушительный, и мягкая воздушная волна ощутимо прокатилась над спиной Криницкого. Потом взрывы пошли один за другим, почти без промежутков, все выло и гудело кругом. Криницкий вжимал себя в землю, каждое мгновение ожидая удара и смерти. Только раз удалось ему на секунду приподнять лицо; он увидел накренившиеся и падающие стволы елей и тотчас же опять уткнулся в землю.

Когда налет кончился, наступила такая глубокая тишина, что в нее невозможно было поверить. Криницкий медленно поднялся, очищая руками свою мокрую черную шинель. Слышно было, как, шелестя, осыпалась по веткам взметенная взрывами земля, но от этого шелеста тишина казалась только еще глубже и неправдоподобнее. Осенняя листва сияла по-прежнему ярко, и искалеченный лес по-прежнему был знакомым, живым, влажно пахучим лесом. Молоденький летчик тоже поднялся и, улыбаясь, как раньше, подошел к Криницкому,

— Здравствуйте, — сказал он. — Вы меня не узнаете, товарищ интендант? Я — Терехин. Лейтенант Терехин.

Ни фуражки, ни шлема на нем не было, в светлых волнистых волосах застряли капли росы и золотой березовый листок. Видя, что Криницкий все еще его не узнает, он удивленно воскликнул:

— Да ведь я вчера вечером привез вас сюда! На У-2.

Тут только Криницкий его вспомнил. Вчера

вечером, садясь в темноте в самолет, он совсем не разглядел летчика. Да и не приглядывался, целиком поглощенный своими мыслями все о том же.

— Я здешний извозчик, — сказал Терехин. — Вожу людей взад-вперед — то в Кронштадт, то сюда, то на тот берег. Вы на моей койке спите.

— Я не виноват, меня положили... — проговорил Криницкий. — Я, наверное, стеснил вас...

— Пустяки, — сказал Терехин. — Я ведь здесь по ночам не бываю. У меня работа ночная, днем тут не полетишь — сразу собьют. Хорошо, теперь ночи длинные, а летом круглые сутки светло, по неделям вылетать не удавалось... Пользуйтесь моей койкой, живите, а я, если понадобится, в землянке на старте переночую... Вы куда? В продчасть? Да вот она. Вы уже пришли...

Криницкий козырнул и по мокрым разъезжающим доскам спустился в землянку продчасти.

Елену Андреевну застал он в маленькой боковой каморке, в которой тяжело пахло плесенью, копотью и керосином. Пятилинейная керосиновая лампа на столе озаряла дощатые стены, столб, подпиравший потолок, и узкую железную койку с плоской подушкой. Елена Андреевна сидела за столом все в той же неуклюжей шинели и разбирала какие-то бумажонки в папках. «Она тут и работает и живет, — подумал Криницкий. — Вот отчего у нее такое бледное лицо...»

Когда он вошел, она встала. Лицо ее было сухо и замкнуто. Ни одним словом, ни одним взглядом не напомнила она, что вчера они уже встречались и она ему гадала. Она приняла у него аттестат и стоя вписала в книгу. Когда она нагнулась над столом, записывая, он увидел, какая у нее тонкая, детская шея. Беспомощная слабость этой шеи тронула его.

Теперь ему оставалось только уйти. Однако он не хотел уходить, не выяснив того главного, что волновало его больше всего. Догадалась она или нет — вот что ему нужно было узнать. Но как? И он продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу.

Возможно, она поняла, отчего он медлит, так как вдруг спросила:

— Вы будете писать о нашем аэродроме?

— Попробую, — ответил Криницкий.

— Боюсь, это не просто, — сказала она. — И сразу приметесь за работу или сначала будете осматриваться?

— Разумеется, сначала осмотрюсь. Ведь осматриваться — для меня главная часть работы.

— Понимаю, — сказала она. — Иначе у вас и быть не может. Я к тому, чтобы вы сразу взялись за дело. Работа все излечивает.

— Нет, позвольте! — заволновался Криницкий. — Откуда вы знаете, что...

Но она не дала ему договорить.

— Идите, пока нет обстрела, — сказала она дружелюбно и властно, — а то до столовой не дойдете.

И он ушел.

Выйдя из землянки, он сразу же, у самого входа, опять столкнулся с Терехиным. Неся свой кузовок, доверху полный ягод, Терехин направлялся в продчасть. Почему-то, встретясь снова с Криницким, он смутился. Круглое лицо его порозовело. В первую секунду он даже сделал было такое движение, будто хочет пройти мимо продчасти, но, решив, видимо, что Криницкий уже понял, куда он идет, остановился.

— Смотрите, какие крупные, — сказал он, чтобы скрыть смущение, и протянул Криницкому свой кузовок. — Почти как вишня. Дождей много было.

— Голубика? — спросил Криницкий.

— Кто как называет, — сказал Терехин. — Можно — гоноболь, можно — голубика...

Он замолк, посмотрел Криницкому прямо в лицо и, преодолев колебание, продолжал:

— Вот несусь Елене Андреевне. А то что она ест? Крупу да консервы. А это все-таки витамины...

5

О Елене Андреевне Криницкий узнал кое-что от Гожева. В ближайший вечер в подземной избе.

Весь день Криницкий бродил по аэродрому, заходил в землянки, разговаривал. О чем он будет

писать, он еще не знал. У него были привычные, испытанные методы работы — в первый день не писать ничего, не составлять никаких планов, а только узнавать, знакомиться. Душевная боль, не покидавшая его ни на минуту, не мешала ему работать. Напротив, благодаря этой боли он был даже по-особому собран и зорок. Когда с ним шутили, он смеялся. На комсомольском собрании у зенитчиков он принял участие в прениях. Он старался казаться совершенно спокойным и ничем не выдать себя. Вот ведь выдал он себя вчера Елене Андреевне, хотя сам не знал, каким образом... Вечером он заговорил о ней с Гожевым.

Придя после ужина к себе в зарытую избу, он застал там одного Гожева. Остальные еще не вернулись. Гожев сидел за столом и чинил свой китель, распоровшийся под мышкой. Белая, очень чистая рубашка оттеняла его смуглое, загорелое лицо. Шил он аккуратными маленькими стежками, умело, как настоящий портной.

— Я же говорил вам, что она Кудрявцева, — сказал Гожев многозначительно.

Криницкий не понял.

— Ну так что же? — спросил он.

— Она — вдова Кудрявцева.

— Какого Кудрявцева?

— Того самого.

Гожев оторвал глаза от кителя и искоса глянул на Криницкого. Увидев по лицу Криницкого, что тот все еще ничего не понимает, он прибавил:

— Не помните летчика Кудрявцева? Знаменитого? Которого убили на двадцатый день войны?

— А! — сказал Криницкий.

Он вспомнил, что в начале войны читал что-то в военных газетах о воздушных боях отважного балтийского летчика Кудрявцева.

— Удивительный был летчик, лучший летчик-истребитель на Балтике, — сказал Гожев. — Одиннадцать немецких самолетов сбил за двадцать дней войны. Конечно, в каждом балтийском полку был свой собственный лучший летчик на Балтике, но, по-моему, Кудрявцев действительно был один из самых лучших. Или, может быть, оттого, что я

служил с ним в одном полку и все видел своими глазами... Мы стояли тогда в Эстонии, вокруг аэродрома — леса, леса. Немцы перли на Таллин и появились рядом так быстро, что мы даже многие семьи не успели эвакуировать. Да она ни за что и не хотела уезжать. Самолет Кудрявцева всегда был на старте в готовности номер один, и Кудрявцев не вылезал из него, даже спал в нем. Делал по восемь, по десять боевых вылетов в день, дрался тут же, над аэродромом, так что мы все видели, словно в цирке. Взлетит, покрутится, собьет немца или отгонит — и на посадку, опять сидит в самолете на старте. Она ему на старт и еду носила. Он взлетит, а она стоит с судками рядом с Завойко...

— Почему с Завойко?

— Потому что Завойко тогда был техником Кудрявцева. Это потом он стал инженером полка по ремонту, а тогда был техник, и отличный техник, техник-нянька. С летчиком своим нянчился так же; как с самолетом. Ведь Кудрявцев до войны был человек с завихрениями.

— С завихрениями? Кутила, что ли?

— Еще какой! Завихрения у него разные были, не только кутежи. И охота — завихрение, по неделям в лесу пропадает, и даже игра в шахматы... Лихость в нем была — и на земле, и в воздухе. Войдет в комнату — словно свет зажгли, слово скажет — хохот кругом стеной стоит. Крепкий, плотный, небольшой, зубы белые-белые. Способный был летчик, что ни вылет — чудеса откальывает. Хоть и не по инструкции летит, а другому так ни за что не сделать. Если бы не завихрения, давно бы командиром эскадрильи стал. Товарищи относились к нему прекрасно, да и начальство, по правде сказать, тоже. Многое ему с рук сходило, что другому бы никогда не сошло. Я его мало знал, я от него был в стороне, мне такие люди непонятны, мне понятны люди основательные. Ну, что его теперь судить — он воевать умел и погиб как герой. Настоящая цена человека узнается в бою и в работе.

— И в любви, — сказал Криницкий.

Гожев посмотрел на него, стараясь понять, не шутит ли он. Не понял и промолчал.

— А Завойко с ним дружил? — спросил Криницкий.

— Завойко? Завойко был ему и техник, и нянька, и мать родная. Много раз его выручал — найдет, вытащит, домой приведет. Однако Кудрявцев умел и от него уходить: завьется куда-нибудь подальше — достань его. А жена сидит вдвоем с Завойко и ждет. Много ей тогда с Завойко посидеть пришлось.

— Ревновала, наверно? — спросил Криницкий.

— А кто ее знает, — сказал Гожев. — Я в это не вникал. Казалось бы, такой муж не сахар, но не слышать было, чтобы жаловалась. Началась война — тут уж она только на старте его и видела. Он в воздухе, а она стоит с судками возле Завойко, под ветром, под солнцем, простоволосая, в пестреньком халатике...

— Отчего же в халатике?

— Она на седьмом месяце была, и очень уже было заметно... Так она рядом с Завойко и стояла и смотрела в небо, когда его самолет у нее на глазах подошли и он перетянул через аэродром, таща за собой черный хвост, и упал в лес. У нее сразу же начались роды — тут же, на старте. Ребенок мертвый родился. Немцы подходят со всех сторон, полк перебазирован к Ленинграду, женщины уже все эвакуированы на восток, а она в тяжелейшем состоянии после родов, вот-вот умрет. Завойко ее на последней машине, беспмятную, оттуда вывез. Она очнулась только в Ленинграде, да и то недели через две. И все назад, назад просится, на тот аэродром, возле которого ее мужа сбили. А мы от тех мест уже километров на триста отошли...

— Надеялась, что муж жив? — спросил Криницкий.

— Надеялась или нет, а примириться не умела.

— И теперь надеется?

— Кто ее знает, — сказал Гожев. — Она ведь не скажет. Не думаю, чтоб еще надеялась, но заставляет себя. Вот я и говорю — с горем смириться не хочет. Если здраво рассудить, так ведь тут ни одного шанса нет.

— Все-таки в эвакуацию не поехала, — сказал Криницкий.

— В эвакуацию — ни за что. Пошла к комиссару дивизии, попросила разрешения остаться. Комиссар из уважения к мужу велел ее обмундировать и направил к нам на аэродром.

Гожев зашил прореху и стал внимательно осматривать китель, переворачивая его в световом круге на столе. Потом поднялся, выдвинул из-под своей койки сундук, порылся в нем, вынул скляночку, и сразу же по избе распространился запах скипидара. Тщательно счищая с кителя пятна намоченной в скипидаре тряпочкой, он сказал:

— Тут про нее по-разному толкуют. Разные взгляды есть, но я своего держусь. Для меня важнее всего дело. Продчасть — знаете, какие соблазны? Там и твердокаменный свихнется. А с нею я за продчасть спокоен.

— Что же про нее толкуют? — спросил Криницкий.

— Про всякого человека что-нибудь толкуют, этого не избежать, — ответил Гожев, нахмурясь. — Она женщина развитая, отважная, умная, за собой следит. Дурного в ней самой ничего нет, что же ее обижать...

6

Тут стукнула наружная дверь, загремели шаги, приближаясь, и он замолчал.

Вошли Устинович и Чирков. Устинович снял шинель, сел на свою койку в темном углу и молча сидел там, покашливая и поблескивая из темноты очками. Чирков с интересом расспрашивал Криницкого, какое впечатление произвело на него комсомольское собрание у зенитчиков. Гожев вычистил китель, пришил к нему чистый воротничок и надел.

Потом пришел инженер Завойко.

Он с порога торопливо оглядел всю избу. Убедясь, что того, кого он ищет, нет, он тревожно взглянул на ходики, висевшие против печи. Затем снял свой кожаный реглан, сел на койку и принялся рассказывать Гожеву о том, что происходило сегодня в ремонтной мастерской.

Рассказывал он, как всегда, оживленно, подроб-

но, с увлечением, но вдруг замолкал и беспокойно взглядывал на ходики. И чем дольше шло время, тем явственнее ощущалось переполнявшее его тревожное ожидание. Немцы опять вели обстрел, и Завойко напряженно следил за взрывами, приподнимая лицо при каждом глухом ударе.

— Здорово они бьют сегодня... — проговорил он наконец.

— Не бойся, она не испугается, — сказал Чирков язвительно. — Придет.

Завойко, занятый своим, не обратил на насмешку никакого внимания и только опять взглянул на ходики.

И как раз в эту минуту стукнула дальняя дверь, слышались шаги.

Лицо Завойко мгновенно побледнело, как вчера, и по его бледности Криницкий безошибочно отгадал, чьи это шаги.

— Можно? — спросил звонкий мягкий голос, и в осторожно приоткрывшейся двери появилась Елена Андреевна.

И Криницкий вдруг понял, сколько щемящего было в самом звуке женского голоса для людей, постоянно слышавших лишь мужские голоса.

Завойко, как вчера, сначала вскочил с койки, потом сел, потом опять вскочил. Елена Андреевна вошла и нерешительно остановилась, улыбаясь всем. Все смотрели на нее, кроме Чиркова, который как сидел за столом к ней вполоборота, так и не повернул головы.

— Присаживайтесь, — сказал Гожев.

— Нет, нет, я на минутку, — отказалась она. — Я зашла только книгу вернуть. — Она положила на стол обернутую газетой книжку. — Сегодня не могу, мне нужно еще ведомость переписать.

— Ведомость? Успеется ведомость! — воскликнул Завойко, опять сев на койку и опять вскочив. — Отстаньте хоть немного!

— Что вы все прыгаете? — сказала ему Елена Андреевна, морщась. — Как ванька-встанька. От вас в глазах мелькает.

Завойко, словно ушибленный, испуганно сел, боясь пошевелиться.

— Почему вам не остаться, раз все вас так просят? — проговорил Чирков презрительно. — Вот подайте товарищу интенданту по лицу...

— О господи, в наше время так несложно гадать по лицу, что не стоит этим заниматься, — сказала она грустно.

— Несложно? — спросил Криницкий, стараясь скрыть свою тревогу.

— По-моему, несложно, — повторила она. — Все кругом уже пятнадцать месяцев живут в разлуке с семьями. Слухи, беспокойные мысли, свои письма, чужие письма... До свидания. Я должна идти.

— Слышите, какой обстрел? — сказал Гожев. — Переждите.

— Это не по нашему краю бьют. Я дойду спокойно...

— Позвольте, позвольте! — перебил ее Криницкий, волнуясь. — Что это значит — чужие письма?

— Ну, письма, которые получаете не вы, а другой, — ответила она, кивнула и шагнула к двери.

— Я провожу вас! — воскликнул Завойко и схватил свой реглан.

Она сразу нахмурилась.

— Я думала, меня проводит Сергей Филиппыч, — холодно сказала она и глянула в темный угол, откуда блестели очки Устиновича. — Ему скоро на дежурство.

Устинович сразу встал с койки, шагнул вперед, взял свою шинель.

И в то же мгновение Завойко, большой, широкий, преградил ему дорогу, став между ним и дверью.

— Он не пойдет! — сказал Завойко.

Крепкая шея его побагровела, черные брови сдвинулись, кулаки сжались. Устинович не произнес ни слова и не сдвинулся с места. Тоненький, тщедушный, стоял он перед Завойко, приподняв узкое желтоватое лицо, и смотрел на него сквозь очки спокойно и печально.

Тогда заговорил Гожев. Голосом мягким и сдержанным, в котором, однако, ясно чувствовалось, что говорит командир, он сказал:

— Сегодня Елену Андреевну может проводить наш гость, товарищ Криницкий.

Завойко сразу разжал кулаки и сел на койку.
— Конечно, конечно! — воскликнул Криницкий, поспешно надевая шинель и фуражку. — Я, я провожу вас! Мне все-таки необходимо узнать, каким образом...

Елена Андреевна была уже за дверью и шла вверх по наклонному проходу. Он поспешил за нею. Последнее, что он слышал, были слова Гожева, сказанные ему вслед:

— Товарищ интендант, не забудьте: сегодня пароль — «Одиннадцать».

7

В черном небе сверкали крупные осенние звезды. Когда взрывался снаряд, полнеба охватывало зарево вспышки, становилась видна ломаная линия леса, окружавшего летное поле, и звезды на мгновение гасли. Вздрагивала земля, вздрагивал весь громадный воздушный океан над головой. Взрывы эти казались Криницкому совсем близкими, но, по-видимому, он ошибался, потому что Елена Андреевна не обратила на них никакого внимания. Она быстро зашагала по тропинке к лесу, и Криницкий пошел за нею, с трудом поспевая в темноте.

— А вы знаете, что такое «Одиннадцать»? — спросила она, не оборачиваясь.

— Нет. Но я хотел не о том... — заговорил Криницкий торопливо.

— Это пароль по аэродрому на сегодняшнюю ночь, — объяснила она, не обратив внимание на его слова. — Каждый вечер число меняется.

Тропинка уже вошла в лес, темные деревья обступили их с обеих сторон, и небо текло над ними, как узкая звездная речка.

— Сейчас нас остановит часовой и назовет какое-нибудь число, — продолжала она. — А мы должны будем назвать разницу между его числом и одиннадцатью. Поняли?

— Как вы могли догадаться, что я все узнал из чужих писем? — спросил Криницкий, занятый своим и не слушая ее. — Ведь вам никто не мог рассказать...

- Я вовсе не догадалась, — ответила она. — Я так сказала... А вы все узнали из чужих писем?
- У меня есть один сослуживец, и семья его тоже в Челябинске, — сказал Криницкий.
- Ваша семья в Челябинске?
- Была в Челябинске. До июня. Жена и двое детей. Девочки-погодки. Старшей уже десять лет.
- Теперь их нет в Челябинске?
- Они недалеко оттуда, в пятнадцати километрах, на опытной сельскохозяйственной станции. Жена там работает.
- Так это хорошо, — сказала Елена Андреевна. — Там, конечно, сытнее.
- Жена мне так и писала, — подтвердил Криницкий, но по голосу его было ясно, что не видит в этом ничего хорошего. — Она и теперь часто бывает в Челябинске.
- И встречается там с женою вашего сослуживца.
- Ну да.
- И жена сослуживца пишет в письмах к мужу про вашу жену, а муж показывает эти письма вам? И это вас мучает! — воскликнула Елена Андреевна. — Да ведь это же сплетни!
- Никаких сплетен она не пишет, — возразил Криницкий. — Она пишет только, каким образом моя жена устроилась работать на опытную станцию...
- Ее, конечно, кто-нибудь устроил...
- Ну да, один ученый-агроном, — сказал Криницкий с ненавистью и презрением.
- Ваша жена познакомилась с ученым-агрономом?
- Она давно его знала! В том-то и дело, что... — начал Криницкий, ужасно торопясь, решившись вдруг все рассказать и чувствуя от этого неожиданное облегчение.
- Но тут звонкий мальчишеский голос окликнул их из темноты:
- Восемь!
- Криницкий вздрогнул, остановился и замолчал, недовольный, что его перебили. В темноте под елью он смутно видел фигуру краснофлотца с винтовкой.

— Три! — ответила Елена Андреевна, и они пошли дальше.

— Дело в том, что этого агронома я тоже давно знаю, — сразу же продолжал Криницкий, летя, как с горы, спеша рассказать все-все. — Он наш, ленинградский, работал здесь до войны в сельскохозяйственном институте. Года три назад жена познакомилась с ним где-то по своим служебным делам. И он... и он... И я... и я...

— Вам не понравилось это знакомство?

— У нас чуть до развода не дошло. Одну осень мы с ней прожили, как в бреду. Я говорил: «Либо я, либо он». Ведь правильно? И она дала мне честное слово никогда больше с ним не встречаться.

Они дошли уже до входа в землянку продчасти. Елена Андреевна остановилась и обернулась к Криницкому.

— Дурак я! — воскликнул Криницкий, и голос его задрожал от гнева и муки. — Какой я дурак, что тогда не развелся!

— Счастливый, — сказала Елена Андреевна тихо.

Криницкий не понял. Она издевается, что ли? Вглядываясь в ее слегка приподнятое лицо, смутно белевшее в темноте, он спросил:

— Кто счастливый?

— Вы, вы счастливый! — сказала она искренне и мягко. — Вы не знаете, какой вы счастливый!

— Почему?

— Вам есть кого ревновать!

Он стоял, взволнованный ее словами, и старался сквозь темноту взглянуть в ее лицо, но не мог, так как она опустила голову.

— Как я когда-то ревновала! — сказала она. — Если бы я тогда знала, как я счастлива!..

Голос ее дрогнул и странно сорвался.

Взрыв снаряда озарил небо, и при мгновенном свете он увидел ее неуклюже сгорбившиеся плечи и понял, что она плачет. Он вспомнил, что она потеряла мужа.

После вспышки стало еще темнее, и она долго стояла перед ним в темноте и бесшумно плакала о муже, а он молчал, полный внезапной жалости к ней и с удивлением чувствуя, что боль, которая

столько дней не покидала его ни на минуту, слабеет, утихает.

Она внезапно вытерла лицо рукавом и сказала:
— Простите меня.

И шагнула к низенькой двери, ведущей в землянку.

— Нет, это вы меня простите,— сказал он, чувствуя себя виноватым перед нею, хотя и не знал в чем.

Она уже скрылась за дверью.

Он постоял еще несколько секунд, потом повернулся и быстро зашагал по тропинке назад. Впервые за столько дней странное ощущение покоя охватило его. Он шагал, смотрел на звезды, мелькающие сквозь ветки, весь охваченный нежностью к жене.

— Тринадцать! — раздался звонкий голос из темноты.

Криницкий остановился. Что это? Он должен что-то ответить, но что именно? Нужно прибавить... или отнять... Провожая его в конце июня прошлого года на Балтийском вокзале, жена все прижималась к его щеке и шее мокрым от слез лицом, потом отодвигала его руками, смотрела на него и опять прижималась...

В темноте под елкой что-то шевельнулось, и свет звезд блеснул на стволе поднятой и выставленной вперед винтовки.

— Два! — выговорил, наконец, Криницкий.

— Проходите, товарищ интендант третьего ранга, — весело сказал часовой.

«О чем это я сейчас думал? — старался вспомнить Криницкий. — О таком хорошем... Да! Пускай... Не может этого быть, чтобы она меня разлюбила...»

8

Утром на аэродром прилетели из-за моря истребители. Ветренный, пронизанный холодным осенним солнцем воздух был прозрачен, и немцы отлично видели, как они шли на посадку. Обстрел начался сразу же, черные столбы дыма и поднятой взрывами земли побежали через все просторное травянистое

поле от одного края к другому. Истребители садились уже между этими столбами, и взвихренная к небу галька стучала, осыпаясь, по их деревянным плоскостям, как картечь. Лавируя между взрывами, к ним стремительно подкатили бензозаправщики, чтобы как можно скорее влить бензин в их опустевшие за перелет баки. Аэродром весь гудел и гремел, люди, то падая, то вскакивая, работали у самолетов, а ветер нес через их головы то клочья дыма, то смерчи из красных и золотых листьев.

Потом со стороны моря донесся новый звук, он быстро крепнул, приближаясь, и над аэродромом низко проплыли одна за другой три эскадрильи советских бомбардировщиков. Они здесь не собирались садиться, они прошли дальше на юг — бомбить скопления немецких войск у Ропши, и только распластанные тени их скользнули по дрожащей на ветру траве. Истребители сразу же взлетели, чтобы сопровождать их, и пристроились к ним в воздухе, уже за лесом. Немцы мгновенно усилили огонь, и черные столбы взрывов опять побежали по летному полю, но уже пустому, безлюдному.

Часа через два Криницкий принял участие в экспедиции, отправившейся за нашим самолетом, сбитым немцами и упавшим в лес возле передовой. Из армейских частей сообщили, что летчик унесен и похоронен бойцами, а самолет, кажется, поврежден безнадежно; однако Завойко заявил, что необходимо его посмотреть.

— Хоть что-нибудь да уцелело, — сказал он капитану Гожеву. — А нам все пригодится.

Инженера Завойко сопровождали, кроме Криницкого, пятеро мастеров-краснофлотцев из его мастерской, двадцатилетних мальчиков. Они углубились в лес, беспрестанно перелезая через поваленные снарядами стволы. Они шагали по жестким зарослям брусники и нагибались, чтобы сорвать на ходу твердую красную ягоду с белым брюшком.

Впрочем, все очень торопились, потому что Завойко шел впереди и надо было не отставать от него. Свое большое полное тело нес он легко и весело, даже мальчишески подпрыгивая на ходу. Круглое лицо его с ямочкой на щеке оживленно сияло.

Он увлечен был и целью похода и всем, что встречалось на пути. С явным удовольствием ступал он по мягкому мху, оседавшему у него под ногами, перепрыгивая с кочки на кочку через черные лужи болотца, раздвигая руками сплетения ветвей. Иногда, заметив у ног своих ягоду, он тоже, подобно своим краснофлотцам, нагибался, чтобы сорвать ее. Вообще он вел себя почти как они и держал себя с ними товарищески и просто, хотя был их командиром. Когда один из них нашел в траве маленькое покинутое птичье гнездо, он подбежал к нему с тем же детским любопытством, как и все остальные. Он вместе со всеми принял участие в преследовании белки, которую внезапно обнаружили на сосне, и бежал за нею, и улюлюкал, и, подобно остальным, швырял в нее шишками, пока она, перепрыгивая с дерева на дерево, не исчезла. Однако при всей беззаботной простоте их товарищеских отношений дисциплина не нарушалась. Бойцы любили его и дорожили его мнением о себе — это легко было заметить по той поспешности, с которой они стремились выполнить всякое его поручение, по тому, как заглядывали ему в лицо, чтобы угадать его мысли, и как легонько отпихивали друг друга, чтобы идти с ним рядом.

Самолет И-16, подняв хвост кверху и зарывшись толстым носом в землю, диковинно торчал среди широкой лесной прогалины, покрытой бледно-лиловыми цветочками вереска. Летчик, по-видимому, надеялся посадить его на этой прогалине, потому что успел выпустить шасси, но самолет, должно быть, уже плохо его слушался, да и прогалина была слишком коротка для посадки. Криницкому самолет показался исковерканным безнадежно — обломки винта, разорванного на причудливые щепки, валялись повсюду, широкий круглый мотор воздушного охлаждения целиком ушел в землю, а фюзеляж был смят и деформирован.

— Ну как? — спросил он у Завойко. — Зря пришли?

Завойко ничего не ответил, даже не расслышал его вопроса — так он был поглощен самолетом. Медленно обходил он самолет вокруг, сдвинув черные

брови, осматривал и молчал. Краснофлотцы двигались вслед за ним, разглядывая самолет с тем же вниманием, что и он, и тоже молчали. Они не считали возможным сказать что-либо, прежде чем скажет он.

— Угу, — произнес Завойко наконец. — Понятно.

Всем было понятно, кроме Криницкого. Он ничего не смыслил в технике. О намерениях Завойко он не догадался даже тогда, когда самолет был отрыт и поставлен в горизонтальное положение. Завойко долго разглядывал мотор, сплюснутый ударом и забитый землей. Изредка он обменивался со своими помощниками короткими замечаниями, смысла которых Криницкий уловить не мог. И только когда начали сооружать из жердей треногу, чтобы водрузить на ней исковерканное тело самолета, он убедился, что Завойко решил волочить самолет на аэродром.

В треногу впряглись все, а Криницкий даже с особым усердием, потому что чувствовал неловкость от сознания своей бесполезности. Впрягся и Завойко и поразил Криницкого своей силой — оказалось, он был много сильнее любого из своих бойцов. Едва они выволокли самолет на поросшую травой лесную дорогу, как их обстрелял «мессершмитт».

Они давно уже видели его, кружащегося высоко в ясной синеве, и понимали, что он следит за ними. Внезапно он сорвался со своей прозрачной, пронизанной солнцем высоты и пошел прямо на них — почти вертикально. Он уже вел огонь, и дождь пуль шумел в широких лапах елок.

Криницкий упал не сразу — от растерянности, и Завойко сбил его с ног сильным ударом в спину и сам навалился на него, прикрывая его своим телом.

«Мессершмитт» вышел из лике над самым лесом и, оглушительно воя мотором, стал уходить вверх. Краснофлотцы, укрывшиеся под елками, били ему вслед из винтовок. У Завойко и Криницкого винтовок не было. Завойко не давал Криницкому встать и всю тяжестью прижимал его к земле, потому что опасался что «мессершмитт» атакует их снова. И опасения его оправдались — проклятый «мессер-

шмитт» обстрелял их еще дважды. И Криницкий почти задохнулся под тяжестью Завойко к тому времени, когда тот, наконец, поднялся и дал ему встать.

Они снова впряглись.

— Я вас, кажется, немного помял, интендант? — сказал Завойко с грубоватой застенчивостью, оглядывая Криницкого сбоку. — Но уж такое дело. Извините.

У Криницкого ныла спина, болели колени, локти, грудь. Он ничего не ответил, но с удивлением посмотрел на этого чужого ему человека, который, не колеблясь, подставил под пули свою спину, чтобы заслонить его. Криницкий не сумел выразить своих чувств и понимал, что выражать их нет никакой надобности.

Навстречу им послали трактор-тягач, и через полчаса искалеченный самолет был уже на аэродроме, в ремонтной мастерской, наполовину врытой в землю и заслоненной с юга, со стороны обстрела, земляным валом.

К ремонту приступили немедленно. План ремонта уже целиком сложился у Завойко в голове, и он весь был охвачен стремлением осуществить его возможно скорее. Однако он по-прежнему был молчалив, никому ничего не объяснял и не обещал никаких результатов. Даже Гожеву, зашедшему в мастерскую и вызвавшему сомнение, что самолет этот когда-нибудь полетит, он сказал:

— Не знаю... Увидим...

— Ну-ну, ладно. Действуйте, — ответил Гожев, и ясно было, что он, наученный опытом, верит в возможность починить этот, казалось бы, безнадежный самолет, раз Завойко говорит «увидим».

Криницкий ничем не мог помочь в ремонте, ничего не понимал в нем, однако ему не хотелось уходить. Он сидел на березовом полене, следя за работой. Самолет разбирали на составные части и внимательно оглядывали каждую деталь. Помощникам своим Завойко тоже ничего не объяснял, но они давно уже научились догадываться без объяснений. Они понимали его по движениям рук и глаз, как оркестранты понимают своего дирижера. Они были охва-

чены азартом работы совершенно так же, как он. Каждый из них испытывал гордость, когда угадывал его замысел, и приходил в уныние, когда он говорил весело и беззлобно:

— Эх ты, валенок...

Это были рабочие в краснофлотских робах, мастеровые, влюбленные в свое мастерство. Умение, сноровку, работу они ценили высоко и с одобрением слушали, когда Завойко, роясь в моторе, рассуждал, обращаясь к Криницкому:

— Мы бы не работали — летчики не летали. А вы думаете как? Нет, без нас не полетишь. Все на свете делается работой. И война — работа. И победа — работа.

— А подвиг? — спросил Криницкий.

— И подвиг — работа, — ответил Завойко. — Отличная работа. Все наши летчики-герои — отличные работники.

Летчиков-истребителей, время от времени садившихся на аэродром, знали они мало, но восхищались ими, с восторгом повторяли их прославленные имена. Однако это восхищение, это чувство восторга не шло ни в какое сравнение с той живой и простой любовью, которую испытывали на аэродроме к единственному «своему» летчику — к Сане Терехину.

Терехин жил здесь, с ними, и они видели его каждый день. Они наизусть знали его старенький маленький связной самолетик, потому что после каждого перелета он попадал к ним в ремонт. Самолетик этот, на котором Криницкий перелетел в качестве пассажира через Финский залив, давным-давно отслужил свой законный срок и множество раз был пробит пулями «мессершмитгов». Говорили, что сам Завойко, постоянно его ремонтирующий, не понимает, каким образом он еще может летать. Уверяли, что, кроме Сани Терехина, ни один летчик, даже самый опытный, не умудрился бы поднять его в воздух. А между тем Саня Терехин каждую ночь перелетал на нем через море и возвращался обратно.

Каждый перелет Терехина был подвигом, потому что над морем рыскали «мессершмитты», а самолет

был тихоходен и не имел никакого оружия. Когда Терехин улетал, весь аэродром ждал его возвращения. Рассказы о его приключениях Криницкий слышал от всех. Особенно известен был один его перелет, совершенный нынешним летом, светлой белой ночью.

Только Терехин поднялся, как встретил над лесом два «мессершмитта». Они сразу заметили его самолет и стали подходить к нему: один — справа, другой — слева. Сесть было некуда, и положение казалось безнадежным.

Терехина выручила длинная просека в лесу. Он вскочил в эту просеку и пошел по ней, держась над самой землей. Просека была узкая, и края плоскостей самолета почти задевали стволы сосен.

Расчет оказался правильным. «Мессершмитты», слишком большие, не рискнули войти в просеку. Летя над Терехиным, они обстреливали его, но безуспешно.

Однако просека была не бесконечна. Она выходила на берег моря, и Терехин, выскочив из нее, оказался над водой. «Мессершмитты» кинулись к нему разом. Теперь гибель его казалась неизбежной. Но он заметил на берегу какую-то деревянную дачку, развернулся и направился к ней. Прижавшись к самой земле, он завертелся вокруг дачки, укрываясь за ее стенами от длинных пулеметных очередей «мессершмиттов».

«Мессершмитты», обладавшие гораздо большей скоростью, чем он, и, следовательно, меньшей маневренностью, не осмеливались подходить к дачке так близко. Он вертелся вокруг дачки по малому кругу, а они по большим кругам. Они вели огонь, но все мимо, мимо.

Однако Терехин понимал, что в конце концов они попадут в него. В нескольких километрах от берега, на Кронштадтском рейде, стояли корабли Балтийской эскадры. Кружась, он сквозь прозрачные сумерки летней ночи видел их черные силуэты на фоне громадной непотухающей зари, охватившей весь северный край горизонта. Улучив мгновение, он оторвался от дачки и понесся к кораблям, распластавшись низко-низко, над самой водой. «Мессершмитты»

на несколько секунд потеряли его из виду, потом пустились за ним в погоню. Вода вскипала вокруг Терехина от пулеметных струй, и все-таки он успел прорваться к кораблям. На кораблях заметили немецкие истребители и открыли по ним зенитный огонь. «Мессершмитты» разом повернули и ушли назад, на юг, растаяв в сумерках. Тогда Терехин оставил корабли и пошел своим путем — через море на северный берег.

Так в течение целого года проходили ночи Сани Терехина. Дни он проводил на аэродроме. И все кружил в лесу возле землянки продчасти, как тогда кружил возле дачки на берегу моря. И всем это было известно, но говорить об этом избегали. Потому что слишком уж то была горячая тема — землянка продчасти. И касалась она не только одного Сани Терехина.

Боль, терзавшая Криницкого столько дней и ночей и вдруг отпустившая его после коротенького разговора с Еленой Андреевной, опять возвратилась к нему. Опять Криницкий нес ее с собой повсюду, она сопровождала его и в лес и в мастерскую Завойко, он по-прежнему жил с этой болью, засыпал, просыпался и по-прежнему скрывал ее от окружающих. Мысли о жене, об опытной станции, об агрономе мучили его, как и раньше.

И все же боль эта была уже не совсем прежней. Она изменилась. В ней стало меньше ожесточенности и обиды, к ней примешалось что-то грустное, мягкое.

В течение всех долгих месяцев с начала войны жена писала ему каждые два-три дня. Он всегда ждал этих писем, волновался, когда они задерживались, перечитывал их по многу раз, оставшись наедине. Это были письма, полные заботы о нем, тоски и тревоги. Она в них подробно рассказывала о всех мелочах своей трудной жизни с детьми в далеком незнакомом краю и никогда не упоминала ни о том агрономе, ни о том разладе, который был между ними в последние годы перед войной. И Криницкий верил, что все то, прежнее, прошло навсегда, бесследно, что война, несмотря на разлуку, укрепила их отношения, сделала их ближе друг к другу. И

когда он случайно узнал, как и почему она переехала из Челябинска на ту опытную сельскохозяйственную станцию, его больше всего поразило и оскорбило лицемерие.

Писать ему такие письма и в то же время... Ложь, обман, надругательство!.. Его корчило от боли и обиды, и он, измученный собственным гневом, изобретал один план за другим, как бы уязвить ее сильнее, причинить ей такую же боль.

Разумеется, между ними все кончено. Никогда! Он сам ей напишет письмо, последнее, где скажет все, все, что он о ней думает. Или нет, — если он ей напишет, она начнет оправдываться, опять лгать. Он ничего больше писать не будет, он больше не станет читать ее письма, не станет даже вскрывать их, а так, невскрытыми, будет отправлять обратно. Когда она получит назад свои письма, она поймет, что он все знает и что между ними действительно все кончено... Он нарочно уехал в командировку, чтобы в редакции накопилось побольше ее писем. Пускай побеспокоится, не получая ответов. А потом разом получит свои письма и увидит, что он их даже не читал!..

Так думал он еще сутки назад, но теперь его мысли слегка изменились. Почему? Потому что он стал думать о детях? Неправда. Он думал о детях с самого начала. Он с самого начала понимал, как это ужасно отразится на них. Но что можно сделать? Можно поступить так: написать спустя некоторое время старшей девочке письмо и постараться все объяснить ей. Впрочем, это жестоко и бессмысленно: что она поймет?.. Нет, мысли его изменились не из-за этого. Он стал думать иначе после разговора с Еленой Андреевной... Да что она ему сказала такого? Что он счастливее? Глупости! Вот так счастливеец!.. Ничего она ему важного не сказала, а просто, заплакав, пробудила в нем сомнение. И жалость к жене... И он словно опомнился. А когда он пожалел жену и опомнился, его собственная боль стала легче.

И, вспоминая о маленькой женщине из продчас-ти, которая облегчила его боль, он думал: «А ведь она славная...»

Политрук Чирков забрел в мастерскую Завойко только к вечеру, когда Криницкий собрался уже уходить. Дверь мастерской была раскрыта настежь, за ней виднелось просторное поле аэродрома. Вечерняя синь клубилась над полем, ветреный красный закат висел над дальним темным лесом.

Чирков только что закончил политинформацию в автороте, и бойцы автороты проводили его до самой мастерской. Из всех своих обязанностей больше всего любил он политинформации. Ему нравилось быть на людях, с людьми, и с каждым человеком на аэродроме он находился в особых отношениях, очень личных. Его политинформации всегда превращались в беседу, в спор, в совместную мечту, задевали множество самых разных вопросов, уходили в прошлое, в будущее. Он разгорячался сам и возбуждал других.

Такой разгоряченный, взволнованный, весь еще полный разговоров и мыслей, забежал он в тот вечер на минуту в мастерскую — посмотреть самолет. С Криницким они вышли вместе. Они зашагали по тропинке через темнеющее поле, и отсвет заката пылал на его радостно оживленном лице.

В сумерках, шагах в тридцати от раскрытой двери мастерской, стояли двое. Одного из них Криницкий узнал сразу — старший лейтенант Устинович. Перед Устиновичем — маленький краснофлотец в сапогах. Только подойдя ближе, Криницкий понял, что этот краснофлотец — женщина. С Устиновичем стояла Елена Андреевна. Когда Чирков и Криницкий поравнялись с ними, она повернулась и приложила правую руку к виску.

Они прошли мимо. Криницкий взглянул сбоку в лицо Чиркова и был поражен переменой. Радостное оживление сошло с него бесследно, Чирков угрюмо и насупленно смотрел в землю.

— Ошибка комиссара дивизии, — проговорил он сквозь зубы.

— О ком это вы? — спросил Криницкий.

— О ней.

— Ошибка? — удивился Криницкий. — Почему же ошибка?

— Потому что комиссар дивизии позволил ей жить здесь.

— А почему же не позволить? — спросил Криницкий.

— Потому что она поступает безобразно!

Чирков отвернул лицо и замолчал. Криницкий давно уже заметил, что Чирков не любит Елену Андреевну, и не собирался вмешиваться в их отношения. Но теперь он возмутился.

— Зачем вы так говорите? — спросил он довольно резко. — Она распутница, что ли?

— Если бы она была распутница, это было бы еще не так плохо, — сказал Чирков. — Тогда ее в два счета выставили бы с аэродрома — и все. Да в распутниц никто и не влюбляется. Нет, она не распутница. Она хуже, хуже!..

— Что же она делает плохого?

— Все, что она делает, — это... это...

Он не сразу нашел подходящее выражение, потом выговорил:

— Дурная игра!

Слова эти показались ему такими точными, что он повторил их:

— Дурная игра! Да вы видите, что здесь творится?

— Вижу, — сказал Криницкий. — Она многим нравится.

— Нравится! — Чирков рассмеялся. — В нее влюблены! Смертельно! До гибели!

Он проговорил это с таким пылом и убеждением, что Криницкий приостановился и внимательно посмотрел на него.

— Взгляните на Устиновича, — продолжал Чирков, торопливо шагая. — Он высох, перестал разговаривать, ничего не ест, он только работает да читает, живет как во сне, а когда она приходит, молчит и глядит на нее сумасшедшими глазами...

— Мне показалось, что инженер Завойко тоже... — сказал Криницкий неуверенно.

— Завойко! — воскликнул Чирков. — Вы заметили, что творится с Завойко! Когда ее нет, он — человек, да какой человек, такого человека на тысячу не

встретишь. А она приходит и обжигает его, как горячий уголь. И он корчится, буквально корчится на глазах у всех. Больно смотреть.

— И еще этот ваш летчик... как его... Терехин...

— И этот мальчишка туда же! Да она его старше, она одних лет с Завойко. Вот и вышла бы за Завойко замуж. Она должна выйти за Завойко!

— Почему должна?

— Потому что он любил ее, еще когда Кудрявцев был жив. Он был другом Кудрявцева и ни слова не говорил ей о своей любви, но она-то знала — такие вещи женщины всегда знают. Завойко спас ее, больную, от немцев. Чем он ей не хорош? Да лучшего человека в дивизии не найти!

— Вы очень любите Завойко?

— Мы с ним друзья,— сказал Чирков смущенно, с мальчишеской застенчивостью.— Хотя часто ссоримся...

— Из-за нее?

— Из-за нее. Он всегда ее защищает. А я считаю, что она обязана... Я не из дружбы, я из справедливости. По справедливости она должна за него выйти...

— Ну, справедливость в таком деле еще не резон...

— Не резон! — повторил Чирков запальчиво.— Вот и вы рассуждаете, как Гожев: «Жениться на фронте? Несерьезно». Знаете, какой он. Для него было бы серьезно, если бы можно было домик построить, поросенка завести, огурцы солить. А как же на фронте огурцы солить? Вот и несерьезно. Как же несерьезно, если она мучит столько живых людей!

— Все я не рассуждаю, как Гожев, — сказал Криницкий. — Я только думаю, что, как бы ни был Завойко хорош, она не обязана выходить за него. Она, кажется, предпочитает Устиновича...

— Предпочитает? — воскликнул Чирков.— Никого она не предпочитает. Она сталкивает лбами двух хороших товарищей, двух испытанных друзей, и доведет их обоих до беды. Чувствует свою власть и куражится. Дурная игра!

— Нет, позвольте, откуда же у нее власть такая? — спросил Криницкий недоверчиво. — Внешность у нее скромная, ничем особенно не замечательная...

— Как будто здесь дело во внешности!

— А в чем же?

— В душевности, — сказал Чирков, подумав. — Она умеет понять, что у человека лежит на сердце, и сказать самое для него главное.

Эти слова поразили Криницкого. Он опять остановился и с изумлением взглянул на Чиркова.

— Какая же тут вина! — воскликнул он в негодовании. — Нельзя же ее винить за то, что в нее влюбляются! И если она не любит Завойко, она не виновата!

— Пускай не любит! Пускай не выходит за него замуж! Ее дело. Но зачем же она над ним издевается? Какое она право имеет? Она каждое слово его превращает в глупость, дразнит его, как быка. Его легко дразнить — знаете, какой он самолюбивый. Он перед ней беззащитен, а она дразнит, дразнит.

— Да, она очень странно и недружелюбно ведет себя с ним, — согласился Криницкий. — Я действительно не понимаю...

— А что понимать! — перебил его Чирков. — Горе свое на нем вымещает. Выдумала про него скверную басню и теперь, видите ли, простить ему не может. Он будто бы ее тогда спасал, а мужа ее спасти не хотел. Когда самолет Кудрявцева упал в лес, Завойко будто бы не пошел искать, не узнал, жив ли Кудрявцев, а кинулся ее вывозить с аэродрома. Из трусости, что ли, или чтоб она стала его женой... Похоже это на Завойко, а?

— Непохоже, — сказал Криницкий.

— Ведь немцы тогда подходили к аэродрому, и, если Завойко не пошел в лес, значит, он твердо знал, что туда прохода нет... Сочинила глупую басню и бьет теперь беспощадно по человеку, который жизнь бы за нее отдал!

Чирков задохнулся от волнения, хлебнул воздуха и яростно прибавил:

— Ненавижу!

Козырнул и пошел в сторону, в темноту, оставив Криницкого одного.

Уж почти стемнело, и Криницкий, оставшись один, вдруг обнаружил, что не совсем ясно себе представляет, как пройти к зарытой избе, в которой он жил. В темноте поле казалось огромным, безграничным. Криницкий пошел наугад к смутно различимому лесу, помня, что зарытые избы находятся где-то возле опушки. Но к лесу он вышел в незнакомом месте. Вдоль леса вилась дорога, светлая от пыли, накатанная грузовиками и бензозаправщиками; она шла вокруг всего аэродрома, то пропадая в кустах, то выбегая на край поля. Криницкий остановился, подумал и свернул по дороге направо.

Ветер шумел в темных деревьях, падающие листья поминутно касались его щек. Он быстро шагал, дыша влажным ветром и поглядывая вверх, на уже ясно обозначившиеся звезды. И вдруг почувствовал, что следом за ним кто-то идет.

Он именно почувствовал это, потому что слышать шаги в шуме деревьев не мог.

Он обернулся.

Позади, на изгибе дороги, видны были темные купы кустов. Если там находился человек, он сливался с этими кустами, и различить его было невозможно.

Криницкий пошел дальше. Теперь он уже твердо знал, что его кто-то преследует. Не просто идет в одном с ним направлении, а преследует: чуть Криницкий замедлит шаги — и тот, другой, замедлит шаги.

Дойдя до открытого места, Криницкий повернулся внезапно и резко.

На этот раз он отчетливо увидел человека, который поспешно метнулся в сторону, к кустам. Однако, поняв, что его обнаружили, до кустов не добежал, а застыл посреди дороги, пристально глядя на Криницкого сквозь мглу. Криницкий тоже стоял неподвижно и, не отрываясь, глядел на своего преследователя.

Так, в молчании, простояли они минуты две. Человек, смотревший на Криницкого, был крупен и широк, как медведь. Фуражка военная.

Внезапно он двинулся с места и шагнул к Криницкому. Криницкий продолжал стоять.

— А, это вы! — услышал Криницкий досадливый возглас и узнал инженера Завойко.

Кожаного реглана на Завойко не было. Он выбежал из мастерской как был — в рабочем комбинезоне, перетянутом ремнем, с которого свисала большая кобура пистолета ТТ.

— Это вы! — повторил он раздраженно. — А где же они?

— Кто? — спросил Криницкий.

— К черту! — воскликнул Завойко, вне себя от досады. — Я принял вас за него и пошел за вами. Я видел их через дверь. Где же они? Куда он повел ее?

Он дрожал от раздражения и гнева и, кажется, ненавидел Криницкого за то, что не узнал его в темноте.

— Он был с ней, а потом, смотрю, идет один. Я увязался за вами и дал ему уйти! А, черт! — чертыхнулся он снова. — Ну нет, я его еще догоню!

Махнув на Криницкого рукой, он повернулся и побежал по дороге обратно. Пистолет в кобуре, раскачиваясь, бил его по бедру. Его широкая спина растворилась в темноте, но еще долго было слышно, как он бежит вдоль края леса и как стучат его сапоги.

Криницкий продолжал стоять. Ему было ясно, кого хотел догнать Завойко. Из мастерской через раскрытую дверь Завойко увидел Устиновича и Елену Андреевну. Он не совладал с ревностью, выскочил и побежал за ними. Криницкий вспоминал его дрожь и его бешенство и не знал, что делать. Особенно почему-то не выходил у него из головы пистолет, болтавшийся у Завойко на ремне. Конечно, на аэродроме всегда все ходят с оружием, но теперь мысль об этом пистолете тревожила его...

И Криницкий решился. Он двинулся обратно за Завойко. Сначала он шел неторопливо, но чем дальше, тем сильнее становилась его тревога и тем быстрее он шагал. Он не знал, чем может кончиться встреча Завойко с Устиновичем, он ожидал чего угодно, самого ужасного. Он уже бежал, бежал во весь дух, и ветки в темноте хлестали его по лицу.

И вдруг услышал впереди голоса.

Он мгновенно замер, вслушиваясь и вглядываясь.

Завойко и Устинович стояли за большим черным

кустом, который огибала дорога, и он налетел бы на них, если бы не остановился.

Слов Завойко Криницкий не разобрал. Завойко свирепо и невнятно гудел, угрожая наступая на Устиновича, взмахивая руками.

— Зря. И все ты зря, — сказал ему Устинович ласково и безнадежно.

— Ну нет, не зря! — закричал Завойко. — Я не слепой, я все вижу, я все знаю! Нет, не зря!

— Зря, — повторил Устинович.

— Зря? Почему зря?

— Потому что она меня не любит, — сказал Устинович. — Ни вот столько. И не полюбит никогда.

Завойко замолчал. Долго молчал. Потом спросил:

— Правда?

— Правда, — ответил Устинович.

Он положил руку на рукав Завойко, и так, в молчании, они долго стояли друг перед другом.

— А меня она ненавидит! — сказал Завойко, и голос его дрогнул от боли.

— Неверно, — возразил Устинович.

— Нет, верно! — воскликнул Завойко. — Ненавидит! Как она со мной разговаривает!

— Простить тебе не может. Уверяет себя, что не может простить.

— Да что прощать! — воскликнул Завойко в отчаянии.

— Что ты ее вывез, а его не нашел.

— Но ведь ты-то все знаешь!..

— Я знаю. Только мы с тобой вдвоем и знаем...

— Ты ведь ходил со мной в лес и видел, что он мертвый сидел в самолете!

— Все-таки я на твоём месте все бы ей рассказал, — проговорил Устинович. — Ну, первое время она больна была, не стоило ей рассказывать. Но уже больше года прошло...

— Она до сих пор надеется. Ты сам знаешь.

— Но ведь надо же ей когда-нибудь сказать! Хочешь, я ей скажу?

— Не смеешь! — крикнул Завойко. — Ты обещал, что не скажешь, пока я жив!.. Так не скажешь?

— Ну, раз ты не хочешь...

Криницкий понял, что встреча Завойко с Устино-

вичем окончится мирно и что беспокоиться нечего. Стараясь не шуметь, он повернулся и пошел прочь. Навстречу ему с запада подымалась темная туча, проглатывавая звезды — одну за другой.

Ночью пошел дождь и лил, не переставая, весь следующий день.

Всю первую половину этого дня Криницкий сидел один в зарытой избе и писал очерк «Остающиеся на земле». О тех людях авиации, которые сами не летают, но без которых летчики не могли бы ни летать, ни сражаться. Об аэродромщиках, эксплуатационниках, мотористах, оружейниках, ремонтниках. О всех тех, про кого так часто забывают наши газеты, обычно прославляющие только непосредственных участников воздушных боев.

Он описал зарытую в земле прифронтовую деревушку, поход в лес за упавшим самолетом, нападение «мессершмиттов», маленькую ремонтную мастерскую, где из кучи перебитого хлама за несколько дней воссоздаются боевые машины. В вопросы техники он, разумеется, не углублялся, потому что не всякого читателя они интересовали, да и сам он был в них не силен. Он стремился показать, как люди относятся к своему делу. В очерке, естественно, нашлось место и для комсомольцев-зенитчиков, и для летчика, каждую ночь перелетающего через море на безоружном связном самолете, и для мечтателя-пропагандиста, пылко верящего в победу, в будущее и утверждающего, что мы живем на заре человеческой истории.

Криницкий писал о том, что видел вокруг себя, и потому ему казалось, что очерк у него получается живой, яркий. Задача, которую он перед собой поставил, казалась ему нужной и важной. Однако он не был убежден, что такой она покажется и редакции. Это так его беспокоило, что он позвонил на КП, и дежуривший там старший лейтенант Устинович, преодолев множество трудностей, соединил его по телефону с Ленинградом, с редактором. Криницкий старался говорить как можно убедительнее, но слыши-

мость была неважная, аргументировать было трудно, и редактор, кажется, не заразился его пылом.

— Ну что ж, пишите, — ответил он. — Посмотрим.

Этот ответ несколько расхолодил Криницкого, но ненадолго. В конце концов, такой очерк можно послать и в центральные газеты. Там поймут, там уровень понимания повыше, и о людях прифронтового аэродрома прочтет вся страна. Его не отвлекло от работы даже то, что редактор сказал в конце разговора:

— Между прочим, на ваше имя в редакцию пришли два письма. Я велел положить их на тумбочку возле вашей койки...

Это, безусловно, были те самые письма, которые он решил, не распечатав, отправить обратно. К его удивлению, он испытал странную радость, узнав, что они пришли. Он не отказался от своего решения, вовсе нет, он только подумал, что у него еще есть время обсудить с самим собой, как поступить. Может быть, он не эти письма отправит нераспечатанными, а следующие... Он работал, и мысль о том, что в редакции его ждут письма, доставляла ему непонятное удовольствие.

Шум дождя под землей не был слышен. Но потом вдруг начался обстрел. Взрывы перекачивались наверху из края в край, то приближаясь, то удаляясь, и пол под ногами у Криницкого тяжело вздрагивал. Когда снаряды ложились совсем близко, пыль сыпалась струйками на бумагу, на стол. Лампочка раскачивалась, свет мигал, горшки и чугуны в печке, оставшиеся от прежних хозяев, мрачно дребезжали.

Криницкий, увлеченный работой, сначала обращал на это мало внимания. Вскоре не обращать внимания стало уже невозможно.

Его снизу ударило стулом, на котором он сидел. Он вскочил и почувствовал, что пол дрожит и бьет его по подошвам. Снаряды рвались где-то совсем рядом, один за другим, и грохот их был как грохот океанского прибоя во время бури. Криницкий не очень испугался, так как понимал, что зарытая изба хорошо предохраняет его. Но в избе он был один, он не знал, что происходит, и поддался чувству одиночества и тревоги.

Ему захотелось услышать человеческий голос, и он опять подошел к телефону. Но телефонная трубка мертво молчала, и он понял, что провода перебиты. Он сел с ногами на вздрагивавшую койку и стал ждать, когда все это кончится, посыпаемый тонкими струйками песка с потолка.

Нет, такого обстрела при Криницком еще не было. Грохот не умолкал. Он только иногда откатывался куда-то в сторону, но затем опять приближался, оглушительный, как прежде.

И вдруг в короткий перерыв между двумя взрывами Криницкому показалось, что стукнула дальняя входная дверь. Он не поверил этому, потому что слишком уж невероятно было, чтобы сейчас кто-нибудь мог ходить по аэродрому. Однако он сразу же услышал быстрые шаги, и внутренняя дверь избы распахнулась.

На пороге стояла Елена Андреевна, в мокрой, грязной шинели, с забрызганным мокрой глиной лицом. Она быстро осматривалась, стремительно переводя глаза с предмета на предмет, и задержала взгляд на Криницком не дольше, чем на печке.

Потом она о чем-то спросила его, но в реве взрыва он не разобрал ее слов.

— Что? Что? — переспросил он, вскочив, подбежав к ней и пристально глядя в ее лицо, которое становилось белее и белее. Пятна грязи все отчетливее проступали на белизне щек, и глаза, обычно светлые, теперь казались темными и большими.

— Вы один?

— Один, — ответил Криницкий.

— И никто сюда не приходил?

— Никто не приходил с утра.

— Не с утра, а за последний час?

— Никто не приходил, — повторил Криницкий.

— И он не был?

— Кто? — спросил Криницкий.

— Григорий Осипович.

— Я вам говорю, что никто не был.

Она в изнеможении села на край койки и смотрела на Криницкого широкими от ужаса глазами. Даже губы у нее стали белые.

— Он ушел из мастерской, когда обстрел был еще

совсем слабый, и пошел сюда, а потом собирался в столовую.

— Откуда вы все это знаете?

— Я позвонила в мастерскую по телефону, и мне сказали. Потом я звонила еще много раз, но связь порвалась.

«Она любит его!» — подумал Криницкий и вдруг почувствовал, что рад этому открытию. Она прибежала сюда, забыв о себе, гонимая тревогой за инженера Завойко... Он и сам заразился ее тревогой.

— Нет, здесь его не было, — повторил Криницкий. — Где же он?

Она вскочила и кинулась к двери.

— Куда вы?

— Может быть, он пошел прямо в столовую...

Криницкий тоже вскочил и поймал ее за руку.

— Да ведь это сумасшествие! — крикнул он. — Вы что, не слышите, что делается?..

Но она вывернулась и уже бежала вверх по проходу, и он понял, что ее не остановишь.

Он сел на койку, но просидел не больше секунды. Вскочив, он накинул шинель, надел фуражку и побегал за нею.

12

Он выбежал, чтобы остановить ее и вернуть. Но в ту минуту, как он очутился снаружи, обстрел вдруг оборвался. Вернее всего, сейчас все начнется снова. Однако вернуться в избу и сидеть там в одиночестве он был не в силах. Он решил догнать Елену Андреевну и добежать с ней до столовой.

Косой дождь бил в лицо. Ветер валил с ног. Мокрые листья крутились в воздухе, застилали всю землю. Елена Андреевна уже успела сильно опередить его. Нагнув голову, перескакивая через лужи, он торопливо зашагал по дороге вдоль леса. Сквозь стеклянные струи дождя он видел ее забрызганную глиной спину, ее топорщившуюся шинель и две медные пуговицы на хлястике. Она шла быстро, не оборачиваясь, и ему никак не удавалось догнать ее.

Они не прошли еще и половины пути, как обстрел возобновился. Первым же взрывом Криницкого встря-

хнуло, оглушило, и он едва удержался на ногах. От растерянности он, вместо того чтобы сразу лечь, сделал попытку побежать вперед, но тут опять загремело где-то рядом и он повалился в траву возле дороги. Он понял, что сделал отчаянную глупость, выйдя из избы. Гремело, ревело и выло вокруг. Он лежал ничком, стараясь занимать как можно меньше места, втянув голову в плечи, уткнувшись лицом в траву и закрыв глаза. Он лежал, но не мог забыть, что Елена Андреевна вот так же лежит в пятнадцати шагах от него, и время от времени приподымал лицо, чтобы взглянуть, цела ли она.

Черным комочком лежала она в траве у дороги. Внезапно ему подумалось, что она мертва. Он пополз к ней и вдруг заметил, что она тоже ползет. Под взрывами она упорно ползла вдоль дороги — все туда же, к столовой.

На мгновение она обернулась, и глаза их встретились. Она сделала ему знак рукой, чтобы он не двигался. Но он продолжал ползти.

Тогда она вскочила и, низко пригнувшись, побежала через дорогу в лес. Там, среди облетающих мокрых кустов, она остановилась и опять обернулась.

Она стояла в лесу и что-то кричала ему изо всех сил, но за гулом и грохотом он не мог слышать ни слова. Она махала рукой, и он понял, что она зовет его к себе в лес. Он не знал, зачем она его зовет, но послушно поднялся и побежал через дорогу. Упал и снова вскочил.

Она стояла и ждала его и не сдвинулась с места, пока он не добежал. Цепко ухватила она его за руку маленькой мокрой рукой и потащила за собою. Он покорно следовал за нею, падал, когда падала она, вскакивал вместе с нею и бежал дальше. Деревья жутко раскачивались и трещали. В лесу было еще страшнее, каждый взрыв казался совсем близким, и он не понимал, куда она ведет его.

Вдруг на маленькой лесной прогалине он увидел нечто вроде не то блиндажа, не то землянки — укрытие из бревен и песка. Он ничего не успел рассмотреть, вход чернел перед ним, как пещера, и она втянула его в эту пещеру, вниз, за руку.



Ноги скользили и вязли в мокрой глине. Свет падал через отверстие входа, но в первую минуту казалось, что в укрытии темно. Кто-то там стоял в полумраке. Двое. Поблескивала мокрая кожа реглана.

Елена Андреевна вскрикнула, метнулась, вскинула руки, обняла Завойко за шею и прильнула к нему.

Она любила Завойко, и в эту минуту, измученная страхом за него, внезапно его нашедшая, счастливая, что видит его живым, забыла обо всем и выдала себя.

И опомнилась только тогда, когда, прижавшись щекой к груди Завойко, заметила краем глаза, что рядом с ним стоит политрук Чирков и смотрит на нее восхищенно и ласково.

Она мгновенно отскочила от Завойко и даже брезгливо заложила руки за спину. Лицо ее презрительно сморщилось, глаза сузились. Она кинула недобрый взгляд на Чиркова, отвернулась и стала смотреть наружу.

Они стояли вчетвером в тесном укрытии, а кругом гремело и гремело. Стволы деревьев переламывались со звонким треском, и вершины медленно падали, мягко шурша. Они, не отрываясь, смотрели в сторону света, через вход, но там ничего не было видно, кроме мечущихся на ветру кустов с уже редкими листьями, желтыми и красными, и с большими светлыми каплями на прутьях. В перерывах между взрывами слышен был шум дождя, сильный и ровный.

— Льет, — сказал Завойко. — Я вышел из мастерской — только капало, а дошел до леса — полило как из ведра... Пришлось спрятаться...

В этих нелепых, неуклюжих словах он выразил все, что переполняло его, — и смущение, и счастье, что она беспокоилась о нем, и надежду, и страх перед нею, и всю многолетнюю нежность к ней.

Но она уже целиком была во власти раскаяния, что выдала себя.

— Так вы здесь спрятались от дождя! — воскликнула она, сразу переходя в тот недобрый, насмешливый тон, которым всегда с ним разговаривала. — Вот это мило!

Завойко беззащитно взглянул на нее.

Но она, словно подстегнутая, продолжала:

— У нас, по крайней мере, достаточно храбрости,

чтобы признаться, что мы спрятались от обстрела, а не от дождя. Правда, товарищ интендант?

— Так вы хотите сказать, что я струсил? — проговорил Завойко изменившимся голосом.

— Ничего я не хочу сказать. Я только говорю, что у храброго человека нет нужды скрывать, что он прячется в укрытии от обстрела, а не от дождя...

Не успела она договорить, как он, согнувшись, чтобы не удариться лбом о верхнюю перекладину входа, крупно шагнул вперед, в сторону света.

— Стойте! Куда вы! Да стойте же! — воскликнула она совсем другим голосом, полным испуга, тревоги, любви, раскаяния, и схватила его за кожаный пояс реглана, чтобы остановить.

Но он вырвался сильным движением. И вот он уже стоял снаружи, и из укрытия видны были только его ноги да полы кожаного реглана.

С отчаянным, странным, неправдоподобным криком она кинулась за ним.

И Криницкий сразу же прыгнул за нею.

Но на пороге грохот нового взрыва оглушил Криницкого, и плотная волна воздуха бросила его обратно. Криницкий повалился спиной на Чиркова, повалил его, и они забарахтались на липком полу, торопясь подняться.

Через полминуты они оба вышли из укрытия.

Инженер полка по ремонту лежал в траве во весь рост, обратив побелевшее лицо к небу. Дождь бил в его широко открытые, немигающие глаза. Черная, густая кровь текла из-под плеча кожаного реглана, растекалась между травинок...

Елена Андреевна на коленях стояла перед ним в траве и бормотала что-то невнятное, и все гладила и гладила его по лбу, по волосам, а кровь его текла ей под колени.

Дождь скоро кончился, ветер разогнал тучи. Солнце спускалось к западу по громадному, чисто вымытому куполу неба и так сверкало в каплях, висящих на каждой травинке, что невольно жмурились глаза. Осенний лес пылал вокруг аэродрома, словно

весь в разноцветных флагах, и непривычная тишина стояла над всем холодно пламенеющим простором, потому что немцы перестали стрелять. Только фронт глухо и равномерно урчал за южным краем леса да птичьи стаи, готовящиеся к отлету, вдруг застлали полнеба, как живая движущаяся сеть.

Потом зашло солнце, и закат угасал долго-долго, меняя цвета и постепенно бледнея. Уже давно выступили звезды, как большие светлые капли, и густая тьма клубилась над землей, а он все алел длинной узкой полоской над черными зубцами далеких елок. И только когда он уже потух совсем, и тьма над землей стала плотной и ровной, и созвездия в небе выступили все целиком, до последней, еле мерцающей звездочки, Криницкий отправился к самолету Терехина. Сегодня ночью Криницкий улетал в Ленинград, в свою редакцию.

Провожали Криницкого Чирков и Гожев. Они долго шли втроем по аэродрому, не видя друг друга в непроглядной тьме. Чирков был молчалив, угрюм и расстроен. Гожев, напротив, был приветлив и заботлив; он все боялся, что Криницкий озябнет в полете, и несколько раз спросил, надел ли он под китель фуфайку.

Терехин встретил Криницкого у самолета.

— Так летим, товарищ интендант? — спросил он.

— Ясно, летим, — ответил Криницкий.

Терехин помолчал, подумал и опять спросил:

— Вам сегодня нужно лететь?

— Конечно, сегодня, — ответил Криницкий. —

А что?

— Да нет, ничего, — сказал Терехин. — Завойко обещал посмотреть самолет, да уж теперь не посмотрит... Долетим, не беспокойтесь... Я просто привык, что Завойко всегда мой самолет смотрит...

Предстоящий полет этот как будто несколько беспокоил и Гожева. Впрочем, возможно, он не меньше тревожился всякий раз, когда выпускал Терехина в воздух.

— Ты сегодня над Кронштадтом не лети, — сказал он Терехину, стоя у самолета. — Они привыкли, что мы всегда норовим пройти над Кронштадтом, и стерегут там.

— Нет, зачем мне Кронштадт,— ответил Терехин.— Я сегодня пойду западнее, напрямик, над чистым морем.

— Ты выше, выше держи, а то они знают, что ты над самой водой ползешь.

— Буду сегодня держать повыше.

Креницкий уже сидел в самолете, за спиной Терехина, борта доходили ему до подмышек, плечи и голова торчали наружу. Техник, еле видимый, прыгал во тьме перед носом самолета, раскручивая винт.

— Подымите воротник шинели, интендант,— сказал Гожев из темноты.— Прилетайте к нам еще. В нашей дыре без гостей скучно...

Он помолчал с минуту. Потом, словно решившись, сказал Терехину совсем другим, грудным голосом:

— Ну, давай... Счастливо...

Мотор загредел, завыл, самолет медленно развернулся против ветра, немилосердно подкидывая Креницкого, и побегал сквозь тьму. Того мгновения, когда они оторвались от летного поля, Креницкий не заметил, потому что земля была не видна. Ветер бил ему в лицо, мотор пел гулко и ровно, и он понял, что они уже летят.

Только тьма внизу, ни одного огонька — второй год на земле не зажигали огней. Зато сверху и кругом горели яркие сентябрьские звезды, совсем близкие на вид, и, так как звезды не перемещались вместе с самолетом, казалось, что самолет неподвижен. И все же Креницкий, несмотря на тьму, безошибочно отгадал, когда они пересекли береговую черту и полетели над водой; конечно, воды он не видел, но как бы оттенок тьмы внизу изменился.

Озираясь, вглядываясь в края звездного купола, он в разных концах, далеко-далеко, замечал между звездами размытые багряные пятна. Это были зарева, отражения в небе дальних пожаров, вечно пылавших вдоль фронта. Он летел через Финский залив осенью 1942 года, когда исполинская линия фронта, причудливо петляя, пересекала весь Европейский материк от Ледовитого океана до гор Кавказа, до Черного моря. Это был тот напряженнейший период великой борьбы, когда борющиеся

силы достигли временного равновесия. Немцы еще упрямо рвались вперед, но натыкались на непреодолимое сопротивление и нигде не могли продвинуться ни на шаг. Мы уже готовились к ответному удару, который должен был смести все и решить все. Но сокрушающий удар этот был еще весь впереди. И в ту безлунную сентябрьскую ночь, когда военный журналист Криницкий летел через темное море на маленьком открытом связном самолете, сидя за спиной летчика Терехина, ничего еще не было решено и ничего еще не было известно.

Он летел уже минут двадцать, жмурясь от плотного встречного ветра, и стал уже не на шутку зябнуть и думать уже о том, что ждет его на другом берегу — удастся ли ему обогреться в землянке, выпить горячего чаю, найти попутную машину в город, — как вдруг привычный ровный гул мотора оборвался.

Криницкий не сразу понял, что случилось, — так необычайно была внезапно наступившая тишина.

Ветер, только что с силой бивший ему в лицо, прекратился. И Криницкий почувствовал другой ветер — сбоку, не тот, который вызывался движением самолета, а тот, настоящий, который свободно веял над морем.

И тут только дошло до его сознания, что мотор заглох, что они больше никуда не летят, а, медленно опускаясь, висят среди звезд над темной водой.

Внизу ничего не было видно, кроме тьмы, и определить, далеко ли до воды, Криницкий не мог. Но он твердо знал, что там вода, осенняя, холодная, и что она ждет их.

Терехин делал отчаянные усилия, чтобы запустить мотор, — Криницкий видел это по его движущимся плечам. Но мотор упорно молчал, и Терехину, несомненно, уже самому было ясно, что запустить его не удастся. Самолет шел все вниз, вниз...

Это была гибель, смерть.

И только поверить в это было трудно, потому что удивительно погибать в такой тишине, при таком величавом сиянии звезд.

Но Криницкий все понимал отлично и нисколько

себя не обманывал. Мысль о неизбежной смерти не особенно испугала его. В ту минуту не самая смерть казалась ему страшной, а неминуемое барахтанье в холодной воде перед смертью. Рассчитывать не на что. Чем меньше он будет барахтаться, тем лучше.

Плечи Терехина продолжали двигаться, он упорно работал штурвалом, стараясь заставить самолет планировать как можно дольше. Глядя сзади на его круглую голову в шлеме, неясно вырисовывавшуюся среди звезд, Криницкий думал о том, что их обоих ждет общая участь, и вдруг испытал к нему жгучую нежность. Он вспомнил, как Терехин бродил вокруг землянки продчасти, как он собирал голубику для Елены Андреевны. Странно, что человек, полный такой живой любви, сейчас умрет.

Криницкий не знал, какое расстояние отделяет их от воды — десятки метров или сотни. Но это уже безразлично — на несколько минут раньше, на несколько минут позже... Очерк «Остающиеся на земле», лежащий в планшете, никогда не будет напечатан. Никогда Криницкий не узнает, чем окончится осада Ленинграда и та битва на Волге, под Сталинградом, о которой так упорно и так скупо сообщают сводки. Никогда он не увидит предстоящей победы...

И вдруг он заметил какие-то легкие тени, которые, проносясь мимо самолета, закрывали то одну звезду, то другую. Они двигались совсем близко, рядом, и одна из них даже слегка задела его по щеке чем-то мягким, теплым... По этому прикосновению он догадался — птицы! Птичья стая, летя через море на юг, прошла мимо медленно опускающегося самолета, и Криницкий почувствовал нежность к птицам, теплым, живым, которых он тоже никогда уже больше не увидит. И благодарность за то, что одна из них коснулась его крылом.

Никогда он не узнает, что написано в тех письмах, которые ждут его в редакции, никогда ему не придется решать, отвечать на них или нет. Он подумал о жене с той же нежностью, с какой только что думал о Терехине, о птицах. Он любил жену и чувствовал к ней глубокую благодарность за то, что любил ее.

Трудна любовь.

Трудна борьба, трудна победа, трудна любовь, но чем труднее, тем дороже. В эту страшную минуту, убежденный, что все для него кончено, он чувствовал благодарность за то, что жил среди людей в великое время, любил их, видел, как они любят, страдал вместе с ними, мечтал вместе с ними и боролся за их мечту...

Далеко внизу, в темноте, впереди и несколько справа по ходу самолета, опытный взор мог бы различить темное пятно, еле приметное, которое казалось еще чернее окружающей тьмы. Оно медленно подползало под самолет, постепенно расширяясь. И трудно было определить, что случится раньше — самолет ли опустится в воду, или черное пятно подползет под него.

То был западный пустынный мыс длинного острова Котлин, того самого, на восточном краю которого лежит Кронштадт. Терехин уже давно угадал этот мыс и, пока Криницкий, сидевший у него за спиной, молчаливо прощался со вселенной, тянул и тянул к нему свой опускающийся самолет.

Они прошли на высоте одного метра над вялым прибоем и сели на хрустящую гальку у самой воды. Криницкий первым вылез из самолета и сразу же лег ничком на землю. Веря и не веря, щупал он обеими ладонями мокрый холодный песок. А Терехин сказал ему сверху, из кабины, ликующим голосом:

— Я знал: не дотяну, не увижу больше Елены Андреевны. И вот — дотянул!..

Он спрыгнул вниз и прибавил:

— Пойдемте искать живых людей. Нужно же доложиться...

1960



ДВОЕ

Н

1

очью 13 марта 1942 года мой самолет, перелетев Финский залив, падал, подбитый автоматами, в лес за линией фронта.

Я не испугался, — впрочем, я вовсе не хочу сказать, что я храбр. Я вообще за последнее время перестал испытывать чувство страха с прежней остротой, вероятнее всего от усталости и постарения. Все-таки мне уже сорок два года.

Перед войной у нас в гражданской авиации про меня говорили, что я вылетался. Так оно и было — я вылетался. Не то чтоб я ослабел или разучился летать, а просто полет перестал доставлять мне прежнее удовольствие. Тут, может быть, повлияли и некоторые мои печальные семейные обстоятельства. Человек я стал рыхлый, сидячий. Я подавал заявление в аэроклуб, просил принять меня на должность преподавателя аэронавигации — теоретический курс. Но настала война, и заявление я взял обратно. Вот и вожу на своем У-2 разный военный народ по всей Балтике.

В задней кабине у меня сидела женщина. Я представления не имел, кто она такая, не знал даже, какое у нее лицо. За пятнадцать минут до того, как меня сбили, мы, человек пять, шли в темноте по аэродрому к самолету, и с нами была женщина в платке и овчинном тулупе. Я знал, что мне нужно забросить в тыл немцам кого-то, но не думал, что мы полетим именно с этой женщиной, а потому к ней не приглядывался. И только когда она села в кабину, я спросил ее, прыгала ли она когда-нибудь

раньше с парашютом. Но что она мне ответила, я не слышал, потому что винт уже крутился.

Когда над захваченной немцами землей сдало магнето, я испытал не страх, а чувство неуютности и досады. Я слишком был занят в эти мгновения, я не успел представить себе, что со мной будет, но знал, что будет нечто хлопотливое, связанное со снегом, ночью, беготней. И как назло, эта женщина, с которой тоже нужно возиться.

Я планировал. Немцы потеряли нас в темноте и стрелять перестали. Высота быстро падала. Через две минуты будет земля.

Я оглянулся. Женщина сидела на борту, опустив ногу за борт. Помню эту ногу, короткую, крепкую, в белом шерстяном чулке и большом башмаке. Я сразу понял, что она решила, будто мы долетели уже до того болота, где я должен был ее выбросить, и планируем, чтобы дать ей возможность прыгнуть.

— Садись! Назад! — закричал я.

Но она не расслышала, она решила, что я кричу ей: «Прыгай скорей!» — и перекинула через борт вторую ногу.

А мы были уже совсем низко. Бесшумно пролетели мы над крышами деревни, стоявшей на берегу озера. В избах свет, по улице ползет автомашина. Я тянул сколько мог к югу, к озеру. Самолет ткнулся носом в снег и приподнял хвост. До деревни было не больше пятисот метров.

2

Тишина ночи охватила нас со всех сторон. И вот тут стало жутко. Тишина, оказывается, страшнее всего.

Нужно как можно дальше уйти от самолета.

— Вылезай, — шепотом сказал я женщине.

Она освободилась от парашюта и стала вылезать. Вылезла она почему-то не в мою сторону, а в противоположную, и оказалась за самолетом. Потом отошла шагов на десять и уставилась на меня, на самолет. Небольшая, она казалась широкой в своем тулупе. Лица ее я в темноте не видел.

Да и не старался увидеть. Я думал о том, как я пойду в своем темном комбинезоне по льду озера. Меня сразу заметят. Нужно прикрыться чем-нибудь белым, чтобы не так бросаться в глаза на снегу. Чем? И я взглянул на белый шелк парашюта.

Я решил укрыться парашютом, отрезав стропы. Я вытянул их, скрутил в жгут и спросил женщину:

— Нож есть?

— Зачем тебе нож? — спросила она.

Я понял, что нож у нее есть.

— Дай нож.

Она не сдвинулась с места. Руку она держала за пазухой, на груди.

— Дай нож! — повторил я, теряя терпение.

— Зачем тебе нож? Я сама отрежу, что нужно.

Тут только я начал догадываться. Она не поняла, что с нами произошло. То, что мне казалось ясным, простым, не требующим объяснений, было для нее непонятным и подозрительным. Не знала она, что, если разбит картер и не работает магнето, летать нельзя. Вместо того чтобы сбросить ее на парашюте над условленным местом в болоте, я посадил ее на лед возле захваченной немцами деревни, где горят огни, движутся автомобили. Она смотрела на меня, незнакомого человека, и размышляла, кто я такой. А вдруг я предатель?

Это не вызывало во мне ничего, кроме досады. Мне было все равно, что она думает. Скоро рассвет. Я торопился, я очень торопился, у меня не было времени спорить и объяснять.

— Режь! — сказал я, показав на стропы парашюта.

Она поняла, подошла, вынула из-за пазухи длинный финский нож и обрезала стропы. Помню, я удивился, до чего остер этот нож — стропы распались без всякого усилия, от одного прикосновения.

— Давай бить самолет, — сказал я.

Она посмотрела на меня, но не сдвинулась с места. Рука ее снова была за пазухой — она, видимо, не выпускала ножа. Я не стал ждать и влез в кабину. С размаху ударил я палкой по приборам. Стекла приборов звякнули громко, как выстрел. Я замер, прислушиваясь, не в силах вздохнуть. Разбил радио-

станцию, опять прислушался. Все тихо. Хорошо бы поджечь самолет. Но об этом нечего было и думать — огонь выдал бы нас сразу. Я взял из неприкосновенного запаса мешочек с сухарями, две банки консервов и спрыгнул на лед.

Развернув шелк парашюта, я накинул его на себя и на нее. Она отпрянула, выскользнула. Я раздраженно объяснил ей, что под парашютом мы не так будем заметны. Она подумала, взяла край парашюта и накрыла им голову. Ростом она едва достигала моего плеча. Она стала справа от меня, чтобы я не мог схватить ее за правую руку.

И мы пошли.

3

Пузырчатый, шершавый лед трещал под ногами оглушительно. Я пошел на запад, потому что на западе зубчатый еловый лес был ближе всего. Я торопился, мне хотелось как можно дальше уйти от самолета, пока не начнет светать.

Вздрагивая при всяком хрусте, я шагал широко, и на каждый мой шаг приходилось два шага женщины, шедшей рядом со мной. Двигалась она очень легко, плавной походкой, и подымала гораздо меньше шума, чем я. Она вовсе от меня не отставала, но я, боясь погони, торопил ее и даже иногда пытался подтолкнуть, дотронувшись до ее спины под парашютом. Однако она не давала мне коснуться себя и всякий раз отскакивала в сторону.

— Я потеряла перчатку, — сказала она вдруг и остановилась.

— Идем, идем!

Мне было жарко, и я считал, что вполне можно обойтись без перчаток.

Но она вылезла из-под парашюта и пошла назад. Я остановился, глядя ей вслед. Избы были уже не видны, но я знал, что деревня близко. Я нетерпеливо топтался на месте; мне хотелось скорее оказаться в лесу. Я не видел ее в эту минуту.

Она шла не торопясь, опустив голову. Несколько раз она быстро обернулась и взглянула на меня. Удаляясь, она постепенно растворялась во тьме.

Наконец она остановилась. Я не видел, как она нагнулась, мне даже казалось, что она не нагибалась вовсе. Я не видел ее лица, но мне чудилось что она стоит и смотрит на меня. Это тянулось так долго, что я чуть было не крикнул. Но кричать было нельзя.

Она вернулась, и я спросил ее:

— Нашла?

Она кивнула и накрылась парашютом. И мы пошли дальше.

Лес приближался быстро, вырастая зубцами во мраке.

— Куда ты собираешься пойти? — спросила она вдруг.

Я еще об этом хорошенько не думал, я хотел скорее дойти до леса.

— Мы пойдем на север, к морю, — сказал я. — Через море будем добираться к нашим.

Она ничего не ответила, да мне и не нужно было ее ответа. До леса оставалось шагов сто, не больше, он высокой черной стеной возвышался перед нами. Здесь, возле берега, лед стал совсем другой — гладкий, как на катке, без заструг. Мы скользили, мы двигались, почти не поднимая ног. Подошвы моих меховых унтов обледенели, и я едва удерживал равновесие. Несмотря на то, что я торопился, женщина теперь обгоняла меня, и я едва поспеивал за нею.

Я услышал тихий плеск, нежный, еле уловимый, но не успел подумать, что он означает, как меня с силой рвануло вперед.

Путь к берегу нам преграждала широкая полынья. Вероятно, здесь в озеро впадала незамерзающая речка. Женщина соскользнула в воду и уцепилась за парашют. Парашют потянул меня.

Я упирался изо всех сил, но мои ноги медленно скользили. Мне удалось было остановиться, и я схватил ее руку. Но сразу же снова начал скользить.

Она лежала ничком всем туловищем на льду, и только ноги ее были в воде. Она пыталась упереться в лед коленями, но кромка льда подламывалась, и колени уходили в воду. Она медленно соскальзывала, таща меня за собой.

Я тоже лег ничком на лед, и мы лежали друг против друга, держась за руки. Все тело мое напряжено было до боли, я упирался коленями и локтями. Иногда нам удавалось приостановить движение, и тогда мы лежали, боясь шевельнуться, и я чувствовал ее дыхание у себя на лице. Потом мы снова начинали медленно-медленно скользить, и борьба возобновлялась. Хуже всего было то, что я заметно слабел.

Вдруг я почувствовал, что она пытается освободить свои руки из моих рук.

— Отпусти меня, — сказала она.

Я не сразу ее понял.

— Отпусти меня и уходи.

Я вцепился в нее еще крепче, поднялся на колени, одним рывком вытащил ее из воды, упал на спину и опрокинул ее на себя.

Мы долго лежали у самого края, громко дыша. Нужно было ползти прочь от воды, но не было сил шевельнуться. Небо над нами бледнело, приближался рассвет. Я знал, что нужно идти сейчас же, иначе будет поздно, но только лежал и дышал.

Потом я услышал, как у нее стучат зубы. Она вымокла до пояса, и теперь на морозе ее лихорадило.

— Пойдем, — сказал я и, пересилив себя, осторожно поднялся. — Если бы ты могла хотя бы переобуться.

— Я переобуюсь, — сказала она.

Она расстелила парашют и оцупала его. Парашют намок только с краю, большая часть его была сухая. Ловко и быстро отрезала она от него два куска, сделала портянки и, разувшись, перебинтовала себе ноги. Поверх портянок надела она свои чулки, выжав их. Потом вылила из башмаков воду и обулась.

— Ну, пойдем, — сказала она.

Мы снова накрылись парашютом и пошли.

4

Уже заметно светлело, а мы все еще были на льду озера. Мы шли вдоль полыньи, надеясь обогнуть ее и выйти на западный берег, но полынья не кончалась. Берег был совсем близко, и вершины

елей отражались в еще по-ночному темной воде. Но добраться до него мы никак не могли, полынья все тянулась, и я стал думать, что она тянется вдоль всего западного берега, во всю длину озера, до самого дальнего — южного — конца его. Если продолжать идти в этом направлении, мы будем на льду еще и тогда, когда станет совсем светло, и нас увидят сразу со всех берегов.

До восточного берега было гораздо ближе. Низкий, болотистый, он был почти незаметен ночью, когда мы сели на лед, но теперь, в утренних сумерках, я видел его хорошо. Я бы охотно свернул к нему, но, чтобы добраться до него, нужно было снова пересечь озеро как раз перед деревней.

Она заметила мою нерешительность и вдруг круто свернула прочь от полыньи, к восточному берегу. Я послушно пошел за ней.

Сумерки редели. Небо было облачно, но за облаками уже чувствовалось солнце. Деревня была видна вся, — засыпанная снегом, широкой подковой окаймляла она северный берег озера. Укрытые парашютом, мы шли, не отрывая от нее глаз.

Там все было неподвижно. Даже у моего самолета никого — я хорошо видел самолет: он стоял на льду между нами и деревней.

И вдруг со стороны деревни на лед озера спустилась лошадь, запряженная в дровни. Мы упали, прикрылись парашютом и замерли. Впрочем, я уже не сомневался, что нас все равно заметили, что едут за нами.

Лошадь двигалась медленно, шагом. Пройдя метров сто по направлению к нам, лошадь остановилась, и тут я увидел, что на дровнях бочка. Баба ведром наливала в бочку воду из проруби.

Однако я только тогда поверил, что нас не заметили, когда лошадь с бочкой въехала на косогор и скрылась за избами. Все это тянулось так долго, что зубы женщины, лежавшей рядом со мной, снова стали стучать. Мокрая юбка ее примерзла ко льду.

Было уже совсем светло, когда мы вышли на восточный берег. Парашют цеплялся за ветви редкой низкорослой ольхи и мешал нам идти. Мы его скинули; я сложил его и нес под мышкой. Я ужасно

торопился — мне хотелось как можно дальше уйти от озера, как можно скорее миновать эти жидкие ольховые заросли, которые почти не скрывали нас. Но на ногах у меня были широкие меховые унты, совсем не приспособленные для ходьбы, ноги проваливались в снег по колена, и двигался я не быстро. Теперь она все время опережала меня, хотя шла без особой торопливости.

Я видел впереди ее короткий овчинный тулуп горячего кирпичного цвета и серый головной платок. Меня поражало, с какой уверенностью выбирала она путь между кустами. У нее, видимо, не было никакой потребности советоваться со мной.

Наконец ольха кончилась, и начались елки. Здесь нас не так видно. Она остановилась и обернулась ко мне.

— Теперь мы разойдемся, — сказала она.

Я не понял ее слов, да и не слушал их, потому что впервые увидел ее лицо.

Она была очень молода, моложе меня вдвое. У нее были широко расставленные глаза, казавшиеся сейчас темными, потому что здесь, под лапами елей, было сумрачно. Тонкая кожа на щеках и висках посинела. Маленький нос с круглыми ноздрями, две три веснушки, крепко сжатые узкие губы, синие почти до черноты от холода и усталости.

— Ты пойдешь отсюда на север, к морю, — сказала она. — Ты собирался к морю. Я отдам тебе свой компас, я дойду и без компаса...

Холодный компас коснулся моих ладоней, и только тогда начал я прислушиваться к ее словам.

— Не дури, — сказал я. — Ты пойдешь со мной.

Она покачала головой.

— Я пойду туда, где ты меня должен был сбросить с самолета.

— Километров сорок до того места осталось, — возразил я. — И тебя сорок раз схватят, прежде чем ты дойдешь. И никого уже ты там не отыщешь. Они ждали тебя в том месте прошлой ночью. Ты не прыгнула, и они ушли. Неужели ты думаешь, что они будут без конца тебя там ждать?

— Не знаю, — сказала она.

— И от моря мы будем там гораздо дальше...

— Все равно я должна идти туда, — сказала она. — А ты иди к морю один.

В сущности, я должен был обрадоваться. Я ведь с самого начала был недоволен, что она со мной, я хотел быть один. Конечно, я очень мало верил в то, что можно дойти, но одному идти легче, чем с женщиной.

Однако, когда она вдруг повернулась и быстро пошла прочь, когда низко свисающие густые ветви елок стали скрывать ее от меня, я почувствовал стыд и обиду. Не могу же я ее здесь бросить! И какое право она имеет мне не верить?

Я побежал за ней.

— Я пойду с тобой, — сказал я, запыхавшись.

5

Утопая в рыхлом, пригретом мартовским солнцем снегу, шли мы в глубь занятой врагом земли, чтобы встретить тех двух партизан, которые ждали ее в условленном месте. На том болоте, куда я должен был сбросить ее с самолета.

Я уже совсем потерял силы. Вытаскивал одну ногу, вытаскивал другую — унты мои набухли от воды, застревали в снегу. Проваливаясь, я падал в снег. Под снегом — весенняя холодная вода.

Она шла впереди. Она тоже еле выволакивала ноги из снега, тоже поминутно падала, но, странное дело, — я не мог догнать ее.

— Как тебя зовут? — спросил я ее.

Она не обернулась и ответила не сразу.

— Катерина Ивановна, — сказала она наконец.

Лучи сквозь ветки падали на снег, весенние малиновые лучи. Капли на прутьях сверкали так ярко, что больно было на них смотреть.

Мне хотелось пить. Я потел в своем жарком комбинезоне, потел снова и снова, и жажда мучила меня. Я совал в рот снег пригоршнями. Рот холодел от снега, но жажда не унималась. Словно костер разгорался во мне. Не было сил вытаскивать ноги из снега. После каждого шага я хватался руками за дерево, а если дерева не было рядом, я падал.

А кругом все сияло, небо за ветвями было высоко и ясно, снег голубел, набухая от влаги, мохнатые пушинки белели на красных прутьях вербы. Прогалинки между елками, потемневшие, а кое-где уже порыжевшие, были мучительно знакомы — совсем такие, как в детстве. Злость накопилась во мне. Чем я провинился, что по такой знакомой и родной земле должен идти, прячась, скрываясь, словно затравленный зверь?

Удивительно было то, что она шла все время впереди. Я старался догнать ее, но только отставал. Между тем я шел по ее следам, а она шла по цельному снегу. А ведь я был гораздо сильнее ее, и падала она чаще меня, падала неловко, неожиданно. Но сразу, не теряя ни мгновения, вставала на четвереньки, подымалась, делала два-три шага и снова падала. И снова подымалась.

Иногда она останавливалась, поджидала меня и требовала карту. У меня была карта-километровка, вклеенная в обложку записной книжки. Она раскладывала карту на снегу, поверх клала компас и ждала, когда стрелка успокоится. Потом отдавала мне карту, совала компас за пазуху, и мы шли дальше.

Один раз, сильно обогнав меня и поджидая, она, вместо того чтобы отдохнуть, наломала веток и подвязала их к ногам. Когда я подошел к ней, на ногах у нее были широкие веники; она снова пошла вперед, и веники эти не давали ей проваливаться в снег. Их облепило мокрым снегом, и они стали тяжелы, как кандалы, как гири. И все-таки она шла шаг за шагом и падала реже, и я еще больше отставал от нее.

Я уже много раз просил ее остановиться и отдохнуть. О погоне я больше не думал, я ни о чем больше не думал, я слишком изнемог, мне было все равно, лишь бы лечь. Но она делала вид, что не слышит моих просьб. Она шла вперед, тяжело переставляя ноги с облепленными снегом вениками. И я брел за нею.

Когда солнце опустилось за деревья, я лег в снег и сказал, что дальше не пойду.

— Мы уже почти дошли, — уверяла она.

Но я не двинулся.

Я думал, что она пойдет одна.

Зачем я ей?

Я ей совсем не нужен.

Но она остановилась.

— Хорошо, отдохнем, — сказала она.

И тоже легла в снег.

Я лежал, раскинув руки и ноги, и смотрел на пылавший за голыми ветвями закат. Мне было жарко, я лежал и сосал снег. Я ни о чем не думал, мне было все равно. Мне казалось, что нет такой силы на свете, которая могла бы сдвинуть меня с места.

Но скоро я начал зябнуть. Огромное красное солнце опускалось меж стволов все ниже, и кругом холодало. Ночь будет морозная. На мне все было мокро насквозь от пота и снега, и все замерзло. Я опять услышал, как у нее стучат зубы. Ей было еще холоднее, чем мне.

Она вдруг вскочила и встряхнулась. Видя, что я все еще лежу, она занялась своими ногами. Она отвязала облепленные снегом веники, нарезала ножом колья и стропами парашюта подвязала их к ногам. Дрожа от холода, я лежал и смотрел, как она работает. Я заметил, что кольев она наготовила вдвое больше, чем ей было нужно. Самые длинные и крепкие она оставила для меня. Не знаю, что заставило ее так поступить — желание позволить мне полежать несколько лишних минут или боязнь дать мне в руки нож. Возможно, и то и другое.

Не в силах больше мерзнуть, я поднялся и подвязал колья к ногам. И мы пошли. Минуту назад я не верил, что когда-нибудь в состоянии буду снова идти, однако шел. Она опять шагала впереди. Колья, подвязанные к ногам, хорошо держали нас на поверхности снега, мы больше не проваливались и падали реже.

Закат охватил полнеба, уже темнело. Синие сумерки ползли по лесу. Я шел без единой мысли, как во сне, но все-таки шел. Где-то здесь вон за этими березами, белеющими в сумерках, или вот за теми, — болото, где ждут нас два человека, которые что-то нам скажут, куда-то поведут. Я не знал, что это за люди, не знал, что они скажут, но хотел как можно скорее дойти и увидеть их, потому что, когда я

увидю их, кончится этот путь и начнется что-то новое.

Я уже давно отстал от Катерины Ивановны, я уже не старался догнать ее, и она больше не останавливалась, чтобы подождать меня. Я шел по ее следу.

Временами, когда лес редел, я смутно видел ее в полутьме далеко впереди.

Потом я услышал низкий протяжный свист. Если бы я не так устал, я испугался бы. Но душа моя одеревенела от усталости, и я продолжал равнодушно брести по следу. Свист повторился. Я вышел из-за берез и увидел мою Катерину Ивановну посреди занесенной снегом полянки. Она стояла одна и свистела, засунув в рот четыре пальца.

Ей никто не ответил.

Она дождалась меня и, когда я подошел к ней, сказала:

— Никого.

И я понял, что это и было условленное место.

— Они ждали меня прошлую ночь и ушли, — объяснила она.

И показала мне примятый снег, где они сидели, и следы их лыж.

Значит, я был прав.

— Что же делать? — спросил я.

— Ночевать, — ответила она.

6

Я сидел на пне. А она готовила себе постель. Она нарезала еловых веток, разложила их на снегу и легла на них.

Мокрый, я сразу замерз. Если бы можно было зажечь костер, обсушиться, выпить кипятку! Но о костре нечего было и думать. Меня трясло, я не мог больше сидеть. Нужно было ложиться.

Без ножа нельзя нарезать веток, и я приготовил себе постель по-иному. Я повесил парашют между двумя деревьями, как гамак. В гамаке лучше спать, чем на еловых ветках. Мне показалось, что она, лежа, наблюдает за мной, и я подошел к ней.

Лихорадка била ее — зубы стучали, плечи ходили ходуном. Она смотрела на меня темными блестящими глазами.

— Катерина Ивановна, — сказал я, — ложись в парашют.

— А ты? — спросила она.

— Я тоже лягу, нам вдвоем будет теплее.

Она ничего не сказала и, видимо, думала. Она казалась мне удивительно маленькой и легкой. Я бы поднял ее и отнес в гамак, но она была не из тех, кем можно распоряжаться. Еще, чего доброго, полоснет ножом, если я дотронусь до нее.

Вдруг она встала, пошла к гамаку и легла.

— Ложись, — сказала она.

Я лег рядом с ней, закрыл глаза, и на несколько минут чувство покоя и уюта охватило меня. Я ощущал у себя на щеке ее горячее дыхание. Она лежала неподвижно, и я осторожно открыл глаза, чтобы посмотреть, спит ли она. Нет, она не спала. Она ждала, когда я засну, и руку держала за пазухой. Там у нее был нож.

Неужели она все еще мне не доверяет?

И все же она заснула первая. По ее дыханию я скоро понял, что она уже спит. Голова ее лежала у меня на плече, и я смотрел ей в лицо. Губы ее слегка раскрылись, брови поднялись, и все лицо ее во сне было удивительно детским, мягким и простодушным. Я старался не шевелиться, чтобы не мешать ей, и сам провалился в сон.

Проснулся я оттого, что у меня замерзли ноги. Далекие холодные звезды висели над лесом. Ночь была ясная и морозная. Пальцы ног болели, словно их прижгли. Когда я шевельнулся, смерзшаяся одежда зазвенела на мне, как стеклянная.

Я вывалился из гамака и чуть не закричал от боли, с трудом держась на замерзших ногах.

Я посмотрел на нее и испугался. Мне показалось, что она не дышит. Изморозь была у нее на щеках. Но когда я толкнул ее, она сразу открыла глаза. Я помог ей вылезти из гамака, и она села в снег. У нее так замерзли ноги, что она не могла стоять.

— Прыгай! — сказал я ей. — Прыгай!

Я сам прыгал и бил себя руками по бокам. Лицо ее едва видно было во мраке, но все-таки я разглядел, как она мне улыбнулась — грустно и жалко.

Она заставила себя встать и тоже начала прыгать. Мы долго прыгали в снегу. Мы прыгали до изнеможения.

Мы не согрелись по-настоящему, нас просто повалила усталость. Мы рухнули в гамак и снова уснули.

Это была самая длинная ночь в моей жизни. Каждый час мы просыпались, вскакивали и прыгали. И снова сон валил нас. Просыпаясь, мы замечали, что созвездия над нами в ветвях слегка передвинулись. По движению созвездий мы знали, что движется ночь. Мы молча прыгали и прыгали под медленно движущимися созвездиями. У меня было только одно желание — чтобы ночь эта кончилась.

Мы проснулись в последний раз, когда лучи вдруг брызнули из-за горизонта, пронизав лес. Ночь изнурила нас, но мы были счастливы, что снова можно идти.

— Куда ты пойдешь? — спросила она.

Я удивился.

— Туда, куда и ты. На север, к морю.

— Нет, я не пойду, — сказала она. — Иди один.

— Ты хочешь остаться и ждать их здесь?

Она молчала.

— Это подло, что ты мне не веришь! — закричал я неожиданно для самого себя. — Понимаешь, подло!

Она смотрела на меня устало и мягко.

— Нет, ты не понимаешь, — сказала она. — Здесь есть еще одно место, до которого я хочу дойти, но ведь их и там, наверное, не будет. Зачем же тебе идти со мной? Ты бы шел к морю, пока у тебя есть силы...

— А ты для чего остаешься, если знаешь, что никого не найдешь?

— Надо попробовать.

Я уже знал, что ее не переубедишь.

— Ну, а потом? — спросил я. — Если опять не найдешь? Что ты будешь делать дальше?

Она, видимо, еще и не думала об этом.



— Не знаю, — сказала она. — Посмотрим. Тоже, наверное, пойду к морю...

— Так вот что, — сказал я. — С тобой я не расстанусь. Пойдем всюду вместе.

7

Опять сияло солнце, и таял снег, и колья, привязанные к моим набухшим растрепанным унтам, путались в кустах, и я падал и вставал, и пар валил от моей мокрой одежды, и мне было жарко как в бане, и жажда томила меня, и я поминутно глотал снег. Мне было жарко, а Катерине Ивановне холодно. Ее знобило по-прежнему, как ночью, и она не могла согреться.

— Да ты заболела, Катерина Ивановна!

— Вот еще! — отвечала она так, будто этого и быть не могло.

Она шла впереди среди солнечного блеска, среди сияющих капель на голых прутьях, падала, вставала и шла. Но трясло ее все сильнее. Иногда она взглядывала на меня своими светлыми, дневными глазами — ночью глаза у нее были темными, — но мне казалось, что она не видит меня, не узнает. Несколько раз я просил ее отдохнуть. Она не отвечала.

— Да ты слышишь меня, Катерина Ивановна?

— Слышу, слышу...

И шла вперед.

Так шли мы весь день. И солнце опять опустилось за сучья, и опять голубоватым сумраком стал наполняться лес. И в этом сумраке она скользила между стволами, как странная тень.

Потом она вдруг села в снег. Сделала попытку подняться и не могла.

Я подошел к ней.

— Придется посидеть немного, — сказала она. — А ты иди. Иди один. К морю. Иди, иди. Ведь ты пропадешь со мной!

Она опустила голову и сидела не двигаясь. Я, не двигаясь, стоял перед нею. Шло время, смеркалось. Я все ждал, что она скажет что-нибудь. Опушен-

ного лица ее я не видел и не знал, спит ли она, или думает, или уже умерла.

Потом она подняла на меня темные свои глаза и спросила удивленно:

— Ты еще не ушел?

— Я без тебя не пойду, — сказал я. — Я посажу тебя в парашют и повезу, как на салазках.

Она протянула левую руку и взяла меня за палец. У нее была маленькая, мягкая и очень горячая рука.

8

Надвигалась ночь, и я оглядывался, ища, где бы повесить наш парашютный гамак. Но мы остановились на неудачном месте, кругом были только тонкие прутья ольхи, они не выдержали бы нашей тяжести.

Нужно было идти дальше, и я собирался взять ее на руки и понести. Однако я так устал, что все откладывал это неизбежное усилие с минуты на минуту и продолжал стоять над нею.

Вероятно, я дремал стоя.

Потом мне стало холодно, и я очнулся. Уже совсем стемнело, ночь опять была звездная. Я нагнулся над нею, чтобы поднять, но она сразу открыла глаза, едва я до нее дотронулся. Я сказал ей, что нужно повесить гамак. Она не хотела, чтобы я ее нес, и резким движением отстранила мои руки. Потом быстро встала и пошла сама.

Она сразу опередила меня, и я еле поспевал за нею. Пройдя метров двести, она указала мне место, где повесить парашют. И уснула мгновенно, чуть только легла в него.

Она разметалась, тулуп на ней расстегнулся, а между тем ее трясло. Я стал застегивать на ней тулуп, и вдруг рука моя ощупала под тулупом что-то твердое, металлическое. Три гранаты Ф-1, согретые горячим ее телом, висели под тулупом на поясе.

Я лег рядом с нею и удивился, до чего она горяча. Дыхание ее обжигало мне лицо. Она беспрерывно дрожала.

А я сразу заснул.

Спал я, вероятно, довольно долго, потому что проснулся околоченый до того, что не мог пошевелиться. Я выкатился из гамака в снег и, когда подымался на ноги, услышал свой собственный стон. Преодолевая боль, я снова долго плясал и размахивал руками.

Потом я вспомнил о ней, испугался, что она замерзнет, и принялся ее будить. Она опять очнулась при первом моем прикосновении. Прыгать она, видимо, не могла, а просто прохаживалась взад и вперед у гамака. А я прыгал и прыгал, и сердце прыгало во мне, и деревья прыгали вокруг меня, и звезды прыгали надо мной.

Она села на бревно, лежавшее в снегу, и я, напрыгавшись, сел рядом с нею. Ложиться в гамак я уже не решался. Стоило только заснуть, и ноги снова замерзнут. Надежду на сон нужно было оставить.

Я сидел на бревне, со всех сторон окруженный лесом, тьмой, тишиной огромной морозной ночи, и думал, что вообще пора оставить всякую надежду. В возможность перейти по льду через залив я, по правде говоря, не верил с самого начала. Есть, быть может, такие люди, которые перешли бы, но только не я, я не такой, я слишком хорошо себя знаю — разве лет пятнадцать тому назад, а теперь, прежде чем я дойду, я сорок раз решу, что лучше лечь в снег и замерзнуть.

О будущем я не думал. Мысли мои, обрывочные и случайные, тянулись назад, в прошлое. Как счастливо жил я, как добры были ко мне все. Теперь мне показалось, что всю свою жизнь был я окружен лаской и доброжелательством, никто никогда не желал мне зла, под каждый шаг мой был подстелен мягкий пух нежности и дружбы. Я вспомнил лицо своей жены, с которой мы пятнадцать лет мучили друг друга и, наконец, разошлись года за два до войны. Но оказалось, что в эту ночь мне слишком больно вспоминать о жене...

Мне вспоминались всякие пустяки. Берег реки в июле, и я, лежащий в траве на самом припеке; голый, покрытый потом, прогретый до костей, я собираюсь лезть в воду... Нет, не надо реки, в воде все-

таки холодно. Я вспомнил горячую зеленую скамейку в городском саду, и раскаленный гравий на дорожках, и тяжелых, медлительных шмелей в кусте шиповника... Нет, сад тоже недостаточно горяч, может подуть ветер, и сразу станет прохладно.

И вдруг я вспомнил баню у нас на аэродроме, нашу баню, и как я лежу на полке и стону оттого, что мне так горячо. И все горячо вокруг меня, и горячий воздух входит внутрь, обжигает легкие, а я все кричу: «Поддай, поддай!» И вспомнил я, что в тот самый день, когда я вылетел с этой женщиной, в последний мой день, меня звали в баню, и я отказался, и теперь мне так жалко было, что я отказался...

Я взглянул на нее. Она сидела рядом со мной в темноте, темная, маленькая и неподвижная. И внезапно я испытал к этой незнакомой Катерине Ивановне такую нежность, какую никогда еще не испытывал ни к кому на свете, и слезы выступили у меня на глазах.

Кроме этой больной, замученной девочки с тонкими косточками и опухшими губами, подозрительной, упорной, беспредельно верной своему долгу и такой же несчастной, как я, не осталось у меня ничего. Она мне о себе не сказала ни слова, но я давно уже догадывался, как сломлена она неудачей, как нестерпима для нее мысль, что она не выполнит того, ради чего ее послали.

Она сурово обращалась со мной, подозревала, что я враг, но я давно уже не был на нее за это в обиде. Да и подозревала она меня, вероятно, только вначале, а теперь просто не может мне простить, что из-за меня, из-за несчастья с моим самолетом, ее одолела неудача. И как мне мило было в ней все это, как дорого, как я благодарен был ей просто за то, что она, живая, своя, из одной со мной страны, сидит вот здесь рядом, на бревне.

Комок снега сорвался с еловой ветки, упал ей на голову, рассыпался по шерстяному платку, по плечам. Она не двинулась. И опять мне стало страшно, что она умерла. Так страшно, что я не решался окликнуть ее, толкнуть. Я сидел рядом с ней, неподвижной, обсыпанной снегом, и не дышал.

— Катерина Ивановна...
Она не шевельнулась.
Я схватил ее за плечо.
Она открыла глаза.

9

Мы отчетливо слышали звук шагов. Хруст снега под сапогами.

Короткая тишина, и опять тот же звук. Тишина. И снова пять-шесть шагов.

И мне вдруг смутно припомнилось, что звук этот я слышу очень давно, что, занятый своими мыслями, я просто не обращал на него внимания, пока не разбудил Катерину Ивановну.

Пригнув голову, я вслушивался, куда направляются шаги. Но шаги никуда не направлялись. Звук повторялся, казалось, на одном и том же месте.

Пять-шесть шагов. Тишина. Пять-шесть шагов. Тишина.

Мне стало жарко.

Я осторожно поднялся с бревна и беззвучно двинулся навстречу шагам. Широколапая ель загораживала мне дорогу. Я обошел ее и остановился.

За стволами и сучьями я разглядел что-то большое, темное. Мне показалось сначала, что это дом. Нет, не дом. Это высокий железнодорожный мост через ручей. Мы, усталые, остановились на отдых возле самой железнодорожной насыпи и не заметили этого.

Я снова услышал шаги. Хруст, хруст, хруст по снегу, неторопливо и спокойно, совсем недалеко, возле моста. И увидел немецкого солдата в шлеме, с автоматом в руках. Это был часовой, охранявший мост.

Я долго стоял, боясь шевельнуться. Часовой медленно прохаживался вдоль моста. На фоне темных деревянных устоев я его не видел. Но когда он доходил до конца своей дорожки и останавливался, чтобы повернуть назад, я отчетливо видел его на снегу.

Это был рослый, сторбленный человек — он ежился от холода. Я стоял в двадцати шагах от

него, и каждое мгновение он мог заметить меня. Но он снова появлялся на фоне снега и снова пропал, меня не замечая.

Я стал тихонько уходить за ель. Снег оглушительно шумел у меня под ногами, трещали задетые мной ветки, и я всей спиной ждал автоматной очереди. Но автоматной очереди не было, и я обошел ель и увидел тамак, и бревно, и Катерину Ивановну.

Она по-прежнему сидела на бревне. Я схватил левой рукой все, что попало, — парашют, колья, которые мы привязывали к ногам, мешочек, в котором оставалось еще несколько сухарей, — а правой рукой ухватил ее за руку и побежал прочь по снегу, волоча ее за собой.

Она не понимала, что случилось, и слегка упиралась. Но я бежал и бежал, не чувствуя никакой усталости и таща ее, как вещь.

— Кого ты видел? — спросила она шепотом.

Но я с таким испугом дернул ее за руку, что она замолчала.

Я бежал и бежал. Я падал, заставляя ее падать вместе с собой, вскакивал и снова бежал.

10

Наконец она вырвала свою руку и села в снег.

— Бежим, бежим! — уговаривал ее я.

— Куда?

Я и сам не знал куда. Все равно. В лес, подальше от железной дороги.

Но она обхватила руками ствол осины, чтобы я не мог потащить ее дальше.

— Что ты видел? — спросила она.

Я нетерпеливо ответил ей, что видел железнодорожную насыпь, мост, часового.

— Вставай! Бежим!

Но она продолжала сидеть. Глаза ее блестели в сумраке.

— Дай карту.

Она хотела понять, как это мы попали к железной дороге.

Я стал поспешно искать карту.

— Она осталась на бревне, — сказал я.

В первое мгновение я не очень огорчился, что забыл карту. Все казалось мне неважным сравнительно с необходимостью уйти подальше в лес. Потом вдруг я испугался, что, найдя на бревне карту, немцы догадаются, кто здесь был, и пойдут по нашему следу. И заторопился еще больше:

— Пойдем! Пойдем!

Она поднялась и стала привязывать к ногам колья. Обрадованный, что она собирается идти, я тоже привязывал к ногам колья.

— Куда ты?

Вместо того чтобы идти дальше в лес, она быстро пошла назад, к бревну, к часовому.

— Нам нужна карта, — сказала она.

Я едва поспевал за нею, уговаривал ее остановиться, вернуться, идти за мной, но она не обращала на мои слова никакого внимания, словно не слышала, и продолжала идти по нашему следу легко и поспешно.

Удивительно, как далеко я успел убежать. Обратный путь к бревну показался мне бесконечно долгим. Стараясь поспеть за нею, я часто падал и от этого еще больше отставал. Я уже почти потерял ее из виду, когда она вдруг остановилась и подождала меня.

— Оставайся здесь, — сказала она.

— А ты?

— Я пойду одна.

— Нет, уж лучше я сам схожу за картой...

— Стой здесь! — приказала она.

И я повиновался.

Я остался один.

В тишине ночи я долго-долго слышал ее удаляющиеся шаги. Потом я перестал слышать их, но не оттого, что она ушла слишком далеко, а оттого, что она остановилась. Прислушиваясь, я теперь слышал совсем другие шаги, тоже мне хорошо знакомые — шаги часового.

Пять-шесть шагов. Тишина. Пять-шесть шагов. Тишина. Я слушал, приоткрыв рот, не двигаясь, не дыша.

И вдруг взрыв разорвал тишину. Воздух дрогнул, и гулкое эхо прокатилось по лесу.

От неожиданности я со всего роста упал в снег.

Но сразу вскочил. Я не знал, что случилось с Катериной Ивановной, но был убежден, что случилось что-то страшное. Со всех ног побежал я по ее следу к бревну.

Пробежав шагов тридцать, я увидел ее. Она шла мне навстречу.

— Вот, — сказала она, протягивая мне книжечку с картой.

Я смотрел в ее расширенные, блестящие глаза. Губы ее мелко дрожали.

— Он увидел меня, но я убила его гранатой, — сказала она.

11

Возбужденная, она шла легко и быстро. От чудовищной слабости, охватившей ее вечером, не осталось и следа. Несколько часов назад она почти умирала, а сейчас она опять довела меня до изнеможения, и я умолял ее остановиться.

Мы шли весь остаток ночи, шли на рассвете, шли когда встало солнце и в конце концов дошли до маленькой землянки, засыпанной снегом. Здесь Катерина Ивановна была в прошлом году осенью, здесь надеялась она встретить тех людей, к которым ее послали.

Это была последняя ее надежда. И мы сразу увидели, что надеяться было нечего. Снег вокруг землянки лежал нетронутый. За всю зиму ни один человек не заходил сюда.

Внутри было темно и тесно. Стоять я мог только согнувшись. Нары и железная печурка, набитая снегом, — больше ничего сюда не помещалось. Но дверь закрывалась хорошо. Мы легли на нары и сразу заснули.

Мы спали очень, очень долго, спали по-настоящему в первый раз после того, как покинули аэродром. Мы успели немного обсохнуть, мы согрели своим дыханием маленькую землянку и не так мерзли.

Я несколько раз просыпался, жевал сухари. До чего Катерина Ивановна была горяча! Можно было, казалось, обжечься, прикоснувшись к ее лицу. Жар сжигал ее.

Когда я проснулся в последний раз, она уже не спала. В землянке было темно, как в могиле, я не видел ее лица, но чувствовал движение ее ресниц.

Она, видимо, дожидалась, когда я проснусь.

— Ты можешь идти? — спросила она.

— Куда?

— На север, через море. Ведь ты хотел идти через море.

По правде сказать, мне хотелось остаться в землянке. Лучше этой землянки нам ничего уже в жизни не найти.

— А ты можешь идти? — спросил я.

— Конечно, могу, — сказала она недовольно.

И, стуча зубами, потому что ее бил озноб, она слезла с нар и распахнула дверь. На дворе была ночь, уже новая ночь, и ночь эта кончалась, — на краю неба, за редкими стволами кривых берез, розовела узкая полоса.

И Катерина Ивановна повела меня на север, и я с привычным уже послушанием пошел за нею.

12

И вот мы идем на север, к морю. Солнце сверкает во всех каплях. Катерина Ивановна впереди. Рука ее вытянута. В руке компас с разбитым стеклом — стекло разлетелось при одном из падений.

Передвигая ноги с кольями, перелезая через мелкий сосняк, она внезапно спотыкается. Падает головой в снег. Один из кольев лопается пополам. Треск громок, как выстрел.

И сразу же за деревьями — отдаленный гул человеческих голосов.

Долго-долго лежим мы не шевелясь. Голоса смолкают, и больше мы их не слышим. Может быть, нам почудилось?

Катерина Ивановна подымается, достает свой нож, начинает мастерить новый кол взамен сломан-

ного. Я стою и смотрю на ее синие маленькие руки, на синеватую сталь ножа. Она больше не держится за нож, когда спит рядом со мной. Но в руки его мне не дает. Впрочем, я ведь его у нее и не прошу...

Новый кол привязан взамен прежнего. Опять она идет впереди, я плетусь за ней. Я уже больше не уговариваю ее остановиться отдохнуть. Я знаю, что это бесполезно. К нашей новой цели — морю — она теперь стремится с тем же прямолинейным упорством, с каким прежде стремилась к встрече с партизанами.

Все лицо у нее в струпьях. На лбу беспрестанно выступают капельки пота. Однако ей совсем не жарко, несмотря на то, что мартовское солнце жжет вовсю, несмотря на то, что она уже много часов в движении и у нее такой теплый тулуп. Она все зябнет и не может согреться. Я отдал ей свои кожаные рукавицы, подбитые мехом, она надела поверх своих перчаток, и все-таки у нее зябнут руки.

А я между тем не знаю, как освободить от пота разгоряченное тело. Мокрое белье прилипает к спине, к ногам. Пар валит от меня — вот до чего мне жарко. Я томлюсь от жажды и все время сосу снег.

В лесу просека, прорубленная, как по линейке, бесконечная — оба конца ее упираются в небо. Катерина Ивановна останавливается, раскладывает на снегу карту.

— Уйдем отсюда, — прошу я. — Зачем ты стала на открытом месте?

Но она молчит и кладет компас на карту. Я знаю, что это дело долгое, однако больше не спрю. Я уже привык ее слушаться.

Компасная стрелка все не хочет успокоиться, все прыгает. Катерина Ивановна ждет, склонившись, потом перекладывает карту на более ровное место и снова ждет. Так продолжается минут десять. Наконец она начинает понимать, где мы находимся, и объясняет мне:

— Впереди горелый лес. Обойдем его справа. Потом деревня. Также обойдем справа.

Но я только притворяюсь, что смотрю в карту. Мне все равно, я уже окончательно доверился ей, признал полное ее превосходство. Я только одно

понял: опять нужно что-то обходить. Идти, идти, идти...

И снова шарканье снега под облипшими кольями, хлюпанье воды в унтах, жажда, сжигающая внутренности, и усталость, погашающая все мысли, чувства, оставляющая одно желание — свалиться в снег.

Горячее солнце движется в мокрых сучьях. И вдруг — звук бегущей под снегом воды, звонкий и нежный. Катерина Ивановна взглядывает на меня, останавливается, освобождает ноги от колеб. Мгновенно и я сбрасываю с плеч груз, с ног колья. Одним движением ноги я обрушиваю в воду толстую, рыхлую снеговую корку. Мы садимся на корточки возле образовавшейся дыры и пьем весеннюю черную воду. Катерина Ивановна выпивает несколько горстей и отходит — ей холодно. А я пью, пью, и все не могу напиться. Я пью до тех пор, пока холодная вода не переполняет меня. Тогда и мне становится холодно, и я начинаю лязгать зубами...

13

Дорога шла параллельно берегу моря, и нам нужно было перейти ее. Это была наезженная дорога, со следами подков, и шин, и танковых гусениц на снегу, дорога, которой пользовались много и часто. Но когда мы вышли на нее, озираясь, она была пустынна. Правда, далеко мы ее просмотреть не могли, так как она заворачивала, и мы видели только то, что было до поворота. По обочине тянулись телеграфные столбы. Катерина Ивановна двигалась не торопясь, внимательно все оглядывала и даже, вместо того чтобы сразу пересечь дорогу, пошла по ней; я шел за Катериной Ивановной.

Мы услышали гул мотора, шипение шин, разбрызгивающих мелкие лужи, и, раньше чем мы успели что-нибудь предпринять, из-за поворота выскочил грузовик. Я увидел немецких солдат, едущих стоя; все их лица были обращены прямо к нам.

Я рванулся в сторону леса: было нестерпимо стоять в ярко-синем летнем комбинезоне на виду

у шестерых немцев — местные жители в комбинезонах не ходят. Но Катерина Ивановна взяла меня за руку.

— Поздно, — сказала она.

Я остановился. Я сам понимал, что поздно. Уверенный, что пришел конец, я остановился рядом с Катериной Ивановной на краю дороги и стал смотреть навстречу приближающемуся грузовику.

Катерина Ивановна засунула руку за пазуху и вытащила гранату Ф-1. Руку с гранатой отвела за спину. Я вспомнил, что у нее есть и вторая граната.

— Дай мне гранату, — сказал я.

Она искоса посмотрела на меня снизу вверх светлыми, отражающими небо и солнце глазами.

— Ты мне не веришь, — сказал я. — Ты не смеешь мне не верить.

— Я тебе верю, — ответила она.

Но и не подумала дать мне гранату.

Она мне верила, но полагала, что я не в состоянии толково распорядиться оружием. И неожиданно для себя я пришел в бешенство.

— Дай гранату! — с яростью сказал я,

Она опять искоса взглянула на меня светлыми глазами, быстро порылась за пазухой и сунула мне в руку гранату.

Грузовик катился, увеличиваясь, потряхивая кузовом. Я ждал его, не двигаясь, не мигая, чувствуя, как кровь стучит у меня в висках. Осталось всего несколько секунд.

И вдруг метрах в пятидесяти от нас он остановился, резко затормозил. Солдаты попрыгали на дороге. Я ждал не этого и потерялся.

А они между тем подошли к покосившемуся телеграфному столбу. Движения их были неторопливы, я слышал спокойные голоса. Столб держался только потому, что запутался верхушкой в ветвях сосны. Провода были порваны. Солдаты навалились на столб и принялись подымать его, звеня проводами. Это были связисты, починявшие линию.

Они видели нас, они не могли нас не видеть, но смотрели на нас равнодушно, как на снег и на сосны.

Катерина Ивановна легонько толкнула меня и

лениво пошла в лес по другую сторону дороги. Я пошел за нею еще ленивее. Потом мы побежали.

А гранату я ей не отдал. Я спрятал гранату себе в карман.

14

Нас опять охватило такое возбуждение, что мы забыли об усталости и шли очень быстро. Здесь, ближе к морю, лес был редок, с большими порубками, нам то и дело приходилось перелезать через канавы, через плетни, обходить поселки. Когда-то это был довольно населенный край, но сейчас он словно вымер. Поселки стояли пустые. Только раза два заметили мы дымок над крышами. Мы чуть было не натолкнулись на женщину, которая тащила хворост из лесу, но вовремя легли, и она нас не видела. День подходил к концу, солнце поползло вниз.

Катерина Ивановна часто оборачивалась и, поджидая, глядела мне в лицо. Ей, кажется, хотелось поговорить. Но сквозь опухшие, заросшие болячками губы ее вырывался один только звук:

— В-в-в...

Она передергивала плечами. Ее бил озноб.

И вдруг впереди мы увидели море.

Мы остановились на высоком лесном обрыве, под нами зеленели вершины елок. За этими вершинами простиралась пустынная ледяная равнина, залитая лилово-багровым светом, потому что солнце висело уже над самым горизонтом.

Мы решили подождать темноты. Я сел на широкий сосновый пень, и она присела рядом со мной. Она прислонилась ко мне, и я снова почувствовал, как она горяча и как ее трясет.

— В-вот, в-вовсе не холодно,— уговаривала она себя вполголоса. — В-вот, не холодно-но в-вовсе.

Потом вдруг сказала:

— Я тебе верю, не думай. Я тебе только в первый день не верила. Не сердись. Не сердись?

— Нет,— сказал я.

— Я тогда, на озере, нарочно перчатку уронила, чтобы посмотреть, что ты будешь делать, когда останешься один. Если бы ты бросил орден, или стал бы

уничтожать документаы, или сорвал бы петлицы, я бы тебя убила...

Я ничего не сказал, и она, видимо, подумала, что я рассердился. А ей не хотелось, чтобы я сердился, она словно растаяла — впервые за столько дней.

— А у меня дочка есть, — сказала она. — Третий годок уже. Зовут Тamarочкой.

— Где она? — спросил я.

— В Вологду увезена, у старшей моей сестры.

— А где муж?

— Воюет. Не знаю, жив ли. С осени писем нет.

Мы помолчали.

— А ты женат? — спросила она.

— Был женат очень давно. Разведенный.

И вдруг, неизвестно с какой стати, совершенно неожиданно для себя самого, я рассказал ей всю мою историю, которую никогда никому не рассказывал: как мне изменила жена и как я ее бросил. Катерина Ивановна слушала меня с той внимательной серьезностью, с какой женщины слушают обо всем, что связано с семьей и любовью.

— А она любила тебя, когда ты ее бросил? — спросила она.

— Очень, — сказал я.

— А ты ее любишь?

— Тогда я думал, что ненавижу.

— А сейчас?

Я колебался.

— Не знаю... — сказал я.

— Неправда. Скажи: я ее люблю!

— Я ее люблю, — сказал я.

Темнело. Равнина замерзшего моря стала темно-багровой. Я замолчал. Катерина Ивановна замолчала тоже. Темная, поникшая, она дрожала.

— Ты не можешь идти, — сказал я.

— Могу, — ответила она. — В-вот не холодно в-во-все

И она пошла.

Было совсем темно, когда мы, хватаясь за стволы деревьев, спустились с крутого откоса и вышли на плоский берег.

Дважды спотыкались мы о телефонные провода, проложенные по снегу. Потом мы упали в окоп, вырытый в полный профиль, в окоп, который, несомненно, часто навещали, потому что он был очищен от снега. Однако в окопе никого не было и никто нас не видел. Падая, мы оба сломали наши колья, и их пришлось бросить. Кое-как, утопая в снегу по грудь, добрались мы до проволочного ограждения, тянувшегося вдоль берега. Оно оказалось почти занесенным снегом, и мы попросту переползли, перекатились через него.

Мы вышли на лед и пошли прочь от берега. Весь снег смело ветром, и лед был почти голый. Сначала нам показалось, что идти очень легко, и мы пошли быстро, взяв направление на северо-запад.

Здесь было гораздо светлее, чем в лесу, — сияли звезды, лед блестел. И лесистый берег, покинутый нами, все был виден, сколько мы ни шагали. Это нас раздражало, нам хотелось, чтобы он скорее пропал, и мы все ускоряли шаги. Но время проходило, двигались звезды, мы шли и шли, а он все стоял за нами темной зубчатой полосой.

Между тем идти было вовсе не так легко, как показалось в первую минуту. Лед днем таял сверху, и на нем образовались просторные лужи. Эти лужи покрылись ночью тоненькой коркой, которая проламывалась под ногами, и ноги наши были все время в воде. Мои меховые унты набухли, расселись, обледенели и не давали мне идти. У Катерины Ивановны звонко хлюпало в башмаках при каждом шаге. Да и одеревенели мы от усталости, и не было никаких сил поднимать тяжкие мокрые ноги. Мы уже давно не шли, а еле тащились.

Екатерина Ивановна моя стала отставать. Вначале она, как всегда, шла впереди, и я еле поспевал за нею, а теперь она мало-помалу поравнялась со мной, и мне раза два пришлось даже поджидать ее.

— Натерла ногу? — спросил я.

Я понимал, что мокрым башмаком не мудрено натереть ногу. Но она ничего не ответила. Она как будто даже не поняла или не слышала меня. И я по-

думал, что она опять, вероятно, не сознает, что происходит.

Однако я не вполне был прав. На оставленном нами берегу вдруг возник яркий свет, и по льду, по огромному простору замерзшего моря, скользнул синий прозрачный луч. Немецкий прожектор оглядывал подступы к берегу. Катерина Ивановна подошла ко мне, взяла у меня парашют и накрыла им нас обоих.

Луч двигался медленно, часто останавливался и отступал, зажигая лед ярким театральным блеском. Мало-помалу он приближался к нам. Накрытые парашютом, мы неподвижно стояли и следили за лучом. Когда он подошел совсем близко, мы легли.

На мгновение он обдал и нас своим струящимся светом. Мы перестали дышать. Он ушел от нас вправо, потом стал возвращаться. Возвращался он постепенно, неторопливо, как бы нарочно мучая нас. Потом опять озарил нас и застыл.

Я уже потерял надежду, что он когда-нибудь двинется. Немец, несомненно, видел нас и старался отгадать, что мы такое. Но наша неподвижность обманула его. И луч ушел.

Долго-долго шарил он по льду. Затем вдруг поднялся, стал ощупывать небо, туманя звезды и вися над нами, как меч. А мы все лежали, прижавшись друг к другу.

Он исчез так же внезапно, как возник. Тьма, окружавшая нас, теперь казалась плотнее и неподвижнее. Я с мукой подумал о том, что опять нужно идти.

— Ты можешь идти? — спросил я Катерину Ивановну.

По правде сказать, я, как много раз прежде, надеялся, что она ответит: «Не могу». Но она встала и пошла.

Пока мы лежали, мокрая обувь наша замерзла и заскорузла так, что идти стало невозможно. Мы брели, шатаясь, преодолевая боль, хватаясь друг за друга. Мы часто останавливались — то я, то она, —

чтобы передохнуть. Поджидали один другого. Если бы не она, я давно лег бы и прекратил борьбу. Но она все еще брела, и я брел за нею.

Я чувствовал, что бо́льшая часть ночи уже миновала, и понимал, что, идя так медленно, мы до рассвета никуда не придем. Еле передвигая ноги, я бессильно шагал, прислушиваясь к бормотанию и дрожи Катерины Ивановны.

Бормотание ее убеждало меня, что она в бреду, и я несколько не удивился, когда она вдруг села на лед, разулась, швырнула в сторону свои башмаки с портянками из обрывков парашюта и осталась босая. Разувшись, она вскочила на ноги и пошла, пошла легко и быстро. Я сразу отстал от нее.

Стараясь не потерять ее в темноте, я заковылял как мог быстрее. Смотрю — она стоит, поджидает меня, подпрыгивая. Подойдя к ней, я заметил, что она шевелит губами, пытается мне что-то сказать. Я понял, что она потеряла голос, и прислушался.

— Так легче, — шептала она. — И совсем не холодно.

Тогда я сел, снял свои унты и бросил их. И мы оба пошли босиком.

Действительно, было не холодно. Так быстро мы шли. Удивительно легко идти босиком по льду, если не останавливаться. Я понимал, что остановиться уже невозможно, и шел, шел, шел за нею по жесткому, обжигающему льду. Я шел, и у меня звенело в ушах, и все кружилось перед глазами.

Мы шли всю ночь напролет, и начался рассвет, и в сером этом рассвете мы увидели берег — не тот, который оставили, а новый.

Мы дошли бы, если бы вдруг она не упала.

17

Она упала на спину со всего роста и лежала в утренних сумерках, неподвижная, коротенькая, выставив детские, маленькие посинелые пятки. Шерстяной платок ее сбился на сторону, и светлые волосы, разметавшись, лежали в снегу.

Я наклонился над нею. Она была жива и пылала

в жару. Я взял ее за руку, посадил, но чуть я отпустил ее, она опять упала на спину. Светлые глаза ее были открыты, но, казалось, ничего не видели. Я был уверен, что она не узнает меня.

И вдруг опухшие, растрескавшиеся губы ее слегка шевельнулись.

Я нагнулся и подставил ухо к ее губам.

И услышал:

— Иди...

Она, которая вела меня, малодушного, столько дней и ночей, которая вывела меня, теперь велела мне идти одному.

Я хотел нести ее, но не мог даже поднять. Я попробовал волочить ее, но проволоч не больше пяти метров. Тогда я снял с себя шлем и сунул в него ее ноги. Я обмотал ее ноги парашютом. Потом я сел рядом с нею на лед, поджав под себя босые ступни, и стал смотреть, как над замерзшим морем подымается солнце.

Меня схватили люди в белых халатах. Они подкрались незаметно. Это были краснофлотцы, охранявшие берег.

Там, на берегу, в землянке, она умерла от воспаления легких. А я — как видите. Жив.



КАЙТ

1

Конечно, он не очень красив. Шерсть на нем свалаялась, одно ухо торчит кверху, другое висит, и бегаёт он как-то боком — следы задних ног сантиметра на два правее передних. Порода? Какая там порода! Ни о какой породе не может быть и речи. Вернее, пять-шесть собачьих пород вместе. Нет, он некрасив. И все-таки не надо забывать, что с начала войны у него уже шестьдесят восемь боевых вылетов.

Если хотите знать подробности, обратитесь к начальнику строевой части полка старшему лейтенанту административной службы Сольцову. Сольцов все записывает, у него точнейший учет всех боевых действий каждого экипажа. На Кайта он тоже завел особый листок и только хранит его не в несгораемом шкафу вместе с остальными документами, а в своем личном ящике письменного стола. В этом листке вы можете увидеть, сколько за те боевые вылеты, в которых участвовал Кайт, уничтожено немецких танков, сколько потоплено транспортов, сколько разбито мостов и железнодорожных эшелонов, сколько подавлено батарей, сколько рассеяно и истреблено вражеской пехоты. Вы, конечно, можете сказать, что никаких тут у Кайта заслуг нет, потому что летал он только в качестве пассажира, — и будете правы. Однако все-таки любопытно отметить, что собака принимала участие в таких великих делах.

Кайт вырос на аэродроме, среди самолетов, и привык к ним, как собака пастуха привыкает к ко-

ровам. Он нисколько не боялся шума и грохота моторов и отлично умел обращаться с самолетами — сторонился, когда они шли на посадку, чтобы не попасть под колеса, и знал, как встать при взлете, чтобы его не сбил с ног ветер винта.

Он родился незадолго перед войной, и вся жизнь его прошла на войне. Он понимал, что такое оружие, нисколько его не боялся, но был разумно осторожен. Когда оружейники испытывали на аэродроме пулеметы своих машин, Кайт умел отойти в такое место, где случайная пуля не могла задеть его. Когда немецкая артиллерия обстреливала аэродром, Кайт заходил в землянку, под укрытие, но делал это без всякой паники, спокойно, с чувством собственного достоинства.

На аэродроме было много автомашин, и он очень любил в них ездить. Когда летчики отправлялись на полторатонке к своим самолетам, он бежал рядом и лаял до тех пор, пока его не подсаживали в кузов. Но больше всего на свете он любил ездить в «эмке» своего хозяина на охоту за вальдшнепами.

Предки Кайта, вероятно, нередко принимали участие в охоте, но ни одному из них не приходилось охотиться так, как Кайту. Мало кто знает, что такое охота на автомобиле. Но у нас на аэродроме этот род охоты был очень распространен.

Изобрел его хозяин Кайта капитан Кожич. Маленький, крепкий, узловатый, с черными глазами и черными франтовскими усиками, он становился на крыло «эмки», держа пистолет ТТ в руке. Друг Кожича, инженер-капитан Морозов, садился за руль, Кайт садился рядом с Морозовым. И они неслись по огромному пустынному аэродрому, по высокой, некошеной сентябрьской траве.

Не знаю, почему в ту осень было у нас столько вальдшнепов. Быть может, потому, что здесь, в прифронтной полосе, за ними никто не охотился, или потому, что несмолкаемый грохот грандиозной битвы выгнал их из привычных лесов и полей и заставил переселиться сюда, к нам, в ближайший тыл. Целыми табунами ходили они по траве, тяжелые, разъевшиеся, ленивые.

Заметив вальдшнепов, Морозов гнал машину пря-



мо к ним. Кайт подымал свое острое левое ухо — правое у него отчего-то плохо подымалось и всегда висело. Капитан Кожич ленивым и небрежным движением руки подымал пистолет. В этой небрежности и заключался главный шик — капитан Кожич был лучший стрелок дивизии и гордился этим. Небрежно подымалась рука, щурился черный глаз, и раздавался отрывистый гулкой выстрел. Вальдшнепы неохотно взлетали и пестрой стаей неслись над травой. Одна птица оставалась в траве. Морозов резко, со всего хода тормозил машину.

Тогда наступала очередь Кайта. Морозов приоткрывал дверцу, и Кайт выскакивал. Вытянув хвост, большими прыжками мчался он к птице. В трех-четыре шагах от нее он внезапно останавливался, припав всем телом к земле. Он медленно подползал к ней на брюхе, словно она могла улететь. Потом бросок вперед — и он осторожно схватывал ее пастью, стараясь не помять ни одного перышка.

С птицей в пасти мчался он назад, к машине, и ложился перед Кожичем в траву, махая поднятым хвостом и глядя ему в глаза. Это был хороший взгляд, полный не раболепия, а дружеского лукавства: мы, мол, с тобой приятели, и мне удовольствие — оказать тебе услугу. Кожич нагибался, брал птицу и небрежно похлопывал Кайта по морде.

Кайт и Кожич были неразлучны. Если где-нибудь заметите вы Кайта с поднятым сверху мохнатым хвостом, значит, сейчас же появится здесь и Кожич. Если Кожич посетит землянку своих техников и мотористов, значит, сейчас же раздастся скрип когтей под дверью, дверь откроется, и войдет Кайт, поочередно обнюхивая ноги каждого. Если Кожич играет в шахматы, Кайт сидит тут же на полу и не сходит с места, как бы долго ни тянулась партия, и только громко постукивает хвостом по полу.

Умение Кайта терпеливо ждать было удивительно, особенно если принять во внимание его необычайную подвижность и способность увлекаться пустяками. Он мог целые дни напролет гоняться за воробьями без всякой надежды поймать их. Заметив маленькую черную мышку, которых так много у нас на аэродроме, Кайт кидался к ней с такой

стремительностью, что нередко перевертывался через голову. Мышка, конечно, успевала юркнуть в нору, и Кайт долго рыл землю лапами и мордой, а потом бесновался и прыгал вокруг. Однако, когда Кайт ждал на старте улетевшего Кожича, он, казалось, становился другим существом. Ни один воробей, ни одна мышь в мире не могли отвлечь его внимания. Когда Кожич, в шлеме и очках и уже непохожий на обычного Кожича, садился в свой самолет, Кайт неизменно подходил к нему проститься. Передними лапами скреб он колени Кожича, и Кожич похлопывал его по морде. Потом Кайт ложился в траву, крутились винты, трава дрожала от ветра, и самолеты мчались через весь аэродром к синему лесу и взлетали. И Кайт не спускал глаз с одного самолета — с того, на котором был Кожич. По направлению морды Кайта всегда можно было узнать, где, в каком уголке неба, находится еле видный самолет Кожича.

Но вот самолет уходил так далеко, что даже зоркие глаза Кайта не могли его разглядеть. Кайт продолжал лежать и ждать. Взлеты и посадки других самолетов не привлекали его внимания, разве только на мгновение повернет он к ним свою скучающую морду.

Проходили часы, солнце все выше подымалось по пустынному небу, становилось жарко, а он все ждал. Техникам привозили на старт обед, они угощали Кайта, но он отказывался.

Солнце ползло вниз, тени становились длиннее, а он все ждал. И вот, наконец, вдали, над зубчатыми вершинами леса, появлялись самолеты.

Кайт подымался, левое ухо его вставало торчком. Он весь приготавливался к бегу. Самолеты в воздухе были неотличимы друг от друга даже для опытного глаза, но Кайт сразу узнавал самолет Кожича по одному ему ведомым приметам. И едва этот самолет в дальнем конце аэродрома касался колесами земли, Кайт срывался с места и мчался к нему навстречу. Потом бежал обратно рядом с ним, пока самолет заруливал к старту. Когда Кожич, подняв стеклянный колпак, вставал во весь рост, Кайт приходил в неистовство от восторга и с прерывистым визгом

так прыгал, что подпрыгивал почти до кабины. Сняв шлем, Кожич спускался на землю, и Кайт едва не сбивал его с ног, прыгая и стараясь лизнуть в лицо.

2

Как уже сказано, Кайт летал только в качестве пассажира, но пассажиром он был образцовым. Его, очевидно, укачивало, и на пятой минуте полета он обычно уже спал, положив голову на переднюю лапу. Даже треск пулеметов во время схваток с «мессершмиттами» не мог пробудить его, даже когда штурман Кожича начинал бомбить и бомбы взрывались, он продолжал спать. И только иной раз, когда слишком близко разорвавшийся зенитный снаряд потряхнет самолет и заставит его шарахнуться в сторону, Кайт откроет один карий глаз, поглядит невозмутимо на облачка разрывов, на скрещивающиеся струи трассирующих пуль и опять закроет его.

Капитан Кожич был так неразлучен с Кайтом, что многие дивились, когда он говорил, что не любит собак и что до Кайта он никогда не имел ни одной собаки. Кожич был прирожденный щеголь, даже в его небрежной походке, в его манере говорить было много щегольства; особое щегольство видели и в том, что он летает с собакой, но считали, что собаку ему следовало бы завести породистую, щегольскую, а не такую кудлатую дворнягу, как Кайт. Однако, когда ему говорили об этом, он сердился.

— Вот еще! — отвечал он. — Мне не надо никаких собак — ни породистых, ни дворняжек. А Кайта я не заводил.

И он был прав. Те, которые служили с ним сначала войны, знали, что Кайт вовсе не его собака, а старшего лейтенанта Манькова.

В полку осталось не так много людей, которые видели старшего лейтенанта Манькова, но слышали о нем все. Любой, даже самый молоденький летчик, только вчера прибывший из училища в полк на пополнение, мог бы вам рассказать про старшего лейтенанта Манькова и про его последний бой. О капитане Кожиче с уважением говорили:

— Это был лучший друг Манькова!

И рассказывали, как еще до войны в полку дивились их дружбе. Дивились потому, что трудно было сыскать двух других таких несхожих людей, как Кожич и Маньков.

Ни в чем не было между ними сходства — ни в наружности, ни в душевном складе, ни в привычках. Кожич был небольшой, смуглый, черноволосый, с маленькими изящными руками. Маньков был грузный, высокий, с волосами цвета соломы, с пухлым красным лицом, с огромными ручищами. Кожич был острослов, едкий и насмешливый, и шуток его многие побаивались. Маньков был добродушен и в разговоре ненаходчив — тюлень тюленем. Кожич был честолюбив и изо всех сил старался всюду стать первым — в стрельбе, в плавании, в фигурах высшего пилотажа, в шахматах, в бою. Маньков был совершенно равнодушен к славе, и хотя и оказывался по большей части первым, но получалось это у него как-то само собой, без всякого усилия. По правде сказать, и сама дружба Кожича с Маньковым была основана на соперничестве: Кожич во всем старался обогнать Манькова, но это нечасто ему удавалось.

До сих пор помнят отчаянные шахматные сражения между Кожичем и Маньковым. Кожич всех обыгрывал в полку, не мог обыграть только Манькова. Когда они играли, все собирались смотреть — так забавно горячился и сердился Кожич. У Кожича была шумная манера играть — он обычно вел себя крайне самоуверенно, расхваливал свои ходы, высмеивал ходы противника и старался запугать его. Он называл это «моральной атакой», и действительно, противники его часто пугались, сбивались, путались и сдавали партию, когда еще можно было играть. Потом Кожич сам же высмеивал их. Но все выходы Кожича разбивались о непобедимое добродушие Манькова. Маньков играл спокойно, молчаливо и точно и этим выводил Кожича из себя. Чувствуя приближение проигрыша, Кожич кричал, что ладья Манькова стоит не на том месте, где ей следует стоять, или что Маньков нарочно посадил его слишком близко к печке, чтобы замутить ему голову, или что из-за темноты в землянке он по ошибке

двинул не ту пешку, какую хотел, и поэтому может теперь ее не отдавать. Особенно раздражал Кожича в такие минуты мохнатый щенок Манькова, маленький Кайт, вертевшийся под ногами. Кожич уверял, что паршивый щенок этот мешает ему думать, и, проиграв, сваливал на него всю вину. Он, вероятно, после какого-нибудь досадного проигрыша убил бы щенка пинком ноги, но Маньков всякий раз выручал Кайта — подымал его на своей широкой ладони и прятал подальше, за койкой.

Вообще Кожич не разделял любви Манькова к разным зверюшкам и презрительно фыркал, когда Маньков показывал ему какого-нибудь подобранного на дороге вороненка с перебитым крылом, или ежа, принесенного из лесу в голубой пилотке, или свою ручную белку. Эта белка до того привыкла к Манькову, что вскакивала на него с разбегу, как на ствол дерева, и сидела у него на плече, когда он гулял. Впрочем, с вороненком, ежом или белкой Кожич еще готов был примириться — на них действительно любопытно иногда посмотреть, — но что нашел Маньков в своем мохнатом щенке, он никак понять не мог.

Конечно, Кожичу приходилось волей-неволей мириться и с постоянным присутствием этого щенка, потому что сам он никогда не расставался с Маньковым, а Маньков никогда не расставался со щенком. Они спали втроем в одной землянке — Кожич, Маньков и Кайт. Они втроем купались в реке возле аэродрома — Кожич, Маньков и Кайт. Они даже обедали втроем: Кожич и Маньков — за столом, а Кайт — под столом. Однако Кожич никогда не снисходил до того, чтобы погладить Кайта, а Кайт никогда не осмеливался подпрыгнуть и лизнуть Кожича в лицо.

И уж совсем блажью считал Кожич выдумку Манькова брать Кайта с собой в полеты.

3

В то лето немцы наступали, и полк работал по уничтожению коммуникаций в немецком тылу. Это была изнурительная работа — по пять-шесть вылетов

в сутки, ночью и днем, с кратчайшими промежутками для сна и еды. Прилетишь, вылезешь из кабины, ляжешь в комбинезоне на спину в траву возле самолета и жадно дышишь, пока оружейники подвешивают новые бомбы. Не успеешь отдышаться, перекурить — и снова полет на запад, навстречу огромной багровой вечерней заре, туда, где все небо рябое от мгновенных звездочек зенитных разрывов.

Командир эскадрильи был убит, и Кожич стал командиром эскадрильи. Теперь он водил свою эскадрилью в бой и первый взлетал с аэродрома, и все остальные самолеты пристраивались к нему в воздухе. Он придавал большое значение строю, он знал, что правильный строй делает их менее уязвимыми для «мессершмиттов», потому что в строю они защищают друг друга своими пулеметами, он знал, что, когда они идут в строю, зениткам труднее к ним пристреляться, потому что строй рассчитан на то, чтобы ни один самолет не прошел по пути другого. И главное — он знал, что при железном строе от него одного зависит, прорвутся ли они вместе к той дороге, к тому мосту, к тому городу, который они должны поразить.

Маньков лучше всех держал строй и шел в воздухе всегда справа от Кожича. Сколько бы раз ни поворачивал Кожич голову вправо, он всегда на одном и том же расстоянии от себя видел самолет Манькова. Казалось, будто самолет Манькова висит в воздухе неподвижно. Это неизменное постоянство самолета Манькова всегда наполняло Кожича радостью и уверенностью. Когда путь им преграждал заградительный зенитный огонь такой густоты, что, казалось, и воробью не пролететь через него, Кожич смотрел на самолет Манькова и, видя его на прежнем месте, вел эскадрилью вперед, зная, что никто не свернет и не отстанет.

В тот душный день тучи шли низко, свисая почти до земли. Кругом горели подожженные немецкой артиллерией леса, и грязный дым висел во влажном воздухе, скрывая все дали. Лучше не было дня для удара по железнодорожному мосту, расположенному в трехстах километрах позади немецких армий. Это был самый главный мост для всего фронта немцев —

от него расходились все пути, питавшие их наступление. Ни в одном месте не было у них столько зенитных батарей, как у этого моста,— два полка истребительной авиации охраняли его. Удар по мосту можно было нанести только внезапно. Это был самый подходящий день для того, чтобы подкрасться к нему исподтишка.

Эскадрилья поднялась и сразу потонула в тумане. Идти можно было только по приборам, как ночью. Клубы облачного пара, исполинские, медленно движущиеся, полные причудливых пропастей, обступали самолет Кожича со всех сторон. Кожич часто не видел не только своей эскадрильи, но даже крыльев своего самолета. В такие минуты им овладевало беспокойство, и он напряженно ждал, когда туман хоть немного отступит. Он хотел видеть всех своих товарищей, он отвечал за каждого из них. И прежде всего из мути выплывал самолет Манькова, который висел справа от него, всегда на том же месте. И радость охватывала Кожича, и, успокоенный, следил он, как в слегка редееющей мгле постепенно прояснялись очертания всех остальных самолетов, идущих за ним журавлиным клином.

Так прошли они большую часть пути. Уже до цели оставалось каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут полета, когда Кожич стал замечать, что просторные пропасти между клубящимися громадами облаков наполняются перламутровым светом. Это был свет солнечных лучей, проникающих сквозь тучи, и Кожич понял, что слой туч над землею редет.

Вдруг тучи кончились, оборвались, и все шесть самолетов эскадрильи неожиданно для себя выскочили на ясный простор голубого неба.

Кожич не ждал такого подвоха и, по правде сказать, в первое мгновение даже растерялся. Пройти почти весь длинный путь скрытно — и под самый конец, когда до моста осталось десять минут полета, оказаться на виду у врага. Но не прятаться же снова в тучу, не возвращаться же, ничего не сделав! И Кожич повел свою эскадрилью вперед.

С земли их заметили почти сразу. Весь этот район немцы хорошо охраняли и всюду расставили

посты наблюдения. В прозрачном воздухе ясного летнего дня советские самолеты были отчетливо видны. Сразу заработали зенитные батареи — и справа и слева.

Гроздя разрывов повисали в воздухе, пачкая небо. Эскадрилья Кожича шла все вперед и вперед. Когда разрывы начинали ложиться слишком близко, Кожич неожиданным рывком швырял свою эскадрилью то в один бок, то в другой, сбивая немецких зенитчиков с прицела и мешая им попасть. Он хорошо владел искусством противозенитного маневра и потому не слишком опасался зениток. «Авось не попадут, — думал он. — Лишь бы подойти к мосту, прежде чем подымутся «мессершмитты».

Он подумал о «мессершмиттах» и увидел их. Они шли парами, внезапно возникая в воздухе и стремительно увеличиваясь, и было их сначала две пары, потом четыре, потом шесть. Перед сомкнутым строем советских бомбардировщиков они немного замешкались. Но мост был уже близко, медлить они больше не могли и пошли в атаку — снизу, сзади и сверху.

Начался бой, и бой этот происходил так быстро, что Кожич не успевал следить за ним. Неяркие при солнечном блеске струи пуль скрещивались, потухали и вспыхивали вновь. Его стрелок-радист и его штурман вели огонь из своих пулеметов, и все штурманы и стрелки-радисты эскадрильи вели огонь. «Мессершмитты» тоже вели огонь, и уже дважды слышал он щелканье пуль по плоскостям своего самолета. Но он думал только о том, что надо дойти до моста, и уже видел впереди изогнутую ленту реки, сверкавшую на солнце, как никель.

Вот уже один «мессершмитт», крутясь, переворачиваясь боком через крылья, упал и исчез далеко внизу на темном фоне леса, а Кожич все еще вел свою эскадрилью, построенную в небе подковой.

Каждые две секунды он взглядывал на самолеты — вправо и влево. И всякий раз прежде всего вправо — на самолет Манькова.

И вдруг он увидел, как черный дым вырвался из самолета Манькова. Они уже дошли до реки и шли

над рекой, отстреливаясь от истребителей. Дым был так густ, что временами окутывал весь самолет Манькова, как плащом, и скрывал его из виду. Длинным грязным хвостом тянулся он за ним в пронизанном солнцем воздухе.

Сейчас он упадет. Но нет, он не падает. Он по-прежнему идет вперед, этот упорный самолет, никогда не меняющий места в строю, и даже ведет огонь сквозь дым, окутывающий его. У Кожича сердце сжимается от муки. Вперед, вперед! Вот уже отчетливо виден железнодорожный мост через реку, тоненький, как струнка. Надо снижаться, почти невысказанно попасть в мост с такой высоты. Вся эскадрилья идет на снижение, волоча полосу дыма за собой. В пылающем самолете Маньков летит справа от Кожича, не желая покинуть своего места в строю.

Кожич уже ложился на боевой курс, когда самолет Манькова выпал, наконец, из строя. Пылающий в воздухе костер устремился вниз. Но, и пылая и падая, он продолжал идти к мосту. Воля Манькова управляла им до последнего мгновения. Он разбился о мост, и бомбы взорвались, и, когда огромный клуб дыма отполз в сторону, Кожич увидел, что моста больше нет.

4

А как же Кайт? Находился на самолете Манькова и погиб вместе со своим хозяином во время его последнего подвига?

Так и решил Кожич, когда вернулся на аэродром и не нашел Кайта у старта. Но техники сказали ему, что Маньков на этот раз не взял Кайта с собою и Кайт ждал его, пока самолеты не вернулись на аэродром. Когда же он увидел, что на посадку идут не шесть, а пять самолетов и самолета Манькова нет между ними, он вдруг повернулся и побежал, побежал прочь, в дальний угол аэродрома, где рос не выкорчеванный еще ольшаник, и скрылся в кустах.

Четыре дня Кайт не появлялся, и никто его не видел. На пятые сутки ночью Кожич, лежа в зем-

лянке, услышал протяжный вой. Он накинул на себя реглан и вышел из землянки.

В темноте что-то мягкое, теплое прикоснулось к его ногам.

— Кайт!

Кожич нагнулся и погладил Кайта. Кайт подпрыгнул и лизнул его в лицо, как лизал прежде Манькова.

С тех пор они неразлучны.

1943

ТАЛИСМАН

Вам показалось, что он угрюмый? Он не угрюмый. Он неразговорчив, особенно с людьми, которых мало знает. А мне известно, что он весельчак. Два года назад, когда он был лейтенантом, я видел, как он катался с женой и приятелем в лодке по Волхову. Он раскачивал лодку, брызгал водой, пел, баловался, словно маленький.

А странная эта легенда за Федей Топорковым давно идет. Она, пожалуй, еще с училища за ним тянется. С инструкторских еще времен.

Он ведь учился замечательно, по пилотажу кончил первым, и его оставили при училище инструктором. И инструктор он был поначалу хороший, да вдруг стал откалывать чудеса.

Он вылетел на У-2 в очередной полет с курсантом. Заметил глубокий длинный овраг. На Северном Кавказе такие овраги не редкость. Дно оврага поросло высокой травой и кустами. Он покружился над оврагом, нырнул в него, помчался по оврагу над самым дном. Колеса чуть не задевали за ветки кустов. На десятки метров вверх — обрывы и скалы. Впереди еще сложнее — овраг сужается, делает резкий поворот. Здесь и птица пролетит с опаской.

Курсант не дышит. Впереди овраг настолько узок, что пролететь, ведя машину горизонтально, невозможно. Федя Топорков опускает одну плоскость, подымает другую, ставит машину боком. Один склон мелькает под колесами, другой — над головой. Вот и конец оврага. Курсант счастлив — сейчас они вы-

нуждены будут подняться. Но нет. Федя разворачивает самолет и снова проходит весь овраг в обратном направлении.

А на другой день выкинул он знаменитую штуку с телеграфными столбами. Летел он над степью и вдруг заметил внизу телеграфную линию. Он спустился, нырнул под провода и пошел под ними змейкой вдоль всей линии: один столб справа от себя оставит, другой — слева.

По-вашему, он так играл со смертью оттого, что много думал о ней? Да, любопытная у вас мысль. Но неправильная. Не он думал о смерти, а одна девушка, которую он полюбил в то время и на которой потом женился. О девушке этой я вам сейчас расскажу, а пока только замечу, что вон с каких времен, с училищных, пошла легенда, что смерть его не берет.

Девушку звали Нина, была она высокая ростом, черноволосая и в том южном городке на берегу Азовского моря считалась в тот год первой красавицей.

Она сама знала, что она красавица, и вела себя очень гордо. Покрасит губки, выйдет на бульвар, под акации, а кавалеры за ней — целый взвод. И кавалеры — лучшие танцоры, самые бойкие в городе молодые люди. И всех их держала она в повинновении и страхе. Казалось бы, такому увальню, как Федя Топорков, и подступить к ней невозможно.

Однако он подступился и все эти свои штуки с оврагом и телеграфными столбами из-за нее выкидывал. И видимо, не зря. Не знаю, как это у них все вышло, но стала Нина его невестой. И была права — из всех, кто за ней ухаживал, был он самый стб́ящий.

Он ей говорит:

— Будем мы с тобой жить по-хорошему, по-семейному, будут у нас и детки.

И вдруг она ему отвечает:

— Не знаю, будут или нет, а один ребенок у меня уже есть.

— Какой ребенок?

— А вот какой.

И показывает она ему плюшевого мишку.

— С этим мишкой, — говорит, — я все свое детство не расставалась. Еще прошлый год, я уже в последнем классе школы была, а все ему распашоночки шила.

И действительно, нашито этому мишке множество рубашечек из лоскутков, навязано множество сапожков.

— Я, — говорит, — никогда с ним не расстанусь, я знаю, что он мне счастье приносит.

Хорошая была девушка. Очень она своего Федю полюбила.

— Что хочешь, — говорит, — для тебя сделаю.

И он ей:

— Что хочешь для тебя сделаю.

— А что же ты хочешь, чтоб я для тебя сделала?

— Брось губы красить. Не ради себя прошу, а ради своей матери. Повезу я тебя к себе на Ладогу, в деревню, а мать у меня женщина простая, деревенская, не нравятся ей крашенные губы. А что хочешь, чтоб я для тебя сделал?

— Брось летать. Очень я боюсь за тебя и не желаю вдовой оставаться.

Она, конечно, свое обещание выполнила, а он, конечно, своего не выполнил. Она примирилась. Только всякий раз, как Федя был в воздухе, становилась она бледна и молчалива.

Покаялся он ей, впрочем, что летать теперь будет аккуратно, разумно. И действительно, никаких глупостей он себе больше не позволял и стал отличным инструктором.

Но инструктировал он уже недолго, потому что вскоре после женитьбы перевели его приказом в наш полк, на Балтику.

Полк наш в то время стоял на острове в Балтийском море, и по дороге Федя завез молодую жену в свою деревню, на берег Волхова, к отцу, к матери.

Мать обрадовалась.

— Хорошо, — говорит, — что Феденька наш женился. Будут теперь у меня внуки.

А Нина ей:

— Не знаю, — говорит, — будут или нет, а только один, мамаша, уже есть.

И показывает плюшевого мишку,

Свекровь посмеялась, что замужня женщина в куклы играет, и подивилась.

А Нина говорит:

— Этот мишка мне, видимо, счастье приносит. Всю жизнь он со мной, и всю жизнь я счастливая.

Прибыл Федя Топорков к нам в полк, на остров Сарема, один, без жены, перед самой войной. И не то на пятый, не то уже даже на третий день войны пришлось ему вступить в бой с превосходящими силами противника.

Вылетели истребители звеном на охрану наших кораблей. Топорков шел в звене левым ведомым. И встретили они сорок «юнкерсов», которые шли бомбить наш флот, и восемнадцать «мессершмиттов». И вступили они втроем с ними в бой, и расстроили их ряды, и ни одна бомба не попала в корабли. Бой этот длился двадцать семь минут, и сбили они за это время четыре «юнкерса» и один «мессершмитт».

Это была победа, но далась она дорогой ценой. Командир звена, прекрасный старый летчик, был убит. Правый ведомый выпрыгнул из горящего самолета на парашюте, и его подобрала шлюпка с эсминца. И один только Топорков вернулся невредимым на целехоньком самолете.

Вот тогда и вспомнили, посмеиваясь, в полку старые училищные разговоры, что Топоркова смерть не берет. А тут, как нарочно, в скором времени Топорков из такого дела живым вышел, что даже поверить трудно.

Эвакуировались мы с острова Сарема. Всю южную часть его уже заняли немцы. Но истребители всегда уходят последними: они должны прикрыть эвакуацию с воздуха.

Полк перебрався на самый северный мыс и стал там прямо в поле. С этого мыса мы работали. А немецкая артиллерия нас обстреливала.

Осколок снаряда попал в самолет Топоркова и повредил мотор.

Ремонтная наша мастерская к тому времени уже уехала, и техник Сидоров принялся сам чинить мотор. Знаете Сидорова? Высокий, костистый и упрямый. Корабли наши уже ушли, немцы подобрались совсем близко, а он все чинит и чинит. И Топорков

ему помогает. Наземные работники нашего полка давно уехали. Приходит приказ — летчикам перелететь на Ханко. А у Топоркова самолет не готов.

Да разве его починишь, когда инструмента нет, а мотор вдребезги? Предлагают Топоркову и Сидорову лететь на «дугласе» пассажирами — рейс самый последний. Но «дуглас» их ждал-ждал, они не явились, он и ушел без них.

А они все со своим самолетом возятся. В последнюю минуту придумал Сидоров поставить на самолет другой мотор с одной брошенной, разбитой машины. Мотор был тоже поврежденный и, главное, неподходящий — другого типа. Как он его приспособил, не знаю, я не техник, — как говорят, «на скорую руку проволочками прикрутил». Топорков посадил Сидорова к себе за бронеспинку — такого длинного! — и взлетел. И чуть взлетел — на мыс немецкий танк выехал.

Летят они через море вдвоем, на истребителе, а мотор по частям разваливается. Топорков набрал высотенку сколько мог, стал тянуть и планировать. Уж как он там планировал, не скажу, а допланировал до Ханко, до аэродрома. Если бы он из гроба живым вышел, не так бы удивились.

Стал он драться на Ханко. Он не только во всех самых отчаянных схватках был, но даже на таран ходил. Таран, сами знаете, дело рискованное, не всегда выгодное, тут часто получается размен фигур, как говорят шахматисты. Еще летчик может на парашюте выпрыгнуть, а как свою машину спасти? Не придумаешь, как и сделать...

Но у Топоркова просто другого хода не было. Он возвращался из боя над морем без патронов, на последнем горючем, когда вдруг к нему привязался «мессершмитт». Топорков от него вниз, к воде, тот за ним лезет и лезет. Видит, что Топоркову стрелять нечем, и думает — дело верное.

Топорков развернулся и пошел на таран. Немец вовремя понял и нырнул под Топоркова, к воде. Но не чисто сделал эволюцию, задел плоскостью за воду и переломился.

И вернулся Топорков невредимым на невредимом самолете.

После Ханко зимой перебросили наш полк на берег Ладожского озера, охранять знаменитую ледовую дорогу, последний путь, соединявший осажденный Ленинград с остальной страной. И оказался Федя Топорков в каких-нибудь пятнадцати километрах от родной деревни, от отца с матерью, от своей Нины.

Вот до чего ему везло!

Тут я впервые увидел эту Нину — она приехала к мужу в гости и сидела рядом с ним в нашей летней столовой. Высокая, чернобровая, с большими глазами и мягкими, пухлыми губами — у нас на севере таких редко встретишь. Я сразу заметил, что она беременна. Когда Федю по телефону внезапно вызвали из столовой на аэродром, к самолету, она резко побледнела, и я подумал, что не нужно ей у нас оставаться.

Да она и не осталась — в тот же вечер уехала домой. Она работала сестрой в госпитале, который разместился у них в деревне, и часто разговаривала с Федей по телефону. А Федя, когда возвращался с боевого задания, всякий раз норовил пролететь над родной деревней. Снизится над отцовским домом и видит, как отец колет на дворе дрова, как мать вешает белье на веревку, как жена стоит на крыльце и машет ему рукой.

Однажды она не сразу вышла к нему на крыльцо, проспала, что ли, он встревожился и дал очередь из пулемета в воздух. Она выбежала на крыльцо, он успокоился и улетел.

Как-то раз в нелетную погоду поехал он к ней в гости вместе с тогдашним комиссаром третьей эскадрильи Виктором Михайловичем Коробейниковым. Был Коробейников человек насмешливый и веселый. Пошли они втроем погулять — Коробейников, Федя Топорков и Нина. По деревенской улице идет им навстречу цыганка — молодая, красивая, вся в какие-то цветные шали закутана.

Коробейников кричит ей:

— Эй! Погадай!

А она:

— Да что тебе гадать, ты и сам все знаешь.

Но он не отстает: погадай да погадай.

— Я не из тех цыганок,— говорит цыганка,— которые гадают, а из тех которые на оборонных работах работают.

Но все-таки остановилась, смеется.

А Коробейников:

— Нет, уж ты признайся по дружбе — гадать не забыла?

— Забыть не забыла...

И пошла.

— Погадай ты мне, очень тебя прошу! — крикнула Нина цыганке вслед.

И такой голос у нее был взволнованный, что цыганка разом остановилась.

— О чем тебе погадать?

— Ответь ты мне, сделай милость! Убьют моего мужа или нет? Я мигом домой сбегаяю, тебе карты принесу...

— Этот твой муж? — спросила цыганка, поглядев на Федю.

— Этот.

— Так я тебе без карт скажу: не убьют.

— А почему ж не убьют?

— А потому, что у него талисман есть.

Вот когда это слово в первый раз выплыло — талисман.

Нина обрадовалась, спрашивает цыганку:

— Что тебе дать за гадание?

А цыганка:

— Вот еще! Стану я у тебя брать! Может, я богаче тебя? Ты почем знаешь?

Об этом разговоре Коробейников нам со смехом рассказывал, но потом перестал смеяться, когда оказалось, что действительно талисман есть. Напротив, он очень был недоволен, потому что не любил пред-рассудков.

О талисмানে проболтался техник Сидоров. Долговязый, костлявый, этот техник до того Топоркову был предан, что все дивились. С тех пор как Топорков вывез его на своем самолете с острова, он в Топоркова влюбился. Человек он был одинокий, бессемейный, никому на свете даже писем не писал, и вся жизнь его стала — Топорков и его самолет. На аэродроме, у самолета, проводил он и день и ночь — все

что-то чистит, чинит, заряжает. В самые зверские морозы не загнать его было в землянку, даже обедать забывал ходить — такой упрямый! Ну, конечно, самолет Топоркова всегда в лучшей готовности, с таким техником можно жить, забот не зная.

О Топоркове он хлопотал, как о самолете. Был он Топоркову вроде няньки: всегда посмотрит перед вылетом, как он одет, да все ли на нем застегнуто, да вымазаны ли щеки жиром, чтобы не поморозиться, да не налип ли снег на унты. По вечерам его спать загонял, чтобы успел выспаться, кипятил ему чай на старте, сам относил в самолет да еще дул в стакан, чтобы Топорков не обжегся. Даже Нине один раз отправил подснежной клюквы: ей, мол, в ее положении нужны витамины. Впрочем, Нину он не любил — ревновал, что ли.

При всей своей упрямой замкнутости проболтался он как-то приятелям, что Топорков в каждый полет берет с собою плюшевого мишку, и давно уже — с начала войны. Мишка этот хранится у Сидорова, и Сидоров перед каждым полетом сует его Топоркову в кабину, не знаю уж, в какое место. И Топорков в бою, в минуту опасности, непременно коснется его рукой.

От приятелей Сидорова стало это известно всему полку. Многие даже видели мишку, и все заговорили, что у Топоркова есть талисман.

Коробейников, признаться, даже расстроился и рассердился: серьезный человек, серьезнейшим делом занят и вдруг к этому делу такой вздор примешал. В этом духе рассуждал он со многими нашими летчиками и техниками, и все слушали его и с ним соглашались.

В конце концов Коробейников решил поговорить с самим Топорковым. К решению этому он пришел не без колебания: отняв мишку, в которого Топорков верит, если только Топорков в него верит, он может лишить его уверенности в себе, столь необходимой в бою. Но, поразмыслив, он пришел к выводу, что подобные опасения недостойны ни его, ни Топоркова, а потому к разговору все-таки приступил, начав его так:

— Ты веришь в мишку?

Топорков подумал, нахмурился и ответил:

— Нет.

— Чего ж ты его возишь с собой?

— Так Нине спокойнее, — сказал Топорков.

Но Коробейников гораздо меньше интересовался Ниной, чем Топорковым.

— А тебе спокойнее? — спросил он.

— Раз Нине спокойнее, спокойнее и мне.

На этом разговор оборвался, и Топорков продолжал летать с мишкой.

Как-то раз в феврале к нам на командный пункт дозвонилась одна медработница, работавшая вместе с Ниной в госпитале, и вызвала Топоркова к телефону. Она сказала ему, что у Нины роды начались еще вчера с вечера, что проходят не совсем гладко и что до сих пор она еще не родила.

У Феди все лицо вдруг стало мокрым, в мелких капельках, как в бисере. Он повесил трубку и пошел к командиру полка проситься, чтобы отпустили его на несколько часов к жене. Но тут в полк позвонили, что к Кобоне, перевалочному пункту на берегу озера, двигается группа «юнкеров» — бомбить грузы, предназначенные для Ленинграда. И командир полка приказал Топоркову вылететь.

Случилось так, что за день до того две эскадрильи нашего полка ушли на другой аэродром для выполнения одной короткой, но важной операции, а третья эскадрилья, в которой был и Топорков, полчаса назад поднялась почти вся в воздух на прикрытие транспортных самолетов, возивших грузы через озеро. И на аэродроме оставались только два самолета — Топоркова и его ведомого, сержанта Тоболкина, недавно прибывшего из школы.

День был с утра морозный, ясный, но сейчас, к полудню, с озера уже ползла муть, и синева неба бледнела. Топорков побежал к самолету по слепящему твердому снегу. Сержант Тоболкин едва поспевал за ним.

— Ты только не отрывайся, — сказал Топорков, — и делай, что я.

Сидоров уже запустил мотор и помог ему вскочить в кабину. Топорков взлетел и направился прямо к озеру, поспешно набирая высоту. Он раза два

обернулся, посмотрел, идет ли за ним Тоболкин. Тоболкин послушно шел за ним в хвосте, не отставая.

Потом Топорков увидел пять «юнкеров» — они шли черной цепочкой, один за другим, и очертания их слегка расплывались в дымке. Пушинки зенитных разрывов возникали то справа от них, то слева.

Топорков развернулся и пошел на сближение. Когда передний «юнкерс» возник перед ним в прицеле, распластав все увеличивающиеся крылья, он привычно дотронулся рукой до того мягкого, шерстистого предмета, который лежал у него сбоку на обычном месте. «Юнкерс» уже вел огонь, размахивая в воздухе огненными жгутами очередей, но Топорков продолжал идти на сближение, широкими рывками швыряя машину из стороны в сторону.

Стрелять он начал с пятидесяти метров. «Юнкерс», окутанный дымом, накренился на левый бок. У Топоркова не было времени смотреть, что с ним будет дальше, потому что еще четыре «юнкера» были впереди. «Тоболкин добьет его», — подумал он с надеждой и сразу увидел второй «юнкерс».

Чуть дотронувшись до мягкого, он бросил машину в пике и вывел ее из пике как раз под брюхом второго «юнкера». Машина выполнила маневр с такой точностью, что он испытал наслаждение. Он полоснул по всему брюху «юнкера», от носа до хвоста, и проскочил у него за хвостом, продолжая подниматься.

Теперь третий «юнкерс» был как раз под ним. Опять прикосновение к мягкому — и Топорков, перевернувшись, оказался у него в хвосте. Оба стрелка с «юнкера» вели огонь, но Топорков зашел в мертвый конус и убил обоих — сначала верхнего, потом нижнего. Он расчленил «юнкерс» опытной рукой, действуя почти механически, с точностью хирурга. Третий «юнкерс» сорвался, упал и исчез в облаках, потому что к этому времени дымка уже сгустилась и над землей были облака.

Два последних «юнкера» уходили и уже едва были видны, и за ними гнался Тоболкин, совершенно ошалевший от возбуждения.

Топорков слышал у себя в шлемофоне его бессмысленные возгласы и приказал ему немедленно вернуться. Во-первых, раз дело сделано, пора домой, нечего зря задерживаться, когда с Ниной так плохо, а во-вторых, нельзя разлучаться, если поблизости могут быть «мессершмитты».

Едва он подумал о «мессершмиттах», как сразу увидел их: один — справа, другой — слева, и оба шли на него в атаку. Тот, который атаковал справа, был ближе на несколько сот метров, на несколько секунд, и Топорков понял, что в этих секундах — все.

Схватившись за мягкое, он развернул свой самолет вправо, встретил атакующий «мессершмитт» в лоб и сбил его с одной очереди. Он знал, что теперь второй «мессершмитт» у него прямо в хвосте, и что разворачиваться уже нет времени, и что есть только один способ уйти — сорваться в штопор. И он сорвался и открутил полных три витка штопора, падая рядом со сбитым «мессершмиттом».

Он вышел из штопора над самыми облаками и увидел второй «мессершмитт», который пикировал на него, но промахнулся. Дотронувшись до мягкого, Топорков атаковал «мессершмитт». Тот атаки не принял и двинулся вниз, стараясь зайти под Топоркова. Топорков сделал полупереворот — и за ним. «Мессершмитт» пробил облака и устремился к земле. Топорков — за ним.

Под облаками Топорков увидел родную деревню, дом, в котором лежала Нина. Ему казалось, что, если бы не шум мотора, он слышал бы ее крик. Ему необходимо немедленно съездить к ней, но проклятый «мессершмитт» задерживал его. В бешенстве он гнался за «мессершмиттом».

«Мессершмитт», дойдя почти до земли, пошел свечой вверх. Топорков — за ним.

«Мессершмитт» пробил облака.

Топорков пробил облака.

Выскочив из облаков, он чуть не столкнулся с «мессершмиттом». Топорков дал две очереди, и из «мессершмитта» повалил дым.

Опустив левое крыло, «мессершмитт» пошел вниз и опять пробил облака. Топорков тоже пробил обла-

ка. Они мчались почти до самой земли, и Топорков думал, что «мессершмитт» сейчас врежется в землю, и тогда можно будет вернуться на аэродром и поехать к Нине.

Но «мессершмитт» не хотел отпускать его к Нине. Почти коснувшись земли, он, горящий, опять полез вверх. Топорков дал по нему еще очередь. «Мессершмитт» все еще держался в воздухе, виражил под облаками, волоча за собой грязный дым и доводя Топоркова до отчаяния.

Топорков поймал его на вираже и сбил. «Мессершмитт» падал, крутясь и ныряя, но, пока он не свалился в елки, Топорков следил за ним, боясь, как бы он снова не полез вверх.

На обратном пути к Топоркову пристроился сержант Тоболкин, и они вместе вернулись на аэродром.

Встречать Топоркова сбежались все. Казалось, с ума посходили: кричали и прыгали, потому что все уже знали, что за какие-нибудь сорок минут он сбил пять немецких самолетов, не получив ни одной царапины.

Ну, что вы скажете? Небось вы скажете, что талисман себя оправдал? И ошибетесь, ей-богу, ошибетесь. Дело в том, что Топорков на этот раз летал без талисмана.

Техник Сидоров перед вылетом Топоркова не поспел сбежать к себе в землянку за мишкой — вылет был слишком внезапный. И в последнее мгновение, впопыхах, он положил в то место, куда обычно клал мишку, свою меховую шапку.

И Топорков летал с шапкой Сидорова вместо мишки, а Сидоров, поджидая его, мерз, простояв сорок минут на морозе с голой головой, и мучился. Не от мороза он мучился, а от угрызений совести.

И когда Топорков вышел из кабины, шапка Сидорова упала в снег, и Сидоров поднял ее и надел. Он ее надел, потом опять снял, потом опять надел, не зная, как поступить, виновато и робко смотря на Топоркова. Он все ждал, что Топорков ему что-нибудь скажет.

Но Топорков ничего ему не сказал, а сразу сел в легковую машину командира полка и поехал к Нине.



И оттого, что Топорков ничего ему не сказал, угрызения совести у Сидорова еще усилились. Заправив самолет и поставив его в рефугу, он вдруг пошел в землянку, взял мишку, сел на проезжавшую мимо грузовую машину и поехал в деревню Топоркова.

Он вошел в жарко натопленную избу. Топорков стоял посреди избы и прижимал кричащего, туго спеленатого сына к своей груди, к синему комбинезону. Нина лежала в кровати и смотрела на мужа и на младенца.

К появлению мишки они отнеслись равнодушно. Они не посмотрели на мишку даже тогда, когда Сидоров вдруг заулыбался, швырнул его в угол и тот упал на свою плюшевую спинку, подняв кверху короткие, толстые лапы.

И правильно. Зачем теперь Нине этот мишка, когда у нее есть живой, кричащий? Зачем Феде Топоркову талисман, когда у него есть целых два талисмана — смелость и умение?

ОСТРОВ СУХО*

1

Всякий раз, когда Лунин летел над Ладожским озером, он видел неподалеку от трассы крохотный островок с высокой башней маяка. Островок этот носит странное название — Сухо. Огонь на маяке в годы войны не загорался, и островок казался брошенным, пустынным, безжизненным.

Однако впечатление было неверным. На острове жили моряки. Жили особенной, замкнутой, трудной и строгой жизнью.

Подъем был в шесть тридцать. Изо дня в день, из месяца в месяц, с точностью до одной секунды.

С такой же точностью и с таким же постоянством на острове совершалось все: построение, зарядка, завтрак, политинформация, чистка оружия, упражнения в стрельбе — и так до самого отбоя, до сна. Ежедневно в одни и те же часы орудийные расчеты упражнялись возле трех своих пушек, повторяя в том же порядке затверженные наизусть приемы. Ежедневно в одни и те же минуты сменялись дежурства на дальномерном посту, где дальномерщики, ни на мгновение не отрываясь от трубы, озирали вечно изменчивый и вечно живой водный простор, так тесно обступивший остров со всех сторон.

Если бы не эта точность, если бы не постоянная занятость, существование на острове стало бы невозможным. В сущности, это был даже не остров, а просто большой камень, слегка возвышавшийся над

* Глава из романа «Балтийское небо».

водой. Ни одного дерева, ни кустика, ни травинки, ни ручейка, только кое-где бурый мох, такой же жесткий и мертвый, как камень. И тридцать человек, уже второй год живших здесь бессменно. Тридцать человек, маяк и три пушки.

У подножия маяка стоял крохотный деревянный домишко, в котором до войны жил смотритель. Когда началась война, смотритель уехал, а в жестком, каменистом грунте острова вырыли землянки и накрыли их бревнами в пять накатов.

В землянках жили краснофлотцы: в одной — артиллеристы, в другой — зенитчики. Их привезли сюда больше года назад, когда гитлеровские войска еще только шли к Ленинграду, и с тех пор ни один из них ни разу не покидал острова.

Больше года не видели они ничего, кроме башни маяка, уходившей над ними прямо в зенит, да воды кругом. Менялись только времена года, только ветры. Тучи шли то слева, то справа. Сияли огромные зори. Летом, если ветры стихали, небо бледно голубело, и вода в притихшем озере тоже становилась небывалого голубого цвета. Зимой в ясные дни беспредельная снежная гладь вокруг сверкала так ярко, что от нестерпимой белизны воспалялись глаза. Но ясные дни и зимой и летом выпадали редко. Гораздо чаще туманы обступали остров со всех сторон, и низкие тучи задевали за верхушку маяка. Зимой метели крутились над островом неделями, а весной, летом и осенью неделями секли его дожди. Штормы шли за штормами, огромные волны, перекатываясь через остров, били в подножие маяка, и тогда в землянках за плотно задраенными дверьми казалось, что наверху гремит канонада.

Больше года моряки не видели ничего, кроме волн и крутящихся чаек, но жили вместе со всей страной. Каждый вечер, перед тем как заснуть, они, лежа на двухъярусных нарах, построенных вокруг стола и железной печурки, слушали рассказ жестяного дребезжащего репродуктора обо всем, что случилось на фронтах за день. Парторг Полещук, старшина второй статьи, небольшого роста человек, разворачивал на столе карту, и батарейцы, свесив с нар головы, разглядывали ее.

По этой карте следили они, как немцы перешли Дон, вышли на Северный Кавказ, дошли до Волги. Вот уже два месяца подряд каждый вечер слышали они краткое упоминание о боях в районе Сталинграда. Две тысячи километров отделяли их от Сталинграда, упоминания были скупы, но само постоянство этих упоминаний ясно говорило им, что там происходит что-то огромное и чрезвычайно важное.

Кроме жестяного репродуктора, у них была и другая связь с миром — катерок, привозивший им снаряды, продукты и почту. Они любили этот катерок нежной любовью, потому что он привозил им письма матерей и жен, и на него невольно распространялась часть их любви к своим близким.

Катерок приходил нерегулярно, в штормы не приходил вовсе. Ждали его с нетерпением, мечтали о нем, ликовали, когда он появлялся, и даже самое время делилось для моряков не на недели, не на месяцы, а на промежутки от одного прихода катера с почтой до другого.

Газеты он привозил для всех, но не всем привозил письма. Полещук, например, родные которого жили в белорусской деревне, за все время своего пребывания на острове не получил ни одного письма. Каждое полученное письмо обсуждалось всей землянкой — им нечего было таить друг от друга. И из этих писем, нежных, отчаянных, полных тоски и надежды, вставала перед ними вся страна, вся война.

Впрочем, война была видна и с острова Сухо. Южный берег озера был захвачен немцами, а северный — финнами, и там, на этих берегах, постоянно что-то горело. Днем с острова видны были далекие дымы пожаров на горизонте, а ночами мутно-багровые пятна зарева висели по краям неба. И почти ежедневно над островом происходили воздушные битвы. Летчики, так часто пронесившиеся над башней маяка, и не подозревали, с каким вниманием следят за ними отсюда. Обитатели острова научились на любом расстоянии различать все типы наших и вражеских самолетов и даже утверждали, что узнают отдельные самолеты, которые особенно часто появляются над маяком.

В воздухе над островом было оживленно, но еще оживленнее было в окружающих остров водах. По водам Ладожского озера пролегал единственный путь, соединявший осажденный Ленинград с остальной страной.

В ясные зимние дни с маяка на острове Сухо были видны вдали длинные цепочки груженых машин, двигавшихся по льду. Даже ночью, присмотревшись, можно было заметить во тьме вспышки голубого света — это водители осторожно включали фары, чтобы не сбиться, не столкнуться, не попасть в полынью. А летом по тому же пути — с востока на запад и с запада на восток — двигались пароходы, таща за собою баржи. Мели и подводные камни, окружавшие Сухо, мешали им приближаться к нему, но в светлые дни с острова всегда были видны два-три дымка, двигавшиеся у горизонта.

Немцы беспрестанно пытались прекратить движение через озеро. «Мессершмитты» обстреливали из пулеметов колонны машин на льду. «Юнкерсы» бомбили караваны барж, пикировали на корабли, совершали налеты на порты, на перевалочные пункты. Все существование «Дороги жизни» было непрерывной битвой, длившейся, не утихая, вот уже целый год.

Эта напряженная битва происходила возле самого острова, и гарнизон видел ее, но участия в ней не принимал.

Одни только зенитчики составляли некоторое исключение — им случалось стрелять по вражеским самолетам. А батареям, основному костяку гарнизона, за четырнадцать месяцев жизни на острове не пришлось сделать ни одного выстрела по врагу.

— Кому какая судьба, — говорил главстаршина Иван Мартынов. — Сидим как в клетке.

Главстаршине Мартынову остров казался особенно тесным, потому что сам Мартынов был высок ростом, плечист, здоров и, главное, очень подвижен. Упражняясь, он без труда перекидывал гранату через весь остров, с одного конца на другой. Когда выпадало свободное от занятий время, он шагал на длинных своих ногах вокруг маяка, он делал круг за кругом — то справа налево, то слева направо.

Ни у кого на острове не было такого боевого опыта, как у главстаршины Мартынова. Во время войны с белофиннами зимой сорокового года он служил в морской пехоте и участвовал в штурме Выборга. Отечественная война началась для него тоже чрезвычайно бурно — он дрался в морской пехоте за Ригу, за Пярну, за Таллин, за Петергоф, дрался под самым Ленинградом. И из разгара боев попал на остров Сухо и застрял на нем.

В землянке по вечерам он часто рассказывал о боях, в которых участвовал. Все уже знали эти рассказы наизусть, но тем не менее слушали их по-прежнему охотно. А ему самому казалось, будто он с разгона влетел в западню, которая сразу захлопнулась. Бегая вокруг маяка, он действительно напоминал медведя в клетке.

Старший лейтенант Гусев, командир батареи, терпеть не мог этой медвежьей беготни. Заметив Мартынова, мотающегося у маяка, он подзывал его к себе и изобретал для него дело. И Мартынов охотно принимался за работу, потому что постоянно чувствовал потребность в деятельности, и работа успокаивала его.

Старший лейтенант Гусев был не только командиром батареи, но и комендантом острова. Весь остров и все, кто жил на нем, подчинялись ему одному. Он был сухощав, несколько узкоплеч и держался удивительно прямо. Жил он не под землей, как остальные, а в маленьком деревянном домике у подножия маяка, где когда-то жил смотритель. Кроме старшего лейтенанта Гусева, в этом домике жил один только Сашка Строганов, его связной.

Проснувшись, Сашка Строганов прежде всего бежал к коку за кипятком, чтобы старший лейтенант мог побриться. Сам Сашка по крайней своей молодости не брился еще никогда, но старший лейтенант Гусев следил за своей внешностью, словно жил не на дикой скале посреди Ладоги, а в большом городе, где часто приходится бывать в клубе или в театре. На брюках его всегда были складки, пуговицы сверкали, ботинки были начищены до блеска, подворотнички на кителе менялись каждый день. Этого же он требовал от всех своих подчиненных, и на

острове возникали целые бури, когда он замечал шершавый подбородок или тусклую пуговицу.

С подъема до отбоя следил он, чтобы все шло по раз заведенному порядку и чтобы все были заняты. Праздности он не терпел. Он боялся праздности, понимая, что на этом крошечном, тесном клочке земли ничего не может быть опаснее, чем не заполненное делом время. И орудийные расчеты каждый день по многу часов обучались стрельбе, добиваясь того, чтобы все приемы были отработаны до секунды и совершались с механической точностью. И каждый день в одни и те же часы бойцы изучали ручную гранату, винтовку, автомат, пулемет. И каждый день на острове все чистилось, мылось, прибиралось, надраивалось, приводилось в порядок, как на корабле.

— Когда придет наш черед, мы должны быть как железо, — сказал он однажды парторгу Полешуку.

Маленький Полешук приподнял свое спокойное лицо с добрыми глазами, окруженными мелкими морщинками, и сказал просто:

— Будем, товарищ старший лейтенант.

— А придет наш черед? — спросил Сашка Строганов.

Но ему никто не ответил.

2

Утро 22 октября 1942 года началось на острове Сухо так же, как начиналось каждое утро.

— Подъем! — звонким голосом крикнул, войдя, дневальный.

В землянке все мгновенно изменилось, ожило. Стало тесно и шумно. Все разом попрыгали с нар и разом принялись одеваться. Краснофлотцы один за другим взбегали по дощатому настилу, открывали дверь и вместе с клубом пара вырывались из землянки на воздух.

Ветер был так силен, что в первое мгновение трудно было перевести дыхание. Грохот волн, хорошо слышимый в землянке, здесь, наверху, был оглушителен.

Снег!

За ночь выпал снег, впервые в этом году, и на острове Сухо все побелело.

Остров был бел, и от этого еще темнее казалась вода вокруг. Низкие быстрые тучи проносились над самым маяком. Не вполне еще рассвело, мгlistая дымка закрывала горизонт, и чувствовалось, что день будет сумрачный.

На маленькой ровной площадке перед маяком уже стоял старший лейтенант Гусев, свежесбривший, прямой, с ним его связной Сашка Строганов. Гусев всегда сам присутствовал на утреннем построении батареи. Батарейцы строились, рассчитывались по номерам, сдваивали ряды, поворачивались и маршировали перед маяком, повинаясь командам, которые подавал главстаршина Иван Мартынов, способный перекричать любой ветер.

Сашка Строганов был моложе всех на острове. На лице его, круглом, свежем, улыбающемся, были две совсем детские ямочки — одна на левой щеке, другая на подбородке. Он, несомненно, считал себя лихим малым — это чувствовалось в его повадке, в каждом шаге, в манере носить бескозырку, небрежно поводить плечами.

Внезапно к Гусеву подошел дальномерщик и доложил, что в дальномерную трубу видны какие-то суда.

— Сколько их? — спросил Гусев.

— Точно не скажу, — ответил дальномерщик. — Но больше двадцати.

— Куда они идут?

— Пока прямо на нас.

— Откуда?

— С северо-запада, товарищ старший лейтенант. Вон оттуда.

И дальномерщик махнул рукой вдаль, в сторону горизонта.

Стоявшие в строю батарейцы разом повернули головы и стали смотреть туда же, но ничего не увидели, кроме волн и мутной дали.

Не обернувшись, не сказав ни слова, Гусев протянул руку назад, и Сашка Строганов, мгновенно поняв его, вложил ему в руку бинокль.

Гусев долго молча смотрел в бинокль.

— Не наши, товарищ старший лейтенант, — сказал краснофлотец с дальнего поста. — У нас на Ладого таких нет.

Но Гусев не склонен был разговаривать.

— Мартынов! — крикнул он. — За мной!

Он повернулся и через узенькую дверь вошел в маяк. За ним туда же нырнул и долговязый Мартынов. За Мартыновым — Сашка Строганов.

В полумраке башни маяка Гусев побежал вверх по железной лестнице, вьющейся вокруг высокого столба, — все кругом, кругом, кругом. В стенах башни кое-где светлели маленькие круглые окошечки. Сквозь них видны были только волны — всякий раз все ниже. Наверху стало светлее. Свет проникал сюда сквозь раскрытую настежь дверь. Гусев шагнул в нее и очутился на маленькой площадке, висевшей на страшной высоте прямо над морем.

Мартынов и Сашка Строганов догнали его.

Ветер здесь был так силен, что Сашка обеими руками вцепился в перила. Волны надвигались на остров, на маяк, но у стоявших наверху было ощущение, будто это площадка маяка движется, плывет над волнами.

Гусев стоял, слегка расставив ноги, и смотрел в бинокль. Потом молча передал бинокль Мартынову.

— Это что же, в первой колонне катера такие? — спросил Мартынов, не отрываясь от бинокля.

— Катера, — подтвердил Гусев. — Орудия видите?

— Кажется, по два на каждом...

— По два. Одно на носу, другое на корме.

— А во второй колонне что за суда? — разглядывал Мартынов. — Длинные, узкие...

— Самоходные баржи, — сказал Гусев. — Видите, сколько на каждой наряду. Черно! Это десант. Десантные баржи.

— Тоже на каждой по два орудия.

Теперь уже не нужно было бинокля, чтобы видеть приближавшиеся суда. Темные, в белых бурунчиках, они сначала шли двумя отдельными колоннами, потом колонны объединились, и суда стали расползаться, охватывая остров большим полукругом с востока, с севера и с запада.

— Перестраиваются, — сказал Сашка Строганов.

— Тридцать штук, — проговорил Мартынов, не отрываясь от бинокля.

— Как раз сколько нас, — сказал Сашка.

— Что? Что? — переспросил Гусев, не то не поняв, не то не расслышав из-за ветра.

— Я говорю, их тридцать, и нас здесь, на острове, тридцать, — объяснил Сашка, улыбнувшись и сверкнув зубами. — На каждого по кораблю. Силы равные, товарищ старший лейтенант.

— Три орудия против шестидесяти, — сказал Мартынов.

Гусев нахмурился.

— Тут считать нечего, — сказал он резким голосом. — Тут либо мы выстоим, либо дверь в Ленинград захлопнется.

— А я не считаю, — сказал Мартынов. — Сами знаете, сколько месяцев я их жду...

— Идите вниз! — приказал Гусев, беря у Мартынова бинокль. — Боевую тревогу!

Внизу все уже были на своих местах — расчеты возле орудий, остальные таскали ящики со снарядами из землянки, служившей складом. Командиром первого орудия был Баскаков, командиром второго — Павел Уличев, командиром третьего — Пугач. С сосредоточенными, суровыми лицами они наводили орудия, и длинные стволы медленно двигались. Все было готово, ждали только команды Гусева.

Но Гусев команды не подавал. Гусев стоял на камне возле маяка и следил за неприятельскими судами. Суда приближались, дистанция сокращалась. Гусев ждал. Он хотел бить наверняка.

Неприятельские суда подошли еще ближе. Теперь уже и пушки и люди были на них отчетливо видны. На головном катере сигнальщики размахивали флажками. Суда опять перестроились — катера пропустили десантные баржи вперед.

Командиры застыли у орудий. Весь остров ждал, что старший лейтенант Гусев вот-вот скажет: «Огонь!..»

Но сказать он не успел.

Случилось нечто такое, чего никто предвидеть не мог.

Где-то слева, не близко, раздалась два орудий-

вых выстрела — бах, бах! И возле головного неприятельского катера поднялись два столба воды.

Гусев, с биноклем у глаз, побежал вокруг маяка.

И снова — бах, бах! Столб пламени поднялся на том месте, где был неприятельский головной катер, и воздух над озером вздрогнул от взрыва.

И все увидели маленький военный корабль, вынырнувший откуда-то сзади, из-за острова, летящий навстречу вражеской эскадре и стреляющий из двух своих пушек.

3

Корабль, первым открывший огонь по вражеским судам, был маленький тральщик, входивший в состав Ладожской флотилии и называвшийся ТЩ-100. В ночь на 22 октября 1942 года он нес патрульную службу в этой части озера.

Тральщиком командовал старший лейтенант Петр Константинович Каргин. Ему шел двадцать восьмой год, и он был настоящий моряк, любящий море и с детства мечтавший о плаваниях, хотя родился он и вырос в степях Казахстана, в самом центре материка.

В это раннее мутное утро краснофлотец доложил ему, что видит какие-то суда, приближающиеся с севера-запада к острову Сухо. Каргин взял бинокль, увидел катера, увидел самоходные десантные баржи, вооруженные орудиями, и сразу все понял. Немцы решили овладеть островом Сухо и отсюда угрожать единственной коммуникации, соединявшей осажденный Ленинград с остальной страной.

Они, видимо, долго и основательно к этому готовились. Где-то в северо-западном углу озера, вероятнее всего — в захваченном финнами Кексгольме, они в полной тайне сосредоточили и вооружили специально приспособленные для десантных операций суда. Никаких барж, никаких катеров до сих пор на Ладожском озере встречать не приходилось. Значит, их откуда-то привезли по железным дорогам в разобранном виде и здесь собрали — именно для этой операции.

Немцы готовились тщательно, чтобы удар на-

нести наверняка. Они не хотели рисковать. Прежде чем выступить, они создали подавляющее превосходство в силах. Они обеспечили себе внезапность удара. Самое трудное они уже совершили — за ночь, оставшись незамеченными, пересекли все озеро от Кексгольма до Сухо. Остальное — захват островка с горсткой моряков — они, безусловно, считали совсем легкой задачей...

Радист тральщика Соколюк по приказанию Каргина немедленно сообщил обо всем в штаб флотилии. Но Каргин понимал, что командование в ближайшие два-три часа ничем острову помочь не может, так как знал, что корабли флотилии разбросаны на большом пространстве и вблизи нет ни одного. А все совершится в ближайшие тридцать минут, и потом будет поздно.

Случилось так, что его тральщик как раз в это утро оказался возле Сухо. Может ли это обстоятельство изменить положение? Два орудия тральщика против шестидесяти... Если здраво рассуждать, при таких обстоятельствах ТЩ-100 ничего изменить не может. Впрочем...

Вот в чем было дело: Каргин подозревал, что неприятель до сих пор не заметил его тральщика. В это мглистое утро очертания ТЩ-100, вероятно, слились с неясными очертаниями острова Сухо и окружающих остров торчащих из воды скал.

Под прикрытием острова и маяка тральщик пошел на сближение с неприятелем. Остров был так низок, что Каргин со своего мостика видел весь широкий полукруг неприятельских судов. Охватив остров с севера полукольцом, они перестроились — катера пропустили десантные баржи вперед. Один только катер все время держался как бы вне строя. Он носился слева направо и справа налево, и на палубе его беспрерывно торчали сигнальщики, усердно работавшие флажками.

Пора.

ТЩ-100, зарываясь носом в высокую волну, обогнул остров с запада и возник перед неприятельскими судами.

Уж теперь-то его, конечно, заметили. Головной катер внезапно замедлил ход, десантная баржа, сто-

явшая на самом правом фланге, как-то нелепо пода-
лась влево.

Каргин сразу определил дистанцию до головного
катера — двадцать восемь кабельтовых. ТЩ-100 пол-
ным ходом шел на сближение... Двадцать пять ка-
бельтовых. Медлить больше нельзя...

— Огонь!

Корпус тральщика вздрогнул, два столба воды
поднялись перед катером.

— Огонь!

Попадание.

Головной катер накренился, зачерпнул правым
бортом воды и выпрямился. Потом два желтых язы-
ка, два языка пламени, возникли над ним, и тяжелый
гул взрыва покотился над озером. Это на катере
взорвались бензобаки. Катер пылал весь разом, от
носа до кормы. Черный дым, мотающийся и крутя-
щийся на ветру, скрыл его из виду.

Каргин услышал торжествующий шум голосов,
глянул вниз и увидел возбужденные, радостные лица
своих краснофлотцев.

— Огонь!

Надо пользоваться, пока немцы растеряны, надо
не дать им опомниться.

— Огонь! Огонь! Огонь!

Теперь ТЩ-100 летел, стреляя, прямо к длинной
барже, ближе всех подошедшей к острову. Она под-
ставила под его выстрелы весь свой плоский правый
борт. На палубе ее черно от солдат.

— Огонь! Огонь!

Взрыв. Нос баржи стал быстро погружаться в во-
ду; все солдаты столпились на неестественно вздыб-
ленной корме. Им там, пожалуй, тесновато!

Еще попадание... Кто же это?.. Да ведь это
бьют с острова! Островная батарея вступила в бой!
Да как метко!.. Вот еще, еще...

Баржа погружалась, но моторы на ней продолжа-
ли работать и заставляли ее выделывать странные
порывистые движения. Она шла как-то боком и на-
искось и с каждым мгновением приближалась к ост-
рову, пока, наконец, круто склоняясь на бок, не заст-
ряла на мели среди белеющих бурунов.

ТЩ-100 перенес огонь обоих своих орудий на

другие цели, и только пулеметчики продолжали обстреливать круто наклоненную палубу полузатонувшей бражи. Стоя за дрожащими и стрекочущими пулеметами, они смотрели, как очищалась палуба от солдат, падавших в волны.

Однако тем временем положение ТЩ-100 значительно усложнилось. Преимущества внезапного нападения были им уже исчерпаны до конца. Противник успел опомниться. И хотя три орудия острова тоже не переставая вели огонь, неравенство сил с каждым мгновением ощущалось все резче.

Все орудия барж и катеров били по тральщику. Вода вокруг него пенилась и бурлила, вздымаясь столбами. Некоторые снаряды разрывались уже так близко, что фонтаны брызг окатывали палубу. Каргин швырял ТЩ-100 из стороны в сторону, вел его широкими зигзагами, менял курс по два раза в минуту, чтобы затруднить попадание. Но огонь вражеской артиллерии все усиливался, и было ясно, что надо уходить.

ТЩ-100 опять обогнул западную оконечность острова Сухо и, выходя из-под обстрела, пошел к югу.

4

За отважным нападением одинокого маленького тральщика на вражеские корабли гарнизон острова следил с восхищением. Пламя, охватившее головной катер, батарейцы встретили радостным гулом голов.

— Вот это попадание! Здорово! А? — подпрыгнув, крикнул Сашка Строганов главстаршине Мартынову. — Все их начальство к рыбам! А?

И батарея острова Сухо сразу вступила в бой. Большую баржу, ближе других подошедшую к острову, она разбила и потопила совместно с артиллеристами тральщика. Метания баржи и гибель ее на глазах у всех, в нескольких сотнях метров от острова, наполнили батарейцев радостным ощущением своей силы. Три орудия батареи продолжали вести непрерывный огонь.

У старшего лейтенанта Гусева было нечто вроде

своего командного пункта — маленький блиндаж со смотровой щелью, через которую можно было глядеть во все стороны. Блиндаж этот находился позади орудия Уличева и был соединен телефоном с командирами всех трех орудий. Однако особой надобности в телефоне не было — орудия стояли так близко, что из командного пункта не трудно было подавать команды без всякого телефона. Вообще на этом крохотном островке все размещено было тесно, до всего было рукой подать — и до дальномерщика с дальномерной трубой, и до радиста, помещавшегося со своей аппаратурой в отдельной маленькой землянке рядом с командным пунктом.

В свой командный пункт Гусев вошел не сразу. В начале боя он стоял возле дальномерщика, прямой, подтянутый, чуть-чуть более бледный, чем всегда, и следил в бинокль за движениями кораблей. Дальномерщик докладывал ему все время изменяющуюся дистанцию до цели, и Гусев отдавал приказания спокойным, ровным, звонким голосом, как на учебных занятиях.

Отрывая по временам глаза от бинокля, он следил за работой бойцов у орудий. Это была первая проверка его батареи, проверка всей его деятельности за целый год. Хорошо ли он учил своих бойцов? И он с удовольствием видел, как слаженны и уверенны все их движения, как быстро и безошибочно исполняют они его приказания, как твердо каждый знает свои обязанности и как часто следуют один за другим залпы. Длинные стволы орудий легко поворачивались, потом дергались, и Гусев сквозь круглые стеклышки своего бинокля видел взрывы снарядов как раз там, где хотел их увидеть.

Он понимал, что сумятица, созданная дерзким нападением тральщика на вражеские корабли, не будет продолжительной, и спешил воспользоваться ею возможно полнее. Он бил и бил из трех своих пушек, стараясь усилить растерянность врага, выбирая наиболее уязвимые цели. Вот снаряд попал в громоздкую баржу. Она потеряла управление и закружилась на одном месте. Вот еще из одной баржи повалил дым. Там пожар... Попадания бойцы встречали дружными криками.

Но с каждым мгновением Гусева все больше тревожило положение тральщика.

С острова отлично было видно, какой неистовый огонь открыли по ТЩ-100 неприятельские корабли, словно внезапно опомнившись. Вода кипела от взрывов и перед тральщиком, и позади него, и справа от него, и слева. Воздух над озером тяжело вздрагивал от нестройной орудийной пальбы. Тральщик петлял и кружил, но казалось, куда он ни повернет, всюду его ждет гибель. Теперь Гусев все усилия направил к тому, чтобы выручить тральщик. Он старался бить как раз по тем катерам, которые были ближе к тральщику и особенно яростно на него насакивали. Это, несомненно, облегчало положение ТЩ-100; он, наконец, обогнул остров и скрылся.

Враги не преследовали тральщик, так как, видимо, не придавали ему особого значения, несмотря даже на то, что этот небольшой корабль внезапным нападением нанес им довольно значительный урон. Неприятельские суда продолжали выполнять свою основную задачу, которая была заранее обдумана, детально разработана и разделена на ряд последовательных действий. Теперь им по плану надлежало обрушить огонь всей своей артиллерии на остров, чтобы исключить возможность сопротивления десанту. И едва ТЩ-100 скрылся, баржи и катера начали обстрел острова из всех своих пушек.

Когда много десятков орудий одновременно обстреливают с близкого расстояния маленький клочок земли, существовать на нём становится трудно. Осколки камня и железа под оглушительный гул сливающихся друг с другом взрывов перелетали через весь остров, из конца в конец, все сокрушая на своем пути. Каменистая почва острова, такая твердая и плотная, что разбить ее, казалось, невозможно, в несколько минут была перепахана, перерыта.

Когда начался обстрел острова, Гусев неторопливо спустился в маленький блиндаж своего командного пункта и продолжал командовать оттуда, наблюдая за противником сквозь смотровую щель. Десантные баржи, охватив остров широким полукругом и

непрерывно ведя огонь, медленно приближались. Ураган огня, обрушиваемый на остров, усиливался с каждой минутой.

«А мы все-таки будем бить и бить!» — думал Гусев. Он понимал, что весь этот шум поднят для того, чтобы три его пушки перестали стрелять. Но батарея ни на минуту не прерывала стрельбу, она продолжала стрелять дружно и метко, залп за залпом. Гусев с удовольствием видел, что вражеские корабли все больше считаются с огнем его пушек. Движение барж к острову становилось все медленнее, все неувереннее. Они, в сущности, уже топтались на месте. Весь огонь своей батареей Гусев всякий раз сосредоточивал на той барже, которая хоть немного вырывалась вперед. И тотчас же эта баржа начинала отступать, метаться, и соседние баржи отходили от нее, прячась одна за другую. Но барж было много, они растянулись длинной линией; отходя в одном месте, они в другом продвигались вперед. И батарее приходилось часто и быстро менять цели, перенося огонь из одного края в другой.

Вражеские катера время от времени делали попытки помочь десантным баржам приблизиться. Выскочив вперед, они неслись к острову на полном ходу, бешено стреляя. Но батарейцы переносили на них весь свой огонь и не давали им сделать даже половину пути. Катера начинали метаться среди взлетающих к небу столбов воды и, отвернув, поспешно уходили назад, за баржи.

И все-таки положение батареи становилось с каждой минутой все тяжелее. Брустверы, охранявшие орудия, были уже в нескольких местах повреждены снарядами. Появились первые раненые. Было мгновение, когда Гусеву показалось, что обрушилась башня маяка, — такой невероятный грохот услышал он сзади. Но, глянув назад, он увидел, что маяк цел, хотя весь окутан дымом. У его подножия пылал подожженный снарядом деревянный домик, тот самый, в котором жил Гусев.

Потом снаряд угодил прямо в блиндаж Гусева. Добротная бетонированная стенка блиндажа выдержала. Гусев и находившийся вместе с ним в блиндаже Сашка Строганов отделались только тем, что их

сильно трягнуло и обсыпало землей с потолка. Но тяжелые бревна кровли слегка сдвинулись, осели, и край смотровой щели оказался придавленным, закрытым. Западная часть горизонта выпала из поля зрения. Находясь в блиндаже, нельзя было больше видеть весь строй вражеских кораблей. И Гусеву пришлось покинуть свой командный пункт.

Он вышел, отряхнулся и устроился с биноклем за бруствером орудия Павла Уличева. Все три орудия батареи продолжали вести огонь...

Катера и баржи еще приблизились. Видны были не только орудия, но на палубах барж можно было разглядеть каждого солдата в отдельности.

Плоскодонные десантные баржи сильно раскачивало на волнах; это мешало им вести прицельный огонь. Несмотря на близость острова, многие снаряды с протяжным воем перелетали через него или не долетали и падали в воду, поднимая серебристыми столбы. Однако попаданий было тоже немало, весь остров казался перерытым, камни изменили свои привычные очертания.

Орудие Пугача первым вышло из строя. Умолкшее, оно теперь лежало на виду среди раскиданных камней бруствера, задрвав исковерканный ствол кверху, словно хобот. Но два других орудия продолжали вести огонь. Бруствер вокруг орудия Уличева еще сохранился, и за этим бруствером сидел старший лейтенант Гусев. Когда взрывались снаряды, он даже не наклонял головы. Левой рукой он держал бинокль, а правой размахивал, командуя. Тут же, за бруствером, у его ног сидел Сашка Строганов. Гусев иногда кричал ему на ухо какое-нибудь приказание, и Сашка отправлялся ползком выполнять его. Нужно было то помочь подносчику снарядов, то перетащить нового раненого в землянку, то передать что-нибудь по радио в штаб флотилии.

Разрывы снарядов, падавших на остров, и рев обоих уцелевших островных орудий сливались в почти непрерывный грохот, но во время короткого затишья раздавался радостный шум голосов. Краснофлотцы, обслуживавшие орудие Баскакова, по-

вскакали с земли и весело замахали в воздухе бескозырками. Их крики подхватили и краснофлотцы, обслуживавшие орудие Павла Уличева. Весь остров торжествовал удачу комендора Баскакова, которому удалось поджечь одну из десантных барж. Густой дым валил из баржи, она крутилась на одном месте, а катера, обступив ее, снимали с нее людей.

Через несколько минут после того, как загорелась баржа, Павлу Уличеву удалось прямым попаданием потопить катер. Эта новая удача была встречена таким же ликованием. Но половина защитников острова к этому времени уже выбыла из строя. И враг, раздраженный задержкой, все яростнее обстреливал остров, стремясь подавить всякое сопротивление.

Снаряд разорвался перед самым бруствером орудия Павла Уличева. Сидевший за бруствером старший лейтенант Гусев сначала выронил бинокль, потом покачнулся и сполз на руки к Сашке Строганову. Уличев и все краснофлотцы его расчета кинулись к Гусеву.

— Товарищ старший лейтенант... Я вас сейчас в землянку... Держитесь за меня... — бормотал Сашка.

Но Гусев с силой оттолкнул его от себя и сел на свалившийся с бруствера камень. Он был ранен осколком снаряда в ногу чуть выше колена. Брюки вокруг раны набухли от крови, лицо побледнело. Но он зло посмотрел на сгрудившихся вокруг краснофлотцев и крикнул:

— По местам! Никто не смеет оставлять орудие!..

Краснофлотцы смущенно вернулись на свои места, а Гусев с искривленным от боли лицом вытянул вперед раненую ногу, взял у Сашки бинокль и взмахнул рукой:

— Огонь!

Но тут случилась беда страшнее всех прежних. Вражеский снаряд попал в один из ящиков с боеприпасами, сложенных в неглубокой лощинке позади орудий. Боеприпасы вытащили из землянки, служившей складом, и перенесли в эту лощинку, потому что от склада до орудий было слишком далеко, а число рабочих рук на острове быстро уменьшалось.

Разбитый ящик с боеприпасами загорелся, и раздался взрыв.

Такого ужасного взрыва на острове еще не слышали. Все, кто стоял или сидел, свалились на землю. Вершина маяка заметно качнулась, и казалось, что маяк не устоит и рухнет, рассыпавшись на кирпичи.

Маяк устоял, но три краснофлотца, подносявшие снаряды к орудиям, были убиты, и изуродованные трупы их отбросило далеко от места взрыва.

Но это было еще не все. Гусев, приподнявшись, увидел на дне лощины желтое пламя, которое, расползаясь по щепкам и трещинам на ветру, подбиралось к другим ящикам с боеприпасами.

Ящики эти без всякого порядка были раскиданы по дну лощины. Взрыв перевернул их, расшвырял, покалечил, и вокруг них повсюду валялись обломки их деревянной обшивки. Сухие эти щепки — превосходный горючий материал, и ветер не даст им потухнуть. Когда пламя подобрется к ящикам, грянет взрыв, после которого на острове не останется ни одного снаряда и, быть может, ни одного живого человека.

— Саша! — позвал Гусев.

Сашка Строганов глянул туда, куда показал ему командир.

— Вижу, — прошептал он. — Я пойду...

Гусев грустно посмотрел на него и кивнул головой. Нужно было попытаться потушить пламя в лощине. Пока не поздно... Если еще не поздно... Он любил Сашку Строганова и знал, что Сашка любит его. Кого же послать? Он пополз бы сам, если бы мог, но раненая нога лишила его возможности двигаться. Орудие должно стрелять, от орудия нельзя было оторвать ни одного человека. Больше никого под рукой не было. Оставался один Сашка.

Сашка выполз из-за бруствера и пополз меж камней. Гибкое его тело двигалось легко и быстро. Когда снаряд падал и разрывался, он на мгновение пригибался к земле и замирал. И сразу же полз дальше. Гусев следил одновременно за орудием Уличева, за неприятельскими судами и за Сашкой. Доползет Сашка или не доползет? Успеет он или не успеет?

Сашка доползти успел, но его опередили.

Внизу, в дыму, копошился человек небольшого роста, топтал ногами горящие щепки, хватал пальцами раскаленные головни и швырял их из лощины в разные стороны. Головни долетали до самой воды и с шипением гасли.

Это был парторг Полещук. Когда подносчиков снарядов убило взрывом, он стал сам подносить снаряды к орудию Баскакова. Увидев пламя, разгоравшееся на дне лощины, он все понял. Нужно было либо немедленно бежать куда-нибудь на край острова, либо спрыгнуть вниз и потушить пламя, прежде чем грянет взрыв. И он спрыгнул вниз.

На некоторых ящиках со снарядами уже тлела деревянная обшивка. Другие ящики были разбиты, и вывалившиеся снаряды лежали среди дымящихся щепок. Кашляя от дыма, Полещук торопливо работал — топтал пламя, швырял головни, переворачивал ящики, засыпал их землей, отгаскивал снаряды. Но он не мог поспеть сразу всюду, да к тому же дым мешал ему видеть. Полещук тушил пламя и каждое мгновение ждал взрыва.

Сквозь дым заметив приближающегося Сашку Строганова, он замахал ему руками, чтобы заставить его убраться. Но так как Сашка, вместо того чтобы убраться, спрыгнул в лощину, Полещук стал показывать ему, что надо делать, и они почти сразу сбили пламя.

Теперь подноски снарядов целиком легла на них двоих. Орудия должны были вести огонь во что бы то ни стало, и Сашка с Полещуком под не затихающим ни на мгновение артиллерийским обстрелом ползали между орудиями и лощиной. Полещук обслуживал орудие Баскакова, Сашка — орудие Павла Уличева.

Орудия острова продолжали стрелять, и Баскакову удалось потопить еще один вражеский катер. Но снаряд разорвался возле самого орудия Павла Уличева и повалил часть бруствера. Сашка Строганов в эту минуту возвращался ползком от лощины со снарядом в руках. В первое мгновение ему показалось, что все возле орудия убиты — и Гусев, и Уличев, и остальные. Они лежали — кто ничком, кто запроки-

нувшись — и не двигались. Однако, когда Сашка подполз ближе, Уличев вдруг зашевелился и медленно поднялся перед ним во весь рост.

— Давай,— сказал он и протянул руку за принесенным Сашкой снарядом.

Уличев едва держался на ногах, его качало. Лицо его было залито кровью, порванный бушлат намок в крови. Он был ранен, и, вероятно, уже не впервые. Но нужно было стрелять, и он не мог покинуть оружие. Остальные краснофлотцы, раскиданные взрывом, тоже зашевелились и стали подниматься.

Сашка кинулся к Гусеву:

— Товарищ командир!..

Гусев лежал на спине, приоткрыв рот, и громко дышал. На этот раз он был ранен осколком снаряда в грудь, и при каждом вздохе в груди у него колохотало.

— Подыми меня,— сказал он, когда Сашка склонился над ним.

— Держитесь за меня, товарищ старший лейтенант. Я вас отнесу в землянку...

— Подыми меня! — повторил Гусев сердито и, обхватив рукой Сашкину шею, сам стал приподниматься.— Вот так... Посади меня... Ты что, перестал понимать?

— Товарищ командир!..

— Исполняйте, что вам приказывают!

Сашка посадил его.

Гусев вцепился рукой в камень, чтобы не упасть. В глазах у него потемнело от потери крови, но все же он разглядел, что десантные баржи подошли еще ближе. «Только бы не упасть...» — думал он.

Он сделал рукою знак Уличеву:

— Огонь!

Звук выстрела потонул в реве падающих на остров снарядов. Взрывы, сливаясь, превратились в несмолкаемый вой. Осколки, визжа, разлетались и со звоном ударялись о металлический щит орудия.

И вдруг все стихло. Обстрел острова прекратился.

Дивясь неожиданной тишине, Гусев подумал: «Они начали высаживать десант».

Однако он ошибался.

Неприятельские суда прервали обстрел острова потому, что им пришлось обрушить весь огонь своих орудий на тральщик ТЩ-100, который опять устремился в бой.

Из первого своего нападения на врага ТЩ-100 вышел благополучно. В него попал лишь один снаряд — самый последний, пущенный вдогонку, когда он уже обогнул остров и уходил к югу.

Снаряд этот, никого не убив, вывел из строя радиосвязь. ТЩ-100 внезапно оказался изолированным от штаба флотилии.

А между тем именно теперь, как никогда, старшему лейтенанту Каргину следовало бы знать, где находятся остальные корабли Ладожской флотилии, куда они направляются и что собираются предпринять. Ему следовало бы согласовать действия своего тральщика с их действиями, включиться вместе с ними в какую-нибудь общую операцию...

Он вызвал к себе радиста Соколюка.

Соколюк явился с перевязанной головой, с куском медной проволоки в зубах, с плоскогубцами в руке.

— Что это у вас? — спросил Каргин, взглянув на повязку у него на голове.

— Что? — не понял Соколюк. — А, это... — пренебрежительно махнул он рукой. — Это фельдшер Бернадский...

При взрыве снаряда он стукнулся теменем о перегородку, и кровь залила ему лицо. Он не обратил на это никакого внимания. Вытирая тыльной стороной ладони лоб, чтобы кровь не попала в глаза, он сразу же стал подбирать и приводить в порядок остатки своих аппаратов и приборов, чтобы спасти то, что можно было спасти. Фельдшер тральщика Бернадский почти насильно сделал ему перевязку.

— Ну, докладывайте, — сказал Каргин.

Соколюк перечислил все разрушения, произведенные взрывом.

— Нам нужна связь, — сказал Каргин, с надеждой глядя в глаза Соколюку. — Вы должны ее наладить, Ваня. Можете?

Соколюк задумался.

— Могу, товарищ старший лейтенант.

— Сколько вам надо для этого времени?

— Сорок минут.

Каргин посмотрел на часы.

— Даю вам полчаса, — сказал он.

Соколюк нахмурился и снова задумался.

— Есть полчаса, товарищ командир! Разрешите идти?

— Идите!

Полчаса! Это громадный срок. За полчаса немцы займут остров, и все кончится.

ТЩ-100 находился теперь к югу от острова, и остров с башней маяка отчетливо вырисовывался за его кормой на фоне хмурого неба. Они удалялись от него, но все глядели туда, назад, — и старший лейтенант Каргин и краснофлотцы.

Они догадывались, что там происходит. Огонь вражеских орудий, от которого они только что ушли, теперь всей своей мощью обрушился на остров. А ведь остров неподвижен, он лишен возможности маневра, он не в состоянии выйти из-под обстрела, как вышли они... Нет, ждать полчаса, пока Соколюк наладит радио и свяжется со штабом, невозможно. Надо действовать немедленно, сейчас же!

И Каргин повернул свой только что вырвавшийся из-под огня тральщик и повел его назад, к острову Сухо.

ТЩ-100 во второй раз за это утро шел к острову Сухо с юга. Опять за низким островом виден был широкий полукруг неприятельских судов. Но разница заключалась в том, что теперь Каргин не мог, как в первый раз, рассчитывать на внезапность своего нападения.

Неприятель, конечно, видит тральщик. Однако все снаряды по-прежнему рушатся на остров, а вокруг тральщика — тишина.

Десантные баржи теперь подошли к острову на предельно близкое расстояние — подойти еще ближе им не давали окружавшие остров мели и подводные камни. Немцы уже готовились начать высаживать десант и подвергали остров последнему сокрушительному обстрелу. Они действовали по

заранее разработанному плану с невозмутимой самоуверенностью. Они не сомневались в превосходстве своих сил, и новое появление маленького советского корабля не заставило их изменить намеченный планом порядок действий.

В этом невнимании к своему кораблю Каргин почувствовал пренебрежение. «Ну ладно, посмотрим», — подумал он.

ТЩ-100 шел прямо на десантные баржи. Ближе, ближе, ближе...

— Огонь!

На палубе ближайшей баржи солдаты возились с надувными лодками из темной резины — готовились переправляться на остров. Попадание, еще одно попадание, еще одно... Баржа начала тонуть, осела, накренилась. Но потонуть не могла, потому что было слишком мелко. Волны перекатывались через нее, пенясь, и немцы прыгали в воду, стараясь доплыть до других барж, соседних...

За дальнейшей ее судьбой с тральщика не уследили. Он мчался вдоль строя барж и катеров, стреляя из орудий и пулеметов. Он так быстро проносился мимо, что моряки на нем не всегда успевали замечать результаты своих попаданий. Но он заставил-таки немцев обратить на себя внимание. Он несколько испортил выполнение их железного плана, он вынудил их прервать обстрел острова и добился того, что все орудия всех барж и катеров стали стрелять в него.

Вода вокруг ТЩ-100 кипела и пенилась от взрывов. Опять он шел зигзагами, кидаясь то вправо, то влево. Строй катеров и барж спутался: они сбились в кучу и палили не в лад. Только благодаря этому ТЩ-100 и удавалось лавировать среди множества летевших в него со всех сторон снарядов. И все-таки несколько снарядов попало в него, и на стальных его боках появились глубокие вмятины.

К счастью, машины и орудия на нем были пока целы. Люди тоже. Нужно вырваться из-под огня и уйти. На этот раз противник провожал его огнем гораздо упорнее, чем прежде. Несколько катеров даже помчались за ним вдогонку. Но комендор тральщика точной стрельбой заставил катера

отстать. Обогнув с запада остров Сухо, ТЩ-100 снова понесся на юг.

Каргин посмотрел на часы. С тех пор как Соколюк начал чинить свою разбитую аппаратуру, не прошло еще и двадцати минут. Связаться со штабом пока невозможно. Но дожидаться нечего — надо продолжать бой. Надо мешать им, тревожить их, не давать им ни мгновения передышки. Надо сделать все исполнимое, чтобы заставить их высадить свой десант как можно позже. ТЩ-100 еще плавает, орудия его еще могут стрелять. Так назад, под огонь, в самую гущу врагов, чтобы не дать им покоя!

И ТЩ-100 в третий раз вернулся к острову Сухо.

Теперь встречен он был далеко не с таким равнодушием, как прежде. Не успел он еще обогнуть западную оконечность острова, как вражеская эскадра обрушила на него весь свой огонь.

«Так, так! — думал Каргин. — В нас бейте, в нас! Уж мы как-нибудь... уж мы вывернемся. Бейте в нас, но оставьте в покое остров. Время — важнее всего. Теперь главное — выиграть время».

И ТЩ-100 упорно продолжал свою бешеную игру с неприятельскими судами. Несясь по сложной ломаной линии, петляя и крутясь, врывается он в самый их строй, стреляя из обоих своих орудий и всех пулеметов. Потом, когда огонь вражеской артиллерии становился нестерпимым, он выскакивал из гущи неприятельских судов, уходя по еще более ломаной линии, прятался за остров и шел к югу. Но едва снаряды переставали его догонять, он поворачивался, возвращался, и игра начиналась сначала.

ТЩ-100 насккивал и уходил. Но с каждым разом наскок становился все короче, а уходить оказывалось все сложнее. Вражеские артиллеристы, приноровившись, стали стрелять более метко, снаряды рвались ближе, попадания сделались чаще, вмятин в броне его становилось все больше. И главное — вражеские катера принялись всерьез защищать от него свои десантные баржи. Теперь, когда он появлялся, катера норовили выскочить вперед. Они на-

падали на ТЩ-100, как охотничья свора, и со страшным шумом, тратя огромное количество снарядов, гнали его прочь от острова. ТЩ-100 бешено грызлся и, кидаясь из стороны в сторону, старался оторваться от своих преследователей.

Пришло, наконец, мгновение, когда Каргин стал опасаться, что оторваться от катеров больше не удастся. Они упорно вцепились в маленький тральщик и, видимо, твердо решили не упустить свою добычу. Пеня воду, ТЩ-100 носился вокруг острова среди взрывов и взлетающих кверху столбов воды, преследуемый дюжиной быстроходных и отлично вооруженных катеров.

Но вот Каргин заметил один катер, непохожий на остальные. Несколько крупнее, палубный... Да ведь это советский катер типа «морской охотник»! Откуда он взялся?

В бинокль Каргин различил надпись у него на борту: МО-171. Кто командует катером МО-171? Каргин редко встречался с командирами из дивизиона «морских охотников» и мало знал их. Однако командира МО-171 он вдруг припомнил. Тоненький, очень молодой... ну, года двадцать три, наверно. Белокурый, а глаза темные. Фамилия его Ковалевский... Лейтенант Ковалевский... Каргин видел его несколько раз в Новой Ладоге, а перед войной они встречались в Кронштадте, в Доме флота. Однажды Каргин играл с ним на бильярде и без труда выиграл у него партию...

МО-171, появившись, на полном ходу устремился в пространство между ТЩ-100 и вражескими катерами. Что он задумал, этот Ковалевский? Что он собирается делать?

Внезапно из «морского охотника» повалил густой дым, потянулся за ним, как исполинский мохнатый хвост, и, тяжелый, непроглядный, клубящийся, разлегся на волнах, становясь все шире и поднимаясь все выше.

Дымовая завеса!

Так вот что придумал Ковалевский, первым пришедший на помощь Каргину! Он сразу оценил положение и прежде всего решил дать ТЩ-100 передышку, дать ему возможность уйти от погони. Весь

огонь вражеских катеров он принял на себя и повел за собой всю их свору, отгородив дымовой завесой тральщик Каргина от боя, от неприятельских судов, от острова Сухо...

— Товарищ старший лейтенант...

Каргин обернулся.

Перед ним стоял Соколюк.

— Ну как? — спросил Каргин и взглянул на часы.

Прошло тридцать четыре минуты. Почти тридцать пять.

— Радио работает уже четыре минуты, — сказал Соколюк.

— Передали в штаб?

— Все передал.

— А что приняли?

— Принял приказание командующего флотилией.

Он подал Каргину радиogramму. Командующий сообщал, что помощь острову идет, и приказывал Каргину делать все возможное, чтобы задержать высадку десанта.

— Благодарю, товарищ Соколюк, — сказал Каргин. — Спасибо, Ваня! А приказание командующего мы уже давно выполняем.

И он повел свой тральщик в обход дымовой завесы, чтобы помочь МО-171, который принял на себя всю тяжесть боя.

6

22 октября эскадрилья Лунина совершила свой первый боевой вылет на самолетах новой конструкции.

Лунин не думал, что ему придется вылететь в это мглистое октябрьское утро. Уже несколько суток вся авиация сидела на земле, прижатая туманом, низкой облачностью, морозящими дождями. Ночью выпал первый снег и побелил поле аэродрома. К рассвету снег почти весь растаял и лежал кое-где сероватыми пятнами. Рассветало вяло, хмуро, небо грозило дождем или новым снегом. Лунин уже собирался идти в летную столовую завтракать, когда

ему в землянку позвонили из командного пункта полка и приказали готовить к вылету всю эскадрилью.

— Задачу сообщу дополнительно, — сказал ему по телефону начальник штаба полка Шахбазьян.

Землянка командного пункта полка находилась всего в нескольких десятках метров от землянки Лунина. И уже через две-три минуты из полка прибежал в эскадрилью техник и рассказал, что немцы пытаются высадить десант на остров Сухо.

Все летчики много раз видели остров Сухо, хорошо знали, где он находится, и смысл услышанной новости стал им всем ясен сразу. Судьба острова Сухо — это судьба Ленинграда. Если остров Сухо падет, сообщение с Ленинградом будет прервано, и кольцо блокады сомкнется.

Начальник штаба сообщил задачу:

— Прикрывать штурмовики. Встреча, как всегда, над мысом.

Эскадрилья взлетела и мгновенно пропала в тумане. Лунин, оборачиваясь, не видел всего строя своих самолетов, даже ближайšie то возникали, то пропадали. Но по радио он слышал голоса своих летчиков и знал, что они идут за ним.

Он еще не привык к своему новому самолету — он всего несколько дней назад впервые поднялся на нем — и теперь наслаждался тем, как он удобен, послушен, стремителен, точен, устойчив, как умны и бдительны на нем приборы. Вообще вся эта изящная машина казалась ему таким воплощением разума, что он невольно чувствовал к ней уважение, словно она живая. И в то же время эта машина была как бы продолжением его самого, повиновалась только ему, превращала его в сказочного великана, увеличивая его силу в тысячу раз. И сейчас, когда он в помощь себе получил такую разумную силу, ему не терпелось встретиться со своими давнишними испытанными врагами — «мессершмиттами». Посмотрим, как они будут вести себя теперь... Если только они осмелятся вылететь в такую погоду...

Вода в озере казалась черной, только у берегов угрюмо белела пена бурунов. Истребители к месту встречи пришли первыми. Тучи неслись так низко,

что порой задевали вершины сосен, торчащих на мысу. Эскадрилья Лунина делала над мысом круг за кругом, стараясь держаться как можно ниже, чтобы не прозевать штурмовики.

Через минуту они увидели их — шесть горбатых серых теней, переваливших через береговую черту и шедших над самой водой. Истребители сопровождали их как конвой — спереди, сзади, справа, слева. Мыс потонул позади в тумане, и с самолетов ничего не было видно, кроме черной воды да туч, спускавшихся к волнам. В ясную погоду остров Сухо был заметен с самолета чуть ли не от самого мыса, но на этот раз они летели довольно долго, прежде чем он, наконец, появился.

Лунин раньше всего увидел два столба дыма, упиравшиеся прямо в тучи. Это были два пожара — один на острове, другой на воде. На острове горел деревянный домик у подножия маяка, на воде пылала большая баржа — нос ее погрузился в воду, а корма, высоко поднятая в воздух, была вся охвачена пламенем.

Разбитых судов возле острова заметил он несколько — их обломки, хорошо видные сверху, плавали на воде. Но целых судов было гораздо больше. Обхватив остров подковой, они вели по нему огонь из многих орудий, и видно было, как рвутся снаряды, вздымая то светлые столбы воды, то темные вихри песка и щебня.

На все это Лунин смотрел не больше мгновения, потому что внимание его сразу же было отвлечено. К югу от острова он увидел маленький военный корабль — тральщик — и черный «юнкерс» над ним, выходящий из пике и бомбящий. Он увидел задранные кверху зенитки на тральщике, ведущие огонь, и второй «юнкерс», вывалившийся из туч, а за ним третий, четвертый. Отбомбив, «юнкерсы» уходили в тучи, делали новый заход и снова бомбили...

Затевя поход на остров Сухо, немцы вначале, видимо, собирались обойтись без авиации. Погода была дурная, да и подавление одной береговой батареи на острове казалось им делом несложным. Авиацию они вызвали уже во время боя, чтобы отделаться от назойливого тральщика ТЩ-100, который раздра-

жал их и задерживал высадку десанта. «Юнкерсы» атаковали тральщик, когда он — в который уже раз — укрылся за южным берегом острова, готовясь к новому нападению на баржи. «Юнкерсы» вываливались из низких туч прямо над тральщиком и сразу шарахались, уstraшенные огнем его зениток, бивших в упор. От этого страха перед зенитками они до сих пор ни разу еще не попали в него, и бомбы, взрываясь вокруг в воде, только оплескивали его палубу тяжелыми холодными потоками. Но «юнкерсы» были упорны: они уходили в тучи и возвращались.

Лунин оставил шесть самолетов для охраны штурмовиков, а сам с Татаренко, Карякиным и Рябушкиным двинулся к «юнкерсам». «Юнкерсы» ушли в тучи, и над тральщиком истребителям удалось настичь только одного. Атакованный с четырех сторон, он мгновенно был опрокинут в воду. Карякин и Рябушкин, углубившись в тучу, наткнулись еще на один «юнкерс». Они сразу же сбили его, и Лунин узнал об этом, услышав в своих наушниках восторженные крики Карякина.

Тогда обнаружилось, что здесь есть и «мессершмитты», пришедшие сюда, должно быть, для охраны «юнкерсов». Десять «мессершмиттов», выскочив из тучи, сделали попытку напасть на штурмовики в то самое мгновение, когда те атаковали баржи.

Произошла схватка столь стремительная, что Лунин при всей своей опытности не успел уследить за ней. Шесть советских истребителей, охранявших штурмовики, сбились над баржами в один клубок с «мессершмиттами». Но уже через полминуты этот клубок распался. Три «мессершмитта» вывалились из него и упали в воду между пятящимися баржами. Остальные стремительно отпрянули в разные стороны, стараясь как можно скорее скрыться в тучах.

Лунин, не участвовавший в этой схватке, внезапно увидел «мессершмитт», удиравший на бреющем над самыми волнами. Вместе с Татаренко он погнался за ним. Немецкий летчик сразу обнаружил погоню и рванулся вперед, стараясь выжать из своей машины всю скорость, на какую она была способна. Но у новых советских самолетов скорость оказалась большей. Расстояние между «мессершмиттом» и его

преследователями уменьшалось с каждым мгновением. И Лунин, готовясь нажать гашетку, с радостно бьющимся сердцем видел, как «мессершмитт» рос и рос в прицеле.

Поняв, что уйти по прямой невозможно, немецкий летчик круто задрал нос своего самолета и свечой пошел вверх. Он привык к тому, что в вертикальной плоскости «мессершмитт» всегда быстрее и поворотливее тех самолетов, с которыми ему приходилось сражаться. Но самолет Лунина без малейшего промедления тоже пошел вверх и под тем же самым углом. Они почти одновременно врезались в тучу.

В туче Лунин сразу же потерял «мессершмитт» из виду. Плотный, мутный туман тесно обступил его самолет со всех сторон. Но он продолжал подниматься, не сбавляя скорости и не меняя угла подъема. Он уже не слишком надеялся снова увидеть «мессершмитт», за которым гнался, но, разгоряченный погоней, не хотел свернуть, тем более что туман вокруг светлел и слой туч был, вероятно, не так уж толст.

Ослепительный свет заставил его зажмуриться. Он увидел солнце и бледно-синее ясное небо над собой, а под собой — клубящийся океан туч без конца, без края.

«Где же «мессершмитт»?»

Лунин оглядел весь простор вокруг себя, но нигде на всем безграничном пространстве над тучами не было видно ни одного самолета.

И вдруг «мессершмитт» выскочил из туч, как пробка из воды, — в каких-нибудь пятидесяти метрах от Лунина.

И Лунин понял, что его новый самолет поднимался быстрее «мессершмитта» и обогнал его на подъеме.

Подойдя к «мессершмитту» со стороны солнца, Лунин дал очередь, и «мессершмитт», перевернувшись брюхом вверх, погрузился сначала в тучу, потом в воду.

Спустясь к воде, Лунин встретил Татаренко, с которым разминулся в тумане. Воздух под тучами был пустынен — ни штурмовиков, ни истребителей.

Пока Лунин гнался за «мессершмиттами», штурмовка окончилась, и самолеты ушли.

Лунин и Татаренко помчались вдогонку за штурмовиками. Они пронеслись над островом Сухо, над верхушкой маяка. Дым пожаров, которых стало еще больше, заволакивал все, и они не видели, как вражеские солдаты плыли в резиновых лодках с барж к острову. Они не видели, что некоторые из этих солдат добрались уже до прибрежных бурунов и, выпрыгнув из лодок, по пояс в воде шли к берегу.

7

К этому времени положение защитников острова стало отчаянным. Половина из них была убита, живые — почти все ранены. Державшихся на ногах оставалось человек десять-двенадцать, но и среди них раненых было большинство. Снаряд подбил еще одно орудие — комендора Уличева. И только орудие комендора Баскакова продолжало стрелять.

Штурмовики заставили немецкие суда сбиться в кучу, подожгли катер, потопили баржу, убили и ранили много солдат. Однако, едва штурмовики ушли, баржи вернулись на прежние места, и высадка десанта началась.

Мель мешала баржам подойти к берегу вплотную, и десантники двинулись к острову в надувных резиновых лодках. Лодки эти, набитые солдатами до предела, были медлительны, неуклюжи и сильно подсакивали на волнах. Снаряд Баскакова попал в одну из них и уничтожил на глазах у всех и лодку и тех, кто в ней находился. Но остальные лодки продолжали двигаться к острову. Шагах в пятидесяти от берега было уже достаточно мелко, и солдаты прыгали в воду. По грудь в воде они шли к берегу, беспорядочно стреляя из автоматов.

Неприятельская артиллерия вынуждена была прекратить огонь, чтобы не бить по своим.

Защитники острова легли меж камней и приготовились к встрече.

На острове было два пулемета. Один из них Гусев приказал установить на высоком месте, у подно-

жия маяка, другой — среди развалин орудийного дворика, окружавших перевернутую пушку Пугача. Это позволяло держать под пулеметным огнем почти все мелководное пространство перед островом. Орудие Баскакова било по резиновым лодкам, продолжавшим отплывать от барж. Брустверы всех трех орудийных двориков служили прикрытием для краснофлотцев, стрелявших из винтовок и автоматов в приближавшихся к берегу немцев.

То один вражеский солдат, то другой опрокидывался и исчезал под водой, чтобы больше уже не встать. Но их было слишком много, все новые и новые появлялись на месте убитых. Видно было, как их насильно спихивали с резиновых лодок в воду, фельдфебельская брань доносилась до острова даже сквозь шум ветра и треск стрельбы. Попав в воду, каждый солдат изо всех сил спешил к берегу, потому что возле самого берега громоздились большие камни, в которых можно было укрыться. И те, кому удавалось добежать, прятались там, между камнями, уже недосыгаемые для пуль. Укрытые береговыми скалами, они готовились к атаке.

Старший лейтенант Гусев с трудом приподнялся, и краснофлотцы увидели его бледное сухое лицо.

— Друзья! — крикнул он. — Стоять насмерть! К нам идет помощь!..

Он взмахнул руками и упал лицом вниз.

Его ранили в третий раз.

Сашка Строганов кинулся к нему, приподнял его, перевернул на спину. Глаза Гусева были закрыты. Но он дышал, он был еще жив. Сашка взвалил его себе на спину и пополз к землянке. Ползя, он услышал, как главстаршина Мартынов крикнул:

— Слушай мою команду! За Родину! Вперед!

Мартынов принял на себя командование гарнизоном и повел его за собой в атаку, чтобы опередить немцев и сбросить их в воду.

За ним побежали все, кроме пулеметчиков, — всего около десяти человек.

Подбежав к берегу, Мартынов швырнул в солдат, прятавшихся под береговыми скалами, ручную гранату. Граната взорвалась. Но сейчас же на скалах появились немцы и бросились навстречу Мартынову.



Их вел за собой офицер, размахивая револьвером. Мартынов с разбегу проткнул его штыком, опрокинул и перепрыгнул через него. Несколько немецких солдат было тут же заколото штыками, а остальные, не выдержав натиска краснофлотцев, отпрянули и попрыгали обратно, вниз, под скалы.

Мартынов и Полещук кинули в них сверху две гранаты, одну за другой, и, когда гранаты взорвались, прыгнули туда сами. Краснофлотцы хлынули за ними, и после короткой схватки те немногие немцы, которые остались в живых, побежали в воду, в волны, стараясь добраться до своих резиновых лодок.

Это было торжество гарнизона. Ни одного живого вражеского солдата не осталось на острове.

Но торжество это было минутное. С резиновых лодок сбрасывали в воду все новых и новых солдат. Они стреляли из автоматов и шли к острову.

Один из краснофлотцев вскрикнул и упал, раскинувшись между камнями. Мартынов наклонился над ним. Он был мертв. И в то же мгновение Мартынов, задетый пулей, сам свалился на мертвого краснофлотца.

Стало ясно, что здесь, у воды, оставаться им больше нельзя: здесь их всех перестреляют. И, покинув берег, они опять отошли наверх, к орудийным дворикам, под защиту брустверов.

Теперь командование гарнизоном принял на себя парторг Полещук. Ему не пришлось даже объявлять об этом — он просто стал распоряжаться, и ему все повиновались. Главстаршина Мартынов был жив, но тяжело ранен. Уличев вынес его с берега на себе и тут, наверху, положил рядом с собой на земле. Мартынов, большой и сильный, очень мучился, громко стонал и что-то бессвязно говорил. Полещук увидел Сашку Строганова, который только что отнес в землянку Гусева, и приказал ему отнести туда же и Мартынова. Такая выпала Сашке судьба — относить раненых командиров. Он взгромоздил Мартынова себе на спину и пополз.

Тем временем немцы опять собрались в камнях под береговым откосом. Там они готовились к напа-

дению, и, чтобы опередить их, Полещук повел защитников острова в новую атаку. Они сверху забросали десантников гранатами, снова спрыгнули вниз и, вероятно, снова завладели бы прибрежными камнями, если бы Полещук не заметил, что на этот раз несколькими немецкими солдатам удалось достигнуть берега левее того места, где шла схватка. Невозможно было с такой маленькой горсткой бойцов оберечь всю береговую линию острова. Им грозило окружение. Если немцы отрежут их от брустверов, от маяка, от землянки — конец.

И защитники острова опять отступили. Полещук повел их сначала к разбитому орудию Уличева, а потом еще дальше, к орудию Баскакова, где бруствер хорошо сохранился.

Орудийная пальба смолкла, но тихо не стало. Воздух был полон оглушительного треска пулеметов и автоматов, отрывисто щелкали винтовки. Таща на себе Мартынова, Сашка полз извилистым длинным путем, укрываясь от пуль в низинках и за камнями. Сквозь трескотню пальбы и шум ветра доносились крики, голоса. Сашка полз осторожно, часто останавливался, замирал. Наконец он увидел широкую впадину меж камней — вход в землянку.

По ту сторону впадины, в камнях, он заметил что-то серое, движущееся. Что это?

Немцы. Кажется, двое. Так же как и Сашка, они ползут меж камней, хоронясь от пуль. Они уже возле самой землянки! Как же быть с Мартыновым? Неужели впустить их в землянку, где раненый Гусев, где столько раненых?

Не двигаясь, Сашка следил за обоими солдатами. Они, кажется, его еще не видят. Куда они ползут? Быть может, они проползут мимо и не заметят землянки... Нет, дверь землянки слишком заметна. Вот один уже у края впадины и смотрит вниз. Он подманил второго и показывает ему на дверь. Они совещаются, что делать дальше... Вот они оба встают...

Сашка выполз из-под тяжелого тела Мартынова, вскочил, размахнулся и бросил гранату.

Солдаты упали. Один скатился вниз, во впадину,

и разлегся ничком на досках перед самым входом, неестественно подогнув голову в железной каске себе под грудь. Второй пролежал не больше мгновения, вскочил и, низко пригнувшись, побежал прочь.

Сашка спустился в землянку. Ему пришлось переступить через убитого. Этот немец здорово вымок в озере, переправляясь на остров, с его шинели текла вода. В землянке лампа почти погасла — кончился керосин. Сашка уложил стонавшего, но не приходившего в сознание Мартынова рядом с Гусевым. Гусев лежал неподвижно — казалось, спал. Жив ли он еще? В углу землянки хранился ящик с гранатами. Сашка склонился над ящиком и стал засовывать гранаты в карманы, за пояс, за пазуху. Нагруженный, он вышел из землянки.

Переступив через убитого немца в мокрой шинели, он остановился и прислушался.

Стрельба продолжалась и стала громче, чем прежде. Но теперь вся она словно сосредоточилась в одной части острова и доносилась откуда-то слева. Из впадины перед дверью никого не было видно. Но голоса, незнакомые, кричавшие что-то на чужом языке, были слышны совсем близко, почти рядом.

Сашка осторожно выглянул. На расстоянии одного шага от своих глаз он увидел ноги в мокрых сапогах. Немцев действительно было много, они заполняли все пространство от берега почти до самого маяка. Они лежали на животах, прячась меж камней, протянув ноги в сторону землянки, и стреляли из автоматов по орудийному дворику, за бруствером которого находилось орудие Баскакова.

Горсточка уцелевших краснофлотцев не могла оборонять весь остров, и Полещук отвел свой отряд в тот орудийный дворик, который был меньше разрушен, чем два других. Оттуда они отстреливались, а гитлеровцы, уже чувствовавшие себя на острове хозяевами, залегли вокруг и готовились к штурму, чтобы одним ударом покончить с последним сопротивлением.

Слабость обороны этого орудийного дворика заключалась прежде всего в близости той самой лощинки, в которой хранились снаряды. Дно ее было недосыгаемо для пуль. А от нее до бруствера остава-

лось всего несколько метров, которые нетрудно было преодолеть. Нападающие это сообразили и пытались проникнуть в лощину.

Конечно, Полещук понял их замысел. Пространство, прилегавшее к лощине, он держал под огнем. Но на краю лощины лежал большой камень. Этот камень служил отличным прикрытием для вражеских солдат. Под его защитой они поодиночке подползали к краю лощины и потом, улучив мгновение, прыгали на дно ее. То был медленный способ, но единственно верный. Враги накапливались на дне лощины, и помешать этому Полещук не мог.

Все то, что проделал Сашка Строганов, вышло совершенно случайно. У него не было никакого плана. Не он напал на немцев, а они на него. Просто один солдат обернулся и заметил Сашкину голову в бескозырке, торчавшую из впадины. Солдат выстрелил, Сашка мгновенно присел. Пули с противным визгом пролетали над ним. Сашка, с посинелыми от бешенства, сжатыми губами, стал хватать с земли одну гранату за другой и швырять их. Гул взрывов покотился над островом.

Размахивая гранатой, Сашка вскочил и побежал вперед. Убитые гранатами немцы лежали тут и там. Сашка спотыкался о трупы, перескакивал через них на бегу. А живые, вскочив, бежали, ошеломленные внезапным нападением сзади. И Сашка, возбужденный успехом, помчался за ними, крича и бросая гранаты.

Целый год учил его старший лейтенант Гусев искусству метать гранаты, и наука эта ему пригодилась. В несколько прыжков домчался он до лощины, с разбегу вскочил на большой камень и глянул вниз. Увидев в лощине немцев, он метнул туда две свои последние гранаты.

Даже если бы взорвалась одновременно целая дюжина ручных гранат, не было бы такого взрыва. На дне лощины взорвались не только две Сашкины гранаты, но и сложенные там боеприпасы.

Взрыв получился такой, какого на острове с начала боя еще не было. В лощине не уцелел никто. Взрывная волна сорвала Сашку с камня и отбросила метра на три.

Сознание Сашка потерял не сразу. Он услышал топот ног вокруг себя, крики. Подняв голову, он увидел бегущих вперед краснофлотцев. Это Полещук, воспользовавшись взрывом в ложине, повел свой отряд в атаку.

Это была третья — и последняя — атака защитников острова. Они бежали коротенькой цепью — восемь-девять человек, — стреляя из автоматов, из винтовок, швыряя гранаты. Их вел за собой Полещук. Меньше всех ростом, он, словно шар, катился между камнями все вперед и вперед. Немцы удирали от них, и опять удалось освободить почти весь остров. Уже и вход в землянку и орудие Уличева далеко позади. Вперед, вперед! Немцы уже на самом краю — за перевернутым орудием Пугача...

Но успех этот был краток, почти мгновенен. Немцев на острове много, очень много. Паника среди них улеглась, они снова ползут, окружают, ведут огонь из десятков автоматов...

И отряд Полещука, еще поредевший, снова отступил к орудийному дворику Баскакова, под защиту брустверов.

8

Все происходившее лучше всего видел Лунин, потому что смотрел он сверху, с самолета, и наблюдал не отдельные детали боя, а весь бой сразу.

Во главе своей эскадрильи он то покидал остров Сухо, то возвращался к нему вновь. Эскадрилья его сопровождала все новые и новые группы штурмовиков и бомбардировщиков, которые волнами двигались к неприятельским судам, столпившимся возле острова. Удар за ударом наносили они по десантным баржам, по защищавшим их катерам. И в каждой последующей волне было больше самолетов, чем в предыдущей, и каждый последующий удар был сильнее предыдущего.

Силы советской авиации над островом Сухо беспрерывно нарастали. А немецкая авиация в этот хмурый осенний день оказалась бессильной. Немецкие летчики явно боялись новых советских истребителей. «Юнкерсы», исчезнув, долго не появлялись, а

«мессершмитты» хотя иногда и обнаруживали свое присутствие, вынырнув из туч, но даже не пытались защитить суда.

Бомбардировщики потопили еще одну самоходную баржу, подожгли еще один катер. Этот катер запылал как-то особенно злоеще. Низкое желтое пламя, охватившее его, при свете тусклого дня казалось очень ярким. На пылающем катере взрывались боеприпасы, и при каждом взрыве он весь болезненно вздрагивал, словно живой. Мотор на нем долго еще работал, заставляя его метаться из стороны в сторону, и он, пылая, натыкался на соседние суда, в ужасе шарахавшиеся от него.

Пытаясь захватить остров, немцы понесли громадные и совершенно ими не предвиденные потери — много их судов погибло, на прибрежных камнях висели трупы, мертвецы качались на волнах, подплывали к бортам. А островок с маяком все еще не был взят, все еще на нем отстреливалась кучка краснофлотцев, вынуждая немцев терять время и тем самым подвергая их суда опасности нападения главных сил Ладожской флотилии.

В третий раз летя от мыса к острову, эскадрилья Лунина обогнала колонну военных кораблей. Это был отряд канонерок — самых крупных кораблей Ладожской флотилии. Еще ближе к острову Лунин увидел большую группу «морских охотников», которые мчались полным ходом, зарываясь носами в волну. Одновременно с ними, но с другого направления к острову подошли советские бронекатера.

«Морские охотники», растянувшись цепью, стали охватывать неприятельские суда с севера, со стороны открытого озера. Этот маневр был тотчас же замечен немцами и встревожил их чрезвычайно. Охват с севера грозил преградить им путь к отходу.

И немецкие катера, на обязанности которых лежала охрана десантных барж, покинули баржи, отделились от острова и подались к северу, чтобы защитить путь отхода. Баржи последовать за ними не могли, так как не могли оставить десантников, находившихся на острове и все еще сражавшихся с отрядом Полещука. Так началось разделение не-

приятельских судов на две группы, сыгравшее немалую роль в дальнейшем.

Опять появились «юнкеры». Немецкое командование, поняв угрожающую десанту опасность, послало их бомбить советские корабли. «Мессершмиттов» тоже стало больше — скрываясь в тучах, они неожиданно выскакивали, стараясь внезапно атаковать наши самолеты. Но численность советских самолетов нарастала быстрее. Никогда еще с начала войны Лунин не видел столько советских самолетов сразу. Всюду, куда ни кинешь взгляд, проносились штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы, истребители. Только теперь, только в этом бою, Лунин мог оценить всю громадность перемен, происшедших в советской авиации за последнее время.

«Юнкерсам» не удалось попасть ни одной бомбой ни в один наш корабль. «Мессершмиттам» не удалось сбить ни один наш самолет. В воздушной битве, закипевшей над маяком, над волнами, над кораблями, немецкая авиация потерпела полное поражение. Советские истребители на глазах у Лунина сбили в течение нескольких первых минут один за другим четыре немецких самолета — три «юнкерса» и один «мессершмитт». А второй «мессершмитт» сбил в те же несколько минут сам Лунин совместно с Татаренко.

Тем временем к острову подошли канонерки. Они приближались к десантным баржам, не встречая почти никакого сопротивления, потому что немецкие катера находились значительно севернее барж и там, вдали, у самого горизонта, вели бой с «морскими охотниками» и советскими бронекатерами. Приблизившись, канонерки построились и обрушили на баржи всю мощь огня своих орудий главного калибра.

Этого немцы не вынесли — они обратились в бегство.

Прежде всего побежали солдаты, находившиеся на острове. Овладевшие уже почти всем островом, они бросили осажденную ими горсточку краснофлотцев и в панике, не соблюдая никакого порядка, кинулись в холодную октябрьскую воду, стараясь добраться до резиновых лодок, до барж. Неизвестно,

получили ли они какой-нибудь приказ к отступлению. Вероятнее всего, действовали они без всякого приказа — просто догадались, что баржи собираются уходить. И, боясь, что их оставят на острове одних, отрезанных, без всякой поддержки, они кинулись в воду спасать себя.

Из комендоров батареи к этому времени в сознании находился один только Уличев, но и он, раненный недавно в четвертый раз, лежал на камнях, истекая кровью, и не мог приподняться. Однако единственное уцелевшее орудие батареи опять уже вело огонь по неприятельским судам. Стрелял из него Полещук, а помогал ему Сашка Строганов.

Во время взрыва в лощине Сашку взрывной волной сбросило с камня; он расшиб себе лоб и потерял сознание. Когда краснофлотцы отходили под защиту бруствера после атаки, Полещук заметил, что он начал шевелиться, и за ногу втащил его в оружейный дворик. Там Сашка окончательно пришел в себя. На лбу у него был огромный синяк, и правый глаз так запух, что почти не открывался, но левый по-прежнему бойко и смело смотрел вокруг.

Полещук был ранен в ногу. Он прыгал на одной ноге, хватаясь руками за бруствер, за орудие. Когда немцы, покидая остров, отхлынули от бруствера, он оглядел своих товарищей, обдумывая, кто мог бы ему помочь. Все были ранены, но некоторые еще стреляли из автоматов по убегавшим немцам. Нет, раненых трогать нельзя, они не справятся. Полещук заметил раскрытый левый глаз Сашки и спросил:

— Ты можешь встать?

— Могу,— сказал Сашка.

И поднялся.

— Поддай мне снаряд!..

Так орудие заговорило снова.

Полещук внезапно воскликнул:

— Смотри, Саша!.. Видишь?

И показал в сторону соседнего оружейного дворика, где лежало поврежденное орудие Уличева.

— Вижу,— сказал Сашка.

Уже почти все немцы покинули остров, но там, возле орудия Уличева, еще возились, пригнувшись, несколько солдат.

— Что они там делают? — спросил Сашка.

— Тол подкладывают, — сказал Полещук. — Взрывать орудие хотят, чтобы мы не могли его поправить.

Немцы выскочили из орудийного дворика и, все так же пригнувшись, побежали прочь. Полещук схватил автомат и пустил им вслед очередь. Но они успели прыгнуть с берега вниз, за прибрежные камни.

Сашка заметил над орудием Уличева легкий дымок.

— Это шнур горит, — сказал он. — Сейчас будет взрыв!

Полещук уперся руками в бруствер и перекинул через него свое небольшое тело. Оказавшись за бруствером, он тяжело заковылял к орудию Уличева. Простреленная нога его волочилась, и двигался он очень медленно.

— Куда ты? — удивленно крикнул Сашка. — Стой! Тебя взорвет!

Но Полещук махнул рукой и двинулся дальше. Однако сразу же споткнулся и упал.

Тут только Сашка понял, что хотел и не мог сделать Полещук.

— Я сам! — крикнул он. — Я сейчас!

Одним прыжком перескочил он через бруствер и помчался к орудию Уличева.

— Уже поздно! — закричал ему Полещук. — Назад! Ложись! Ложись!

Но Сашка не слушал его.

И добежал.

Он успел. Он вырвал почти уже догоревший шнур и выгреб из-под орудия тол.

Десантные баржи, содрогаясь от падавших вокруг снарядов, покидали остров Сухо. Вражеские катера были уже далеко впереди — они уходили обратно, на северо-запад, ведя непрерывный бой с преследовавшими их советскими бронекатерами. Началось бегство всей неприятельской эскадры, ничего не достигшей, поредевшей, потерпевшей поражение и теперь удиравшей, в напрасной надежде избежать полного разгрома.

Разгрома уже избежать было нельзя. Немецким судам предстояло пройти длинный путь через все

озеро до своей базы — захваченного финнами порта Кексгольм. Только там они могли найти себе убежище. И все это многочасовое плавание они вынуждены были совершать под бомбами советской авиации, под непрерывным огнем артиллерии советских кораблей.

Бегство немецких судов от начала и почти до конца прошло у Лунина на глазах. Его эскадрилья весь этот день провела в воздухе. Вместе со своей эскадрильей он сопровождал и охранял все новые и новые волны бомбардировщиков, которые одна за другой, непрерывной чередой шли бомбить удалявшиеся немецкие суда. Изредка в воздухе возникали короткие стычки с «мессершмиттами», неизменно кончавшиеся их поражением, и бомбардировщики наносили уходящим судам удар за ударом, не встречая почти никакого противодействия.

Немецкие суда, еще у самого острова Сухо разделившиеся на две группы, так, двумя группами, и шли через все озеро. Первую группу, состоящую из катеров, преследовали советские бронекатера и «морские охотники». Особенно досаждали немцам бронекатера — маленькие, верткие, прекрасно вооруженные, быстроходные, неуязвимые и бесстрашные. Они беспрестанно атаковали, одна атака следовала за другой, и так до самого Кексгольма, на протяжении многих десятков километров. И немецкие катера, которых становилось все меньше, тащились через озеро, устало огрызаясь, изнемогая.

А далеко позади, все дальше и дальше отставая, двигались самоходные баржи с солдатами, и положение их было еще тяжелее. Их преследовал другой отряд «морских охотников» и отряд канонерок. Огнем своих пушек самоходные баржи старались заставить советские корабли держаться в отдалении. Но канонерки приближались к ним под защитой дымовых завес, которые ставили юркие «морские охотники» и били их почти в упор из своих мощных орудий. Преследуя врага, советские корабли вели непрерывный многосложный бой, изнуряющий бой на уничтожение. А сверху, над караваном неприятельских судов, все более растягивавшимся и редевшим, кружили самолеты, бомбя и штурмуя.

Короткий осенний день кончился рано. На озеро спустилась тьма, и в этой тьме на всем протяжении от острова Сухо до Кексгольма ярко пылали гибнущие немецкие суда.

Вечером, когда утомленные летчики собрались в столовой на ужин, в их глазах еще сияли отсветы этих пожаров. Они не могли говорить от усталости, руки онемели, ноги еле двигались, но глубокая радость победы и торжества переполняла их.

— Если бы они это видели! — вырвалось вдруг у Лунина, когда он садился за стол.

— Кто они, товарищ гвардии майор? — не понял Костин.

Татаренко сердито посмотрел на Костина. Какой недогадливый! Сам-то он сразу догадался, что Лунин думает о Рассохине и о тех рассохинских летчиках.

9

Тральщик ТЩ-100, первым начавший бой, в преследовании неприятельских судов участия не принимал, потому что, получив еще две пробоины, потерял способность двигаться быстро. Однако на воде он держался хорошо, и все люди на нем были целы. И старший лейтенант Каргин получил приказ подойти к острову Сухо и снять с него раненых.

К этому времени все суда скрылись уже за горизонтом. Озеро вокруг было пустынно, только догорала еще полузатонувшая самоходная баржа да через остовы других затонувших барж и катеров перекатывались, пенясь, волны. Каргин подвел ТЩ-100 так близко к острову, насколько это было возможно, и приказал спустить шлюпку. В шлюпку сел фельдшер Бернадский с двумя краснофлотцами.

Фельдшер Бернадский был нескладный малый с большой головой, мясистым носом и мягкими добрыми губами. Уже больше года служил он на военном корабле, но в его неуклюжей фигуре не было ничего ни морского, ни военного. Несмотря на все усилия Каргина привить ему военные навыки, в нем до сих пор сразу угадывался штатский, и шинель сидела на нем, как халат.

Шлюпка, подскакивая на волнах, двинулась к берегу. Фельдшер, прижимая к животу большую сумку, полную бинтов, ваты, склянок, инструментов, удивленно вглядывался в остров.

На острове его больше всего поразила полная неподвижность. Там двигался и колебался только столб дыма над все еще догоравшим домиком у подножия маяка. Остальное — недвижимо. Беспорядочное нагромождение камней, обломки укреплений. И ни одного человека.

Где же люди?

Когда шлюпка, шурша днищем по гальке, уткнулась носом в берег, Бернадский увидел трупы. Много трупов — на камнях и между камнями, у самой воды и выше, на береговых скалах. Только немцы. Выпрыгнув из шлюпки, Бернадский и его спутники зашагали вверх по тропинке, в сторону маяка. Здесь тоже было много трупов и тоже только немцы. Дорого же заплатили они за попытку овладеть островом!

— А вот и наши, — сказал один из спутников фельдшера, шедший перед ним.

Он склонился над двумя краснофлотцами, лежавшими возле развороченного снарядами бруствера. — Раненые? — спросил, подходя, Бернадский.

Но тот покачал головой. Краснофлотцы были мертвы.

Неужели на острове не осталось ни одного живого человека?.. Воронки, осколки снарядов... Все усыпано патронами, обломками камней. Три орудия: одно перевернуто и исковеркано, другое просто перевернуто, третье как будто в порядке. Из него недавно стреляли по отходившим вражеским судам, на тральщике это все слышали. Кто же в таком случае стрелял? Значит, есть здесь живые!..

Фельдшер Бернадский увидел, как в одной из впадин, которую он принял за воронку, что-то зашевелилось, и оттуда поднялся молоденький краснофлотец с огромным синяком над заплывшим глазом.

Краснофлотец этот был Сашка Строганов.

— Хорошо, что вы пришли, — сказал он, приложив руку к бескозырке. — Я один ничего не могу сделать.

— Один? — переспросил Бернадский. — А остальные? Все убиты?

— Не все убиты. Раненые.

— И ты один не ранен?

— Один.

— А ваш командир?

— Старший лейтенант жив, он даже очнулся и разговаривал... Потом опять бредил... Там многие бредят. И все просят пить. Вот Полещук послал меня за водой.

У ног Сашки стояло пустое ведро.

— Да где ж они? — спросил Бернадский нетерпеливо.

— Здесь, в землянке.

Бернадский заглянул во впадину, из которой вышел Сашка, и увидел деревянную дверь. Звеня ведром, Сашка побежал к берегу за водой, а фельдшер и его спутники вошли в землянку.

Раненых оказалось человек пятнадцать, и большинство в очень тяжелом состоянии.

Бернадскому и двум его спутникам предстояла трудная работа. Помочь им могли только Сашка Строганов да Полещук, оказавшийся отличным и умелым санитаром. Полещук прыгал между нарами на одной ноге и не соглашался показать Бернадскому свою рану до тех пор, пока все раненые не были осмотрены и перевязаны.

Двое умерли, прежде чем их успели перевязать. Очень плох был и главстаршина Мартынов — не приходя в сознание, он метался и стонал. Тяжко ранен был и комендор Уличев. Сознания он не потерял и очень страдал, но, как и Полещук, требовал, чтобы прежде помогли другим. Когда, наконец, Бернадский стал отрывать от его ран присохшую, пропитанную кровью одежду, он, несмотря на страшную боль, не проронил ни звука.

Старший лейтенант Гусев то приходил в себя, то снова терял сознание. Но и очнувшись, он, кажется, не совсем ясно понимал, где он находится и что с ним происходит. На незнакомого фельдшера смотрел он недоверчиво и все требовал к себе Сашку Строганова и Полещука.

Сашка Строганов не отходил от Гусева, но Гу-

сев, хотя и не отпускал его, с ним не разговаривал. Он разговаривал с одним Полещуком.

— Ты здесь, Полещук? — спрашивал он поминутно.

— Здесь, здесь, товарищ старший лейтенант, — отвечал Полещук.

— Полещук! А ведь верно я говорил, что артиллерист должен уметь метать ручные гранаты?

— Верно, верно, товарищ старший лейтенант.

Гусев был очень возбужден и все никак не мог успокоиться. Глаза на бледном лице его ярко блестели. Обычно молчаливый, он теперь говорил не умолкая. Ему порой мерещилось, что он все еще руководит боем, и он отдавал приказания, требовал снарядов, кричал: «Огонь!» А в минуты прояснения он, обращаясь к Полещуку, обсуждал только что закончившийся бой.

— Они думали, что если их больше, так они сильнее. А ведь не так. Правда, Полещук?

— Правда, правда, товарищ старший лейтенант. Гусев рассмеялся.

— Они думали, что мы такие же, как они! Разве они понимают, за что мы деремся? Разве они могут понять? Верно, Полещук?

— Верно, верно!

— Думали сломить нас железом, а мы крепче железа! Правда, Полещук?

— Правда, правда...

Когда Гусева вынесли на носилках из землянки и он понял, что его сейчас увезут с острова, он огорчился. Слишком важная часть его жизни прошла здесь, среди этих голых камней. Поворачивая бледное свое лицо, с жадностью оглядывал он и старую башню маяка, и кирпичную трубу сгоревшего домика, в котором он жил, и разбитые снарядами брустверы, и каменистую землю, усыпанную осколками металла, и чаек, круживших над волнами. Здесь он, комендант этого маленького острова, работал, мечтал, учил, учился, сражался и победил. И, глядя вокруг, он хотел увести остров с собой.

ДЕВОЧКА- ЖИЗНЬ

1

Я еще чувствовал себя прекрасно, только в глазах иногда рябило. Появлялись огненные зубчатые колеса и красно-золотые геометрические фигуры, которые крутились, дрожали и застилали поле зрения. Потом колеса бледнели, фигуры потухали, и я опять все видел, как прежде. Был и другой симптом: выпадение сознания; вдруг очнусь где-нибудь на лестничной площадке и не могу вспомнить, как сюда попал, куда иду. Некоторые думают, что голод — это желание есть. На самом деле так бывает только вначале, а потом остается лишь ощущение тянущей тоскливой пустоты внутри. К пустоте внутри я уже привык, а про все эти колеса и короткие обмороки мои подчиненные не должны были знать.

В бомбоубежище я спустился тоже только ради своих подчиненных. Я не мог бы заставить их пойти, если бы не пошел сам. Они считали, что, если бомба попадет, все равно где находиться — на доме, в доме или под домом; и я так считал. Но не ходить в бомбоубежище по тревоге — непорядок. А непорядка я допустить не мог.

В бомбоубежище было тепло и сыро. Электрического тока не давали уже вторые сутки, и подвал озарялся желтым светом керосиновой лампы без стекла. Копоть медленно оседала на лицах, желтый лепесток огня отражался во всех глазах. Когда где-то падала бомба, огонек вздрагивал и в лампе, и в глазах. В жестяной радиотарелке тикал метроном, и это означало, что воздушная тревога продолжается. Я за-

дремал бы под это тиканье на скользких от сырости нарах, если бы не Ангелина Ивановна, которая без конца говорила одно и то же — как она похудела. Действительно, два месяца назад, когда я впервые увидел ее здесь, в подвале, она была полная белокурая женщина, а теперь казалось, что тело ее состоит из пустых мешков. Она повторяла, что все сваливается с нее, и заставляла женщин щупать себя. Она жаловалась, что скоро умрет, и светлые кудряшки тряслись над ее лбом.

Потом она рассказала, как умер наш дворник. Об этом все уже знали, а я даже видел его мертвого, сидевшего на деревянной лавке в конторе домоуправления. Ноги его в больших совсем новых валенках протянуты были к чугунной печурке. Прошлой ночью он зашел туда погреться, заснул и не проснулся.

В бомбоубежище было человек пятьдесят, и все, кроме Ангелины Ивановны, молчали. Всем им нестерпимо было слушать ее плачущую скороговорку, и всем им, так же как мне, некуда было деться от ее причитаний. Я ждал, когда она устанет и замолчит, — хотя бы на минуту. И когда эта минута настала и Ангелина Ивановна замолкла, девичий звонкий голос сказал:

— Бомбят не здесь, а за Невой. Что тут сидеть, пойдёте на крышу!

Я поднял глаза и увидел стоявшую возле закрытой железной двери девушку в белом шерстяном платке. Собственно, я увидел только белевший в темноте платок, но мне и этого было достаточно. Я сразу вскочил.

2

Так как сознание мое по временам потухало, я жил в отрывочном, не совсем связном мире. В этом мире уже несколько дней существовала девушка в очень белом пушистом платке. Я встречал ее только в полутьме и всегда внезапно; она вдруг обгоняла меня где-нибудь во дворе или на лестнице. Я видел лишь платок, покрывавший голову и плечи, и платок этот двигался сквозь мглу легко, летуче. Мне всякий

раз хотелось догнать ее и заглянуть ей в лицо, но я не успевал об этом подумать, как платок исчезал за углом или просто растворялся во тьме. Заметив ее теперь в бомбоубежище, я вскочил и шагнул к ней. Но она уже выскользнула за дверь.

Я торопливо оглянулся. Наборщик Сумароков спал на нарах, раскинув ноги во флотских брюках; одна нога его была искривлена и не сгибалась в колене. Печатник Цветков спал тоже. И я вынырнул из бомбоубежища.

Едва железная дверь захлопнулась за мной, стал слышен дробный стук зениток. Четыре шестиэтажные стены с темными окнами окружали двор. Во дворе было темно, и только квадрат неба высоко вверху озарялся мигающими отсветами вспышек. Я озирался, вглядываясь в темноту, стараясь угадать, куда она побежала. Несколько лестничных дверей выходило во двор... И я успел увидеть, как белый платок мелькнул и скрылся за дверью.

Мы бежали по лестнице вверх; она на целый марш опередила меня. Сквозь стук зениток я слышал стук ее каблучков по ступенькам. Платок ее я видел только мгновениями, на поворотах. Вспышка озарила окно на лестничной площадке, и по огненному фону окна мелькнул ее темный узкий силуэт. Еще сегодня днем у меня начинала кружиться голова, едва я подымался на несколько ступенек. Но сейчас, догоняя ее, я перескакивал через ступени, и мне это ничего не стоило; я чувствовал себя легким, как бы бестелесным. Я бежал так быстро, что на третьем или четвертом этаже почти догнал ее.

— Я знаю, кто вы такой, — сказала она на бегу. — Вы редактор.

— Правильно, — ответил я. — Я редактор. А вы кто?

— Просто девочка.

По голосу, по детской легкости движений я уже и сам понял, что ей лет пятнадцать, не больше.

— А как вас зовут?

— Александра.

— Саша?

— Нет, Ася.

— Как славно!

— Что славно?

— Славно вас зовут, Ася!

Она промолчала, продолжая бежать вверх. Еще один лестничный марш. Не обернувшись, она спросила:

— У вас работает этот хромой мальчик во флотских брюках?

— Да, — сказал я. — Его фамилия Сумароков. Он очень плох.

— Плох?

— Да. Он скоро умрет.

— Он не умрет, — сказала она. — Я с ним поговорю.

Я рассмеялся.

— Отсоветуете?

— Отсоветую, — сказала она без смеха. — Можно зайти к вам в типографию?

— Конечно.

— А Ангелина Ивановна к вам ходит?

— Ходит.

— Напрасно вы ее пускаете. Она мне всех убивает.

Тут огненные зубчатые колеса завертелись у меня перед глазами, и шум крови в ушах стал громок, как шум водопада.

3

Когда я очнулся, я стоял в темноте на площадке, прислонясь плечом к стене.

— Сейчас пройдет, — услышал я рядом ее голос.

Огненные колеса, золотые зубцы, перепонки и стрелы бледнели, и я уже почти не видел их. Шум в ушах отхлынул, умолк.

— Это пустяки, — сказал я.

Она подошла ближе и взяла меня за руку. Смутно белел платок; я слышал ее дыхание. Рука у нее была маленькая, теплая.

— Нет ли у вас фонарика? — спросила она.

У меня был фонарик, но я редко пользовался им, потому что берег батарею.

— Дайте.

Я сунул фонарик ей в руку. Вместо того, чтобы

озарить стены, она озарила меня. Я стоял, жмурясь от яркого света, а она внимательно меня разглядывала с головы до ног.

— Ваш ватник не застегнут,— сказала она наконец.

Действительно, мой ватник был не застегнут, потому что на нем не было ни одной пуговицы. Три месяца назад, в конце августа, когда я пришел пешком в Ленинград из захваченного немцами города, где я прежде редактировал районную газету, погода стояла еще теплая, и я явился в чем был, без пальто. В Ленинграде мне выдали ватник, но на нем не было пуговиц.

Она потушила фонарик и опустила его мне в карман.

— У меня есть английские булавки,— сказала она.

— Не надо.

— Нет, надо. Только стойте смирно,— прибавила она, не раскрывая рта, и я понял, что одна булавка у нее уже в губах.

Руки ее потянулись к моей шее, к вороту.

В это мгновение раздался протяжный рокот обрушившихся бомб, дом качнулся.

Я боялся, что она уколет мне шею, но пальцы ее не дрогнули.

— Это за Невой,— сказала она громко, чтобы перекрыть треск зениток, и застегнула булавку.

Второй булавкой она скрепила мой ватник на животе.

— Ну вот, мы пришли,— проговорила она и открыла низенькую дверь.

Я шагнул вслед за ней и увидел небо.

4

Нет ничего торжественнее осеннего звездного неба, спокойного, холодного, неподвижного. Но не такое небо увидел я. Торжественность и стройность его были разрушены. Оно дрожало, металось и дергалось, все в грязных подпалинах зарев.

Среди этих мечущихся огней крыша плыла и ка-

чалась, как корабль. Шагая по ее гремящему скату, я жадно озирался, стараясь как можно больше разглядеть при свете мгновенных вспышек. Эти вспышки взрывов вели между собой разговор, окликая друг друга через все громадное небо. Вспышка — и зарева пожаров гасли, гасли звезды, и на долю секунды выступали из тьмы крыши, шпили, мосты, провалы площадей осажденного города. Вспышка гасла — и все опять пропадало во тьме, и оставалось только черное небо в тускло светящихся пятнах.

Пожары окружали город кольцом со всех сторон, но ярче всего пылали на юге и юго-западе — там, казалось, текла золотая река. Это горело Лигово, горела Стрельна. Это была та петля, которая душила нас. Днем она была невидима, хотя мы чувствовали ее каждую минуту. Но ночью она становилась зримой. Я впервые с такой наглядностью видел весь этот медленно стягивавшийся смертельный круг и смотрел, смотрел, задыхаясь от ненависти.

Ася стояла за спиной, выше на скате. Я вспомнил о ней и обернулся. Прямая, туго затянутая платком, она смотрела вперед, через мою голову. И все мечущиеся огни этого нестройного неба отражались в ее глазах.

— Как им хочется нашей смерти, — сказала она. — А мы должны им назло жить, жить, жить!..

5

Когда я утром вошел в типографию, Сумароков не встал с табуретки.

Я вовсе не требовал от своих типографских, чтобы они вставали, когда я входил, но до сих пор они вставали.

Сумароков сидел на табуретке, протянув ноги во флотских брюках к железной печурке, в которой пылали бумажные обрезки. Одна нога у него была искривлена; из-за ноги его не взяли на военную службу. Еще не так давно он горевал об этом — ему было девятнадцать лет, он вырос в городе моряков и мечтал служить во флоте. Но теперь он забыл о флоте, сделался молчалив и малоподвижен, и его

исхудалое грязное лицо — он давно не умывался — не выражало ничего, кроме постоянного страдания.

— Здравствуйте,— сказал мне Цветков, стоявший прислонясь к машине.

Цветков был печатник средних лет, не попавший в армию потому, что страдал астмой. На прошлой неделе у него умерла жена.

— Ну как? — спросил я.

— Току нет,— ответил Цветков.

Наша типография состояла из четырех наборных касс и плоскочечатной машины, которая приводилась в движение электричеством. Тока не было и третьего дня, и вчера, и весь вчерашний день мы его ждали напрасно. Теперь я понял, что его уже и не будет.

— Что станем делать? — спросил я.

Сумароков ничего не ответил, а Цветков сказал:

— Не знаю.

— Перемени дату в наборе,— приказал я Сумарокову.

Набор номера был готов у нас еще третьего дня вечером и вложен в машину. Я нарочно отдал приказание Сумарокову, чтобы посмотреть, встанет ли он с табуретки. Я боялся, что он не встанет. Но он встал и, хромя, побрел к машине. Его качнуло на ходу. Кажется, ему доставило удовольствие, что я это видел.

Он склонился над набором.

— Здесь был кто-нибудь? — спросил я у Цветкова.

— Соседка,— сказал он.

— Какая?

— Ангелина.

— Интересно, кто раньше помрет, она или я,— сказал Сумароков.

И я понял, о чем они говорили с Ангелиной Ивановной.

Сумароков вяло и долго возился в наборе, хотя нужно было переменить только одну литеру — вчерашнее число на сегодняшнее.

— Ты скоро?

— Сейчас.

У меня не хватило терпения.

— Отойди, — сказал я ему. — Я сам.

Он охотно отошел и снова сел на табуретку. Я переменял литературу и выпрямился. Они оба смотрели, что я буду делать дальше. Тока не было.

Мне показалось, что они безучастны к моему горю, что им все равно, выйдет номер или нет, и я рассердился. А ведь еще так недавно они нравились мне именно тем, что относились к делу с азартом, и мы работали дружно. Я подошел к колесу и стал снимать с него приводной ремень. На лице Сумарокова не отразилось ничего, но по лицу Цветкова я увидел — он понял, что я затеял. Я решил крутить колесо вручную.

— Начнем, — сказал я Цветкову.

Он подошел к машине, снял лист бумаги и положил на вал.

— Сумароков, — сказал я.

Сумароков медленно поднялся с табуретки.

— Покрути колесо немного.

Он посмотрел на меня с удивлением, однако не отказался. Постоял, потом, все с тем же удивлением на лице, подошел к колесу, взялся обеими руками за ручку и налег на нее.

Он налег на нее всем телом, но колесо не двигалось. Я решил, что он притворяется.

— Давай, давай! — кричал я на него.

И вдруг по покрасневшей его шее я понял, что он напрягает все силы. Мне стало жаль его. По правде сказать, мне давно уже было жаль его, и я сердился на него только от сознания собственной беспомощности.

— Садись, — сказал я ему и сам подошел к колесу.

Мне случалось крутить колесо плоскопечатной машины, и я помнил, что идет оно, в сущности, очень легко. Я надавил на ручку и удивился, что она не двинулась. Тогда я налег на нее всем телом. Ручка медленно поползла, и мимо моего лица стали проходить спица за спицей.

Колесо сделало полный оборот и остановилось. Один отпечатанный лист вяло выполз из машины. Пот выступил у меня на лбу, я жадно глотал воздух. Собрав все силы, я опять надавил на ручку, и она

опять поддалась. Когда колесо сделало второй оборот, у меня в глазах замелькали огненные стрелы.

Я выпрямился, чтобы перевести дух; стрелы погасли; я встретился глазами с Цветковым.

В его глазах была жалость. Я не люблю, когда меня жалеют, и опять налег на ручку.

Колесо сделало еще один оборот.

Я продолжал давить, ничего не видя, кроме огненных стрел и зубцов. Колесо сделало еще оборот. Я налегал на ручку, и колесо поворачивалось — еще один оборот, еще один. Я работал всем телом, и мне мешал только недостаток воздуха да внезапно возникший шум в ушах, который с каждым мгновением становился все громче. Я ничего не видел, кроме стрел, ничего не слышал, кроме шума. Я чувствовал, что рядом со мной стоит Цветков и кричит мне что-то, но слов его разобрать не мог. И только когда он оторвал меня от колеса и сам взялся за ручку, я понял, что он решил меня сменить.

Я прислонился к стене и глотал воздух. Комната кружилась, и я боялся, что сознание уйдет от меня, как уже не раз бывало. Хуже этого ничего не могло случиться, тогда всем стало бы ясно, что колесо крутить нельзя. Я пересилил себя, встал на место Цветкова, взял лист и положил его на вал.

Колесо у Цветкова пошло сразу. Лист скользнул по валу и вылез отпечатанный. Еще один лист, еще.

Поднятое кверху небритое лицо Цветкова показалось мне слишком белым. Выпученные глаза были устремлены на меня. Он медленно вертел колесо, спицы двигались, и с каждым оборотом лицо его становилось белее. Еще оборот, еще оборот, еще...

Он выпустил ручку и стал валиться на бок. Держа чистый лист в руках, я смотрел, как он падает.

Он сполз с ручки и лег ничком на пол, уткнувшись лицом в половицу. Так он лежал, и спина его от дыхания подымалась и опускалась.

Я пересчитал отпечатанные листы. Их было двадцать два. Двадцать два раза повернули мы с Цветковым колесо. Нам нужно отпечатать не меньше пятисот экземпляров. Каждый лист с двух сторон. Два оборота колеса на каждый экземпляр. Тысяча оборотов!

Тысяча!

Койка Цветкова стояла в углу. Я подошел к ней и лег на нее.

6

С начала осады Цветков и Сумароков были переведены на казарменное положение; это означало, что они не только работали в типографии, но и жили в ней. Цветков спал рядом с машиной, а Сумароков перенес свою койку в соседнюю комнатушку, крохотную, как чулан. Еще недавно в этой комнате было чисто и опрятно. Но с октября, когда голод усилился, стала она зарастать пылью, сажей, мусором.

— А это ваша карточка? — услышал я из-за двери тоненький голосок.

— Моя, — ответил голос Сумарокова.

— Когда вы снимались?

— В июле.

— Вот какой вы были!

— Был ничего, — сказал Сумароков не без самодовольства. — Что, похудел? Тут похудеешь...

— Похудели вы не особенно. Вот только лицо стало чернее...

— Это от печки, — хмуро объяснил Сумароков.

Лежа на койке Цветкова, я старался догадаться, с кем это Сумароков там разговаривает. Да ведь это та девочка Ася, с которой я был на крыше!

— Это что за корабли? — спросила она.

И я понял, что они рассматривают тетрадь Сумарокова, заветнейшую его драгоценность. Когда мы начали выпускать здесь нашу многотиражку, Сумароков каждый вечер в свободное время вытаскивал свою прекрасно переплетенную тетрадь и подолгу с наслаждением возился над нею. В тетрадь были вклеены фотографии — прежде всего сам Сумароков в различных видах, затем военные корабли. О каждом корабле у Сумарокова было множество сведений, бог весть откуда собранных и мало достоверных. Вклеивал он в тетрадь и особенно поразившие его кадры разных фильмов и вписывал всякие стихи — вписывал удивительным почерком, каждая

буква в завитушках, причем суть была именно в завитушках, а не в стихах.

Больше месяца не видел я в руках Сумарокова этой тетради. Он, казалось, совсем забыл о ней. И я удивился, услышав, как он листает ее и показывает. Они рассматривали фотографии кораблей, и он рассказывал о каждом корабле. Она спрашивала его, и он отвечал обстоятельно, польщенный и обрадованный ее вниманием.

Потом она вошла в типографию. И я впервые увидел ее — не в темноте, не в призрачном мелькании ночных огней. Неужели это та самая, за таинственным белым платком которой я вчера бежал вверх по лестнице, бежал из мрака в свет и из света в мрак среди ослепительных мгновенных вспышек? Теперь ровно ничего таинственного в ней не было, да и платок не такой уж белый. Крупная для своих лет, прямая. Но на почти детском ее лице уже лежала та печать постарения, которую голод накладывал на все женские лица.

Мне стало неловко, что я валяюсь на койке в середине рабочего дня; однако я решил не вставать. Зачем притворяться, раз газета все равно не выходит.

Она кивнула мне, подошла к нашей неподвижной машине и с любопытством ее оглядела. Увидела только что отпечатанные листы и взяла один в руки.

— «Боевой буксир», — прочла она громко.

Так называлась наша газета.

— Это что же, газета водников? — спросила она.

— Да, — сказал я.

— «Срочный ремонт судов — залог победы», — прочла она заголовок передовой, которую написал я. — Они сейчас ремонтируют свои суда?

— Да, — сказал я. — Должны отремонтировать.

— А они ремонтируют?

— Как это ни удивительно, ремонтируют.

— Почему удивительно?

— Потому что отремонтировать судно еще труднее, чем выпустить газету.

— Току нет, — проговорил Цветков. — А вертеть вручную сил нет.

В типографию вошел Сумароков — преображенный. Больше месяца не видел я его таким. Лицо только что умыто, волосы расчесаны и блестят, ботинки начищены, ватник расстегнут и под ним — матросская тельняшка. Он даже почти не хромал, — казалось, он только так, случайно, оступается.

— Никогда не видела, как печатают газеты, — сказала Ася. — Интересно поглядеть.

И взялась за ручку колеса. Колесо поддалось с трудом, и тонкая кожа у нее на лице покраснела от усилия. Спицы поползли медленно-медленно.

— Тяжело, — сказал Сумароков. — Давайте я вам помогу.

Он стал рядом с нею и тоже взялся за ручку. Они вдвоем вертели колесо, улыбаясь от удовольствия и натуги.

— А где же бумага? — спросила она. — Как это печатают?

Цветков встал на свое место, лист прокатился по валу и, отпечатанный, выпал.

Она засмеялась.

Еще один лист, еще один.

— Вы устали, — сказал Сумароков с таким видом, словно уж он никак устать не может. — Давайте я один.

Она покачала головой.

— Вдвоем совсем не трудно, — сказала она. — Чем быстрее вертится колесо, тем легче оно идет. Раскрутим его вовсю.

Спицы бегали все быстрее и быстрее, и все быстрее и быстрее становились движения Цветкова, вставлявшего чистые листы. И действительно, чем быстрее вертелось колесо, тем меньше нужно было усилий, чтобы вертеть его.

Это было открытие необычайной важности.

— Я сам, — решительно сказал Сумароков и отпихнул ее от ручки.

Она отступила шага на два, а он, чувствуя, что она смотрит на него, с сосредоточенным и важным лицом подталкивал ручку. Теперь он почти даже не нагибался, ручка подлетала к нему, и он ее слегка толкал.

Тогда я встал с койки.

— Который лист? — спросил я Цветкова.

— Сто девятнадцатый, — сказал Цветков. — Сто двадцатый. Сто двадцать первый.

— Отойди! — крикнул я Сумарокову и поспешно встал на его место, чтобы не дать колесу замедлить ход.

Я небрежно швырял ручку резкими движениями ладоней. Машина тяжело грохотала. Листы вылетали.

— Если бы настоящее питание, мы бы еще не так завертели, — проговорил Сумароков у меня за спиной. — А то того и гляди помрем.

— Пока будет выходить газета, не помрете, — сказала Ася.

7

Но газета скоро перестала выходить. И умер Сумароков. И умерло еще много-много людей. И в нашем шестиэтажном промерзлом доме во всех квартирах лежали мертвые, которых некому было похоронить.

Цветкова от меня затребовали в какую-то военную типографию, он ушел со своим чемоданчиком в метельный день, и я больше никогда его не видел. Я остался в типографии один; нельзя же бросить машину, шрифты, бумагу. У меня, разумеется, было начальство, и от начальства я ждал указаний, что делать дальше. Но связаться с начальством по телефону я не мог — телефоны в городе не работали. Да и зачем? Ведь начальству известно и положение типографии и мое. Нужно только немного подождать...

Я теперь жил в комнатенке Сумарокова, лежал на его койке. Там были целы стекла в окне, там тоже стояла жестяная печурка, которую можно было топить старыми экземплярами нашей газеты и досками шкафов. Но установились сильные морозы, и печурка моя мало помогала. Дни и ночи лежал я на койке, в ватнике, в валенках, укрытый двумя одеялами — своим и Сумарокова. Окно закрывал большой лист плотной синей бумаги — для затемнения; по утрам его нужно было снимать, по вечерам ук-

реплять на окне снова. В первые дни я его и снимал и укреплял, но потом мне стало скучно и трудно возиться с ним, я перестал его снимать по утрам, и днем у меня было так же темно, как ночью.

Выходил я только в булочную, за хлебом — раз в два дня. На улице блеск снега ослеплял меня, морозный ветер не давал дышать. Почти не видящий, почти не дышащий, я шел по узкой извилистой тропке между огромными сугробами, дымившимися на ветру. В булочной мне давали промерзлый кубик хлеба — мою порцию на два дня. Многие, получив хлеб, съедали его тут же, в булочной. Но я так не поступал. Я прятал хлеб под ватник, поближе к телу, и шел домой. На обратном пути у меня кружилась голова, все заволакивало туманом; и чувство это не было неприятным. Напротив, в искушении лечь в снег и больше не двигаться было что-то сладкое, заманчивое. Каждый раз по пути я видел мертвых, уже почти занесенных снегом, и участь их не казалась мне страшной. «Нет, все-таки я раньше съем свой хлеб», — говорил я себе и продолжал идти. Возвратясь, я ложился на койку, закрывался с головой двумя одеялами, и там, в темноте, отщипывал от хлеба маленькие кусочки и клал в рот. Каждый кусочек я долго держал во рту, прежде чем проглотить. Потом засыпал.

Впрочем, я не знаю, спал ли я; в той тишине, которая меня окружала, трудно было понять, спал я или не спал. Весь город был погружен в мертвую тишину, как на дно моря. Не было ни трамваев, ни автомобилей, ни голосов на улицах; с наступлением зимы воздушные налеты прекратились, и замолчали наши зенитки. Немцы, окружив город со всех сторон, не хотели, казалось, тратить на него больше никаких усилий и просто ждали, когда он вымрет и вымерзнет. Ни один звук не долетал до моей комнаты, и в мертвой этой тишине мне постоянно чудилось, что я куда-то проваливаюсь вместе со своей койкой — все глубже, и глубже, и глубже. Весь мир с его светом, людьми, теплом остался где-то бесконечно далеко, наверху, а я все погружаюсь, все опускаюсь, и нет конца этому опусканию, потому что подо мною нет дна.

Иногда сознание прояснялось, и я понимал, что умираю. Тогда я думал, что нужно встать, поискать щепок, разжечь печурку, принести воды. Но мысль о необходимости двигаться казалась такой ужасной, что я думал о смерти без всякого страха, и уже даже ждал ее, и погружался все глубже и глубже.

8

И вдруг в этой бездонной безвыходной глубине я услышал сверху громкий звонкий голос:

— Вы живой, живой! Очнитесь!

Я перестал опускаться. Меня понесло вверх, вверх, вверх, я почувствовал, что одеяло сдернуто с моего лица и что свет кругом. Синий лист был снят с окна и за расписанным морозными цветами стеклом сверкал день. Ася стояла надо мной и ликующим голосом восклицала:

— Вы живой! Ангелина Ивановна говорила, что в типографии никого нет, что вы лежите мертвый, а я пришла, потрогала — вы живой! Сейчас, сейчас!.. Я сейчас все устрою..

Я смотрел на нее и чувствовал, что улыбаюсь. Ну, конечно, я живой! Она так торжествовала, так радовалась, найдя меня живым, что оказаться мертвым было бы просто стыдно. Я смотрел на нее, улыбался и тоже радовался, что она живая. Она изменилась; те страшные знаки голодного постарения еще резче легли на ее детское лицо. Но она двигалась, говорила, радовалась. Мы оба были живы!

— Сейчас, сейчас!.. — повторяла она и уже разжигала мою печурку.

Я думал, что в типографии больше нечего жечь, кроме наборных касс, но она, обшарив углы, нашла чулан, куда Сумароков и Цветков когда-то натаскали разных досок, щепок, кусков угля. Печурка затрещала вовсю, и через несколько минут на черной коленчатой трубе выступили красные пятна.

— Надо принести воды, — сказала она, схватила большой медный чайник и выскользнула из комнаты.

Едва она вышла, мне стало страшно, что она не вернется. На ногах у нее были валенки, и ходила она



бесшумно; звук шагов ее исчез, чуть за ней закрылась дверь. «Вернись девочка-жизнь, — думал я, поджидая ее. — Девочка-жизнь, вернись!» Я знал, что в доме есть всего один кран, из которого еще капала вода, — в подвале, в бомбоубежище. Я представил себе, как она бежит с моим чайником вниз по ступенькам, перебегает через двор, спускается в подвал и там стоит в темноте перед краном. Конечно, надо много времени, чтобы по капле набрать воды в такой большой чайник... И все же, почему она не идет? Не случилось ли с ней чего-нибудь? «Вернись, девочка-жизнь!»

И когда я уже почти перестал ждать, девочка-жизнь вернулась.

9

Увидев, как тяжел этот чайник с водой, как он оттягивает ей руку, я смутился; мне стало стыдно валяться. Она ведь получает ровно столько хлеба, сколько я, и ей ничуть не легче, чем мне. Я скинул с себя оба одеяла, опустил ноги на пол и встал.

— Ну вот, я говорила! Вы можете стоять!

— Конечно, я могу стоять! — сказал я бодро и, чтобы показать ей, как я еще крепок, стал раскалывать ножом доску и швырять щепки в печурку.

Она сняла варежки и грела руки над печкой, над чайником. У нее были очень маленькие руки, но пальцы распухли, не разгибались, потрескались, гноились возле ногтей. Я знал, что это значит, — у меня тоже трескались и гноились пальцы. На подоконнике она заметила тетрадь с фотографиями — ту, которую ей когда-то показывал Сумароков. Это было бесконечно давно, в другом мире. Сумароков тогда был жив, и мы еще могли вертеть колесо машины... Она раскрыла тетрадь, перелистала.

— Можно мне взять ее себе?

— Конечно.

В комнате становилось все теплее, я расстегнул английские булавки и распахнул свой ватник. Чайник запел песенку, пар потянул из носика, зазвенела, прыгая, крышка. Ася налила кипятка в две кружки, мы сели на койку, подобрав под себя ноги, и стали пить. Было блаженно жарко, пот выступил на лицах, мы,

обжигаясь, отхлебывали кипяток маленькими глотками и поглядывали друг на друга все радостней и дружелюбней. Удивительная близость возникла между нами — близость живого к живому. Она даже с каким-то детским лукавством поглядывала на меня из-за своей горячей кружки: мы молодцы, мы хитрецы, мы оба живы!

Она рассказала мне, что хотела пойти в армию и стать снайпером, потому что у нее замечательное зрение. Сидела бы где-нибудь высоко на сосне, немец шевельнется в кустах, она — дзвинь — и его нет. Осенью один знакомый сержант уверял, что ее непременно взяли бы в снайперы.

— Что ж вы не пошли?

— Мама.

Я понял, что живет она с мамой, которую нельзя оставить.

— Мама лежит?

— Третий месяц. Пухнет. Уже вот какая стала.

Я знал, что от голода не только худеют, но и пухнут, и больше не стал спрашивать.

— А вы почему не в армии?

— Забракован, — ответил я. — Мне должны были делать операцию, но война помешала.

— Что ж у вас было?

— Язва двенадцатиперстной кишки.

— Это самая важная кишка в человеке, я знаю.

— Может быть, и не самая важная. Но самая длинная.

— Вот почему вы были такой тощей и желтый, когда я вас в первый раз увидела.

— А когда вы меня увидели в первый раз?

— В сентябре, когда типографию привезли в наш дом. Я вас часто встречала на лестнице. А вы меня не заметили?

— Нет, тогда не заметил.

— Мне очень интересно было, как печатают газеты. Я хотела хоть в щелку заглянуть. Я всех типографских в лицо знала — и того хромого мальчика, и вас. Вы были худой и желтый, а тогда все еще были толстые. У вас и теперь язва?

— Теперь это все равно.

Я рассказал ей, как я огорчился, когда меня вместо

армии направили редактировать газету. И вот газета перестала выходить.

— Чего же вы ждете?

— Жду приказания, — ответил я.

— И давно?

Я старался вспомнить, когда ушел Цветков. Сколько дней провел я один на этой койке? Сначала мне казалось, что дней шесть, но потом, когда я стал считать, получилось больше...

— Приказания не будет, — сказала она.

Я сам уже так думал в последние дни, но ее убежденность удивила меня.

— Почему?

— Ваши начальники лежат. Они столько же хлеба получают.

Она была права. Все равны перед голодом.

— Если бы можно было позвонить... — сказал я. — Но позвонить нельзя...

— А вы пойдите.

Тут я рассмеялся:

— Вы знаете, куда мне надо идти? В порт!

— Далеко!

— Я упаду и замерзну.

— Очень может быть, — сказала она спокойно и серьезно. — Это уж от вас зависит.

— Это не зависит от меня, — возразил я. — Я просто знаю, что у меня не хватает силы.

Она внимательно посмотрела на меня из-за кружки и промолчала. Я тоже замолчал. Мне было слишком хорошо от обжигающего губы кипятка, от тепла в комнате, от ее соседства, чтобы спорить, волноваться. Она налила мне еще кружку и вдруг спросила:

— А вы давно не мылись?

Я смущенно старался припомнить, когда я мылся в последний раз. Очень давно. В городе с осени не работала ни одна баня, а раздеваться в холодной типографии было так трудно и неприятно. Я уже много недель не снимал с себя ватника...

— Почти полный чайник горячей воды, — сказала она. — Вот я пойду, а вы мойтесь. Мойтесь, пока комната не остыла...

Она встала, прижав к себе тетрадь Сумарокова.

— А вам уже нужно уйти?

— Там мама, — ответила она мягко, понимая, что мне без нее будет жутко и тоскливо; она вполне сознавала свое душевное превосходство надо мной и обращалась со мной как с ребенком, хотя я был старше ее вдвое. — Вымоетесь, уснете, а завтра утром пойдете в порт.

Заметив неуверенность в моих глазах, она прибавила:

— Вы дойдете. В человеке гораздо больше силы, чем он думает.

— Откуда вы это знаете? По себе?

— И по себе и по другим. Надо дойти, и вы дойдете.

10

Я дошел.

Едва я вышел за ворота и морозный ветер ударил в меня снежной крупой, мне стало ясно, что дойти нет никакой надежды. Ноги меня не держали; меня качало, как прут на ветру. Лечь в снег и закрыть глаза — вот все, чего мне хотелось. Дойду до угла и лягу. Но, дойдя до угла, я не лег, а побрел дальше, к следующему углу. В конце концов все равно, у какого угла лечь. Так я вышел на мост, перешел через Неву, свернул в длинную улицу и пошел все прямо, прямо — мимо разбитых бомбами домов, мимо домов сгоревших, мимо домов вымороженных. Узкая тропка вела меня между сугробами, где лежали запорошенные снегом трупы тех, кто шел здесь до меня. Я знал, что сам скоро буду лежать вот так, засыпанный, выставив темно-коричневый заледенелый кулак из снежной кучи, и это вовсе меня не пугало. Но если я могу пройти еще пять шагов, я их раньше пройду. К сумеркам я прошел всю длинную улицу до конца и дошел. Во мне оказалось больше силы, чем я думал.

Когда я явился, меня не узнали, когда узнали — удивились; здесь все считали, что я умер. Меня поселили на вмержшей в лед барже вместе с рабочими, ремонтировавшими суда. Там было тепло; там был даже тусклый электрический свет от собственного маленького движка. Еще месяц назад в деревянном брюхе баржи меж ее исполинских ребер жило более ста че-

ловек. Но за этот месяц многие умерли, и найти для меня свободную койку было нетрудно.

Тут же, в соседнем отсеке, находилась столовая. Над столами висело кумачовое полотнище с лозунгом: «Цех питания в центр внимания». Этот лозунг сочинили и вывесили еще осенью, когда верили, что если внимательно следить за расходом продуктов, их хватит для жизни. Инженеры принесли из лаборатории весы необычайной точности и поставили на стойку. Каждый мог проверить на этих весах, что ему выдали 3 грамма сахарного песка, а не 2,99. Не знаю, был в этом толк или не был, но обитатели баржи умирали так же, как обитатели домов. При мне на работу выходило человек сорок; остальные лежали на койках и не могли встать.

Через день я тоже вышел на работу. Ноги не держали меня, но я уже знал, что во мне больше силы, чем я думаю; раз я мог дойти до порта, значит, я могу работать. Когда-то в ранней молодости я работал подручным слесаря в железнодорожных мастерских; в то время я еще только мечтал стать журналистом. Слесарь я был плохой, но здесь от меня большой квалификации и не потребовалось. Мы ремонтировали старый транспортник, развороченный осенью авиационной бомбой. Вмерзший в лед борт его возвышался громадной стеной рядом с нашей баржей, и, пожалуй, самым трудным было подняться по трапу на эту стену. Бригада, в которую я попал, пробивала в железных листах отверстия для заклепок, сваривала трубы автогеном. Мы как тени двигались внутри осевшего на левый бок корабля; вся наша работа была похожа на замедленную съемку. Если нам нужно было поднять или передвинуть что-нибудь, мы наваливались вдесятером и потом долго сидели в полуобмороке.

Всякий раз, когда мы присаживались, нам было ясно, что мы никогда больше не встанем. Но я уже этому не верил. Я говорил себе, что пока мы будем ремонтировать, мы будем жить. Я говорил, что это немцы хотят, чтобы мы умерли, и потому нам нельзя умирать. Я знал, что повторяю чужие слова, и помнил, от кого эти слова услышал. И мы вставали.

Переселившись на баржу, я, спустя некоторое время, кажется, действительно стал немного крепче.

Не знаю, чему это приписать; во вторую половину зимы хлеба прибавили, но прибавка эта была так ничтожна, что люди вокруг умирали по-прежнему. Может быть, тому, что в столовой дважды в день выдавали суп — теплую воду с еле приметной мутью. Или тому, что наш врач, веривший в витамины, готовил для нас настой из еловых игл. Не знаю; вернее всего тому, что я жил с людьми и попал в упряжку; в упряжке всегда легче. Я стал лучше ходить, меньше лежать и не так выбивался из сил, когда подымался по трапу. Удивительнее всего, что у меня в глазах опять стали по временам вертеться огненные колеса с зубцами, которые почему-то совсем оставили меня как раз тогда, когда мне было особенно плохо. И еще одно полузабытое свойство вернулось ко мне — я стал очень хотеть есть.

Я теперь так же мучительно и нетерпеливо хотел есть, как в те первые дни, когда я еще только начинал голодать. Съев суп, я теперь был готов лизать языком дно тарелки. Я съедал свой хлеб не маленькими кусочками под одеялом, как раньше, а сразу, в два откуса. Бумага, штукатурка, кирпич стали казаться мне съедобными. Это заново проснувшееся острое желание есть привело меня к участию в одном преступлении.

Рабочие нашли на корабле десяток больших жестяных банок с каким-то жидким маслом. Впрочем, об этом масле знали и раньше: особое техническое масло, предназначенное для того, чтобы в нем растворяли какую-то особую краску. Всем было ясно, что оно несъедобно, и его не трогали. Но тут вдруг открыли, что масло это цветом и прозрачностью напоминает подсолнечное. Внезапное возбуждение овладело нами, даже самыми благоразумными из нас; голоса стали громче, движения торопливее, глаза блестели, руки и губы дрожали. Мы глотали масло, соперничая друг с другом в жадности и бесстрашии. Сознание того, что это может кончиться ужасно, у нас было, но мы гнали его от себя, заражая друг друга беспечностью. Мы опьянели от сытой еды; мы шумели, кричали. Наевшись, мы отнесли оставшиеся банки на баржу и накормили наших лежащих товарищей.

В первую же ночь у нас умерло девять человек. Умирали в муках, крича и корчась от боли. Мы смотрели на них, подавленные страхом, — каждый ждал, что и с ним вот-вот начнется то же самое. Говорили, что масло склеило им кишки. В ближайшие двое суток умерло еще шестеро, и все это время я терзался страхом, раскаянием, потому что участвовал в пире наравне со всеми и съел не меньше других. Но мой больной кишечник, когда-то не выдерживавший малейшего отклонения от диеты, не склеился. Почему так случилось — не знаю. Это масло не принесло мне ничего дурного, кроме душевного потрясения. Нас теперь на работу выходило человек двадцать пять, и я был в их числе.

11

Я жил на барже, работал, но об Асе не забывал. Стоило мне опустить веки, и она вставала у меня перед глазами. Она застегнула мне ватник... Она принесла мне воды... Она заставила меня встать, когда я думал, что уже не встану, заставила меня жить, когда я готов был умереть... В первые недели мне казалось невыносимым пройти весь долгий путь обратно и навестить ее. Но время шло, и меня стало тревожить чувство вины. Я жил в тепле, при электрическом свете, а она осталась в том промерзлом темном доме. Жива ли она еще? А если жива, так может ли еще ходить? Кто приносит ей хлеб из булочной, воду из подвала, кто топит ей печку? Я обязан навестить ее. Меня останавливало только одно — я не хотел прийти с пустыми руками. Какой будет толк в моем приходе, если я не накормлю ее?

Сначала я хотел откладывать хлеб — по кусочку от моего ежедневного ломтя, — засушить эти кусочки и принести ей. Но скоро оставил эту затею. Нужна целая неделя, чтобы из кусочков накопить граммов триста. А за неделю она умрет, если сейчас еще жива. Да и я, если целую неделю буду сидеть на уменьшенном пайке, так ослабею, что не дойду.

Но тут мне повезло: нам выдали по пакетику концентрата, который назывался «Гречневая каша». Из такого пакетика могла выйти целая тарелка каши.

Я решил идти не откладывая. Отпроситься мне было нетрудно: оборудование типографии все еще лежало на моей ответственности, и я должен был приглядеть за ним. Съев свою обеденную тарелку супа и положив концентрат в карман ватника, я отправился в путь.

Та бесконечная зима все еще тянулась. Но дни уже стали заметно длиннее. Однако уже чуть-чуть смеркалось, когда я, наконец, перешел через мост, свернул сначала за один угол, потом за другой и снова увидел тот дом, те ворота.

Ни одного свежего следа на запорошенной ночной поземкой тропинке к воротам. Из многих окон торчали черные трубы печурок, но ни над одной из них ни дымка. Под аркой ворот меня знакомо прохватил сквозной ветер. Вот и двор. Никого. В узких провалах между сугробами, достигавшими окон первого этажа, ни одного следа. Неужели даже в подвал за водой никто не ходил сегодня?

Я открыл своим ключом дверь типографии и вошел. Внутри все было цело, ничто не изменилось; только сквозь дырку в стекле налетело много снежной пыли, которая мягко скопилась по углам. Кристаллики снега поблескивали на металлических частях машины. Я заглянул в комнатку Сумарокова. Там тоже все по-прежнему: неприбранная моя постель лежала так, как я ее оставил.

Мне здесь больше нечего было делать, я вышел и запер дверь. Теперь я мог бы пойти к Асе, если бы знал, где она живет. Я никогда у нее не был; у меня сложилось смутное представление, что живет она где-то наверху, потому что когда-то она часто пробегала мимо типографии вверх по лестнице. Но там, наверху, столько этажей и квартир.

В нерешительности я вышел во двор, надеясь встретить кого-нибудь и расспросить, — если в доме остался хоть один живой человек. На этот раз мне повезло — маленькая сгорбленная старуха, обмотанная множеством платков, вынырнула из-за высокого сугроба и довольно бойко засемила прямо ко мне.

— Здравствуйте, — сказала она. — Так вы, оказывается, живы. А я считала, что вы еще в декабре померли.

- Нет, я жив. Здравствуйте.
— Не узнаете? Что, похудела?

По этим словам я узнал ее. Ангелина Ивановна! Если бы она не заговорила, я не узнал бы ни за что. Осенью она была пышной молодой женщиной с круглыми щеками, с громким голосом. Когда она начала худеть, все ее выпуклости постепенно превращались в пустые мешки. Но теперь и пустых мешков не было. Она стала гораздо меньше ростом, и было ясно, что под всеми этими платками нет ничего, кроме костей и сморщенной кожи.

— Все умерли, все! — сказала она, когда я спросил ее, жива ли еще та девочка Ася, которая бегала в белом шерстяном платке. — Все умерли, во всех квартирах. — Она, кажется, торжествовала, что все умерли, потому, что это подтверждало ее правоту. — Я еще жива, но мне уже недолго осталось... Ася? Ася все не верила, все бегала, всем воду носила, заставляла вставать, ходить, но тут не переспоришь. Сначала мама ее умерла, потом и сама...

Теперь мне оставалось только вернуться в порт, на баржу. Но я медлил. Я не совсем верил словам Ангелины Ивановны. Она когда-то сказала Асе, что я умер, а я был жив... Я не мог уйти, не убедившись.

— Ее квартира тридцать девятая, — сказала Ангелина Ивановна, оскорбленная моим недоверием. — На пятом этаже. Подымитесь, если вы еще можете подняться на пятый...

И я поднялся на пятый этаж.

12

- Это вы?
— Я! Я!
— Правда, вы?
— Я!
— Странно!
— Как?

Она говорила почти беззвучно, и мне показалось, что я не расслышал ее.

— Странно!

Я нашел ее в самом конце огромной многокомнатной квартиры. Входя, я хотел постучать, но за-

метил, что дверь не заперта, и сам отворил ее. В ту зиму двери квартир часто не запирали — слишком трудно было идти отворять.

В передней ничуть не теплее, чем на лестнице. Окна в комнатах плотно занавешены. Тьма окружила меня. Я несколько раз подал голос, но никто не откликнулся. Я вытащил свой фонарик; батарейка в нем была почти израсходована, и круг света, который он бросал, был мутен и слаб. Я отворял двери одну за другой, и мутный этот круг скользил по стенам. Мебель сожжена; холодные черные трубы печурок перегораживали комнаты. Железные остовы кроватей — матрацы сожжены. Мертвые лежали на полу. Я спотыкался о них, затвердевших от мороза. Я освещал фонариком каждое лицо. Старухи, мальчики. Нет, не она. Где же она, где?.. Что-то бесшумно двинулось в углу. Я приподнял фонарик... Мое собственное отражение в зеркале...

Узенькая полоска дневного света возле самого пола. Свет проникал из-под двери, и я толкнул дверь.

Зимние сумерки вливались в комнату сквозь незавешенное окно. Часы-ходики висели на стене, раскачивая маятником, и мерный стук их казался в тишине неправдоподобно громким. Часы идут — значит, кто-то время от времени подтягивает их гири. Две кровати стояли вдоль стен: одна пустая, на другой гряда тряпья. Слегка сдвинув край этой гряды, я увидел лицо Аси.

Неподвижное, оно смутно белело в сумерках. Упав на колени, я приблизил ухо к ее губам. Она дышала. Она спала.

Я не хотел будить ее; я хотел сначала растопить печурку, сварить кашу. Я нашел дрова и воду — к моему удивлению, все у нее было припасено. Почему же тогда она не топит, почему такой мороз в комнате? Вода в ведре покрыта ледяной коркой в два пальца толщиной. Пока я растапливал печурку, грел воду, сильно стемнело. Я сидел на корточках перед раскрытой печной дверцей, когда вдруг почувствовал, что она смотрит на меня.

Я встал, она меня узнала и все повторяла: «Как

странно!» И я долго не мог понять, что именно ей кажется странным.

— Как странно, правда! Как странно, что я опять проснулась. Как странно, что вы тут. Вы дошли до порта! Я знала, что вы дойдете, но не верила, что еще увижу вас... Как странно все... Как странно, что я умираю...

Она говорила очень тихо, но я слышал каждое слово.

— Вы не умрете,— сказал я.

— Я тоже всем так говорила. И все они умерли.

— Вы и мне так говорили. И я не умер.

— Я знала, что вы не умрете. Я ведь ошибалась только вначале. Когда я нашла вас одного в типографии, я уже не ошибалась. Сколько людей умерло к тому времени, и я видела, как они умирали. Я все знаю о смерти и ничего не знаю о жизни. Странно, правда?

— Сейчас будет тепло,— сказал я, ковыряя кочергой в печурке.— Уже тепло. Вы разве не чувствуете?

— Нет, не чувствую,— ответила она.— Я больше не чувствую ни тепла, ни холода. Я рада, что вам тепло. А я ничего не чувствую, ни рук, ни ног, будто их нет. Меня нет, а голова светлая, не потухает. И я жду, когда она потухнет.

Я молчал, следя за паром, который уже начал виться над кастрюлькой. Когда вода в кастрюльке закипит, я выну концентрат из кармана и всыплю в кастрюльку, и будет каша. Она перестанет говорить о смерти, когда увидит, что я принес ей кашу.

— Пока мама была жива, я все могла,— сказала она.— Ходила за хлебом, носила воду, топила печки. И не только для мамы — для всех. Я все печурки во всем доме знала. Я не хотела, чтобы умирали, я хотела, чтобы жили, жили, жили... Мама перед смертью кричала и плакала. Ничего не понимала, меня не узнавала, и все-таки ей было больно... Может быть больно, если ничего не сознаешь? Как это страшно, когда ничего не сознаешь, а больно!.. Мне, например, совсем не больно... Когда мама перестала кричать и заледенела, я перенесла ее в ту комнату и положила на пол. И упала. Ноги совсем переста-

ли держать. Я приползла оттуда. Я ползла целый час..»

— Когда это было?

— Не знаю. Давно.

— Вчера?

— Нет, не вчера. Гораздо раньше. Прошла неделя. Нет, дня три или четыре. Если бы прошла неделя, остановились бы часы...

Я смотрел на ходики. Одна гиря поднялась к самому верху, другая опустилась почти до пола. Я подтянул опустившуюся гирю.

— Вот я умру, а часы будут идти. Как странно!

— Вы не умрете! — оборвал я ее. — Смотрите, что я принес!

Вода в кастрюльке уже булькала. Я вынул из кармана концентрат и показал Асе.

— Что это?

— Каша! — воскликнул я с торжеством.

— А, — сказала она безразлично.

— Каша! Каша! — повторял я, вытряхивая концентрат в кастрюльку. — Сейчас у вас будет каша! Много каши!

Она молчала, и я думал, что она не понимает или не верит. Но она отлично понимала.

— Вы не съели сами и принесли мне, — сказала она. — А мне не нужно. Вы ешьте, а я посмотрю, как вы будете есть.

— Вы, вы будете есть!

— Я не могу. Вот. Поглядите.

Я не сразу понял, на что она просит меня поглядеть, потому что было уже темно и я смутно видел ее.

— Вот, — повторила она. — Протяните руку. Вот. Под подушкой.

Я сунул руку ей под подушку и один за другим вытащил несколько ломтей хлеба.

— У вас есть хлеб!

— Скушайте, — попросила она.

— А вы? Почему вы не съели?

— Не могу. Не глотается. Проглочу — все назад. А я знаю, что это значит.

Я замолчал. Я тоже знал, что это значит.

— И давно это у вас началось? — спросил я тихонько.

— Давно. Еще мама была живая.

— И с тех пор вы ничего не ели?

— Ничего. Мне так лучше. Я это много раз видела. Мне уже есть нельзя.

Я тоже это видел много раз и знал, что если у человека не осталось желудочного сока, он больше никогда не будет есть. И все-таки я продолжал настаивать.

— Каша! — повторял я. — Не сухой хлеб, а мягкая горячая каша!..

— Не надо, — сказала она умоляюще.

И я замолчал.

Совсем стемнело, и только печка швыряла красные прыгающие пятна на пол, на стены. Ася утихла, а я сидел и поглядывал на нее, стараясь отгадать, открыты у нее глаза или закрыты. Но лица ее в темноте не видел. Сквозь гудение печки и тиканье часов я не мог слышать ее дыхания. Иногда мне казалось, что она уже не дышит... И вдруг она что-то сказала.

Я переспросил. Я не расслышал.

Она повторила, но я не расслышал опять. Я сел на край ее кровати и склонился над нею.

— Капли падали, — выговорила она еле слышно. — Сегодня солнце светило в окно, и я видела, как падали капли. Тени капель, сверху вниз. На солнце уже тает.

— Чуть-чуть, — сказал я. — Совсем еще мало.

— Придет весна, а я ее не увижу... Как странно!.. Когда я умру, мне станет все равно, ведь правда? Кого нет, тому все равно. Правда?

— Правда, — сказал я.

— Вот это страннее всего. Мне никогда не было все равно, и я не могу понять, как это станет все равно.

— Да, — сказал я, — вам будет все равно. Но тем, которые останутся в живых, никогда не будет все равно. И мы всех тех злых дураков, которые сидят вокруг города в снегу и сторожат нас...

— Про кого вы говорите?

— Про них! — сказал я.

Мы в осаде не называли немцев немцами. Мы называли их просто — они.

— Не надо, — попросила она. — Не надо про них. Я не хочу сейчас про них думать.

И я замолчал. Я понял, что тяжело умирать, ненавидя.

— Я хочу думать про вас, вы последний, кого я вижу.— Голос ее совсем ослабел, и я, чтобы слышать, пригнулся к ее лицу.— Вы пришли ко мне, и я не одна. Я думала — неужели ко мне никто не придет? Это было бы слишком несправедливо. И вы пришли. Скажите, вы когда-нибудь любили? И вас уже любил кто-нибудь? Как это, наверно, хорошо, когда тебя любят и ты любишь. Скажите мне...

Но я ничего ей не сказал. К моим тридцати годам уже и я любил, и меня любили, и не раз. Это бывало запутанно и больно, и я бывал виноват, и те, кого я любил. Но я не мог объяснить это ей, еще никогда не любившей.

— Я один день любила мальчика, с которым качалась во дворе на качелях,— сказала она.— Мы так раскачали доску, что чуть не влетели в окно третьего этажа. Когда он летел вверх, он нагибался ко мне, и я видела, что он хочет меня поцеловать... Больше я никогда не буду качаться на качелях. Как странно!

Она замолчала. Потом я услышал:

— Поцелуйте меня вместо него.

Я нагнулся и осторожно тронул губами ее губы, не сразу найдя их в темноте.

— Вот так,— сказала она.

Утром я пошел в порт, а еще через день отправился на медицинское освидетельствование. Меня просветили рентгеном и язвы не нашли. Голод вылечил меня. Я ушел в армию, и следующей зимой мы пробили брешь в осаде. А еще через два года я видел, как мы осадили Берлин, который не продержался и двух недель.

ЦВЕЛА ЗЕМЛЯНИКА

Про младшего лейтенанта Игоря Королева говорили, что он боится женщин; и смеялись над ним. Сам он утверждал, что нисколько женщинами не интересуется. В действительности же он очень ими интересовался, но отношение его к ним было таким сложным, трудным и мучительным, что он из самосохранения избегал их. А с некоторых пор, после одного происшествия, к множеству чувств, которые он к ним испытывал, примешалось чувство отвращения и отравило все.

1

Происшествие это многим показалось бы ничтожным, но на девятнадцатилетнего младшего лейтенанта оно произвело огромное и противное впечатление. Батальон аэродромного обслуживания, в который он попал, наскоро окончив школу лейтенантов, стоял на опушке леса, километрах в трех от поселка, оставленного почти всеми жителями. Батальон должен был приготовить и содержать в порядке летное поле, на которое вот-вот могли прилететь и сесть самолеты; но летное поле было уже давным-давно готово, и зима — первая зима войны — шла к концу, а самолеты все не прилетали. Младший лейтенант Королев каждый день выходил со своими бойцами расчищать и уравнивать снег; других обязанностей у него не было. Они работали на ветру и морозе, борясь с наметенными за ночь сугробами, и из-за леса доносилось ровное громыхание фронта. Фронт в этих местах намертво установился еще осенью и с тех пор не передвинулся ни на шаг. После работы Королев, усталый и замерзший, воз-

вращался в землянку, валился на койку и засыпал.

В землянке вместе с Королевым жили два офицера — начальник строевой части и командир роты связи. Оба они были лет на двадцать старше Королева и относились к нему добродушно и снисходительно, как к славному и ничего еще не смыслящему птенцу. Дела у них было немного, и они томились от скуки.

Иногда по вечерам они таинственно переглядывались и уходили, наказав Королеву, что отвечать, если внезапно позвонит начальник штаба батальона. Бока их под шинелями оттопыривались — во внутренних карманах были бутылки. Королев знал, что идут они в поселок, в какой-то домик, где живут какие-то Надя, Клава и Стефа, что вернутся они на рассвете и что завтра они будут прятать свои опухшие лица и стараться не попадать начальству на глаза. Королев презирал их и в то же время не мог избавиться от тайного чувства зависти; его унижало, что они считали его птенцом, и ему хотелось показать, что он такой же, как они, — тертый, бывалый, настоящий мужчина.

Он пошел с ними только один раз — февральским вечером. Утопая в снегу, они долго шли гуськом по лесу, потом по длинной улице пустого поселка, на которой лежал такой же цельный снег, как в лесу. Вот и тот домик. Начальник строевой части поднялся на крыльцо и затопал, отряхая снег с сапог. За дверью раздались женские голоса, высокие и хрипловатые. Они вошли все втроем и со стуком поставили бутылки на стол, где уже стояла миска с солеными огурцами. В комнате было жарко; потолок был так низок, что долговязый Королев подгибал голову. Появились три тетki средних лет, грузные, плотные и радостно оживленные. «А! Вы своего херувимчика привели! Наконец-то!» — воскликнула одна из них, остановясь против Королева, улыбаясь и деловито его разглядывая.

За стол она села рядом с Королевым. Оказалось, ее зовут Надя и до войны она работала в сельмаге. Повернув к Королеву широкое напудренное лицо с маленькими блестящими глазами, она беспрестанно подливала ему в стакан. Огурцы хрустели на зубах.

Все кричали, не слушая друг друга. Лицо Нади стало казаться Королеву огромным. Она занимала его разговором; время от времени у нее словно перехватывало горло, и она договаривала фразу шепотом. Королев не вникал в то, что она ему шептала, и почему-то все время смеялся. Начальник строевого отдела уже куда-то исчез вместе с Клавой. Командир роты связи заснул, опустив голову на стол; это очень сердило Стефу, и она старалась разбудить его, поднять со стула, колотила по его спине кулаками, но он только мотал головой и опять засыпал.

Надя встала, держа Королева за руку, и повела его. Он не понимал, куда она его ведет, и слегка упирался; но все кружилось у него перед глазами, все казалось веселым и смешным, и он заливался смехом. Стефа прикладывала мокрое полотенце к голове командира роты связи, все еще мечтая оживить его; это было последнее, что видел Королев. Надя привела его в маленькую каморку, где стояла высокая кровать, деловито сняла с него пояс, расстегнула пуговицы на гимнастерке и задула керосиновую лампу.

Но тут он перестал смеяться. Он вдруг возмутился. Что-то ему самому неясное, но очень для него важное было в нем оскорблено. Чувство отвращения, гадливости охватило его. Он схватил свой ремень и побежал. Надя цеплялась за него руками, но он отрывал ее руки и упорно шел к выходу, через комнату со столом и огурцами. Он наткнулся на стулья; его шатало и мутило. В сенях он надел шинель и шапку. Надя выбежала с ним на крыльцо, стараясь его удержать. Он оттолкнул ее. Она рассердилась.

— Что я, съем тебя, что ли? — сказала она. — В первый раз такого дурачка вижу.

Королев один вернулся в батальон. Все следующие дни он чувствовал себя отравленным. Повсюду, даже в метель на летном поле, его преследовал какой-то запах, затхлый и кислый, от которого тошнота подступала к горлу. За обедом он вдруг замирал, не донеся ложки до рта, и на тонкой коже его юношеского лица появлялись розовые пятна.

Ужаснее всего было то, что весь батальон узнал

о его бегстве. Домик в поселке был широко известен, и когда начальник строевой части, входя в землянку, служившую офицерской столовой, громко кричал Королеву: «Привет от Нади! Ты, видно, ей очень понравился!» — все дружно смеялись.

2

Весна шла бесконечная, затяжная. То дождь, то опять мокрый снег. Тяжкие тучи чуть не задевали за верхушки деревьев. Летное поле раскисло, и нужны были чрезвычайные усилия, чтобы содержать его в порядке. Грейдеров батальону не дали, все делалось вручную, лопатами, люди мокли и мерзли, и притом вся эта работа казалась бесцельной — самолеты так ни разу на аэродром и не прилетели. Командование строило сеть аэродромов с расчетом на какие-то предполагаемые события, но событий не наступало, фронт как застыл прошлой осенью, так и гремел на одном месте за лесом, и авиация наша работала все с одних и тех же аэродромов. Немецкие летчики тоже отлично знали, что на аэродроме, где служил Королев, нет самолетов, и, чуть ли не ежедневно пролетая над ним, никогда не сбрасывали на него бомб. Королев, в тяжелой от дождя шинели, все дни напролет, утопая в грязи, мотался из конца в конец по огромному полю и приходил в землянку только ночевать. В землянке тоже набралось немало воды, как ни вычерпывали ее ведром, и деревянный настил всплыл, и койки стояли в воде, как острова. Ни обсохнуть, ни согреться в ней было невозможно. Лежа ночью под мокрой шинелью, Королев страдал от приступов острой тоски.

Воспоминания о происшествии в поселке все еще отравляли его и сливались с этой безысходной сыростью вокруг. Он не знал, чем он недоволен — своей судьбой или самим собой, — но до боли желал, чтобы все было по-другому. До войны он мечтал поступить в университет, стать географом, путешественником. Смутно и нежно, втайне от самого себя, мечтал он о встрече с какой-то девушкой, не-

ясной и удивительной, о любви и верности... Началась война, он попал в школу младших лейтенантов и мечтал о достойных мужчины поступках в это трудное время, даже о подвигах и славе. Он мечтал о дружбе, о людях, с которыми можно делить и хлеб и душу. Когда ему сказали, что его направляют служить на аэродром, он обрадовался; из всех родов войск авиация прельщала его больше всего. Он знал, что не будет летать, но он думал, что будет защищать летчиков на земле, будет жить среди самолетов... А оказалось, что самолетов на аэродроме нет и ему с утра до вечера приходится копать грязь — без всякого смысла... После той скверной ночи в поселке, и тех страшных женщин, и своего бегства оттуда, и общих насмешек он себя чувствовал таким же, как эта грязь, которую он копает.

Ему хотелось убраться от своих сожителей по землянке, от постылого аэродрома куда угодно. Пусть там будет хуже в сто раз, но только не так. Пусть его даже убьют: ему казалось, что он совсем не боится смерти, что смерть — это избавление от тайного стыда, от того затхло-кислого запаха, который ему мерещился повсюду.

После одной такой ночи он написал рапорт и отнес командиру батальона. Он просил в рапорте отчислить его в пехоту, на фронт. Командира встретил он на поле: тот прочел рапорт, разорвал его и бросил клочки вверх, чтобы их унесло ветром.

— А вы где, не на фронте? — спросил командир. — Делайте свое дело. Ступайте.

И младший лейтенант Королев продолжал жить, как жил. Дождливая весна помаленьку продвигалась вперед. Снег сошел окончательно, набухли почки, на концах еловых веток появились светло-зеленые кисточки, желтые цветы одуванчиков вылезли кое-где на буграх. Иногда сквозь тучи проглядывало туманное заплаканное солнце и ласково грело. С наступлением весны в батальоне появилось много разных слухов, один страннее другого, и самый странный из них был вот какой: будто командование решило большинство бойцов батальона направить в другие части, а на их место для работ по расчистке летного поля прислать девушек.

Этот слух всех поставил в тупик. Особенно негодовал начальник штаба батальона, человек очень немолодой, желчный, задерганный беспрестанными хлопотами.

— Что с ними делать? — ужасался он. — Запереть их? Специальную команду выделить, чтобы их охранять? Пусть только попробуют прислать, все равно не примут!..

Слуху этому верили мало и только усмехались, пересказывая его друг другу. Но недели через две действительно пришел приказ: выделить офицера, направить его в тыл, в областной город В., чтобы он там принял девушек и доставил их в батальон.

Стали решать, кого послать. Командир, начальник штаба и комиссар перебирали фамилии немногочисленных офицеров батальона. Одни были необходимы в батальоне, другим было слишком рискованно давать такое необычное поручение. По совету комиссара остановились на младшем лейтенанте Королеве.

— Он непьющий, исполнительный и к тому же совсем младенец, — сказал комиссар с надеждой.

И командир батальона вызвал к себе Королева.

— Вот вам боевой приказ, — сказал он ему. — Надеюсь, что вы его выполните при любых обстоятельствах.

— Слушаюсь! — ответил Королев. — Выполню при любых обстоятельствах.

Командир добавил:

— Вы их, главное, построже, построже! Пусть сразу почувствуют, что они на военной службе. Чтобы никакой распущенности. Если что — с вас спрошу!..

Все это Королеву очень не понравилось. Он был бледен, выслушивая наставления командира, как будто его посылали на передовую, а не в тыл. И в самом поручении, и в том, что выбор пал именно на него, ему чудилось что-то унижительное, издевательское. Но унижительнее всего было то чувство страха, которое он испытывал при мысли, что ему придется командовать девушками.

Он дурно провел последнюю ночь в своей землянке и почти не спал. Ранним утром он, ни с кем

не попрощавшись, взгромоздился в кузов грузовика, который должен был отвезти его за шестьдесят километров на станцию Ржа — самую ближнюю к аэродрому станцию железной дороги. И только когда они выехали из расположения батальона и неспешно покатали по топкой лесной дороге, он заметил, как изменилась погода, как стало тепло и какое чудное ясное утро стоит вокруг.

Ехал он стоя, облокотясь на крышу кабины и глядя вперед. Фуражку, автомат, шинель он положил у своих ног на перевязанную веревкой фанерную коробку, в которой хранилось все его имущество, и встречный теплый ветер шевелил его густые светлые волосы. В этом ветре были запахи цветущей черемухи, и нагретых солнцем болот, и клейкой молодой листвы. И он с удивлением обнаружил, что за дождями, за работой, за вечной своей тревогой он не заметил, как уже далеко зашла весна. Он с удовольствием подумал о том, что до города В. ему предстоит долгая дорога, и чувство безопасности и свободы впервые за несколько месяцев охватило его.

Все вокруг в это утро было прекрасно, даже грязь на дороге; коричневая в тени, она так сверкала на солнце, что глазам было больно. Машина буксовала в грязи и застревала, но и эти остановки доставляли Королеву только радость. Он выскакивал из кузова и помогал брйцу-водителю срубить широкие еловые лапы, подкладывая их под колеса. Раздвигая хворост, водитель вдруг показал ему маленький белый цветочек с шестью лепестками.

— Смотрите, младший лейтенант, уже зацвела земляника, — сказал он. — Рано нынешний год.

И Королев, неизвестно почему, обрадовался этому сидящему в траве цветочку, как обещанию чего-то чистого и доброго.

3

В поезде, в офицерском вагоне, он спал всю дорогу, чуть ли не целые сутки. Окно было открыто, ветер шевелил во сне его волосы, все те же запахи

расцветающих лесов и болот оведали его. Просыпался он только на остановках — от тишины. Тишина здесь стояла особенная, от которой он отвык, — не слышно было глухого грохота фронта.

Ощущение беспечности и свободы не покидало его; и только к утру, когда он окончательно проснулся и понял, что до В. уже совсем недалеко и что уже через час ему придется приступить к исполнению своих странных обязанностей, он вдруг приуныл и опять пал духом. Выйдя из вагона, он от волнения видел все, как в тумане. Как в тумане, разговаривал он с комендантом на вокзале, звонил по телефону, шел на край города по длинной немощеной улице меж лопухов и заборов, предъявлял в проходной документы. И, как сквозь туман, услышал, наконец, голос девушки-сержанта.

— По вашему приказанию команда построена.

Этой девушки-сержанта он не разглядел, потому что не осмеливался поднять на нее глаза. Что-то тощее, бледное, длинное — она почти такого же роста, как он сам. Остальных девушек, построившихся в два ряда вдоль какой-то глухой кирпичной стены, он видел еще туманнее. Пилотки, гимнастерки, юбки, чулки, кирзовые сапоги. Глядя себе под ноги, он сделал над собой усилие и, словно проглотив застрявший в горле ком, начал говорить.

Эту речь он задумал заранее. Он считал, что боец аэродромного батальона должен понимать значение той работы, которую ему предстоит выполнять. Он всегда объяснял бойцам смысл того, что они делали своими лопатами. Но бойцы его были такие же парни, как он сам, и разговаривать с ними ему было чрезвычайно просто. Здесь дело совсем другое, здесь даже собственный его голос казался ему неестественным. Но, нечаянно взглянув на них, он увидел, что у них такие же испуганные глаза, как у него. Это чуть-чуть его приободрило.

По-прежнему глядя себе под ноги, он объяснил им, что они будут служить в батальоне аэродромного обслуживания и что, если бы не было их батальона, самолеты не могли бы летать и сражаться. Бойцам батальона летать не приходится, но все-таки служба их — служба в авиации. Они будут копать

землю, вырывать кусты, корчевать пни, потому что летное поле должно быть сухим и ровным, чтобы самолет мог катиться через все поле и набирать скорость без помехи. Он не сказал им, конечно, что служит в батальоне уже с декабря месяца, а до сих пор ни одного самолета вблизи не видел. Он закончил тем, что их труд необходим для того, чтобы изгнать врага из пределов нашей Родины. И спросил:

— Вопросы есть?

Тут волей-неволей ему пришлось на них посмотреть. Двадцать четыре девушки, выстроенные по росту в два ряда, стояли перед ним. В слишком больших сапогах, в гимнастерках, скроенных на мужчин, они были неуклюжи, как куклы-матрешки. По нежной пухлости лиц, по робости глаз, устремленных на Королева с детским любопытством, было видно, что ни одной еще нет двадцати. Те, которые стояли с краю на фланге, были так малы ростом, что Королев даже удивился.

— А письма оттуда ходят? — спросила его как раз одна из самых маленьких.

Она была кругленькая, как шарик, и грудь ее под гимнастеркой выдавалась вперед, как скамеечка. Лицо лукавое, глаза насмешливые; и все же она, кажется, сама была поражена своей смелостью, и круглые ее щеки с двумя ямочками порозовели.

Королев ответил, что письма ходят хорошо и что там, на месте, им сообщат номер их полевой почты.

— А голубые пилотки нам выдадут?

Это спросила девушка повыше и потоньше. Мелкие неровные зубы придавали ее бледному миловидному личику недоброе выражение. Она, видимо, очень волновалась; сняв с головы пилотку, она вынула из волос круглый гребень, провела им по волосам, поставила на место и опять надела пилотку.

Пилотки у них всех были обыкновенные, армейские. А полагались им голубые — как всем, служащим в авиации. И Королев ответил, что голубые пилотки им выдадут, хотя вовсе не был в этом уверен. Есть ли еще голубые пилотки в батальоне на складе?

— А такие штуки нам дадут?

Королев повернул голову и встретился с темными глазами, смотревшими на него прямо и строго.

«Черт возьми, что за глаза», — подумал Королев. Все девушки были светлоглазы. Темные глаза только у этой.

— Какие штуки?

— Вот эти, из которых стреляют, — сказала темноглазая и движением подбородка показала на автомат, висевший у Королева на груди.

В батальоне у каждого бойца был автомат. Но выдадут ли автоматы девушкам, Королев не знал и сильно сомневался.

— Это будет видно, — ответил он. — Смотря по обстановке.

Они пошли через город на вокзал. Девушки шагали строем по мостовой, неся на плечах вещевые мешки. Их вела девушка-сержант, шагавшая по мостовой рядом со строем. Королев шел по панели, немного поотстав, и старался перед прохожими делать вид, что не имеет к девушкам никакого отношения.

Было тепло и пыльно уже совсем по-летнему.

4

Эшелон, которым они ехали, состоял из многих товарных вагонов, из платформ, на которых стояли орудия, и одного так называемого классного вагона, то есть жесткого пассажирского. В товарных ехали бойцы артиллерийского дивизиона, в классном — офицеры-артиллеристы. Девушкам, которых вез Королев, дали товарный вагон. Выходило так, что Королеву нужно было ехать вместе с ними. Ему это не нравилось, и он даже подумывал, не устроиться ли ему на открытой платформе, которая везла самоходку. Но комендант вокзала, руководивший посадкой, дал ему совет:

— Попроситесь к артиллеристам в классный, они вас пустят.

Его действительно пустили в классный вагон. Незнакомые офицеры не обращали на него внимания; он сел на лавку возле открытого окна, и мимо неторопливо поплыли леса и поляны. Птичий щебет был слышен даже сквозь гул колес. Пронизанные солн-

цем, одетые молодой листвою березы были нежны и прекрасны. Темные шубы еловых лесов хранили какую-то тайну, но и эта тайна казалась нестрашной, заманчивой. И всякий раз, когда ели слегка наступались, он видел на земле белые пятна, словно пятна снега. Но, конечно, это был не снег, это цвела земляника; еще недавно шофер показал ему как чудо один цветочек земляники, а теперь от этих цветов белела вся земля в лесах. «Сколько нынешний год будет ягод!» — подумал Королев.

Мысль о таком изобилии будущих ягод почему-то обрадовала его. Вообще ему сегодня было радостно, он сам не знал почему; радостно ехать и вот так славно сидеть у окна и смотреть на плывущие мимо леса. Нельзя сказать, чтобы он переменял взгляд на данное ему поручение и перестал считать его неприятным. Если бы его спросили, он, как прежде, ответил бы, что не интересуется женщинами и старается быть от них подальше. Но его никто не спрашивал, и сознание того, что сзади, в конце состава, едет вагон с девушками, отзывалось в нем радостным волнением. Он не успел рассмотреть их, он ведь не вглядывался, но в памяти его беспрестанно возникали то глаза, то улыбка, то полоска девичьей шеи над подворотничком, такой хрупкой и беззащитной. По правде сказать, они больше всего поразили его именно своей беззащитностью. Для себя он от них не хотел ничего, кроме возможности защищать их в этом грубом мире.

Ни одного из их лиц он еще не представлял себе отдельно, ни одно еще не выделилось из того общего тумана, в котором он их видел; кроме разве лица девушки-сержанта, — с ней ему уже пришлось немного потолковать. Но как раз это лицо занимало его меньше всего — было в нем что-то постное, скучное, насквозь понятное.

Девушки называли своего сержанта Марьей Ивановной, и была она старше их всех и старше Королева — лет двадцати трех. Остриженная совсем коротко, по-мужски, она была длинна, плоскогруда, с маленькими красными прыщиками на круглом безбровом лбу. В армии, в каком-то запасном полку, она прослужила уже месяца три, набралась там муж-

ских замашек и очень гордилась своим сержантским званием. Перед Королевым она стояла навытяжку, отвечала «так точно», спрашивала «разрешите идти?» и на мостовой шагала по-мужски, по-солдатски, отбивая каждый шаг. Приветствовать встречных офицеров, отдавать команды «напра-во! нале-во!» доставляло ей явное наслаждение. О своих девушках она говорила недовольно и презрительно, поджимая узкие бледные губы; она уже успела сказать Королеву, что к армейским порядкам они не приучены, что у одной она даже нашла губную помаду и что держать их нужно построже. Король с ней согласился, но теперь, думая о девушках в заднем вагоне, думал не о сержанте Марье Ивановне.

Эшелон полз на запад медленно, часто останавливался и стоял подолгу. На остановках Король выходил погулять. Соскочив с подножки, он будто случайно и нехотя брел к концу состава. Покрытые чехлами орудия на платформах были замаскированы нарубленными ветками и сладковато пахли вянущим листом. В товарных вагонах, в раскрытых настежь широких дверях сидели бойцы, свесив ноги вниз и греясь на солнце. Чем ближе подходил Король к концу состава, тем быстрее он шел. Несмотря на пение птиц, крики бойцов, паровозные свистки, он уже за три вагона начинал слышать щебет девичьих голосов. Но последний вагон, звеневший этими голосами, стоял с наглухо задвинутыми дверьми. Конечно, можно было постучаться. Но Король не решался. Он обходил вагон кругом, но и вторая дверь была задвинута так же плотно; и он возвращался к себе, в классный, вдоль другой стороны состава. Однако на третьей или на четвертой остановке он, стоя перед задвинутыми дверьми последнего вагона, услышал сверху голос:

— Да ведь это наш младший лейтенант!

Он поднял голову и в маленьком квадратном окошечке справа от двери увидел круглое смеющееся девичье лицо. Он узнал эту девушку: это была та самая, маленькая, кругленькая, которая спросила его, приходят ли на аэродром письма. Дверь слегка отодвинулась — не больше, чем на сантиметр; в щелке он увидел сержанта Марью Ивановну, внимательно

его разглядывавшую. Дверь отодвинулась на полметра, и несколько голосов закричало разом:

— Заходите к нам, товарищ младший лейтенант! Посмотрите, как мы живем!

Он поднялся в вагон, и Марья Ивановна сразу же задвинула за ним дверь. Она объяснила, что на остановках дверей не открывает, чтобы не лезли посторонние. Свет проникал внутрь только через два маленьких окошечка, и глаза Королева не сразу привыкли к сумраку. Королев стоял посреди вагона, а справа и слева от него громоздились два этажа нар. С нар свешивались улыбающиеся головы, блестящие глаза разглядывали его. А в глубине, в темноте что-то двигалось, раздавался быстрый шепот, сверкало маленькое зеркальце, передаваемое из рук в руки.

Вообще все показалось ему необычным в этом обыкновеннейшем солдатском вагоне; даже воздух особенный, даже особенный свет. Все было особенным, девичьим; в глубине висели какие-то полотенца или простыни, которых никогда бы не повесили мужчины; звякали ножницы, поблескивал наперсток на пальце; голубая лента свешивалась с нар; двигалась обнаженная до локтя рука, расчесывая волосы. И вдруг в ярком столбе света, падавшем из оконца, он увидел ту темноглазую девушку, которая спросила его, дадут ли им автоматы. Опустив глаза, она читала. Во всем вагоне она одна не обратила внимания на появление Королева, не повернула к нему головы. Свет ярче всего озарял нижнюю часть ее удлиненного лица, и Королев видел ее нежный подбородок и крупный рот с румяными твердыми губами.

— Вижу, у вас все в порядке, — сказал Королев, чувствуя, что нельзя больше стоять и молчать. — Ну, я пойду.

И сразу несколько голосов раздалось с нар:

— Оставайтесь с нами, товарищ лейтенант! У нас хорошо! Места хватит! Мы подвинемся!

Королеву очень захотелось остаться. Конечно, он понимал, что оставаться не следует. Однако, если бы его попросила и та, темноглазая, которая читала, он, может быть, остался бы. Но она по-прежнему держала себя так, будто Королева не было в вагоне.

Тут состав вздрогнул — прицепили паровоз. Королев отодвинул дверь и выпрыгнул.

— Лейтенант Игрушечка! — услышал он ласково-насмешливый возглас у себя за спиной.

Он сразу узнал по голосу — это сказала та самая, которая звала его в вагон, та, кругленькая.

И сейчас же весь вагон громко засмеялся.

У Королева дернулась спина. Не оглянувшись, он побежал вдоль состава к своему вагону. Откуда они узнали, что его зовут Игорь и что когда-то, когда он был совсем маленький, его называли Игрушечкой? Почему они посмеялись над ним?

И он твердо решил — больше в тот вагон не ходить.

5

Но твердое это решение он не выполнил. Уже на следующей остановке его потянуло к концу поезда — просто так, прогуляться. Он дошел до последнего вагона и обнаружил, что дверь задвинута. Разумеется, стучаться он не собирался. Он обошел вагон кругом и на той стороне, на откосе, обнаружил трех девушек, сидевших в траве. Увидев его, они встали.

Одна из них была та самая, которая обозвала его Игрушечкой. Это насмешливое прозвище еще болезненно сидело в душе у Королева, и он смутился. Зато она не смутилась нисколько. Эта маленькая толстушка оказалась бойкой, бесстрашной и говорливой. Королев и опомниться не успел, как уже ходил рядом с ней по путям взад и вперед вдоль вагонов и слушал ее непрерывную болтовню, не имевшую, казалось, не только конца, но и начала. В первую же минуту он успел услышать, что зовут ее Манечка Ложкина и что у нее много удивительных свойств, из которых самое удивительное заключается в том, что она всегда все про всех знает. Она сама не понимает, откуда у нее это берется, и сама себе удивляется. Она, например, отгадала, что его зовут Игорем. Просто посмотрела на него и поняла, что он Игорь. Она часто отгадывает имена совсем незнакомых людей... Ну, если правду говорить, его имя она не отгадала, а подглядела в приказе, который по-

лучила Марья Ивановна. Вообще в ее отгадках никакого волшебства нет. А просто она все слушает, все замечает и никогда не забывает. И получается, что она про всех знает все.

— Хотите, я вам про наших девушек расскажу? — предложила она Королеву. — Ведь вам надо знать о каждой, раз вы теперь наш командир. Вот поглядите, например, на Лушу. Ее зовут Лукерья Зверева, но мы ее называем просто Лушей, мы между собой все по именам... Поглядите на Лушу и скажите, что в ней замечательного?

С тех пор как Манечка завладела Королевым и проаживалась с ним, две другие девушки стояли на откосе, сося травинки. Луша была девушка неуклюжая, крупная — с толстыми ногами, с широкими плечами, с мясистым лицом, очень красным и ставшим еще краснее, когда она заметила, что Корольев смотрит на нее. Он смотрел и не мог отгадать, что в ней замечательного.

— В ней замечательнее всего — сила, — сказала Манечка. — Она сильна, как паровоз. Нет, правда, если она наляжет на этот вагон плечом, вагон поедет. Для нее ничего тяжелого не бывает, она все может поднять. Марья Ивановна скажет: «Луша, подыми, Луша, поставь», и Луша подымет и поставит хоть сто пудов. Заденет нечаянно стул и стул летит в другую комнату и разваливается на лету. Если бы вы видели, какие у нее мускулы на руках — во, как горы, и так и ходят! Она всех нас могла бы передавить, как муравьюшек, но она добрая, своих не трогает. А вот когда до немцев дорвется, так будет их хватать за лапки и швырять себе через голову. Жениться на ней, по-моему, опасно — сомнет нечаянно или задушит. Что, Луша, можешь ты этот вагон сдвинуть?

Они как раз проходили мимо обеих девушек. В ответ Луша только запыхтела и тяжело переступила с ноги на ногу. Вторая девушка вынула из волос круглый гребень, провела им по волосам и опять поставила на место. По этому жесту и по мелким острым зубкам Корольев узнал ее: та самая, которая спрашивала, дадут ли им голубые пилотки.

— Это наша Варвара, — сказала Манечка, держа

Королева за руку чуть пониже локтя и ведя его по шпалам.— Она, когда волнуется, все свою гребенку вертит — вынет из волос и вставит. Даже в строю. Марья Ивановна постоянно на нее за это сердится — в строю нельзя вынимать гребенку... Варвара всегда завидует, и нет ей от этого покоя.

— Завидует? — удивился Королев. — Чему?

— А всему. Сейчас она мне завидует, что я с вами хожу. Видите, посмотрела на нас, вынула гребень и вставила. А кто ей мешает вместе с нами ходить? Я не побоялась с вами разговор завести, а она побоялась и теперь завидует... Она и Марье Ивановне завидует: отчего Марья Ивановна — сержант. Марья Ивановна на нее прикрикнет, а она в ответ только шипит, как гусь...

И Манечка очень похоже показала, как шипит гусь, когда сердится.

— Марья Ивановна, конечно, потачки не дает, — продолжала Манечка. — Она все наши вещевые мешки перерыла. Нашла у одной губную помаду. «Ты что, — кричит, — помадой воевать собралась!» И кинула помаду через забор. Мы все, у которых помада была, вынули ее потихоньку из мешков и спрятали на себе кто куда. А еще у одной нашла она щипцы для завивки. Вот крику-то было! И щипцы отобрала, и даже ножницы хотела у Лены Смирновой отобрать. А Лена Смирнова шьет и вышивку такую делает с дырочками, ришелье, как же ей без ножниц? Показала она Марье Ивановне рубашку с ришелье у ворота, и Марье Ивановне очень рубашка понравилась, она даже на себя прикидывала, и разрешила ножницы оставить. С Марьей Ивановной можно ладить. Она только хорошеньких не любит.

— Хорошеньких?

— Ну да, я знаю, по-вашему, у нас хорошеньких нет. Я сама тоже так думаю. Откуда у нас быть хорошеньким, хорошенькие на фронт не пойдут, они в тылу рыщут. Я тоже не хорошенькая и о себе не воображаю, и мне весело и спокойно. Но все же есть у нас две-три получше других, и они, конечно, воображают. По мне — пускай себе. Но Марья Ивановна их крепко не любит и придирается...

Когда Манечка заговорила о хорошеньких, Королев насторожился. Ему хотелось хоть что-нибудь узнать о той темноглазой, которая читала в вагоне книжку. Но оказалось, что Манечка совсем не ее имела в виду, а все ту же завистливую Варвару и какую-то Сашу Кашину, которой Королев даже припомнить не мог. У Манечки, да, видно, и у Марьи Ивановны, были совсем другие представления о женской красоте, чем у Королева.

— А, это вы про Лизу Кольцову говорите! — догадалась, наконец, Манечка. — Разве она хорошенькая? Так, чернявенькая, большеботая. Ну, может быть, ничего... Я ее мало знаю. Она из эвакуированных. Мать под фашистами осталась, отец на фронте убит. Молчит, как пыльным мешком пришибленная. А заговорит — так отчаянная какая-то...

— Отчаянная?

Но тут засвистел паровоз, и они побежали — Манечка к своему вагону, а Королев к своему.

6

Когда поезд остановился в следующий раз, тени были уже длинные, низкое солнце светило сквозь березы. Королев зашагал к заднему вагону и вдруг услышал:

— Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться.

Перед ним стояла та самая, темноглазая, Лиза Кольцова. Рука с тонкими синеватыми пальцами — у виска. Туго перетянута ремнем, тоненькая, узкоплечая, потонула в своих кирзовых сапогах, как в ведрах. Глаза смотрели на него прямо и строго, и вовсе не темные, а скорее серые, — они только казались темными из-за темных ресниц. На очень белом худеньком лице с прозрачной голубоватой кожей — крупный рот с нежными крепкими губами. В левой руке она держала книжку.

— Нельзя ли меня перечислить в другую часть? Королев не понял.

— В какую?

— В любую. Которая сражается.

— Сейчас все части сражаются.

— Вы сами сказали, что мы будем землю рыть.
А я хочу сражаться.

Королев смотрел на нее с высоты своего роста. Она казалась ему маленькой и слабой.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Уже почти восемнадцать.

— Школу кончили?

— Десять классов. Нынешнюю зиму я в школу не ходила.

— Работали?

— На военном заводе.

— И ушли?

— Я хотела в армию. — Ей показалось, что он старается увести разговор в сторону, и она нахмурилась. — Прошу направить меня в другую часть.

— Не могу, — сказал он.

— Не хотите или права не имеете?

— Конечно, права не имею. Мне приказано привезти вас всех в батальон, и я вас привезу в батальон.

— А кто же имеет право?

— Не знаю. Может быть, командир батальона.

— Тогда я обращусь к нему.

Королев промолчал.

— Он разрешит?

— Не разрешит, — сказал Королев.

— Отчего вы так думаете?

— Оттого, что я его уже просил.

— О ком? О себе? — спросила она с любопытством.

Королев кивнул.

— Он разорвал мой рапорт...

Она посмотрела на него долгим внимательным взглядом, словно увидела в нем что-то такое, чего раньше не замечала.

— Я тоже не хочу землю рыть, — сказал Королев. — Я тоже хочу сражаться.

Они замолчали оба. Но она не уходила. Она смотрела себе под ноги.

— Что у вас за книга? — спросил он.

Она протянула ему книжку. Лермонтов. «Герой нашего времени».

— Вы тоже любите эту книгу? — спросил он.

— Очень.

— А какой рассказ вам нравится больше всего?

— «Фаталист».

Королев вспомнил этот рассказ — об офицере, который дерзко испытывал свою судьбу. Он вернул ей книгу.

— Разрешите идти? — спросила она.

— Пожалуйста...

Она отошла шага на три, потом вдруг быстро обернулась:

— А что вы сделали, когда командир батальона вам отказал?

— Ничего, — ответил Корольев.

— Вы смирились?

— Что я мог сделать?..

— А я не смирюсь никогда!..

И пошла к своему вагону.

Он повернул голову и увидел Варвару с мелкими зубками, которая, вероятно, давно стояла здесь и смотрела на них. Встретив его взгляд, Варвара вытащила гребень из волос и вставила его обратно.

7

Он заснул и спал крепко и долго, и снилось ему что-то ласковое, доброе, счастливое, чего он потом припомнить не мог. Его растолкал артиллерийский офицер и сказал ему, что вагон с девушками отцепляют.

Королев вскочил, одуревший от сна, и не сразу пришел в себя.

Эшелон стоял, сумерки летней светлой ночи лились в окно. Отчетливо слышен был дальний грохот, то усиливавшийся, то ослабевавший, от которого мягко вздрагивал весь воздух. Корольев схватил шинель, фуражку, автомат, фанерную коробку и выскочил из вагона.

Едва он успел спрыгнуть с подножки, как вагоны вздрогнули и поползли мимо него. Один только вагон — последний — остался на месте и одиноко темнел в сумерках. Корольев осмотрелся. Какая-то

станция. Путь много: станционное здание разбито, белеет смутной громадой, торча в небо странными зубцами. Королев побежал к вагону. Еще не добежав, он заметил, что у вагона кто-то стоит.

— Младший лейтенант, это вы? — К нему шагнула Марья Ивановна. — А я боялась, что вас увезли!

Она тоже не знала, почему их отцепили, и была испугана. С тревогой смотрела она на зубцы станционного здания, ей еще не приходилось видеть разбитых бомбами станций. Гул, похожий на дальний грохот прибоя, был для нее нов и непривычен. Вспышки, озарявшие небо до самого зенита, отражались у нее в зрачках. Двери вагона были плотно задвинуты, и там, за дверьми, спали девушки.

— Какая станция? — спросил Королев у пробежавшего мимо железнодорожника.

— Мартыновка.

Королев вспомнил эту Мартыновку — он проезжал здесь несколько дней назад. Это станция узловая, пути от нее расходятся в разные стороны. От станции Ржа, где он тогда сел в поезд, часа четыре езды. Тогда Мартыновка была цела. Здесь тогда стояла сонная тишина, не было слышно этого угрюмого гула... Королев запомнил вон ту шеренгу берез за низким заборчиком. Березы уцелели, а от станционного здания остались одни зубцы...

— Пойдем разберемся, — сказал Королев Марье Ивановне.

Нужно было понять, почему отцепили вагон и что делать дальше. Они вдвоем обошли разбитое здание вокруг и, спотыкаясь в сумерках о кирпичи, добрались до какой-то норы, которая вела куда-то вниз, в подвал. Королев отодвинул одеяло, заменявшее дверь, и они оказались в низкой комнате без окон, которую озаряла керосиновая лампа без стекла. Стрекотал телеграфный аппарат, звенел телефон. За тесно сдвинутыми столами сидели люди, все железнодорожники, один только военный — капитан. Королев подошел к столу капитана.

— А, это вы привезли нам девиц! — сказал капитан насмешливо, взглянув на Королева и Марью Ивановну. — Очень кстати, очень...

Насмешливость капитана не понравилась Королеву. Уж не над тем ли он смеется, что Королеву пришлось командовать девушками? Королев насупился и слушал объяснения капитана враждебно.

Оказалось, когда ночью прибыл эшелон, в Мартыновку пришел приказ направить артиллерийский дивизион по другому маршруту. А так как девушки не имели к дивизиону никакого отношения, вагон с ними отцепили и оставили. Капитан — военный комендант Мартыновки — не знал, что с ними делать дальше. У него не было никаких указаний.

— Что тут решать? — сказал Королев резко. — Я должен доставить их в наш батальон. Мне приказано, и приказание не отменено. Прицепите нас к первому поезду, который пойдет в том направлении...

— В том направлении ни одного поезда не было уже больше суток, — сказал капитан.

— А что там случилось? — спросил Королев.

— Почему я знаю, — ответил капитан. — Разве мне докладывают?

У капитана было пожилое морщинистое лицо с глубокими вертикальными складками на щеках у концов губ, и никак нельзя было понять, когда он говорит всерьез и когда шутит. Впрочем, сейчас он, кажется, не шутил. Он не знал, что делать с этими девицами.

— Погодите, — сказал он. — Попробую дозвониться.

Он долго трудился над телефоном — так долго, что Королев и Марья Ивановна устали стоять. С кем он пытался связаться, Королев не понимал. Иногда капитан до кого-то пробивался сквозь плохо проходящую гущу проводов, вступал в длинные, загадочные для Королева разговоры; но всякий раз это была не та инстанция, от которой зависела судьба Королева и его девушек. Наконец капитан изнемог.

— Вот что, младший лейтенант, — сказал он, откинувшись на спинку стула. — Выводите своих девиц из вагона.

Он объяснил, что не имеет права оставить на

территории станции ни вагон, ни девиц. Ему приказано не задерживать подвижной состав на пристанционных путях, чтобы немцы опять не начали бомбить, как третьего дня. Он дал такой совет: получить для всех на складе по продовольственным аттестатам сухой паек дня на два, а потом отвести девиц куда-нибудь в сторонку и там ждать.

— Чего ждать? — спросил Королев. — Я должен ехать на станцию Ржа.

— Понимаю, — сказал капитан.

— Вот, в моей командировке указано, что я обязан прибыть на место не позже завтрашнего дня.

— Вижу, — сказал капитан. — Я постараюсь дозвониться до начальства. Дозвонюсь — поставлю вас в известность.

— А вдруг не дозвонитесь?

— Все может быть, — сказал капитан.

Королев устал от этих долгих уклончивых разговоров. Глухое раздражение подымалось в нем.

— Вы не хотите нас отправить, — сказал он капитану.

Капитан рассмеялся.

— Очень вы мне нужны! — воскликнул он, смеясь.

Потом внимательно посмотрел Королеву в лицо и прибавил вполне серьезно:

— Послушайте, молодой человек, куда вы торопитесь со своими девицами? Вы что, не слышите, что творится? Кому они там сейчас нужны? А здесь они целы будут. Была б моя воля, я бы их первым поездом отправил обратно.

Королеву не понравилось, что его назвали молодым человеком. Так офицеры друг друга не называют. Совет капитана тоже ему не понравился. Королев был слишком молод, чтобы согласиться с такими рассуждениями.

— Нет, так нельзя, и воля не ваша, — сказал он враждебно. — Я должен выполнить приказ. При любых обстоятельствах.

— Что ж, выполняйте, — проговорил капитан холодно. — Только нет туда поездов.

— А если будут, вы нас отправите?

— Словом, освобождайте вагон!

День был знойный с самого утра, и чем выше подымалось солнце, тем становилось жарче. Кучи черного паровозного шлака накалились; дотронешься до кирпича и обожжешься. Королев сидел один на старой просмоленной шпале среди огромных лопухов в жидкой тени уцелевших станционных берез и ждал. Марья Ивановна давно увела девушек через пути, за поляну, в лесок; там, говорят, какая-то речка. Она успела получить для всех сухой паек на два дня, и весь этот паек взгромоздили на спину Луши Зверевой, замечательной своей силой. Девушки ушли, а Королев остался — ждать поездов и сторожить коменданта, которому не доверял. Этот комендант пальцем о палец не ударит, чтобы помочь им добраться до батальона.

Иногда поезда проходили; но все шли в обратную сторону, с фронта в тыл, и в Мартыновке не останавливались. Медленно прополз санитарный поезд, длинный-длинный, с занавесками на всех окнах, зловеще безмолвный. Прошел и один встречный эшелон, с тыла на фронт, весь в вянущих березовых ветках, полный бойцов, орудий, автомобилей; он тоже не остановился и с хода свернул на боковой путь — не туда, куда надо было Королеву. Когда составы уходили и станция пустела, опять становился слышен равномерно пульсирующий гул за горизонтом.

Королев привык к этому гулу за зиму, и там, на аэродроме, совсем разучился замечать его. Однако здесь дело было другое; если гул этот так отчетливо слышен здесь в Мартыновке, в двухстах километрах от их аэродрома, значит, что-то изменилось, произошло что-то скверное. Королев очень смутно представлял себе очертания линии фронта; никаких карт он никогда не видел, и что он мог знать, просидев столько месяцев на одном месте, в дыре. Но ему ясно было, что за время его поездки фронт, всю зиму простоявший неподвижно, сдвинулся, и в невыгодную для нас сторону. Что-то случилось ужасное, и как раз в том краю, где стоял их батальон...

И вдруг этот батальон, который он столько месяцев считал самым постылым местом на свете, оказался ему милым и близким, словно родной дом. С нежностью вспомнил он землянки, своих бойцов, своих сотрапезников по столовой. Где они? Живы ли? Вспомнил пустое летное поле, над расчисткой которого столько трудился... Там все ему было ясно, там не пришлось бы ему самому решать, что делать... И его неудержимо туда потянуло.

Если бы дело касалось его одного, он сейчас отправился бы искать свой батальон — хоть пешком. Одному — легко, за себя он не боялся. Но как быть с этой обузой, с девушками? Нужно же было так случиться, что ему навязали их на шею!..

Капитан, комендант станции, иногда выскакивал из своей норы и бежал куда-нибудь по путям или в поселок. Королев всякий раз пытался попасться ему на глаза и спрашивал:

— Ну как? Дозвонились?

— Нет, нет, — отвечал капитан, не глядя на Королева и убегая.

После второго или третьего раза он сказал Королеву наставительно:

— Надо уметь ждать!

А еще через полчаса уже просто накричал на него:

— Чего вы здесь околачиваетесь! Ступайте! Когда нужно будет, я вас найду!

Королев, конечно, не ушел и опять сел на старую шпалу под березой... Капитан нарочно их не отправляет, и нужно его заставить!.. Тени берез становились все короче, солнце грело все жарче. Тяжелый мохнатый шмель перелетал с цветка на цветок. Королев следил за шмелем и ненавидел капитана.

Около полудня пришла Марья Ивановна. Она доложила, что все в порядке. Явилась узнать, нет ли приказаний и, главное, не хочет ли младший лейтенант покушать; ведь девушки унесли с собой его сухой паек. Королев с завистью глядел в ее спокойное лицо, полное служебного усердия. Она не знает, что этот гул фронта еще несколько дней назад не был слышен в Мартыновке, и полагает, что тут так и должно быть. Ей кажется, что с ними слу-

чилась всего только ничего не значащая задержка в пути, пустяковая дорожная неурядица. Может быть, объяснить ей, попросить совета? Но, взглянув ей в глаза, Королев понял, что ее совет ему не пригодится.

9

У него сегодня еще ничего не было во рту, и он хотел есть. Уходить со станции он побаивался; однако, подумав, он все-таки решил оставить здесь Марью Ивановну, чтобы следить за комендантом и поездами, а сам отправился к девушкам, пообещав скоро вернуться, Марья Ивановна объяснила ему дорогу:

— Через рельсы, потом тропкой через поле, а там лесок, свернете направо и выйдете на речку. Они все там сидят над водой на косогоре.

Тропка через поле долго ползла вниз. Рельсы, разбитая станция, поселок за нею — все осталось позади, а здесь высокая уже трава обтирала своими метелочками сапоги Королева, и кузнечики прыгали из-под ног выше его роста. Солнце жгло; пахло цветущей травой; жаворонок взлетел перед Королевым и свечой ушел ввысь. Кузнечики стрекотали пронзительно, но весь их стрекот не мог заглушить равномерного тяжкого гула, от которого дрожал весь голубой купол неба.

Поле кончилось, тропинка, завернув направо, вошла в лес, прорезанный солнечными лучами, как струнами, пахнувший муравьями, нагретой сосновой корой, сыростью осин. Рассохшиеся шишки падали со стуком. Высоко уходили ярусы ветвей, а внизу было бело от цветов земляники. Тропка по-прежнему скользила все вниз, вниз, и Королев шагал уверенно, потому что впереди уже слышал высокие девичьи голоса.

Чего они так громко кричат? Звон стоял от нестройных возгласов, счастливых и ликующих. Он утарапливал шаги, дивясь их веселью. Сосны поредели, расступились, он вышел на луг и впереди увидел речку.

То есть речки-то он не увидел, а увидел мягкие округлые купы ольхи и тальника, росшие вдоль бе-

регов и сплошь заслонявшие от него воду. Речка петляла по лугу, вместе с ней петляла цепь зарослей, а вдоль этой цепи по петляющей тропе шагал Королев. Он обходил очередную петлю и только начал заворачивать за куст, как вдруг услышал:

— Стойте! Вам дальше нельзя!

Дорогу ему загородила Манечка — босая, в белой рубашке до колен. Склонив голову набок, она полными коротенькими руками выжимала воду из мокрых волос.

— А мы купаемся, и меня нарочно поставили здесь сторожить, — сказала она. — Я сейчас крикну им, чтобы они вылезали; Марья Ивановна не велела нам купаться, она велела все время быть в готовности, но так жарко, да и постирушку нужно устроить... Ведь вы нас не выдадите, товарищ лейтенант?

Марьи Ивановны они боялись куда больше, чем его... Манечка поглядывала на Королеву со своим обычным простодушным лукавством. Выжав волосы, она сняла с ветки свою зеленую форменную юбку, влезла в нее и стала застегивать на боку. В том, что она, по-видимому, нисколько его не стеснялась, тоже было что-то детское, простодушное. Королев же, напротив, смущенно отводил глаза, стараясь не смотреть на ее груди, подымавшиеся под рубашкой, как скамеечка.

— Вы еще ничего не кушали! — воскликнула она. — Мы переживали, что вы голодны, честное слово... Нам выдали концентраты, и мы на костре варили кашу и вашу долю вам оставили. Каша еще совсем теплая, я вам сейчас принесу. — Она надела гимнастерку, затянула ремень, сунула ноги в сапоги. — Я живо сбегаяю, а вы пока постоитесь здесь вместо меня на страже, никого не пускайте, а то тут мальчишки проходили, швырялись в нас шишками...

И Королев, смущенный выпавшей на его долю обязанностью, остался один, охраняя тропинку. Он видел высокие кусты, тянувшиеся извилистой лентой вдоль речки, и там подальше на кустах — развешенные для просушки только что выстиранные рубашки и лифчики. Всплески воды и радостные возгласы купальщиц раздавались совсем близко. Он слышал, как Манечка на бегу крикнула:

— Вылезайте! Лейтенант Игорек пришел!

В ответ раздался дружный оглушительный визг. Звуки над водой разносятся далеко, и Королев отчетливо слышал каждое слово.

— Варвара первая вылезла!

— А вы, девочки, разве не знаете, Варвара влюблена в нашего лейтенанта!

— Разве одна Варвара?

— А наш лейтенант и вправду симпомпончик! — крикнул новый голос, совсем озорной.

В ответ засмеялись — громко и пронзительно.

— Вот я, девочки, любила одного лейтенанта, так он против нашего вдвое шире был. Такой здоровый, видный, только рябоватый немного...

— Где ж он теперь?

— На фронт угнали...

Вернулась Манечка, принесла каши в котелке, кипятку, сахару, полбуханки хлеба. Королев сел на траву и стал завтракать. Манечка уселась неподалеку и ласково смотрела, как он глотает. Мало-помалу поодиночке к ним подходили девушки; на их гимнастерках, надетых на мокрое тело, проступали темные сырые пятна. Подходя, они садились в траву вокруг Королева, и скоро Королев оказался окруженным множеством глаз, доверчиво и дружелюбно смотрящих на него.

Лица их были ему уже знакомы. Варвара кусала травинку мелкими острыми зубками и всякий раз, когда Королев взглядывал на нее, двигала гребень в волосах. Могучая Луша Зверева, широкая, как гора, сидела неподвижно, выставив вперед толстые ноги, раздувавшиеся икрами голенища сапог. У Лены Смирновой, любившей шить, глаза были тихие, спокойные. Вот Саша Кашина, которую они считают самой красивой; она и вправду, пожалуй, недурна. Вот маленькая рыженькая Томка, — уж до чего рыжа, как клен осенью, и вся в веснушках, и нос лупится, и глаза красные... Как зовут других девушек, Королев не знал, но все они уже ему примелькались, и он вспоминал их по мере того, как они подходили. Он ждал, когда подойдет, наконец, Лиза Кольцова, та, с темными ресницами, которая просила перевести ее в другую часть. Но Лизы Кольцовой все не было.

Королев выгребал из котелка кашу, а девушки разговаривали между собой. Их разговор не умолкал ни на минуту, сплетался густо, как пряжа. Они еще были переполнены впечатлениями купания и говорили о речке, о событиях в воде.

— Я с одного маху переплыла на тот берег, только ногой до дна дотронулась, и назад.

— Подумаешь! Наша река в четыре раза шире, а я ее с одного маху переплываю.

— А у нас речка поуже, да вся в омутах. Каждый год тонут. Водовороты крутятся и затягивают.

— А я сегодня вот такую рыбу видела! Не верите?

— Чего это Саша так перепугалась? Я уже думала, она тонет.

— Меня кто-то за колено в воде схватил. Ей-богу! Скользкий, холодный! — сказала Саша Кашина. — Так мягко взял за колено и отпустил.

Манечка рассмеялась, но никто ее смеха не подержал. У Саши было розовое личико и прямой аккуратный носик. Она вспомнила о своем испуге, и глаза у нее стали круглыми от страха.

— Кто же это был? Рыба, что ли?

— Нет, рыба за колено не возьмет.

— Утопленник...

— Ох! — испуганно вздохнули кругом.

Потом маленькая рыжая Томка сказала:

— А я лягух больше, чем утопленников, боюсь. Она показала, как она боится лягух.

— Лягух глупо бояться. Я вот коров боюсь — корова большая, рогатая, и никогда не знаешь, что она сделает.

— Ну, если коров бояться, как же их доить? — сказала Варвара рассудительно.

Но на ее слова никто не обратил внимания. Оказалось, все они чего-нибудь боятся. Они рассказывали об этом с полной откровенностью, как будто даже хвастаясь, что они такие трусихи. Они боялись собак, козлов, индюков, мышей, высоты, темноты, раков, пауков, омутов, коряг. Одна Манечка уверяла, что ничего такого не боится, пока речь не зашла о покойниках.

— Нет, покойников я боюсь, — сказала она, и по

голосу ее было слышно, что она их действительно боится.

Как раз в эту минуту Королев краем глаза заметил Лизу Кольцову, вышедшую из кустов и подходящую к ним. Он не посмел повернуть к ней головы. Она обошла кругом всех сидевших в траве и села позади Королева. Он не видел ее, но все время чувствовал спиной ее присутствие.

— Что это — весь день гром гремит, а дождя нету? — спросила вдруг Саша Кашина.

Ей никто не ответил. Взглянув в их лица, Королев понял, что все они, кроме Саши, давно уже догадались, что это за гром.

— Я тоже сначала думала, что тут за лесом едут машины, груженные железом, — сказала рыжая Томка.

Впервые заговорили они о близости фронта. Ни одна не выразила страха, но Королеву вдруг стало страшно за них. Разговоры о боязни темноты, мышей, раков укрепили в нем ощущение их незащитности. То, что он сам на войне, где его могут убить, всегда казалось ему делом естественным. Но зачем быть на фронте этим девочкам?..

Лена Смирнова, любившая шить, подняла на него свои тихие серьезные глаза и спросила:

— А скоро нас повезут дальше?

Она, вероятно, была не старше других, и все же среди них казалась не девчонкой, а взрослой. В ее спокойной мягкости было даже что-то материнское.

— А куда нам торопиться? — сказал Королев. — Чем тут плохо? Смотрите, какая погода.

Он вопрошающе посмотрел в лица девушек, думая, что его поддержат или хоть рассмеются. Но ни одна не улыбнулась.

— Погода сейчас всюду хорошая, — сказала Лена Смирнова. — А вот без дела сидеть нехорошо. Мы ведь не за тем поехали, чтобы на бережку греться. У нас дома полно дел.

— Война не женское дело, — сказал Королев.

— Да и не мужское, — сказала Лена Смирнова. — Но теперь об этом рассуждать не приходится.

А за спиной у него Лиза Кольцова произнесла:

— Младший лейтенант считает, что женщинам разрешается только умирать. Драться разрешается только мужчинам.

10

Королев встал, чтобы идти на станцию. Он сказал, что прийдет им Марью Ивановну.

— А как вы шли сюда? — спросила Манечка.

— Через поле.

— Этак только крюка давать. По рельсам в два раза ближе.

Оказалось, железная дорога здесь совсем рядом, за леском. А по путям можно дойти до станции.

— Я вам покажу, — предложила Манечка и поспешно пошла вперед, чтобы не дать Королеву времени отказаться.

Варвара двинулась вместе с ней. Она не собиралась уступить Манечке право показать дорогу Королеву. Они мельком взглянули друг на дружку. Насмешливые глаза Манечки скрестились со злыми глазами Варвары.

И вдруг Лиза тоже поднялась с травы. Не произнеся ни слова, она пошла вместе с Королевым.

Так, с тремя девушками, Королев шагал через лесок, словно школьный учитель, которого провожают три школьницы. Сначала по правую его руку шла Манечка, по левую — Лиза Кольцова; Варвара шла сзади. Потом Варвара постаралась протиснуться между Манечкой и Королевым; но Манечка плечом оттерла ее. Тогда она протиснулась между Королевым и Лизой. Теперь Манечка и Варвара вели Королеву как бы под конвоем, а Лиза шла сбоку.

— Господи, сколько земляники! — воскликнула Манечка. — Все бело кругом!

— Первые цветы всегда желтые — одуванчики, калужницы, — сказала Лиза Кольцова. — А вторые — белые. Сейчас все белое цветет: черемуха, земляника, яблони, вишенье. А белое отцветет, зацветает синее — колокольчики, васильки, незабудки, клевер.

«А ведь правильно! — подумал Королев с удивлением. — И как это она славно сказала».

Прелесть пронизанного солнечным светом и птичьим пением леса радовала их, и им хотелось говорить о цветах.

— Картошка тоже синим цветет, — сказала Варвара.

— Нет, сколько земляники будет! Как по молоку идем! — продолжала дивиться Манечка.

— А вы любите собирать землянику? — спросил Королев.

— Очень! — воскликнула Манечка.

— Очень, — сказала Лиза.

— А мы с матерью собираем и выносим на пристань к пароходам — продавать, — сказала Варвара. — До того дособираемся, что распухнем от комаров.

— Кто нынешний год будет ее собирать? — спросила Манечка.

— Не мы, — сказала Лиза.

Они вышли на рельсы, и Королев осмотрелся, чтобы понять, где они находятся. Направо, метрах в двухстах, увидел он семафоры Мартыновки.

— Ведь нам туда надо ехать? — спросила Лиза и показала в противоположную от станции сторону.

— Точно, — сказал Королев. — В Мартыновке железная дорога раздваивается, как вилка, и это — наша линия.

— Мы проводим вас до паровоза, — объявила Манечка.

Паровоз стоял шагах в двадцати от них, и они уже подходили к нему. Он был окутан нарезанными в лесу ветками, как беседка, и глядел в ту сторону, куда им нужно было ехать. Еле заметный дымок вился над трубой. Поравнявшись с паровозом, они оглядели его. Ни одного человека. За паровозом был тендер, набитый длинными березовыми поленьями, и одна платформа с низкими бортами.

Лиза вдруг спросила:

— Товарищ младший лейтенант, вы умеете управлять паровозом?

— Никогда не пробовал, — ответил Королев.

— Я думаю, тут уметь нечего, — сказала Лиза. — Ведь он едет туда, куда его рельсы ведут, ни вправо,

ни влево не свернешь. Наложить дров, как печку топят, повернуть рычаг, и он поедет.

Здесь они расстались. Королев один зашагал по шпалам к станции. Он невольно улыбался, вспоминая; он весь был полон их голосами, их милым девичьим щебетом. Однако чем милее они ему казались, тем сильнее в нем шевелилось чувство неуверенности и даже какой-то вины...

Марья Ивановна сидела на станции под березой — в том месте, где он ее оставил. Она поднялась и вытянулась перед ним.

— Ну как? — спросил он ее.

Но она ничего не знала. Пока его не было, через станцию прошло несколько поездов, но все не туда. К коменданту она заходила, но он приказал ей очистить помещение.

— Так, — сказал Королев. — Идите.

Марья Ивановна ушла к девушкам, а он направился к коменданту. Он столкнулся с ним у входа в подвал, загородил ему дорогу и спросил, когда их, наконец, отправят.

— Я вам, кажется, ясно сказал — ждите, — ответил комендант.

Небольшого роста, сухонький, прямой, он начальственно смотрел на Королева.

— Товарищ капитан, если я завтра не явлюсь в батальон, меня расстреляют как дезертира, — сказал Королев.

— Не беспокойтесь, не расстреляют. Если нет поездов, как вы можете приехать?

— Но я обязан сделать все, чтобы выполнить приказание!

— Вы все и делаете. Что вы еще можете сделать?.. Э, милый мой, на войне не надо спешить. Войны на вас хватит.

Опять нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Королев возмутился.

— Что было бы, если бы все рассуждали как вы! — воскликнул он.

— А не надо, чтобы все так рассуждали, — сказал комендант спокойно. — Надо только понимать, что там не нужны ни женщины, ни дети...

Королеву пришло в голову, что под детьми комендант разумеет его. Это Королева взбесило.

— Вы не смеете нас задерживать! — крикнул он. — Вы ответите за свои действия!

Пожилой капитан спокойно и грустно посмотрел на разволновавшегося Королева.

— Конечно, отвечу, — сказал он. — Я ведь тоже, как и вы, делаю только то, что могу. А сейчас не мешайте мне. Я занят.

Он обошел Королева кругом и зашагал к поселку.

Оставшись один, Королев долго возмущался. Собственное бессилие сердило его. В первый раз поручили ему важное самостоятельное дело, а он не умеет его выполнить. Он не нашелся даже, как ответить этому коменданту, позволяющему себе неподходящие разговоры... Но время шло, и возмущение его мало-помалу остывало. Даже вспоминая о коменданте, он не испытывал прежнего гнева. В конце концов было что-то славное в этом грустно-насмешливом офицере, слишком пожилым для своего капитанского звания... А может быть, он по-своему и прав. Он откровенно жалеет девушек. Он не пойдет против приказа. Но он думает, что если этот приказ невозможно выполнить, не стоит огорчаться.

Приказ был дан Королеву в совсем иное время... С тех пор все изменилось... Теперь, наверно, не дали бы ему приказа доставить девушек в батальон...

Своей личной ответственности за опоздание Королев страшился не очень — ведь он действительно делал все, что мог. И будет делать все, что может. Главное было в другом: в той мысли, что девушки там совсем не нужны...

11

Весь день Королев пробродил вокруг станции. И день уже шел к концу, и солнце светило сбоку, когда он вдруг увидел Лизу Кольцову.

— Товарищ младший лейтенант, я за вами. Он уже нагрелся и пускает пар.

Она запыхалась, щеки ее, обычно бледные, поро-

зовели. Она шла сюда очень быстро, а может быть, и бежала.

Королев так обрадовался ее появлению, что не понял ни одного слова.

— Кто? — спросил он.

— Наш паровоз.

Его непонятливость сердила ее.

— Идемте, идемте, пока комендант не хватился. Все наши уже в сборе, только вас нет. Идемте, а то он уедет!

Королев шагал за ней между рельсами, с трудом поспевая. Он все еще ничего не понимал, но ему приятно было ей подчиняться. Только увидев тот самый паровоз с платформой, мимо которого они давеча проходили, он догадался, куда она его ведет. Паровоз внезапно дал протяжный гудок и потонул в густом клубе пара.

— Скорей! Скорей!

— Они согласны нас взять? — спросил Королев.

— Я их уламывала два часа. Я сказала, что, если они нас не возьмут, мы ляжем на рельсы и не дадим им уехать.

— А почему вы мне не доложили?

Она обернулась на бегу и быстро взглянула ему в лицо.

— Потому, что я все ваши мысли знаю, — сказала она.

Это удивило его и смутило.

— Нет, какие мысли? — спросил он. — Нет, откуда вы можете знать мои мысли?

— А что девушкам там делать нечего и что лучше нам обождать... Вы с комендантом хотите нас здесь оставить.

Только что он не находил в этих мыслях ничего постыдного. Но она его пристыдила, и он сразу отдался ей во власть. Ему теперь даже казалось, что он никогда такого и не думал.

— Неправда!

— Нет, правда. Мы вас разгадали, и мы не хотим. Мы никого не хуже.

Он хотел возразить, оправдаться, но не было времени, они слишком спешили. Впереди он увидел Манечку, которая, волнуясь, выбежала им навстречу

и теперь стояла и глядела на них, пританцовывая от нетерпения.

— Скорей! Скорей! — кричала Манечка. — Все наши уже сели! Сейчас едем!

Они побежали втроем. Манечка объясняла на бегу:

— Ни за что не хотели нас брать. Но там парень один, помощник машиниста... Веселый!.. Ему очень наша Луша понравилась. Только из-за Луши и взяли.

За низкими бортами платформы Королев увидел головы девушек в пилотках и Марью Ивановну, стоявшую во весь рост. Он уже хотел влезть на платформу, но Манечка крикнула:

— Нет, нет, вам на паровоз!

И они втроем побежали к паровозу. Лиза Кольцова первая схватилась за поручни вертикальной железной лесенки и полезла вверх. За ней Манечка — с удивительным для ее полного коротенького тела проворством. В то мгновение, когда Королев встал на железную ступеньку, большое колесо паровоза мягко двинулось.

12

Паровоз гремел всем своим старым, жарким, прокоптелым и промасленным железом и неторопливо полз по рельсам. Тени деревьев, за которыми садилось солнце, хлестали его, как плети; с обеих сторон был лес, и он двигался в живой сетке вечерних теней. Королев сидел в тендере на своей фанерной коробке, вдыхая запахи болотной прели из леса, вянущей листвы маскировочных ветвей и жаркого угара из топки. Впереди, в паровозной будке спокойно работал машинист — небольшой пожилой человек в очках, суровый и неприступный на вид. Ни на Королеву, ни на взобравшихся на паровоз девушек он не обращал никакого внимания, словно их не было. Он смотрел сквозь них, как сквозь пустоту, и это смущало Королеву; ему казалось, что стоит машинисту обнаружить их существование, и они будут высажены.

Зато помощник машиниста — со зверским, хит-

рым и веселым лицом — был общителен и живо интересовался своими пассажирами. Покрытая разводами сажи голая грудь его блестела от пота. Кепку он носил козырьком назад, в руках держал длинный стальной прут, которым ковырял поленья в топке. Называли его, несмотря на молодость, Петром Петровичем. Быть может, лицо его и не казалось бы таким зверским, если бы не было вымазано сажой; меж черных пятен блестели зубы и глаза.

Работая у топки, Петр Петрович все поглядывал на Лушу Звереву, которая подносила ему дрова. Без всякого напряжения подымала она крупно напиленные березовые стволы, переносила их из тендера в паровоз и всовывала в огненную пасть топки. Манечка и Лиза тоже попытались было поднять одно такое полено, но Петр Петрович закричал на них:

— Оставьте, вы, комаришки!

Зато Лушей он восхищался:

— Не девчонка, а подъемный кран! Такая обнимет, так хрустнешь!

На Королева он поглядывал насмешливо и не проявлял ни малейшего почтения к его званию.

— Ну и привалило тебе — девками командовать, — говорил он ему. — Что хочешь можешь приказать, а как же — воинский устав. Не выполняешь — иди под расстрел. Для других война — беда, а для тебя — малина. Я не завидую, бери себе всех, а мне одну Лушу отдай!

В его громком восхищении Лушей была, конечно, и насмешка. Да и не бескорыстно он восхищался — если бы не она, ему самому пришлось бы перетаскивать поленья. Но она видела только восхищение, а насмешки или не замечала, или пренебрегала ею. В работу она вкладывала всю душу, и на ее тяжелом круглом лице появилось даже что-то вроде вдохновения. А он, черномазый, лоснящийся, стоял возле топки и подстегивал ее похвалами:

— Ай да умница! Ай да красавица!

Тут же, в тендере, рядом с Королевым сидела и Варвара. Всякий раз, когда Петр Петрович хвалил Лушу, она брезгливо поджимала губы. Могучая Лушина сила вызывала в ней отвращение, которого

она не старалась скрыть. Впрочем, других она тоже не одобряла.

— Они хотели уехать, а вас оставить,— шептала она Королеву, наклоняясь к его плечу.— Я говорила: как же так, он наш командир, а мы без него уедем. Я сама вызывалась за вами сходить. А Манька мне: «Погоди, успеется».

Начались сумерки. Северные летние сумерки длинны и никогда не сменяются полной тьмой. Все было видно по-прежнему, только стали заметнее золотые искры, вылетающие из трубы, и огненный зев топки стал ярче, и леса казались гуще, непроходимей и таинственней. Девушки угомонились и примолкли. Королев не глядел на них, но к нему вернулось странное свойство, впервые замеченное им на берегу речки: он, и не глядя, все время чувствовал спиной, что делает Лиза Кольцова.

Она все двигалась, пересаживалась, долго не находила себе места. По этим пересаживаниям он угадывал, как она взволнована и паровозом, и путешествием, и надвигающейся ночью. Пересаживаясь, она постепенно забиралась все выше и выше по груде поленьев и, наконец, добралась до самого верха. Там она уселась окончательно. Долго не слыша ее, Королев не выдержал и обернулся. Наверху, неподвижная на фоне неба, она казалась уснувшей темной птицей.

Небо постепенно темнело над нею и, темнея, оживало. Все заметнее становились вспышки дальних разрывов, совсем позабытые за день. Под нестройно мигающим небом паровоз мчался по извилистой колее, не зажигая огней.

Наконец уселась и Луша; сам Петр Петрович укротил ее усердие, сказав:

— Довольно таскать. А то нам дров и на пятнадцать километров не хватит.

Петр Петрович оставил свой железный прут, взял в руки тряпку и какую-то большую масленку и на всем ходу вышел из паровоза. Девушки вскрикнули — громче всех Манечка. Едва придерживаясь за поручень, Петр Петрович легко зашагал по узкому карнизу, тянувшемуся снаружи вдоль всего уходящего вперед паровозного котла. Колеса крутились

прямо под ним. Девушки, перегнувшись, следили за каждым его движением. Он уходил все дальше, постепенно расплываясь в сумраке, потом присел и что-то долго там делал, висая над стремительно бежавшей землей. Когда он вернулся в паровозную будку, встретили его восхищенно.

— Я бы от одного страха сорвалась! — сказала Манечка.

Но тут вдруг Лиза Кольцова, не произнеся ни слова, спустилась с груди дров, прошла в паровозную будку, вылезла наружу и двинулась по карнизу вдоль котла. Произошло это так неожиданно и быстро, что никто не успел ее удержать. Королев, одеревенев от испуга и растерянности, следил, свесив голову из тендера, как легко и гибко уходила она все дальше и дальше.

— Отчаянная! — воскликнула Манечка. — Я говорила, говорила!..

— Если сверзится, туда ей и дорога, — сказала Варвара за спиной у Королева. — Нечего фигурировать и выкамаривать.

Эти слова заставили Королева обернуться. Когда же через мгновение он опять глянул туда, куда ушла Лиза, там ее уже не было.

Королев вскочил, вылез из паровозной будки и, хватаясь за поручень, пошел вдоль котла по карнизу.

13

Ветер рвал на нем гимнастерку, котел дышал жаром. Хотя он не привык к такой акробатике, он даже не подумал о том, что может сорваться, и не испытывал страха за себя. Тревога вела его, тревога за нее, он хотел знать, где она, что с ней стало. Быстро прошел он над колесами, над летящей землей — вдоль всего длинного котла.

Вот она где!

Впереди паровоза, перед котлом, оказалась маленькая площадка, огороженная решеткой. Лиза Кольцова стояла на этой площадке и смотрела вперед.

Он вскрикнул от радости. Она повернула к нему голову. Он перелез к ней и стал рядом.

— Мы летим! — сказала она громко, чтобы перекричать железный лязг колес.

Действительно, казалось, что они летят. Все темная громада паровоза, которая их несла, была позади. Рельсы и шпалы, уже смутно различимые, стремительно подплывали прямо под их ноги. Темные купы деревьев неслись им навстречу, меняя на ходу очертания, — превращаясь из кораблей в башни, из башен в горы, из гор в зверей. Ветер с силой дул им в лица.

— Как это здорово — лететь в ночь, в темноту, и не знать, что тебя ждет впереди, — сказала она. — Здорово, правда?

Королев не ответил, хотя почувствовал, что это действительно здорово. Он вообще теперь чувствовал все, что чувствовала она, мгновенно заражался ее чувствами.

— Словно летишь на санках с горы, — продолжала она. — Только там знаешь, куда летишь, а здесь не знаешь. Ни к чему не прикрепленная, листик, сорванный с ветки, лечу и лечу!

Он сразу тоже почувствовал себя таким же листиком, кружащимся на ветру, и сказал:

— Воля!

— Воля, — согласилась она. — Человек, который никому не нужен, волен.

В этих словах была горечь, и, хотя ему неизвестно было, чем она вызвана, он, заражаясь, сам невольно проникся горечью.

— Разве вы никому не нужны?

— А кому же? — спросила она. — Отец убит, два брата на фронтах, мать в оккупации застряла. Тут поневоле станешь вольной.

Ему было жаль ее. Такая худенькая, маленькая; ее голова едва доходила ему до плеча.

— Что ж вы хотите сделать с вашей волей? — спросил он.

— Я уже говорила вам. Сражаться.

Вспышки, озарявшие небо, становились все ярче и чаще. На короткую долю мгновения огромный мир выступал из тьмы — поляны, леса, овраги, дали, реч-

ки. Внезапно паровоз вскочил на узенький бревенчатый мостик; небо озарилось, и прямо под своими ногами, далеко внизу, между бревнами, они увидели блеснувшую воду.

— Дух захватывает! — сказала она. — Вы любите, когда захватывает дух?

— А вы? — спросил он.

— Люблю!

Небо опять передернулось вспышкой, и свет отразился у нее в глазах.

— Люди оставляют детей и уходят сражаться, — сказала она. — А мне некого оставлять, где же мне быть, как не на фронте. Только мне хотелось бы сражаться, как сражались в старину: один на один. Чтобы я видела его лицо, а он мое.

— Теперь так не бывает.

— И очень жаль. Но иногда и теперь бывает. У летчиков, у танкистов. Самолет против самолета, танк против танка. Конечно, лица не видишь, но все-таки один на один — кто хитрее, кто храбрее. Один погибнет, другой победит. Только тогда и захватывает дух, когда либо победа, либо гибель...

Королев был на полтора года старше ее и отлично понимал, сколько в словах ее детского, совсем ребяческого. Но он уже не мог не подчиняться ее чувствам, не восхищаться ею. Пылкость и яркость ее мечты заразила его; и ему тоже представлялось уже, что нет ничего упоительнее, чем встретить врага один на один, и — либо победа, либо гибель. И вся эта раздираемая вспышками ночь на паровозе, летящем неизвестно куда, казалась ему таинственно праздничной, потому что она стояла рядом.

А между тем все менялось вокруг, и нельзя было этих перемен не заметить.

Мелькание света стало непрерывным, вспышки сливались, не успевая погаснуть; было видно как днем. Шум паровоза до сих пор заглушал все внешние звуки; но теперь раскаты взрывов были так

громки, что заглушить их было невозможно. Слово исполинский зверь засел в этих лесах и рычал на бегущий мимо паровоз.

Да и леса совсем изменились. Исчезли привычные мягкие купы одетых сумраком елей, берез и осин. Деревья стояли голые, без листьев и хвои. Когда за лесом вспыхивало небо, видны были их переломанные скелеты с дико вывернутыми суставами.

Потом возник еще один звук — высокий отвратительный вой, тянущий за душу.

— Что это?

— Снаряды летят через нас, — ответил Королев.

Он взглянул ей в лицо: очень ли она испугалась? Но лицо ее ничего ему не сказало; быть может, в грохоте взрыва она и не расслышала его слов. Но когда взрыв отгремел, она проговорила:

— Если слышишь, бояться нечего. Того снаряда, который попадет, не услышишь.

«А ведь верно, — подумал он. — Как глупо, что я боюсь. Нечего бояться».

Снаряды визжали и визжали. Будто кто-то мокрой пробкой проводил по стеклу неба.

— Они видят нас? — спросила она.

— Не думаю, — ответил он. — Они давно уже бьют по железной дороге. А мы им за лесом не видны.

— Нет, видят, — сказала она. — Видят искры над трубой.

Машинист, наверно, тоже так считал, потому что паровоз вдруг дернулся и понесся вдвое быстрее. Ветер продувал их насквозь. Они неслись и неслись, а свет мелькал, снаряды выли, взрывы гремели. Но Королев смотрел не вокруг, а в ее приподнятое кверху лицо, в глаза — то озарявшиеся, то потухавшие. Он был счастлив.

Потом их дернуло вперед, прижало к железным перильцам — паровоз резко сбавил скорость. Далеко впереди, на путях, что-то темнело. Пути мягко поворачивали вправо, и весь их широкий изгиб был забит вагонами. Целый город вагонов; они были хорошо видны, потому что один дальний вагон — уже за поворотом — горел, и мечущееся пламя все освещало, колебля гигантские тени.

Паровоз замедлял ход, но казалось, что расстояния не хватит и что он врежется в вагон. Кругом все гремело, гудело, выло, дрожало и дергалось. Чем ближе подплывали вагоны, тем ясней становилось, что от них остались только обломки. Они, верно, давно уже стояли здесь, сгрудясь и перегородив путь, и артиллерия из-за леса несколько суток крошила их. Паровоз остановился в пяти шагах от ближайшего вагона, и Королев соскочил на землю.

Пробегая вдоль паровоза, он увидел Петра Петровича, стоявшего на нижней ступеньке вертикальной лесенки.

— Выводи всех, лейтенант, дальше не поедем, — крикнул ему Петр Петрович.

Девушки уже прыгали с платформы, спускались с тендера и сбивались в кучу под защитой паровоза.

— Сколько осталось до станции Ржа? — спросил Королев.

Тут всплеск света заставил его зажмуриться, грохот оглушил его, и земля ощутимо дернулась под ногами.

— Тринадцать километров, — сказал Петр Петрович, крича во всю глотку. — Но путями не идите. Он бьет по путям.

— А вы как же?

— А мы будем вагоны растаскивать. Попробуем.

— Стройся! — скомандовала Марья Ивановна высоким голосом.

Девушки строились тесно, прижимаясь друг к дружке плечами. Тревога сбивала их в кучу. «А она где?» — испугался Королев, но сразу нашел Лизу в строю. Только Луша Зверева задержалась. Она медлила у паровозной лесенки и смотрела вверх на Петра Петровича.

— А, Лушенька! — сказал Петр Петрович. — Прощай, Лушенька! Спасибо тебе!

Он гибко нагнулся и поцеловал Лушу в губы. Оторвавшись от губ, он провел по ее лицу ладонью — стер сажу, которой сам ее вымазал.

Едва они построились, новый взрыв ослепил и оглушил их.

В окне паровозной будки появилось лицо машиниста — темное стариковское лицо в очках.

— Веди их! Все равно куда! — крикнул машинист Королеву. — Что ты их держишь здесь, дурак?
И они пошли.

Куда идти?

Королев понимал, что станция Ржа им ни к чему, им нужен аэродром. У него не было карты, но ему представлялось, что от этого места до аэродрома, быть может, и не дальше, чем от станции Ржа. Да и нельзя их вести вдоль железнодорожных путей под обстрелом; из-под обстрела их нужно вывести прежде всего. Если идти вот туда, если держаться вот этого направления, они в конце концов выйдут на дорогу, соединяющую аэродром со станцией, — ту самую, по которой он несколько дней назад проехал на машине.

Был самый темный час короткой летней ночи, когда они спустились с невысокой железнодорожной насыпи и вступили в лес. Было что-то успокоительное и в знакомой лесной сырости, и в сознании, что они со всех сторон окружены стволами. Когда небо вспыхивало от взрыва, вокруг возникала целая сеть вершин, ветвей и сучьев; когда небо потухало, видны были только цветы земляники, белевшие под ногами, как иней. Королев заметил, что в руках у него нет фанерной коробки, и сообразил, что оставил ее на паровозе. Черт с ней, так легче идти, а в коробке не было ничего, чем он дорожил, кроме бритвы; но и бритва ему была не очень нужна — брился он пока только раз в неделю.

Они шли быстро, стараясь поскорее уйти от железной дороги. Они уходили все дальше, но грохот взрывов несколько не ослабевал. Дальний выстрел — вой снаряда — близкий ослепительный взрыв. Короткое мгновение тьмы, и снова — выстрел, снова — вой... Королев прислушивался, стараясь определить, с какой стороны стреляют. Но определить это было трудно; порой ему казалось, что стреляют с разных сторон. По лесу строем идти невозможно, девушки все время сбивались в кучку, жались друг к другу, — вместе им было не так страшно. Это тре-

вожило Королева — он понимал, что под обстрелом держаться кучей хуже всего. Но еще будет хуже, если они разбредутся и начнут терять друг друга в темноте...

Они шли, но от взрывов не уходили. Напротив, казалось, снаряды теперь ложились даже ближе к ним, чем прежде. Внезапно снаряд разорвался прямо перед ними, и при ослепительном блеске Королев увидел, как два громадных черных дерева скрестились и рухнули. Все девушки попадали, и он сам упал ничком в мох. Взметенная взрывом земля, шелестя, сыпалась на них с ветвей. Они встали, отряхавшись, но уже через полминуты новый взрыв заставил их упасть опять.

Так они падали, вставали, шли, падали. После каждого взрыва и падения Королев прежде всего проверял себя самого — цел ли он, есть ли у него руки и ноги. Убедясь, что он цел, он оглядывался — все ли целы? Девушки подымались, и он с радостью узнавал их одну за другой — длинную тощую Марью Ивановну, и Варвару, и круглую коротенькую Манечку, и грузную Лушу, и Лену, которая любила шить, и рыжую Томку, и Сашу Кашину, и остальных. В сумраке, в мелькании блесков, он различал их глаза, смотревшие на него с надеждой; они шли за ним, и их покорные глаза, полные доверия, терзали его. Ему казалось, что он их доверия не стоит. Опять проснулись в нем все те сомнения, которые мучили его в Мартыновке и о которых он совсем забыл на паровозе... А вот и Лиза! Она встает, отряхивает коленки...

Через несколько шагов они падали снова.

Иногда они лежали подолгу — взрывы, совсем близкие, следовали один за другим, сливаясь, прижимали их к земле и не давали встать. А когда они, наконец, вставали, поваленные деревья на каждом шагу загораживали им дорогу. Они обходили завалы, и вскоре Королеву стало казаться, что они теперь идут совсем не в ту сторону, куда направлялись вначале.

Он вел девушек наугад и все меньше верил, что ведет их правильно. Иногда ему представлялось, что стоит им пройти несколько шагов, и они выйдут на

дорогу, ведущую к аэродрому. Иногда, напротив, ему вдруг приходило в голову, что они давно уже идут обратно и вот-вот окажутся снова на железнодорожных путях. Теперь он этому даже обрадовался бы; там было бы по крайней мере ясно, в какую сторону нужно идти. Но и железной дороги не было, а был один только искалеченный переломанный лес, бесконечный и безвыходный.

А между тем небо над ними уже слегка посветлело, порозовело, и весь сумрак вокруг стал розовато-серым. Начинался рассвет. Высоко-высоко в небе зажглись ясным пламенем маленькие облачка, и было удивительно смотреть на них и думать, что там, в вышине, нет обстрела. В редкие минуты тишины над их головами раздавалась отрывочная птичья скороговорка; значит, в этом лесу еще не все живое убито; и начинало казаться, что тишина эта удержится надолго, что будет еще и утро, и выход, и жизнь. Но затем сразу томительно выл снаряд, и они опять лежали, уткнувшись лицами в папоротник, и громадные деревья падали рядом с ними, и на спины им сыпались комья земли.

Сейчас, когда рассвело, они хорошо видели лица друг друга: очень бледные лица, с пятнами грязи, с очень большими глазами. И Королев подумал, что ведь и они видят его бледное, грязное, растерянное лицо, и понимают, что он не знает, куда вести их, и винят его во всем. И чувство вины перед ними было так тяжело, что он старался поменьше глядеть на них, и когда на него глядели, отворачивался.

Рядом с Королевым шла Манечка. Она давно уже держалась возле него. Когда приближался снаряд, она брала его за руку и дергала вниз, чтобы он лег. И он послушно ложился, и они лежали рядом и вместе вставали. И однажды, вставая, Манечка сказала ему:

— Ничего, Игорь, выйдем. Ты не расстраивайся. Поплутаем немного и выйдем.

И он понял, что они вовсе не считают его виноватым, не сердятся за то, что он не знает, куда вести их.

Да он уже больше никуда их не вел. Он вместе со всеми падал, вместе со всеми вставал и брел туда,

куда брели все. А все брели уже не за ним, а за Лизой Кольцовой, которая оказалась впереди и всякий раз, когда они поднимались с земли, первая шла куда-то.

Он долго не мог понять, чем она руководствуется, выбирая направление, потому что для него давно уже все направления были равны. Она избавила его от необходимости принимать решения, и он был ей за это благодарен. Ему нравилось постоянно видеть ее впереди себя, легкую и узкую, как стрелочка. Она легко падала, легко вскакивала, легко находила проходы между завалами стволов и вела их уверенно, не проявляя сомнений.

Потом он сообразил, что руководствовалась она только светом, шла в ту сторону, где лес казался реже и посветлее. Действительно, была одна такая сторона — посмотришь туда, и кажется, что лес скоро кончится, что там, за стволами, пустое пространство. Сообразив, он одобрил ее: а вдруг там дорога, или железнодорожная насыпь, или еще что-нибудь новое, а не этот безвыходный лес. Теперь ему казалось, что стоит им выйти из леса, и они найдут своих, поймут, что делать дальше...

Их опять свалило и прижало к земле; грохот перекатывался через них волнами и долго-долго не давал им встать. Потом все смолкло; в наступившей тишине они недоверчиво подымали головы, нерешительно вставали. И все сразу побежали вперед за Лизой — туда, где стволы стояли пореже, где среди поломанных веток светлело небо.

Нет, это еще не был конец леса. Это был луг в лесу, и даже не луг, а подсохшее, поросшее длинной жесткой травой болотце. Снаряды изрыли его, вспахали, вывернули черную землю наружу; в свежих ямах блестела вода. Болотце с трех сторон было окружено лесом; а с четвертой стороны, впереди, его окаймляли редкие очень высокие сосны. У всех у них были посбиты вершины, и только одна, самая большая, двухвершинная, раздвоенная, как лира, была совершенно цела. За соснами светлело небо. Что там? Овраг? Река?

— Смотрите! Люди! Наши! — крикнула Манечка. Лиза Кольцова уже бежала вперед.

Два человека сидели под раздвоенной, как лира, сосной. Два бойца.

Один сидел к ним боком, низко наклонив голову, и словно что-то рассматривал у себя на коленях. Другой сидел, прислонясь к сосне и смотрел прямо на них.

Королев замахал им руками и побежал вслед за Лизой. Бойцам этим он обрадовался, как избавлению. Теперь их укроют, помогут им, укажут... Полный надежды бежал он за Лизой, прыгал через ямы и махал руками.

Но Лиза бежала все медленнее. Она уже не бежала, а шла. Она остановилась.

Действительно, что-то странное было в этих двух бойцах. Слишком уж неподвижно они сидели.

Остановился и Королев.

Теперь уже было ясно, что это трупы.

Оба бойца были убиты возле неглубокого окопчика, который они рыли у сосны. Окопчик они кончить не успели. Здесь, под соснами, место было песчаное, и мелкий желтый песок, вынутый из ямки, лежал горкой. Валялись тут и две их короткие лопаты — одну из них взрывом отбросило довольно далеко. Два автомата лежали в жестких листьях брусники.

Лиза подняла один автомат и, держа перед собой, осмотрела.

— Как из него стреляют? — спросила она Королева.

Королев взял автомат из ее рук. Все патроны были целы. Хозяину этого автомата не пришлось стрелять. Он не видел людей, которые его убили; он убит был снарядом.

Королев дал короткую очередь вверх. Лиза кивнула, взяла автомат и тоже дала короткую очередь вверх. И больше с автоматом не расставалась.

Тем временем все девушки перешли через болотце и подошли к убитым. Они, уверявшие, что боятся покойников, рассматривали мертвых без страха, заглядывали в лица. Эти незнакомые убитые бойцы были им близки и потому не страшны.

За рошей высоких сосен оказалась не река, а громадное поле. Оно полого шло вверх, и там, впереди, километрах в четырех, в пяти, была гривка холма; и ничего не было видно за этой гривкой, и казалось, что за полем и нет ничего, кроме неба. А небо сияло утренней чистотой, и только что вставшее ясное солнце косо озаряло травы, седые от росы, пестрые от цветов и такие уже высокие и густые, что рябь, оставленная в них артиллерийским обстрелом, не сразу бросалась в глаза.

Озирая эту освещенную ликующим солнцем цветущую пустыню, Королев совсем близко, справа от себя, у самых сосен увидел длинный окоп; и не окоп даже, а ряд неглубоких песчаных ям с обсыпавшимися краями. И в ямах и вокруг них лежало много бойцов. Только убитые, ни одного живого. Теперь уже Королев не ошибся, теперь он понял это с первого взгляда. Они убиты давно; в течение ночи их, мертвых, много раз переворачивали и раскидывали взрывы.

Девушки одна за другой подходили к ближней яме окопа, собирались возле нее стайкой и смотрели вниз. Глядя на них, Королев любил их и ненавидел себя. Зачем он привел их сюда, живых и хрупких, как все живое? Ведь он даже не знает, в какой стороне тот аэродром, на который он ведет их, и кто там сейчас, на том аэродроме. И он ли виноват? Или не он, а какая-то всемогущая сила, которая вела и его и их?..

17

Тут раздался дальний короткий выстрел, точно лопнула какая-то пружина, — и первый снаряд отвратительно провизжал в воздухе. Он упал в поле, километрах в двух от них, и черное ветвистое дерево дыма выросло там, где он взорвался. И сейчас же еще выстрел, еще и еще, по три сразу, и вся голубая бездна воздуха над ними стала тяжело дрожать, и ощутимо вздрагивала земля под ногами, и черные дымы взрывов вырастали в поле, как лес. И снаряды ложились все ближе, и весь этот черный лес дымов наступал, приближался, надвигался на них.

Девушки одна за другой стали прыгать в яму, и Королев прыгнул вслед за ними, хотя мертвый боец, лежавший ничком на дне, ясно говорил им, что яма эта — плохая защита. Они сели на корточки, опустили головы, прижались спинами к песчаной стенке. Цепь взрывов приближалась, как волна, и, как волна, перекатилась через них. Теперь она бушевала с другой стороны — не в поле, а в лесу.

Все сидели на корточках; одна только Лиза стояла. Через край ямы она смотрела вдаль, в поле, и что-то там видела. Королев встал рядом с ней и глянул.

Поле полого уходило вверх, и там, на гривке, у черты, отделявшей землю от неба, он увидел два танка. Вражеские, низкие, черные танки. Они переваляли через гривку и покатались по полю вниз. Издали их движения казались медленными. Потом на гривке появились еще два танка. Они покатались вниз, а на гривке возникло еще два. Теперь уже не казалось, что они движутся медленно. Видны только их морды, бока не видны совсем. Они шли через поле прямо на их яму.

Лиза повернулась к Королеву и что-то крикнула ему, но вокруг так гремело, что он ничего не расслышал. Она села, сняла с себя сапоги, размотала портянки. Босая, она выскочила из ямы и во весь дух побежала вдоль сосен, по самому краю поля.

Королев выскочил из ямы, чтобы поймать и задержать ее. Но, выскочив, внезапно понял, что она задумала. И понял, что сделать это должен был он сам. Нужно танки заставить свернуть. Только так можно спасти тех, кто в яме. Нужно, чтобы танки прошли мимо. Нужно как можно дальше отбежать от ямы, и повести танки за собой, и принять их на себя.

Он бежал вслед за Лизой — открыто, во весь рост. Он почти догнал ее. Они бежали по самому краю леса, и Королев стал опасаться, что из танков на фоне леса не видят ни его, ни Лизы. Но Лиза знала, что делать. Она вдруг круто повернула в поле и понеслась прочь от леса по высокой траве. Они бежали рядом. Здесь, в поле, их хорошо видно. Им нужно было только одно: чтобы их заметили. Танки надо



заставить свернуть. Танки должны свернуть и пойти на них.

Отсюда, с поля, ямы перед соснами угадывались по желтым кучкам песка. Та яма, в которой спрятались девушки, была только точкой в огромном просторе, и так легко было пройти мимо нее. Но танки черной цепочкой, как нацеленные, шли прямо туда, к раздвоенной сосне, к желтеющему песку. Королев подскакивал на бегу, чтобы его не могли не заметить. Он вертелся и крутился, подпрыгивал, он размахивал в воздухе автоматом, он стрелял. Лиза подпрыгивала и стреляла тоже.

Но танки шли неуклонно, не обращая внимания ни на него, ни на Лизу, ни на их автоматы. Как черные корабли плыли они по высокой траве, покачиваясь на неровностях вспоротого снарядами поля, — к сосне, к яме. Неужели Королев и Лиза не видны из этих железных коробок? Бешенство охватило Королеву. Он кричал во весь голос, но и сам не слышал своего крика — так гремели падавшие в лес снаряды.

Он уже стал приходить в отчаянье, когда вдруг передний танк начал плавно заворачивать вправо.

Описав широкую дугу в траве, танки повернули один за другим и пошли на Королеву и Лизу.

Построившись в ряд, они шли на них, двоих, — все шесть танков.

И необычайное облегчение испытал Королев, увидев этот их поворот.

Он взглянул на Лизу. Маленькое бледное лицо ее сияло задором и торжеством. «Ну, тогда все хорошо, все правильно», — подумал он.

Они то ложились в траву ничком и стреляли в растущие, подымающиеся и опускающиеся морды танков, то вскакивали и бежали, стараясь заставить их повернуть еще круче. Потом патроны кончились; они бросили свои автоматы. Лиза взяла Королеву за руку, и они побежали вдвоем, ныряя в высокой траве, в желтых, белых и синих цветах — как две обреченные птицы, уводящие охотника от гнезда с птенцами.

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

В тот самый день, когда по радио сообщили, что Берлин взят нашими войсками, летчик Коля Седов был сбит зенитным снарядом.

Это видел летчик Лукин, всегда летавший вместе с Седовым. Они вдвоем кружили над морем, следя за движением немецких кораблей, удиравших из Либавы. В Либаве и ее окрестностях немцы были нашими войсками вплотную прижаты к морю и могли удирать только по воде. Истребители Лукин и Седов вели разведку: выслеживали уходившие немецкие суда.

Оба они знали, что война вот-вот кончится, что немцы обречены и что эта разведка, быть может, последнее боевое задание, которое им поручили. Чувство торжества и счастья не покидало их в полете ни на мгновение. А между тем разведка оказалась трудной, потому что ветер гнал по морю длинные полосы тумана. Коля Седов только оттого и попал под снаряд, что слишком близко подошел к удиравшему суденышку, стараясь разглядеть его сквозь туман.

У Лукина горючего оставалось на семь минут полета — ровно столько, сколько нужно, чтобы долететь до аэродрома. Он как раз собирался повернуть к дому и приказать Седову следовать за собой. Они могли разговаривать друг с другом в полете, потому что у обоих были радиоаппараты. Но не успел он произнести ни слова, как услышал у себя в шлемофоне резкий грохот — это в самолете Седова взорвался снаряд. Лукин обернулся, увидел пылающий само-

лет, волочащий за собой столб бурого дыма, и помчался к нему.

Седов выпрыгнул из самолета. Метров восемьсот пролетел он, не раскрывая парашюта. Наконец парашют раскрылся, и падение резко замедлилось. Лукин успел, снижаясь, два раза облететь вокруг Седова, прежде чем тот коснулся гребней волн.

Кружась вокруг парашюта, мечущегося на ветру, Лукин думал только об одном: раскроется у Седова резиновая лодка или не раскроется? Как все морские летчики, Седов был снабжен резиновой лодкой, занимавшей в сложенном виде очень мало места и раскрывавшейся от прикосновения к воде.

Лукин тоже имел такую лодку, но никогда не видал, как она раскрывается, и потому не был уверен, раскроется ли лодка Седова. Но не успел он сделать третьего круга, как лодка раскрылась. Она была похожа на байдарку или на каяк эскимоса. В ней сидел Седов и махал Лукину рукой.

Летя теперь над самой водой, Лукин с удивлением заметил, как высоки волны. Сверху, с высоты двух тысяч метров, где он только что был, море не казалось ему таким бурным. Волосы Седова развевались по ветру — он, падая, потерял свой шлем.

Лукин ничем сейчас не мог ему помочь. Он убедился, что немецкого судна, сбившего Седова, отсюда, снизу, не видно. До берега было километров восемь. Горючего у Лукина осталось на три минуты. Медлить больше невозможно. Он взмыл и помчался.

Чтобы добраться до аэродрома, ему нужно было долететь до берега и перемахнуть через береговую полосу, где все еще держались немцы. Аэродром был расположен позади немцев, на поляне посреди леса, и на такой далекий путь горючего уже никак хватить не могло. Был только один выход — за оставшиеся три минуты подняться как можно выше и оттуда, с высоты, попытаться спланировать на аэродром. И Лукин понесся к берегу, круто набирая высоту.

О себе он не беспокоился. Он был уже немолод, двадцать лет проработал в авиации, обучил несколько поколений летчиков, служа инструктором в легкой школе, провоевал всю войну с первого дня и

управлял самолетом, как собственным телом, — почти без размышлений, твердо и уверенно. Он думал только о Седове. Коля Седов был гораздо моложе Лукина и казался Лукину почти ребенком. Последние три года они не разлучались: спали вместе, ели вместе, во всех полетах и боях были вместе.

Летчики-истребители летают парами, и такую пару составляли Лукин и Седов; Лукин был ведущий, а Седов — ведомый. В воздушном бою ведущий выслеживает и догоняет противника, наносит ему удар, а ведомый сзади охраняет ведущего, потому что летчик-истребитель на самолете один не может одновременно смотреть и вперед и назад. Седов, охраняя Лукина, столько раз спасал его от смерти, что между ними установилась совсем особая близость, редко встречающаяся между людьми других профессий.

Три минуты кончились, когда Лукин находился как раз над береговой чертой. Мотор замолк, наступила странная, непривычная тишина. В этой тишине самолет продолжал двигаться вперед, медленно снижаясь. Немецкая зенитка раза три выстрелила по Лукину и замолчала: слишком еще высоко он находился, чтобы надеяться в него попасть. Ветер дул с моря, попутный, и очень помогал Лукину; однако над линией фронта он прошел уже так низко, что мог различить пулеметчиков, лежавших у пулеметов.

Теперь до самого аэродрома был только лес, ни одной поляны, где можно было бы сесть. Лукин медленно плыл на беззвучном самолете над щетиною елок, которые, казалось, поджидали его. Прямо перед собой он увидел бугор, поросший лесом, и в течение нескольких секунд был почти убежден, что этого бугра ему не преодолеть. Но порыв ветра перетащил его через верхушку бугра. Отсюда уже виден был аэродром. Самолет Лукина выпустил шасси. Почти касаясь колесами острых еловых вершин, он пролетел последнюю сотню метров и опустился на самый край аэродрома.

Приказав своему технику заправить самолет горючим, Лукин побежал к землянке, где помещался командный пункт полка. Снег сошел еще совсем недавно, на аэродроме блестели лужи, меховые унты

Лукина сразу намокли, и бежать было трудно. Пар валил от него, когда он, запыхавшийся, стоял перед командиром полка и докладывал о том, что случилось с Седовым.

Офицеры штаба полка, сидя между необтесанных бревен, подпиравших потолок, были сегодня заняты той же работой, что всегда: говорили по телефону с дивизией, составляли донесения, чертили графики боев; как всегда, несколько летчиков, неуклюжих и огромных, словно медведи, толпились у входа в ожидании приказаний; как всегда, как каждый день, дневальные и связные топили печурку, подметали пол, но на всех лицах сегодня было что-то новое, торжественное и счастливое. Все они уже знали, что победа одержана, что Берлин взят, что вот-вот немцы капитулируют — и войне конец.

Выслушав доклад Лукина, командир полка приказал немедленно позвонить в дивизию, чтобы на помощь Седову выслали гидросамолет и катер. Посмотрев на лицо Лукина, расстроенное, утомленное и раскрасневшееся, он сказал ему мягко:

— А вы пойдите и отдохните.

К Лукину в полку относились с особым уважением не только потому, что он был одним из лучших летчиков, но и потому, что он был старше всех по возрасту. Сам командир полка лет десять назад курсантом учился у Лукина фигурам высшего пилотажа. Он всегда старался предоставить Лукину покой и отдых, если это было возможно. Но Лукин не ушел.

— Гидросамолет могут подбить «фокке-вульф», — сказал он.

— Я вышлю кого-нибудь из наших летчиков для сопровождения гидросамолета, — ответил командир полка.

Лицо Лукина стало упрямым.

— Они не найдут, — сказал он. — А я знаю это место наизусть.

Командир понял, что удерживать его не стоит. Лукин выскочил из землянки командного пункта и, тяжело дыша, побежал к своему самолету.

С гидросамолетом он встретился в условленном месте над морем. Гидросамолет, громоздкий, неук-

люжий, с трудом преодолевал ветер, который стал еще сильнее. Два длинных поплавка, подвешенных снизу, — реданы — делали его медлительным и неповоротливым в воздухе. В безветренную погоду он, конечно, имел бесспорные достоинства, так как был силен и мог поднять много груза, но при ветре летать на нем было трудно. Ветер не обтекал его, а ударял плашмя в его широкое тело с разными пристроечками и башенками, сбивал с курса, кренил, поворачивал. Лукин кружился перед ним, то залетая далеко вперед, то возвращаясь, чтобы не потерять его из виду. Эта необходимость возвращаться раздражала и тревожила Лукина. Он чувствовал, что приближаются сумерки.

В сущности, сумерки уже начались. День был пасмурный, тусклый, но к этой тусклости примешивалась уже особая тень — знак близящейся ночи. Еще чуть-чуть стемнеет, и нелегко будет отыскать Седова в его крохотной лодочке среди бесконечного простора моря. Не совладав со своим беспокойством, Лукин оставил гидросамолет далеко позади и помчался вперед один.

Он то взмывал ввысь, чтобы видеть как можно шире и дальше, то опускался к самым волнам, чтобы лучше их разглядеть. Волны испугали его. Они вздымались тяжелыми бурыми буграми, рябями от ветра, и были теперь гораздо больше, чем во время его прошлого полета. Ветер, как назло, крепчал, тучи стремительно неслись над морем, разыгрывалась буря, и страшно было подумать, что должен был чувствовать Коля Седов в своей крохотной лодочке. Жив ли он еще?

И вдруг Лукин заметил над морем хорошо знакомый ему силуэт «фокке-вульфа».

Немецкий истребитель «фокке-вульф» взлетал свечкой вверх, потом переворачивался и почти отвесно шел к воде, стреляя из пулемета. Вода кипела под ним от пуль. Выпустив очередь, «фокке-вульф» переворачивался над самой водой и опять несся вверх, чтобы снова ринуться вниз, стреляя.

Круто повернув, Лукин помчался к «фокке-вульфу». Но «фокке-вульф», заметив советский истребитель, бросил свое занятие и на предельной ско-

рости понесся к берегу. В эти последние дни войны немецкие летчики уже не решались вступать в бой с советскими самолетами.

Лукин не стал его преследовать. Он домчался до того места, где только что вода кипела под пулями, и увидел маленькую лодочку, которая качалась на волнах. Седов не сидел в лодочке, а лежал ничком. Лукин видел только его спину. Он уже не сомневался, что «фокке-вульф» удалось застрелить Седова. Вдруг Седов поднял лицо и взглянул прямо на самолет Лукина. Он сел и замахал Лукину рукой. Несмотря на сумерки, Лукин был убежден, что Седов ему улыбнулся.

Лодочка Седова с необыкновенной легкостью взлетала на гребень волны, а потом скользила вниз, в провал между волнами. Надутая воздухом, она оказалась удивительно устойчивой. Седов сидел в ней и греб руками, как веслами. Он греб, направив нос лодочки в сторону открытого моря, стараясь уйти от захваченного немцами берега, к которому его несло ветром.

Лукин давно уже заметил, что расстояние между Седовым и берегом сильно уменьшилось. Гребя ладонями, трудно держаться против такого сильного ветра. Да и долго ли можно так грести? Ветер принесет его к немцам. Лукин сделал круг и опять помчался к Седову. На этот раз он пронесся от него так близко, что едва не задел. В течение мгновения между ними было не больше двух-трех метров, и все же он не мог помочь ему, не мог сказать ему ни слова. Промчавшись мимо, он увидел приближающийся гидросамолет.

Гидросамолет шел низко над водой, почти касаясь вершушек волн своими длинными поплавками. Командир экипажа — на гидросамолете был экипаж из трех человек — вел свой странный, похожий на громадную водяную птицу корабль прямо к Седову.

Лукин ждал, что гидросамолет вот-вот сядет на воду и подберет Седова. Но случилось не так. Долежав до Седова, гидросамолет, вместо того чтобы сесть, понесся дальше, слегка набирая высоту. Отойдя метров на двести, он сделал круг и полетел об-

ратно. Но опять не сел возле Седова, а пронесся мимо.

Лукин связался с командиром гидросамолета по радио.

— Садитесь! — закричал он ему. — Отчего вы не сели?

— Сесть при таком ветре нельзя, — услышал он в ответ. — Нас перевернет.

— А вдруг не перевернет?

— Перевернет наверняка.

Лукин и сам понимал, что перевернет. Командир гидросамолета сказал ему, что с юга идут три катера на помощь Седову, он сам их видел несколько минут назад. Лукин полетел навстречу катерам.

Быстро темнело, и катера он заметил только по белым бурунчикам. Он подлетел к ним близко. Они стремительно шли кильватерной колонной, рассекая волны, тонкие радиомачты раскачивались. С катеров заметили его самолет, и он повел их прямо к Седову, то залетая вперед, то возвращаясь.

До Седова оставалось не больше двух километров, как вдруг катера замедлили ход. Они перестроились, слегка отступили и начали медленно обходить Седова по большой дуге. Эта непонятная задержка вывела Лукина из себя. Темнота сгущалась каждое мгновение, через несколько минут он уже и сам не найдет Седова.

Не имея возможности разговаривать по радио с командирами катеров, он связался с командным пунктом своего полка. Может быть, там что-нибудь знают. С командного пункта полка позвонили на базу катеров, а тем временем, пока тянулись эти переговоры, все три катера повернули и пошли прочь, в открытое море.

Лукин в отчаянии и бешенстве кружил над ними. Наконец с командного пункта полка ему сообщили:

— Мины.

— Какие мины?

— Море в этих местах заминировано. Седов находится в самой середине минного поля. Катера подойти к нему не могут. Вот если бы не так темно...

Все это было как какое-то колдовство. словно

заколдованный, сидел Седов в своей резиновой лодочке, и снять его оттуда не было никакой возможности. Совсем стемнело. Лукин больше не видел ни волн, ни Седова. Дальнейшие попытки спасения приходилось отложить до утра. Лукину оставалось только одно: вернуться на аэродром. В мучительной тоске летел он над темным морем, над темным лесом.

Мины Седову не страшны — лодочка его слишком легка, чтобы подорваться на mine. Не страшны ему пока и «фокке-вульфы» — они не найдут Седова в темноте, да и не станут искать. Вот разве на рассвете... Но увидит ли еще Коля Седов этот рассвет? Его или перевернет волной, или вынесет на берег, к немцам...

Сдав самолет технику, Лукин, не ужиная, побрел по темному, пустынному аэродрому к кубрику. Морские летчики, подобно морякам, то помещение, в котором спят, называют кубриком. Обычно это просторная землянка на краю аэродрома, защищенная от вражеских бомб тремя-четырьмя накатами толстых бревен. В кубрике, где жил Лукин, горела яркая электрическая лампа, озарявшая девять коек. Летчики уже поужинали и только что пришли из столовой. В столовой они слушали московскую радиопередачу, полную подробностей взятия Берлина, и обсуждали ее, рассаживаясь по своим койкам.

Они все уже знали о несчастье с Седовым и, увидев Лукина, приумолкли. Они любили Седова, боялись за его судьбу и жалели, что в такой счастливый день его нет вместе с ними. Им было жалко и Лукина — лысеющий, пожилой, с утомленным лицом, он, казалось, осунулся за этот день и еще постарел. Они стали убеждать его, что, пока Седов жив, еще не все пропало, и советовали ему пойти поужинать.

Но Лукину совсем не хотелось есть. Не раздеваясь, он лег на свою койку. Койка Седова была пуста. Лукин всегда спал рядом с Седовым, между их койками стояла только небольшая тумбочка, вроде шкафчика, служившая им обоим. Лукин привык видеть совсем близко голову Седова с раскинутыми по подушке почти желтыми волосами, привык слышать его дыхание.

Дверца тумбочки была выломана, и там, внутри, на виду у всех, лежали вместе мелкие вещи Лукина и Седова. У Лукина вещей было мало — зубная щетка, бритвенный прибор; зато Седов хранил в тумбочке много всяких пустяков, которыми очень дорожил: карандашик в металлической оправе, трубку с чертиком, кинжал, набор зажигалок и мундштуков, коробочки, флакончики, даже пуговицы... В увлечении Коли Седова этим вздором было много еще совсем детского, очень милого для Лукина. Каждая эта вещь была хорошо знакома Лукину, и, глядя на них, он вспомнил смех Седова, его веселые, смелые, добрые глаза.

Толстой пачкой лежали в тумбочке письма, которые Седов получил из дому за три года войны. У Седова были отец, мать и две сестры, обе моложе его, младшая совсем маленькая. У Лукина не было родных — родители давно умерли, а своей семьей не обзавелся. Родных Седова он никогда не видел, но знал о них все, словно прожил вместе с ними много лет. Седов всегда рассказывал ему про них, показывал все письма из дому. И Лукину было хорошо известно каждое письмо в этой пачке.

Все уже спали, и один только Лукин бессонными глазами глядел в потолок, когда в кубрик вошел командир полка. Он подошел к койке Лукина, сел у его ног и вполголоса, чтобы никого не разбудить, стал обсуждать с ним план спасения Седова. Он говорил деловито, не выражая ни сожалений, ни соболезнований, не уверяя, что все непременно кончится благополучно. И за эту сдержанность Лукин был ему благодарен.

Они оба сразу сошлись на том, что Лукину следует вылететь при первых проблесках зари, чтобы найти Седова раньше, чем его найдут «фокке-вульфы». Командир полка больше не предлагал послать кого-нибудь вместо Лукина. В остальном опять было решено испытать и катера и гидросамолет. Ничего другого нельзя было придумать.

— Прогноз погоды на завтра хороший, — сказал командир полка, уходя. — Через час ветер уляжется, и волны станут меньше.

После его ухода Лукин вышел из землянки по-

смотреть, что делается на дворе. Ночь для начала мая была на редкость темная, черные тучи низко неслись над лесом, ветер кидал из стороны в сторону тяжелые лапы елей. Все это не предвещало ничего доброго. О хорошей погоде командир полка говорил, конечно, просто так, в утешение.

Вернувшись в кубрик, Лукин опять лег на свою койку, даже не пытаясь заснуть. Светало очень рано, до рассвета оставалось часа два. Два часа пролежал он не двигаясь. Потом снова вышел.

Ночь еще не кончилась. Но как все изменилось! Тучи исчезли, и большие звезды сияли на высоком небе, начинавшем уже слегка бледнеть. Очертания деревьев неподвижно чернели в холодном воздухе. Ветра не было.

На востоке за лесом чуть-чуть розовело. Пора. В тающих сумерках самолет Лукина понесся на запад, к морю.

Он пролетел через немцев, прижатых к берегу, и был уже далеко над морем, когда сзади, из-за берега, встало солнце. Оно сначала позолотило легкие облачка в вышине, потом озарило самолет. Лучи его сверкали так ослепительно, что в сторону берега было нестерпимо смотреть. И только до моря они еще не добрались — над морем все еще клубился синий сумрак.

Но вот, наконец, озарилось и море. Волны все еще были велики, но катились как-то лениво. Ветер не рябил их, как вчера, не срывал с них верхушки, не пенил. Ни клочка тумана над волнами; весь огромный простор был отчетливо виден от горизонта до горизонта.

Бесконечная сияющая пустыня. Ни дымка, ни паруса. И нигде ни малейшего признака маленькой лодочки Седова.

Лукин несся то вверх, чтобы видеть подальше, то над самыми волнами, чтобы не пропустить ни одного метра поверхности. Он то приближался к берегу, то уходил в открытое море. Он сворачивал все чаще, кидаясь то в одну сторону, то в другую. Седова не было.

Лукин в отчаянии готов был уже сообщить на командный пункт, что ночью Седов погиб и дальше



искать его бесполезно, как вдруг на поверхности моря, в стороне берега, заметил несколько всплесков — словно большая рыба, разыгравшись на солнце, пыталась выскочить из воды. Лукин отлично знал, что это такое. Такими с высоты кажутся разрывы артиллерийских снарядов, падающих в воду. Немецкие береговые батареи обстреливали море. Почему?

Солнце, висевшее над самым берегом, слепило глаза и мешало смотреть. Лукин мчался навстречу солнцу, к берегу. Теперь, когда он подлетел ближе, разрывы снарядов казались ему не всплесками, а столбами белой пены и бурого дыма. Эти столбы, возникающие на широком пространстве, были особенно густы в одном месте. И там, где разрывы снарядов были гуще всего, Лукин увидел лодочку Седова.

Лукин понял, почему он не видел ее до сих пор. Она находилась слишком близко от берега, ближе, чем он предполагал, и солнце мешало ему смотреть. От Седова до берега было не больше двух километров.

Немцы видели Седова отлично, солнце им не мешало, и они били по нему прямой наводкой. Снаряды разрывались то справа, то слева, то перед ним, то за ним. В такую маленькую цель попасть нелегко, и все же некоторые снаряды разрывались так близко, что лодочку подкидывало.

Среди всех этих взрывов Седов неподвижно сидел в своей лодочке, ко всему равнодушный. Казалось, он дремал. Он больше не греб руками — вероятно, у него уже не было сил грести. Может быть, он умер? Но когда Лукин пронесся над самой головой Седова и обернулся, ему показалось, что Седов приподнял голову и смотрит на него...

Наконец появился гидросамолет. Ветра не было, гидросамолет мог сесть на воду, не рискуя перевернуться. Лукин помчался к нему навстречу, чтобы привести его к Седову. Теперь Лукин был спокоен. Если в ближайшие три минуты ни один снаряд не попадет в лодочку, Седов будет спасен.

Гидросамолет сел на воду в полукилометре от Седова и, как большая белая водяная птица, поплыл к нему, оставляя за собой длинный пенистый след.

И сразу же немецкие артиллеристы, обрадовавшись, что перед ними такая крупная мишень, оставили Седова в покое и перенесли весь огонь на плывущий гидросамолет. По Седову стреляла одна батарея, по гидросамолету было по крайней мере пять батарей — весь берег осыпал его снарядами. Столбы воды ежесекундно обступали его со всех сторон, окружали его все теснее.

Гидросамолет несколько замедлил ход, свернул сперва вправо, потом влево. Некоторое время он, плывя широкими зигзагами, все еще пытался двигаться в сторону Седова. Но скоро взрывы окончательно преградили ему путь, и он только метался, стараясь увернуться. Лукин понял, что гидросамолет погибнет, если сейчас же не взлетит. И гидросамолет взлетел.

Лукин низко носился большими кругами над Седовым, измученный своей беспомощностью. Немцы на берегу окружены, разгромлены, и надеяться им не на что. Седов жив, качается на волнах в своей лодочке, озаренный ласковым майским солнцем; лучший друг его Лукин то и дело проносится над самой его головой, и все же он обречен, и спасти его никак не удастся. Гибель Седова не принесет немцам никакой пользы, их злоба бессмысленна, и все-таки они его погубят. Неужели им позволят его погубить? Не может этого быть!

Командный пункт полка поминутно запрашивал Лукина о положении дел. Из переговоров по радио Лукин знал, что все наши авиационные, морские и сухопутные части, расположенные вокруг на сто километров, знают о Седове и внимательно следят за его судьбой. Сам командующий флотом приказал сделать все возможное, чтобы Седов был спасен. И действительно, все возможное делалось — там, за минным полем, уже сияли на солнце присланные для спасения Седова катера.

По правде сказать, к их появлению Лукин вначале отнесся довольно равнодушно — они ведь приходили сюда и вчера вечером. Впрочем, на этот раз у них, видимо, был какой-то особый план. Два катера — один совсем маленький, другой побольше — двинулись необыкновенно сложным и извилистым

путем в глубь минного поля. Лукин понимал, что вблизи от берега мин нет и что минное поле уже осталось позади Седова, — немцы обычно не ставили мин у самого берега, чтобы дать возможность своим судам двигаться вдоль береговой полосы. Но катерам, стремящимся подойти к Седову со стороны открытого моря, нужно преодолеть широкое заминированное пространство.

Страшно было смотреть, как шли они ощупью, один по следу другого, то сворачивая, то останавливаясь, иногда даже пятясь назад. При свете дня мину легче заметить, чем в сумерки, и все же каждое мгновение Лукин ждал взрыва. Но взрыва не было. Оба катера медленно, но упорно приближались к берегу, и мало-помалу их движения становились все увереннее. Видимо, самую страшную часть минного поля им удалось уже преодолеть.

И все-таки Лукину казалось, что они совершили этот опасный и сложный подвиг напрасно. Он знал, что катер — еще лучшая мишень для артиллерии, чем плывущий по воде гидросамолет.

Немцы пока не стреляли. Они притаились, следя за движениями катеров, чтобы подпустить их поближе и бить наверняка. И первый снаряд взорвался как раз в то мгновение, когда оба катера, почувствовав, что вышли на свободную воду, стремительно понеслись вперед.

Они неслись, а снаряды рвались вокруг, и сверкающие столбы обступали их все гуще и гуще. И вдруг над передним катером возникло небольшое плотное облачко дыма. Лукину сначала показалось, что в катер попал снаряд и поджег его. Нет, он ошибся. Облачко дыма росло, росло, росло, протянулось за катером бесконечным хвостом и, повиснув огромным занавесом, скрыло полморя. И Лукин, ликуя, понял: дымовая завеса!

Немцы тоже поняли, и огонь всех своих батарей сосредоточили на маленьком катере. Волоча за собой все расширяющийся дымный хвост, он, бесстрашный, мчался... нет, не к Седову, а прямо к берегу, по клочущему от взрывов морю. Потом повернул и понесся между берегом и Седовым. Опять повернул и сам скрылся за своей завесой.

Стена плотного дыма, растянувшись на много километров, скрыла от немцев и Седова и оба катера. Немцы перестали стрелять. Лукин тоже ничего не видел, потому что и сам попал в дымную мглу, подымавшуюся все выше.

Когда он, наконец, из нее выбрался, он снова нашел лодочку Седова. Она была пуста. Два катера осторожно пробирались гуськом через минное поле, направляясь в открытое море.

Час спустя Лукин сидел в землянке командного пункта полка и звонил по телефону на базу катеров. Оттуда ему сообщили, что Седова уже привезли.

— Ну, как он? Здоров?

— Здоров.

— Что делает?

— Спит.

Лукин и сам очень хотел спать. От бессонной ночи, от длинного полета, от пережитого волнения он весь был полон счастливой усталости. Он пошел в кубрик, разделся и лег. «Седов спасен», — думал он, засыпая.

Спал он спокойно и очень долго, много часов. «Седов спасен!» — подумал он, проснувшись. Он пошел в землянку командного пункта и опять позвонил на базу катеров.

— Седов спит, — ответили ему.

— Еще не просыпался?

— Не просыпался.

В этот день так ему и не удалось поговорить с Седовым — Седов спал. Только на следующее утро Седов, наконец, подошел к телефону.

— Коля!.. Ну как, выспался?

— Выспался.

— Очень было трудно на лодке?

— Очень. Ночью меня чайки измучили, кружились надо мной, садились на голову, на плечи, я только и делал, что гонял их... Я знал, что меня выручат.

— Знал?

— Не сомневался... А ты слышал новость? Только что сообщили — Германия капитулировала.

Война кончилась. Это был первый день мира.



СУД

1

говорили о стыде. Не вообще о стыде, а о стыде, казалось бы, напрасном, когда словно и нечего стыдиться, а стыдно.

Встретились они случайно. Кто-то узнал, что Соколовский приехал дня на два в город, созвонились с ним по телефону; позвонили остальным, кого припомнили, и сошлось человек восемь. Все они прослужили всю войну вместе, в одной авиадивизии, но летчиков среди них не было, народ подобрался наземный, аэродромный — инженеры, штабники. Инженер-полковник Корниенко и подполковник Максимов продолжали еще служить, остальные давно демобилизовались.

Начали с водки, но водка как-то не пошла. У одного оказалась язва, у другого нелады с печенью, остальным просто не захотелось. Они давно не виделись, и теперь осторожно оглядывали друг друга, удрученно думая: до чего же ты, милый мой, постарел! Те, которые были знакомы семейно, вполголоса рассказывали друг другу о детях, передавали приветы от жен. Расспрашивали о работе, но работали все в разных местах, и потому ответы получали самые общие. Разговор о стыде начался уже за полночь, и невольно затеял его сам Корниенко, рассказав, как до сих пор не оставляет его чувство виноватости всякий раз, когда он видит свою старшую дочь.

— Глаза у меня бегают, голос меняется, а скажите, чем я перед ней виноват? — спросил он. — Что с матерью ее разошелся?

Корниенко сильно обрюзг за последние годы, раздался в ширину; казалось, китель вот-вот лопнет на нем. Одутловатое лицо было болезненно бледно, и только черные, сметливые, очень подвижные глаза делали его похожим на прежнего ладного и крепкого инженера первой эскадрильи.

— Как будто я не все для нее делал, что должен был, — продолжал он.

— Все-то все, да вот, выходит, не все, — сказал Максимов.

— Две мои младшие девочки того от меня не имели, что она имела!

— Ну, это как считать. Все-таки ты лишил ее семьи.

— Почему лишил! — возразил Корниенко. — Мать ее в войну опять вышла замуж, сына родила. Моя дочь живет в семье... Мы с моей первой женой и сейчас в хороших отношениях, она ко мне претензий никаких не имеет.

— Она не имеет, а дочка твоя имеет...

— И дочка не имеет! — сказал Корниенко запальчиво.

— Ну, значит, сам ты имеешь к себе претензии, — настойчиво продолжал Максимов. — Иначе не чувствовал бы себя виноватым.

— В чем я был виноват? — воскликнул Корниенко. — Такое получилось положение, что хоть голову разбей, а ничего не придумаешь. Мне девятнадцать было, когда я женился, а ей и девятнадцати не было. Мы с ней на лодке вместе катались все лето, целовались на острове. Я тогда студент был, на второй курс перешел, начитанный, говорливый, а опыта никакого. Чего только я не говорил ей тогда, в чем только не клялся — вспомнить стыдно. Но в общем-то тетушки ее нас поженили, я очень ее тетушкам понравился. Был у меня в душе перед свадьбой тревожный холодок, как не быть, но я заглушил его — приятное дело жениховство, весь этот шум вокруг. Да уже и ходу назад не было. А прошло два дня после свадьбы, и вижу я, что совсем ее не люблю. Не люблю — и кругом перед ней виноват. Что делать? В душе одно желание — сбежать хоть на край

света, но ведь нельзя, и сказать даже никому нельзя... С вами бывало такое?

Ему никто не ответил. Слушали его очень внимательно.

— Страшнее всего мне было, что она догадается, и я старался быть с ней поласковее, понежнее. Но нежность получалась с натугой и только еще больше запутывала меня во вранье. А она всему верит, счастлива — хлопочет, убирается, стирает, готовит, толстовку мне новую сшила, поясок с кисточкой. Днем я на лекциях, но нельзя же в институте круглые сутки сидеть, приходится домой идти. Когда мы поженились, одна ее тетушка переехала жить к другой, а комнату свою нам дала. Комната крошечная, а кровать в нее поставили огромную, никелированную, украшенную бумажными розами с проволочными стеблями. Так мы и топчемся весь день в узком проходе между кроватью и стенкой. Днем-то еще ничего, выносимо — обедаем, я готовлюсь к занятиям, потом гости приходят, болтовня. Но чем ближе к ночи, тем мне тоскливей. Сосет здесь, в груди, нестерпимо, слово скажу — голос срывается. Гостей задерживал до последней возможности, чтобы наедине с ней не остаться, но ведь на всю ночь не удержишь...

— Надо же, — сказал Вася Котиков, которого все помнили двадцатилетним младшим лейтенантом и который теперь был агентом по заготовкам — с лысиной во всю голову.

— И она не догадывалась? — спросил Максимов.

— Конечно, стала догадываться, — ответил Корниенко. — Плакала, когда меня не было дома. При мне плакать не решалась, но я приходил и по лицу видел, что плакала. Сама беленькая, маленькая, глазки испуганные, голубенькие, и сережки голубенькие, и камешек в колечке голубой... Мне и жалко ее смертельно и скучно на нее смотреть — такая скука злая, безвыходная...

— Худо дело, — сказал Максимов, близко знавший Корниенко, однако впервые слышавший от него самого историю его первой женитьбы. — А она тебя любила?

— Любила? Повстречался бы ей другой, другого бы любила, — ответил Корниенко с неожиданной злостью. — Муж, хозяйство... Нет, я вру на нее. Разумеется, любила. И мечту свою часто мне рассказывала, как мы в старости будем — старичок и старушка, и всегда вместе! А я слушаю и молчу, слова из себя выдавить не могу. Ласкаю ее и чувствую, что это обман с моей стороны, скверный обман и притворство и что надо признаться, а признаться не в силах. Самое ужасное было то, что она меня боялась...

— Боялась? — удивился Вася Котиков.

— Стала бояться. Что вы, я никогда не обижал ее, чувствовал свою вину и старался быть как можно покладистее. Но любовь ведь не подделаешь. Она догадывалась, но думала, что я не люблю ее потому, что она что-то не так делает, и все заглядывала мне в глаза с испугом, так ли она сделала, и это меня раздражало, и я не выдерживал и сердился на нее, и она не знала, отчего я сержусь, и пугалась еще больше. И всегда я чувствовал себя виноватым, и жалел ее, да и себя жалел, думал о своей погубленной жизни, и, главное, скука эта, тоска...

— Раз так — разводиться, — сказал Максимов.

— Да как развестись-то! — воскликнул Корниенко горестно. — Ее родные, мои родные, приятели, подруги... Только что свадьба была!.. И обида за неудачу, и жалость... Ведь надо совершить жестокость, а что отвратительнее жестокости! Она-то ведь хорошая и во всем передо мной права!.. В иные минуты думал: потерплю, сживусь. А когда совсем невмоготу стало, выяснилось, что она уже на третьем месяце. Как тут разводиться? Вот и промаялись вместе еще целых два года... Да и после развода тянулась канитель, я приходил чуть не каждый день, смотрел на дочку. Чувство вины моей не отпускало меня ни на минуту, тяжелое, принижающее чувство. Окончательно развела нас война. На войне я женился.

— Это нам памятно, — сказал Вася Котиков. — Варвара Сергеевна на метеорологической станции работала, шары с приборами в атмосферу запускала.

— Я женился на другой, а потом прежняя жена моя вышла замуж за другого и, кажется, счастлива, довольна. Этим вторым своим браком она меня окончательно развязала. А чувство вины у меня осталось — сам не знаю почему, может, просто к нему привык. Только с жены оно перенеслось на дочку. Варвара Сергеевна к дочке моей замечательно отнеслась. Мы после войны в Ленинграде остались, а дочка моя в родном моем городе росла, и Варвара Сергеевна первое время совсем ее не видела, но всегда напоминала мне, что нужно денег послать, заставляла ездить навещать, и сама подарков накупит: платице, ботиночки, пальтишко, капор какой-нибудь, куклу, книжки... А теперь дочка к нам каждое лето на дачу приезжает, месяца по два живет, с младшими сестренками подружилась, Варвару Сергеевну зовет тетей Варей... Веселая, довольная, со мной держит себя ласково и просто... Младшие мои дочки в Варвару Сергеевну отпечатались, а эта вся в меня — черноглазая. И всем характером в меня — другой раз скажет что-нибудь или плечом двинет, и я чувствую — да ведь это я. Поглядит на меня исподлобья, и кажется мне, что она до самого дна меня понимает. Взрослая девушка уже. А разговора у меня с ней не получается — так, говорю что-нибудь общее, что всякому можно сказать. Робею перед ней. Даже не робею, а как бы стыжусь. А стыдиться-то ведь нечего! Вот нет вины, а виноват!

Корниенко замолчал, задумался, потом, опомнившись, оглядел всех, не поворачивая головы, быстрыми черными глазами. Он, видимо, опасался, что с ним будут спорить, доказывать либо то, что он действительно виноват, либо то, что он ни в чем не виноват и напрасно себя тревожит. Однако оказалось, что спорить никто не собирался. Все молчали, и только Максимов спустя немного сказал:

— Бывает в жизни, что никто тебя винить не может, а сам чувствуешь, что виноват. Мне вот один раз было стыдно, что я жив остался. И до сих пор: вспомню — стыдно.

Все повернулись к нему, ожидая рассказа о том, как он жив остался. И он действительно хотел, кажется, рассказать, но передумал и умолк.

Заговорил Дмитриев, когда-то командир роты в аэродромном батальоне, теперь работник жилищного управления.

— Да, — сказал он, — был у меня случай, когда я нахлебался стыда досыта. Как раз на первой моей работе в «гражданке». Демобилизовался я в сорок шестом, никакой гражданской специальности у меня не было. Куда идти? Райком направил меня на работу комендантом одного здания. Явился я — в шинельке со споротыми погонами, в сапогах, в гимнастерке, в фуражке без звездочки. Дом четырехэтажный, на целый квартал, в нем двадцать три учреждения, — словом, административное здание. Крыша пробита зенитными осколками, фасад облез, вода подымается только до первого этажа, паровое отопление швах — котлы проржавели, угля нет. А внутри — грязища, вонища, комнаты переделены фанерными стенками на клетушки, мебель вся ломаная — одни инвентарные номерки остались, — и все полно людей, телефоны звенят, пишущие машинки стучат, счеты трещат — не дом, а улей. Вот ношусь я по всем этим лестницам и коридорам как заводной — там течет, там дымит, стараюсь разгрести всю эту кучу, хотя поначалу казалось, что дело безнадежное, — бегаю вверх-вниз, а вокруг меня «торги», «строи» и «управления». Как раз это случилось в одном строительно-монтажном управлении на третьем этаже.

Там, позади бухгалтерии, была отгороженная фанерой комнатенка метров в шесть, узкая, как щель, — приходилось на нее пол-окна. Да еще шкафами заставлена. Сидели там двое: мужчина, небольшой, худенький, лысый, лицо мятое, кислое, пятидесятилетнее, светленькие ресницы дрожат, синий костюмчик залоснился, нарукавники, чтобы локти об стол не протереть. И женщина. Долговязая, на полголовы его выше, возраст, считайте, любой — от тридцати пяти до сорока пяти. Вида — никакого, взглянешь и пройдешь мимо. Все сидит за столом, все возится с какими-то бланками, кальками, ведомостями. Горбится, кутаясь с головой в шерстяной платок, один

нос торчит, посинелый от холода. В ту осень действительно холодище в здании стоял отчаянный, и они оба, чуть завидят меня, сразу спрашивают: когда по-настоящему топить начнут? А для меня тогда проблема отопления была первой проблемой. Один котел вовсе вышел у меня из строя, надо его заменить, но чем? Зетейл капитальный ремонт. Пока ремонтировали, топить совсем перестали, а тут декабрь начинается, того гляди трубы замерзнут, такая петрушка. Повозились мы с этим котлом, дней десять я из котельной не вылезал. И вот, наконец, смотрю: давление в котле растет, температура ползет вверх! Включаем систему. Рабочий день уже идет к концу, на этажах зажгли свет. Я бегу по лестнице, по кабинетам — греются ли батареи? Греются! Добегаю до третьего этажа. Строительно-монтажное управление. Надо все батареи перетрогать, не получилось ли где пробки. В один кабинет, в другой, в бухгалтерию... Все хорошо! Распахиваю дверь в ту комнатенку...

Распахнул и застыл. Те двое стоят в узком проходе между своими столами, как раз под электрической лампочкой, — и целуются.

Он — ко мне спиной, ниже ее ростом, блестит запрокинутая плешь, она — слегка склонясь к нему, опустив веки, охватив его руками за плечи. Почти все ее лицо, освещенное лампочкой, было видно мне над его головой.

Я потому и застыл, что увидел ее лицо. Такое женское, такое человеческое лицо, прозрачное от нежности и страсти. Молодое — все годы были смыты с него любовью. Не то что красивое, а прекрасное. Счастлив мужчина, которому хоть раз удалось увидеть лицо женщины таким.

Увлеченные, они не слышали, как открылась дверь. Но через полминуты она медленно подняла веки. И, глядя поверх его головы, увидела меня.

Глаза ее при электрическом свете показались мне огромными, темными. Она опомнилась не сразу, и выражение глаз менялось постепенно. Ни капли страха или смущения. Продолжая обнимать его плечи, она смотрела на меня с гордостью и гневом.

Он обернулся, я захлопнул дверь и побежал вниз, к своим котлам.

Разумеется, я никому не проговорился ни словом. Нужно быть подлецом, чтобы болтать об этом. Чужая тайна, которая нисколько меня не касается... По правде сказать, в глубине души, тайна эта очень меня касалась. Я никак не мог забыть, каким было ее лицо в ту минуту, оно постоянно вставало передо мной, особенно когда я бывал один. А я ведь в тот год много бывал один, я и среди людей чувствовал себя одиноким. Служил я в армии, можно сказать, с мальчишества, всю жизнь, и вдруг этак, в зрелые уже годы, оказался на «гражданке» — разве сразу привыкнешь. Армия для меня и семьей была — до войны я не женился, все казалось, не к спеху, получше найду, а во время войны не до женитьбы... И лицо этой женщины в ту минуту поразило меня. Я вспоминал, и думал, и удивлялся, как она могла целовать этого человека, и все переключивал в уме, и мне казалось порой, что в жизни моей вот такого еще не было, хотя, разумеется, в жизни моей многое бывало... И тоскливо мне становилось, и уж, само собой, я тем более никому не говорил о том, что случайно увидел.

И вдруг, представьте себе, я обнаружил, что тайна этих двоих, которую я так оберегал, известна всем. Не только служащие строительного управления, но даже истопницы мои и дворничихи говорили, что у нее, мол, с ним то да се. Откуда это стало известно — понятия не имею, но об этом знал весь вверенный мне дом от котельной до крыши, все двадцать три учреждения. И знал гораздо больше, чем я. От истопниц, например, я услышал, что он женат и имеет троих детей, а она вдова, муж убит на фронте в сорок первом, сын учится в восьмом классе. В доме нашем, во всех этих конторах и канцеляриях, работали преимущественно женщины, и слова их поражали меня своей беспощадностью. Они осуждали и, к удивлению моему, осуждали только ее, а не его. В этом ожесточении женщин было много личного, — казалось, каждая примеривала то, что произошло, к себе самой, к своей судьбе, а женские судьбы у большинства были покалечены войной, тяжелы и трагичны. Вдовы, разводки, старые девы, одинокие матери... Не берусь разобраться — тут, может быть, и

сознание своего никем не оцененного превосходства, и даже зависть, и обида за свое постарение... Немногочисленные наши мужчины отнеслись к происшедшему терпимее и проще, даже как-то слишком просто — они увидели только смешную сторону. Особенно смешным казался им немолодой уже возраст обоих... Я убедился, что они никогда не смотрели на нее как на женщину, и то, что кто-то мог отнестись к ней как к женщине, забавляло их. Они ведь не видели ее лицо таким, каким видел я...

— Но если ты никому не сказал, так откуда же стало известно? — спросил Вася Котиков.

— Почему я знаю! — ответил Дмитриев раздраженно. — Если они в своем самозабвении могли вести себя так неосторожно при мне, они при других могли вести себя еще неосторожнее. Я ведь видел их редко, а из бухгалтерии забегали к ним поминутно. Может быть, их на улице слишком часто встречали вдвоем, или растрещали соседи по квартире. Я знаю только, что он сразу же перешел работать в кабинет к своему начальнику, что ей в комнатенку посадили какую-то старуху и что о них болтал весь наш дом. Почему я знаю! — повторил Дмитриев, все больше волнуясь и раздражаясь. — Я тут был ни при чем, но она обвинила меня.

Дмитриев налил себе водки, ни с кем не чокаясь, выпил и вытер губы рукавом.

— Понимаете, — продолжал он, — мне вначале и в голову ничего не приходило. Я-то знал, что никому не сказал. Сперва я встречаю его. В коридоре. Он глянул на меня робко и злобно. Замигал белесыми ресницами и прошел мимо. Я не придавал значения, он показался мне только жалким. А через несколько дней я увидел ее.

Столовая наша расположена была в полуподвале. Когда начинался обеденный перерыв, со всех этажей катился вниз по лестнице сплошной людской поток. Я стоял на лестничной площадке и заметил ее только тогда, когда она уже прошла мимо и спускалась дальше в плотной толпе людей. Люди окружали ее со всех сторон, но она как будто не имела к ним никакого отношения и двигалась, словно в пустоте, тоненькая и прямая, как стрелочка. По неувловимому

движению плеч видел я, как она мучается от гордости и одиночества. Мне захотелось сейчас же побежать за ней, заглянуть ей в лицо, сказать ей что-нибудь утешительное, приветливое, показать, что есть человек, который относится к ней совсем по-другому. Но я сдержался, я знал, как людно и тесно у нас в столовой, — там мне ничего не удастся сказать. В столовую я не пошел, но какое-то неожиданное для меня чувство — жалость, нежность — все гнало меня на третий этаж по всякому предлогу и совсем без предлога. Ну и, разумеется, я встретил ее, наконец, в коридоре.

Коридоры у нас были длиннейшие, без окон, освещенные редкими лампочками. Она издали шла мне навстречу, и я узнал ее сразу, остановился возле лампочки и стал ждать. По походке ее я видел, как она несчастна. Лицо постаревшее, осунувшееся. Занятая своими мыслями, она поравнялась со мной, меня не заметив.

«Здравствуйте... — заговорил я, не зная как начать. — Простите, что я вмешиваюсь... Я только хочу сказать вам...»

Но сказать я не успел ничего. Она повернулась, узнала меня, и лицо ее помолодело и расцвело от гнева.

«Вы! — воскликнула она с невыразимым презрением. — Вы смеете со мной говорить!..»

И, надменно дернув плечом, побежала прочь.

Тут только до меня дошло, что она убеждена, что это я разболтал ее тайну. У меня все похолодело внутри. Я побежал за нею, я бежал до конца коридора, растерянно кланясь и уверяя. Я чувствовал, что ничего не могу доказать, и это приводило меня в отчаяние. Перед самой лестницей она обернулась, и по лицу ее, порозовевшему от ненависти, я понял, что она не поверила ничему.

«Вы уйдете из этого дома и никогда сюда больше не вернетесь! — прошептала она мне, раздельно выговаривая каждое слово. — Если вы не уйдете, я уйду сама, переменю работу... Совсем останусь без работы! Только чтобы вас больше не видеть никогда!»

И убежала вниз по лестнице. За всю мою жизнь никто еще меня так не презирал и не ненавидел. Что

я мог доказать? Что я мог сделать? А тут еще мои дворничихи и истопницы стали рассказывать — некоторые с сожалением, некоторые со злорадством, — что друг ее перепугался и от нее прячется, и мысль, что она, одинокая, оставленная, считает меня мерзавцем, виноватым во всем, была непереносима. Опять пойти с ней объясняться? Но ведь я твердо знал, что она мне не поверит. К довершению всего райком решил перебросить меня на работу в райжилуправление. И я действительно ушел из этого дома, и вышло так, будто я признался, что виноват, и выполнил ее требование. Теперь мы работали в разных местах, видеть ее мне уже не приходилось...

— И все? — спросил Корниенко.

— В общем все.

— На том и кончилось?

— Ну да...

— Так вы с ней больше и не встречались?

— Один раз встретился. Через год уже, следующей зимой. Жил я по-прежнему одиноко и часто о ней думал. Бывало, идешь один по улице, а из глубины выплывает ее лицо, каким оно было тогда, в ту минуту, когда я открыл дверь... Славное лицо... Но вдруг вспомнишь, что она уверена, будто это я ее предал, и остановишься посреди панели, закрыв глаза от стыда, и стоишь как столб... И вот следующей зимой вскочил я как-то в ночной трамвай, в последний. Вагон пустой, освещен тускло, гремит, раскачивается, на окнах снежная борода. Стоит посреди вагона одинокая женская фигура, держится за ремень и качается при каждом толчке. Я узнал ее сразу. Мне показалось, что она еще похудела, стала уже и даже выше. Пальтишко старенькое, демисезонное, рыжая горжетка с вытертым мехом. И лицо потухшее, мертвое. А может быть, она просто устала после трудного длинного дня... Я стоял и думал: заговорить с ней или не заговорить? Мне казалось: скажу ей несколько слов, и она поймет, какая вышла ошибка и как я мучился... Но слов я не нашел. Я поздоровался и сказал что-то вроде того, что вот, мол, мы работали когда-то в одном здании. Она медленно повернулась ко мне, посмотрела на меня сверху вниз и узнала. И на лице у нее появилось такое выражение,

будто я грязная тряпка, вытащенная из помойного ведра.

Я растерялся, говорю что-то несурзное, а она пятится, пятится от меня и выходит на площадку. Я за ней, но тут трамвай остановился, и она вдруг сошла и пропала в темноте. Я в растерянности соскочил не сразу, я спрыгнул, когда трамвай уже шел, набирая скорость, спрыгнул и побежал назад, к фонарю на остановке. Но там никого уже не было, и только снег падал косо при свете фонаря...

3

Рассказ Дмитриева навел слушателей на самые разные мысли — каждого на свои. Все уже забыли, с чего начался разговор, и удивились, когда подполковник Максимов внезапно сказал:

— Нет, это не то.

Все повернулись к нему.

— Что не то?

— Дмитриев не о том говорил. Не тот случай, — сказал Максимов. — Не о таком стыде мы рассуждали. Тут что ж, тут просто ошибка. Она ошиблась, обвинила по ошибке Дмитриева в том, в чем он не был виноват. А мы рассуждали про то, как другой раз чувствуешь себя виноватым, хотя ни один человек тебя не обвиняет и обвинить не может.

— Это когда вам стыдно было, что вас не убили? — спросил Вася Котиков.

Максимов не то чтобы не любил Васю Котикова, но не считал его достаточно умным человеком. Он, по-видимому, хотел бы, чтобы этот вопрос задал ему не Котиков, а кто-нибудь другой, и посмотрел на Котикова хмуро. Но желание рассказать превозмозгло, и он спросил Корниенко:

— Помнишь, Павел Яковлевич, как я в Ленинград ездил за мотористами для наших полковых мастерских?

— Это в начале сорок второго?

— В феврале. Как раз тогда авиацию собирали под Новой Ладогой, чтобы охранять Ледовую трассу, и расширяли наши ремонтные мастерские. У нас

краснофлотцев-специалистов не хватало, а в осажденном Ленинграде току не было, ремонтные мастерские там работали еле-еле, и хорошие специалисты голодали без всякого толка. Вот дали мне полуторатонный «газик», краснофлотца-шофера и приказали съездить в Ленинград за специалистами. Я ведь тогда еще старшим сержантом был...

— Как же, как же,— сказал Корниенко, который в сорок втором году был уже инженер-капитаном.

— В то время «мессершмитты» очень озорничали над озером, и потому рекомендовалось ездить по Ледовой дороге главным образом ночью, в темноте. Но у нас наши аэродромные мало с этим считались, даже шик был такой — ездить днем. Скорее приедешь, когда светло. Мы с шофером выехали после обеда, лихо проскочили через Ладожское озеро, и ничего с нами не случилось. Вечером — в Ленинграде. Там самый был тогда голодище, но я об этом поминать не стану, об этом слишком уж известно. Да я в Ленинграде побыл всего две ночи и один день. Дали там в мое распоряжение шестерых парней — молодых, но имевших уже хороший опыт по ремонту моторов. Я провел с ними беседу, смотрю: чудные парни, начитанные, думающие, влюблены в технику с детских лет. Милые юношеские русские лица с реденьким пушком на щеках — некоторые даже не брились ни разу, мальчишки. Они здорово изголодались, и переезд за Ладожское озеро был для них спасением — там ведь кормили не то что в Ленинграде. Но о еде ни одного вопроса — спрашивали только про оборудование наших мастерских, на каких станках придется работать. Вижу, дело они знают, а я ведь тоже люблю наше дело, и мы разговаривали часа два.

На другой день с утра собрались мы в дорогу. Я, как старший, сажусь в кабину рядом с шофером, они шестеро, в кузов. Вдруг подходит к нашей машине какой-то техник-лейтенант и говорит мне, что начальник мастерских советует отложить отъезд до вечера. Ждите, мол, когда стемнеет. Я объясняю, что день нам терять не с руки, что в нашей мастерской станки простаивают, что сам я приехал днем

и ничего со мной не случилось и что, если я скорее поеду, я людей своих скорее накормлю... Мои краснофлотцы слушают наш разговор, и, вижу, все мне сочувствуют — хочется им скорее ехать. Лейтенант возражает, советует мне самому поговорить с начальником мастерских. А я думаю: начальник этот мне совсем не начальник, мое начальство за озером, и краснофлотцы уже перечислены в мое распоряжение, и документы на переезд оформлены. Ребята мои молчат, но, вижу, думают то же самое, что я, и ждут, как я решу. Да решать мне и не пришлось — шофер дал газ, мы выехали со двора и покатали.

День был прекрасный, солнечный — конец зимы, чувствуется уже близость марта, но мороз еще здоровый, градусов пятнадцать. Выскочили мы из города, проскочили Охту, едем лесом. Лес в тяжелых снегах, торжественный, синие тени елей ложатся на накатанную дорогу. Хорошо! Я приоткрыл дверцу, смотрю, как они себя чувствуют там, в кузове. Жмутся в своих черных краснофлотских шинелях, уши шапок завязаны под подбородками, но все, как один, мне улыбаются. А над ними — в двадцать ярусов еловые лапы со снегом и узкая речка ясного синего неба.

У Осиновецкого маяка выехали мы на озеро, спустились по скату на лед. Ширь бескрайняя, белизна ослепляющая. В снегах на солнце миллионы миллионов огней. Воздух тоже сверкает, в нем блестит множество взметенных ветром кристалликов снега. Машина дрожит, мотор воеет, и мы катим сквозь эту сверкающую белизну. Ноги в кабине, конечно, мерзнут, а хорошо!

Я-то ничего не услышал, услышал шофер. Он приоткрыл свою дверцу, левую, высунул голову и целую минуту смотрел в небо. Потом захлопнул дверцу, нажал на педаль и дал газу сколько мог. Машина рванулась, мы понеслись, трясась и подскакивая. Я тоже открыл дверцу и тоже выглянул. Смотрю, все мои ребята в кузове стоят и глядят в небо, задрав подбородки. Я тоже глянул в небо и прямо над нами увидел два «мессершмитта».

Они кружились в густой синеве, как рыбки в омуте. То их почти не видно, то вдруг повернутся



и блеснут на солнце. Небесная глубина была так спокойна и светла, что я не почувствовал ни малейшей тревоги. Мне казалось, что между «мессершмиттами» и нашей машиной нет никакой связи. Я захлопнул дверцу. И только через минуту, увидев сквозь ветровое стекло крестообразную голубую тень, мгновенно скользнувшую по дороге и пропавшую, я понял, что нас преследуют.

Я услышал пулеметную очередь; пули застучали по кабине. Шофер затормозил, распахнул дверцу и выпрыгнул. Я — за ним. Вижу: мои ребята прыгают с кузова в снег. Четверо выпрыгнули, а двое остались в кузове. Они сидели там, как прежде, но я с одного взгляда безошибочно понял, что они убиты, — такие вещи война научает определять мгновенно.

Размышлять было некогда, потому что «мессершмитт», воя мотором, уже опять пикировал на нас с высоты. Шофер, рослый детина в валенках и ярко-рыжим овчинном тулупе, побежал по глубокому снегу прочь от дороги, и я за ним, по следам. Это было бессмысленно — на льду нет и не может быть никакого укрытия, и никуда убежать невозможно. «Мессершмитт» летел на нас с неба, стремительно разрастаясь, и мы упали в снег. Все пространство вокруг наполнилось воем его мотора. Четверо краснофлотцев лежали в снегу рядом шагах в пяти от машины, и, конечно, их шинели, черные на белом, были отлично видны сверху. «Мессершмитт» троих прошил одной очередью и пошел вверх. Оставшийся в живых краснофлотец выскочил на дорогу и побежал прочь по накатанной колее, странно размахивая руками. Но далеко убежать ему не удалось. Второй «мессершмитт» спикировал на него и убил.

Они крутились в воздухе, как колесо, — пока один шел вверх, другой шел вниз и стрелял. Когда краснофлотец, бежавший по дороге, упал, шофер — рядом со мной — вскочил. Глаза блестят бешенством, лицо красное, слюна пузырится на углах синих губ. Он побежал к машине, выхватил из кабины свою винтовку и, задрвав ее кверху, приплясывая, стал целиться в летящий прямо на него «мессершмитт». Но попал под пулеметную струю и свалился рядом с передним колесом своей полуторки.

Я остался один. Я уже тоже не лежал, а метался вокруг мертвых, глядя вверх. Я знал, что меня сейчас убьют, и хотел, чтобы это случилось поскорее. Я смотрел, как «мессершмитт», застреливший шофера, уходил ввысь, и искал глазами второй «мессершмитт», который должен был идти вниз, на меня.

Я не сразу нашел его, я все крутился и озирался, думая, что он уже летит на меня откуда-нибудь сзади. И вдруг заметил его, крошечного, на огромной высоте. В глубине сияющего неба он описывал широкий круг, оставляя за собой белую дорожку. Я все ждал, когда он сорвется в пике. Но он не срывался со своего круга, он плавно вычерчивал его, пока второй «мессершмитт» не поднялся и не пристроился к нему. Блеснув на солнце, как рыбки, они двинулись к югу.

Они уходили, а я не верил, я ждал, что они вернутся. Как я хотел, чтобы они вернулись! Мне казалось, что на свете не может быть ничего ужаснее того, что со мной случилось. Все вверенные мне люди убиты, а я, виноватый, — жив, цел! Я стоял среди мертвых, смотрел вверх и ждал избавления. Но высокое яркое небо было пусто, и снега горели на солнце, и застывший озерный простор после грохота моторов казался до странности тихим, и никакая опасность мне больше не грозила.

Через десять минут меня подобрала машина, шедшая из Ленинграда в Кобону. Помню, я все говорил, все старался объяснить — и в машине, и в Кобоне, где меня поили горячим чаем, и потом у нас на аэродроме. Я без конца всем все объяснял и страдал от того, что меня не понимают, ни в чем меня не винят.

А меня никто ни в чем не винил. Напротив, меня успокаивали, утешали. Подумаешь, поехал через озеро днем, так ведь тысячи машин днем ездят, а что опасно, так иначе нельзя, война. Ночью, может, еще опаснее — трещины во льду, разводья, каждую ночь по нескольку машин уходят на дно. Я уцелел один — так ведь это же случайность, какая тут вина! Меня жалели, говорили, что я пережил нервное потрясение. Думали, что я боюсь наказания или упреков, и объясняли, что неприятностей мне опасаться нечего.

А я бы любое наказание принял как избавление. Никто не хотел понять, как мне стыдно того, что у

меня есть руки и ноги, что я хожу, ем, дышу. Мне долго еще казалось, что я живу незаконно и не имею права ни на какие радости — даже спать, даже смотреть на свет. И если бы не война, если бы не вечная работа в мастерских, которая не давала мне времени задумываться, я бы свихнулся...

4

— Это трудно пережить, но можно,— сказал Соколовский, когда Максимов замолчал.— А бывает такое, когда не знаешь, как и пережить.

То были чуть ли не первые слова, которые Соколовский произнес за весь вечер. До сих пор он с полусонным видом сидел в конце стола и только по старому своему обыкновению много курил: зажигал папиросу о папиросу.

— Например? — спросил Корниенко, быстро взглянув на него.

— Ну, например, когда умный, достойный человек считает тебя вором, и не просто вором, а вором, обокравшим голодного, умирающего, и не выдает тебя из презрения, из брезгливости,— сказал Соколовский и выпустил дым.

— Начинается соколовщина! — воскликнул Вася Котиков и громко рассмеялся.

Но смеха его никто не поддержал, а Соколовский замолчал и нахмурился.

Во время войны Соколовский работал в газете авиационного соединения, приезжал иногда на аэродром для отбора материала, и всякий его приезд был событием и даже чем-то вроде праздника. Писал он о летчиках, но дружил больше с техниками, с инженерами, ночевал в их замлянках. Тогда это был худощавый, очень подвижной человек, общительный, говорливый и веселый. Он приносил с собой ту атмосферу насмешливости, подшучивания над всем торжественным и официальным, которая обычно царит в редакциях. Острого языка его боялись. И сам он весь был острый, как иголка,— узкоплечий, узколицый, большой тонкий нос с горбинкой. Любил и умел смешить — иной раз вечером в землянке так ра-

зойдется, что слушатели сваливались с нар от хохота. Люди вроде Васи Котикова смотрели на него как на спектакль, как на забавное зрелище, и все, что он говорил и делал, называли соколовщиной. Они смеялись его шуткам, не вполне понимая их, и относились к нему со скрытым недоброжелательством, так как всегда опасались, не над ними ли он издевается.

Однако люди посерьезнее знали, что Соколовский вовсе не такой уж весельчак, каким кажется, что шутки его имеют не только смешную сторону, что нередко бывает он и грустен, что служится ему трудно, потому что он не всегда ладит с начальством. Они считали его человеком одаренным, верили, что он далеко пойдет, любили поговорить с ним о положении дел на фронтах, так как он много ездил, летал, бывал даже в Москве и, главное, умел видеть и думать. Любили его едкие суждения и уважали за редкостное чувство справедливости, которое он проявил не раз и не только на словах.

Он, например, добился оправдания одного техника, очень любимого на аэродроме, который обвинялся в дезертирстве за то, что, возвращаясь из командировки, опоздал на несколько часов. Техник опоздал не по своей вине, но обстоятельства дела складывались не в его пользу, доказать его невиновность было трудно; однако Соколовский дошел до члена Военного совета и доказал. А в другой раз он вызволил политрука автороты, которому грозило наказание за пьянство. Политрук этот был человек совсем непьющий, но однажды его, поддразнивая, заставили выпить в компании, и он с непривычки сильно захмелел. А тут, как назло, на аэродром прилетел один крупный начальник, и разразилась гроза. И опять Соколовский разволновался, пошел в политотдел, объяснил все, и политрук был наказан далеко не так сурово, как можно было опасаться. Все это на аэродроме очень запомнили и стали относиться к Соколовскому как к своему — честь, которую удавалось заслужить далеко не всякому.

Они и собрались сегодня, собственно, по случаю приезда Соколовского. Не видели они его давно, приглядывались к нему внимательно и осторожно. Всех изменила жизнь, но Соколовский показался им са-

мым изменившимся. И даже не внешне, хотя, разумеется, изменился он и внешне — пожелтел, сгорбился, стал словно меньше ростом; длинный нос заострился, а под глазами появились мешочки, придававшие лицу доброе и беспомощное выражение. Но еще больше изменился он внутренне, и именно это особенно бросалось в глаза. Он весь будто потускнел, выцвел. О послевоенной жизни его знали только то, что работал он где-то в областной газете, и теперь, глядя на него, каждый думал, что, видимо, никуда он далеко не пошел и что судьба его вряд ли была удачной. От былой подвижности его не осталось и следа, от говорливости тоже — он как сел в начале вечера за конец стола, так и сидел, окутанный папиросным дымом, и прежним у него осталось только беспокойное прикуривание одной папиросы от другой, и только по этому прикуриванию заметно было, что он слушает внимательно и с волнением.

— Это вас посчитали вором? — спросил его Максимов.

— Меня, — сказал Соколовский. — И было это на той самой дороге, где убили ваших мотористов, и примерно в то самое время. Только я в тот раз через Ладожское озеро не на машине ехал, а летел на самолете, и не из Ленинграда, а в Ленинград.

— А я думал, вы всю ту зиму в Ленинграде провели, — сказал Корниенко. — Ведь ваша редакция была в Ленинграде.

— Это верно, но не совсем, — сказал Соколовский. — Я сидел в Ленинграде безвыездно до конца января сорок второго года. Изголодался я за это время до предела возможности. Сами знаете, по какой норме кормили в Ленинграде нас, нестроевой командный состав. Но тяжелее всего даже не свой голод был, а смотреть на то, что вокруг творилось. Беда моя заключалась еще в том, что я — коренной ленинградец, и родился там, и учился там, и работу свою журналистскую там начинал. У нас в редакции я такой был чуть ли не единственный, остальные все подобрались москвичи, харьковчане, одесситы. Они в городе не знали никого и в свободное время сидели в редакции, читали, козла забивали. А у меня полгорода было друзей и знакомых — с тем учился, с тем работал, —

и в свободное время я ходил по городу проведать друзей и видел, как они умирали, и ничем не мог помочь.

И вот в конце января отправили меня на десять дней в командировку. Там, в тылу, на запасном аэродроме, один из полков нашей дивизии, почти уничтоженный за первые полгода войны, заново формировался, доукомплектовывался личным составом и материальной частью. Газета должна была осветить, как учится пополнение, и редактор послал туда меня. Руководствовался он в основном деловыми соображениями, но, конечно, ему заодно хотелось дать мне возможность немного подкормиться, так как я очень терял силы. У меня кровоточили десны, и я беспрестанно плевал кровью.

За десять дней я действительно подкормился. После Ленинграда нормы в тамошней военной столовой показались мне царскими, и я наворачивал вовсю. Официантки жалели меня как ленинградца и таскали мне лишнее, и я все убирал подчистую. Разумеется, кроме хлеба и каши, там ничего не было, но я ведь много месяцев мог только мечтать о том, чтобы наестся каши вволю. Я впервые с начала войны, после Прибалтики и Ленинграда, оказался в тылу, и маленьком северном городке, и с удивлением приглядывался к местному быту, где еще сохранились кое-какие остатки довоенной жизни. Особенно удивительным и почти непостижимым казалось мне, что там был рынок, куда по воскресным дням крестьяне по-прежнему привозили на продажу некоторые продукты — квашеную капусту, соленые огурцы, сушеные грибы и даже свинину. Помню, как взволновал меня запах домашней колбасы, которую вынимала из мешка одна тетка. Цена, конечно, была невыносимая. Но я не только колбасы, я даже огурца не мог купить, потому что денежный аттестат мой был у жены на Урале, и она получала на руки весь мой оклад.

Через десять дней, написав несколько статей и кучу заметок, двинулся я в обратный путь. До Новой Ладоги должен был я лететь на связном самолете У-2 — вышла такая оказия. Самолет отлетал утром; зимой светает поздно, и я прибыл на старт еще в полной тьме. Мороз был жгучий, сильный ветер нес

в лицо взметенный с поля жесткий, колючий снег. Небо только чуть-чуть начинало светлеть. С чемоданчиком в руке я приплясывал возле самолета, пока техник при свете фонаря раскручивал винт. В эту минуту, вынырнув из темноты, подошел ко мне какой-то военный.

Он вежливо и просто представился, но я сразу же забыл его фамилию. По званию — майор. Рослый, ладный, в хорошо сшитой шинели с узкой талией, в черной зимней военно-морской шапке с золотым крабом. При свете фонаря на лице его, суховато красивом, я заметил старый шрам, пересекавший правую бровь надвое. Нет, я ни разу его не встречал — ни здесь, на аэродроме, ни в здешней столовой...

«Мне сказали, вы летите в Ленинград», — начал он.

«Так точно», — ответил я.

«Я хочу попросить вас об услуге, — продолжал он. — В Ленинграде у меня мать, и месяц назад она была еще жива. Я прошу вас зайти к ней и передать ей этот пакет».

И он протянул мне пакет, обернутый плотной бумагой и аккуратно перевязанный бечевкой.

Само собой, я согласился. Пакет весил кило два. На нем была крупная четкая надпись, сделанная мокрым чернильным карандашом: адрес и фамилия. Ни того, ни другого я, конечно, не запомнил и только заметил, что в начале адреса стояли буквы В. О., то есть Васильевский остров. А так как редакция моя тоже находилась на Васильевском острове, то я, помню, подумал, что передать пакет мне будет нетрудно.

Майор поблагодарил, козырнул и ушел.

В маленький мой чемоданчик, набитый доверху бельем и рукописями, пакет не влезал. Я пристроил его иначе: попросил у техника веревку и привязал пакет к чемодану снаружи. Возясь с пакетом, я почувствовал восхитительный знакомый запах. Это был запах той самой домашней колбасы, которую я видел на рынке. В пакете, безусловно, была колбаса — сквозь бумагу я прощупал ее твердые замерзшие кольца.

Мы тяжело взлетели в серой рассветной мгле и пошли низко над лесом. Летчик боялся встретиться с «мессершмиттом» и потому старался держаться как можно ниже. Мы выскочили на реку Мологу и, повторяя все ее извивы, долго шли над самым льдом, и сосны на береговых кручах были гораздо выше нас. Потом, снова перевалив через лес, пошли над рекой Тихвинкой. Стоял угрюмый торжественный зимний день, мертвое солнце без лучей проглядывало сквозь дымку, как тусклый щит, и за каждым поворотом реки открывался новый простор — темное на белом, как графика. Все это было очень красиво, но никогда в жизни я еще так не замерзал, как во время этого перелета на открытом самолете. Я еле вылез из него, когда мы приземлились на аэродроме в Новой Ладоге.

Отсюда мне нужно было как-то добраться через озеро в Ленинград. Но я слишком замерз, чтобы сразу об этом думать, и поплелся как мог быстрее в большой кирпичный дом, который, помните, стоит там в соснах возле самого летного поля. В первом этаже этого дома помещался политотдел, а в том политотделе работал инструктором мой приятель, Миша Иванцов. Да вы его знаете.

— Это такой маленький, с лицом как блин? — спросил Максимов.

— Лицо круглое, словно блин, и пухлое, как у ребенка, но человек он был умный, занятый и большой добряк. Мы с ним встречались то тут, то там во время моих и его разъездов и разговаривали часами обо всем. Когда мне нужно было похлопотать о ком-нибудь, я прежде всего с ним советовался, и он всегда был рад помочь и советовал толково. Я застал его в политотделе, он очень мне обрадовался и повел к себе отпаивать чаем. Комната у него была тут же, в том же доме, и, когда я, сидя у него на койке, немного отошел, он принялся налаживать мое путешествие через озеро в Ленинград.

Он стал названивать по телефону и выяснил, что сегодня на семнадцать часов намечен вылет скоростного бомбардировщика, который перегоняют к Ленинграду. Он созвонился с летчиком, и тот дал согласие прихватить меня. И к пяти часам, после обеда, я,

сопровожаемый коротеньким Иванцовым, вышел на летное поле и зашагал к старту, таща свой чемодан-нишко, к которому был привязан пакет с колбасой.

Погода с утра резко ухудшилась. Усилился ветер, поднялась метель, в трех шагах ничего не было видно. Впрочем, уже начинались и сумерки. Иванцов шел впереди, с трудом угадывая в снегу тропинку, уже почти заметенную. Мы двигались к самолету, но не видели его и убедились, что идем правильно, только когда слышали из-за крутящегося снега собачий лай.

— Это Геббельс лает, — сказал мне Иванцов.

Может, вы помните, в те времена на многих аэродромах жили собаки с кличкой Геббельс. Бывало, заведет техник какой-нибудь эскадрильи собачонку, а потом летчики навесят ей на ошейник ордена, снятые со сбитых немецких летчиков. И вот выскочила из метели нам навстречу такая лохматая черная тварь с поломанной задней ногой. На ошейнике у нее болтались четыре Железных креста. Она надрывалась от лая, скаля желтые клыки, — такая жалкая собачонка, и столько шуму. И мы очутились возле самолета.

Экипаж был в сборе, самолет готов, ждали только разрешения на вылет. Но разрешения пока не было. И все мы, чтобы зря не мерзнуть, пошли в маленькую землянку у старта, где обычно обогревались летчики и техники. Перед входом в землянку стоял часовой в тулупе, а внутри было тесно, накурено и жарко от пылающей железной печурки. Командир экипажа позвонил на командный пункт, и ему сообщили, что по случаю плохой погоды вылет откладывается на час. Через час ему ответили, что вылет откладывается еще на час — по той же причине. В тепле мы все очень развеселились. Конечно, я болтал больше всех, и, помню, дело дошло до того, что молоденький стрелок-радист от хохота свалился прямо на печку и чуть не прожег себе китель. Шел уже восьмой час, погода и не думала меняться, и было ясно, что изменится она не скоро. Все понимали, что надежды на вылет нет и что, сидя здесь, мы только рискуем опоздать на ужин в аэродромной столовой. Наконец с командного пункта позвонили,

что вылет откладывается на утро и что экипаж может идти отдыхать.

Все стали собираться. Я тоже.

— Зачем вы берете свой чемодан? — сказал мне Иванцов. — Стоит ли таскать его взад-вперед? Ведь вы у меня переночуете, а утром опять сюда вернетесь. Вашему чемодану ничего здесь не делается — перед дверью всю ночь стоит часовой.

И я оставил чемодан в землянке.

Спали мы с Иванцовым в ту ночь словно мертвые, и уже светало, когда нас разбудил телефонный звонок. Командир экипажа сообщал, что они вылетают через пятнадцать минут, и удивлялся, почему меня еще нет на аэродроме. Я вскочил. Одедся за две минуты, ужасно торопясь. Наскоро попрощался с Иванцовым и выбежал из дома.

Смотрю — погода за ночь совсем переменялась: ясно, тихо, морозно, бледный серп месяца в светлеющем небе. Стоявшие у самолета люди, увидев меня на краю аэродрома, замахали мне руками — скорей, мол, скорей! Они уже входили в самолет. Я побежал, хрустя снегом, и, когда добежал, до того запыхался, что еле переводил дыхание. Моторы уже гудели, винты крутились, взметая и гоня сухой снег. Ждали только меня. И вдруг я вспомнил, что мой чемодан в землянке.

Проскочив мимо часового, я влетел в землянку. Схватил свой чемодан и тут только заметил, что привязанного к нему пакета нет.

Колбаса, которую я обещал незнакомому майору доставить в Ленинград, была похищена — и притом с какой-то грубой откровенностью. Веревка, державшая пакет, не развязана, а порвана и болтается на чемодане. Даже клочок коричневой оберточной бумаги валяется тут же. Но колбасы нет!

У меня похолодело внутри, пот выступил на лбу. Я сразу почувствовал, что случилось нечто страшное, непоправимое. Но весь ужас своего положения понял только через несколько минут, когда уже летел в самолете над озером.

Сын посылает колбасу в осажденный город умирающей матери. Он даже не уверен, жива ли она еще — месяц назад она была жива. Эту колбасу,

которая должна спасти его мать, он доверил доставить мне. Он не знает меня, но он не усомнился во мне, потому что я — советский офицер. И вот через некоторое время ему станет известно, что мать не получила его посылки... Что же он подумает обо мне? Что я украл колбасу? Что я съел ее? Что я обменял ее в голодном городе на котиковую шубу?..

Ну, разумеется, надо возместить... Но как возместить?.. Колбасой не удастся... Я отлично знал, что в Ленинграде невозможно достать два кило колбасы, даже если бы я мог дать взамен шестиэтажный дом с полной мебелировкой... Нет, я хоть чем-нибудь, а возьму... Своим пайком... Подохну, а возьму... И тут я вспомнил, что у меня нет адреса этой женщины!

Я не знал ни ее адреса, ни фамилии. Не знал фамилии ее сына, не знал, где он служит. В. О., Васильевский остров, больше я ничего не успел прочесть. Но в Василеостровском районе Ленинграда живет двести тысяч человек...

Чем безысходнее и тяжелее казалось мне положение, в которое я попал, тем яростнее я негодовал на гнусного вора, укравшего в землянке колбасу. Кто мог это сделать?.. Ночью у входа в землянку стоял часовой... Неужели он? Мерзавец! Ведь Новая Ладога не Ленинград, там бойцов кормят нормально!.. Написать Иванцову, и он выяснит, кто там стоял на посту, и под суд, под суд!.. Человека под суд из-за двух кило колбасы?.. Военный суд сейчас мягких приговоров не выносит... Да и нет у меня доказательств, свидетелей... И никакое наказание часового не вернет мне колбасы, не даст мне адреса матери того неизвестного майора...

Вернувшись в редакцию, я застал своего редактора совсем больным и обессиленным. За редакционными столами сидели не люди, а тени. Сослуживцы мои поразили меня худобой и слабостью. Быть может, они вовсе не так уж изменились за десять дней, но в поездке я отвык от изнуренных лиц; я повидал столько здоровых и крепких людей и теперь, глянув на неправдоподобную эту худобу, ужаснулся. Теперь я был крепче всех в редакции, и волей-неволей мне пришлось взвалить на себя почти всю работу.

Я работал и днем и ночью, все мысли мои были заняты работой, но, разумеется, я не забывал о недо-ставленной посылке. Я твердо решил — возместить. Как я возьму, я не знал, но в том, что я обязан возместить, у меня не было никаких сомнений. Всех посещавших редакцию — летчиков, аэродром-щиков, инженеров, политработников — я расспраши-вал о майоре с рассеченной бровью. Но никто не знал такого майора, и, если говорить начистоту, я втайне от самого себя радовался, что его никто не знает.

Через неделю я уже опять плевал кровью и по виду мало отличался от остальных. У меня пухли и чернели десны; иногда вместе с кровью я выплевывал и зуб, выпавший совершенно безболезненно. Я быстро слабел, от запаса сил, накопленных в ко-мандировке, ничего не осталось. Но благодаря рабо-те, не дававшей вздохнуть ни днем, ни ночью, я дер-жался и не терял бодрости. По-настоящему тяжело стало, когда работа вдруг кончилась.

Это случилось во второй половине марта. Не стану рассказывать вам, в чем там была суть, — реорга-низация некоторых наших авиационных частей при-вела к реорганизации обслуживавшей их печати. В конце марта мы получили приказ: газеты больше не выпускать и ждать новых назначений.

За всю мою жизнь в осаде это было для меня са-мое тяжелое время. Я голодал уже давно, но только тут ощутил по-настоящему, что такое голод. Работы не было, и ничто не отвлекало меня от постоянного желания есть. Во мне росла томительная пустота. Воображение мое было отравлено мыслями о еде. Я даже спать не мог, потому что мне снилась еда — гиперболические, небывалые ковриги хлеба и неслы-ханных размеров лохани с кашей.

Тем временем наступила весна. Несмотря на слабость, я принуждал себя каждый день выходить на прогулку. Солнце озаряло фантастические арки разбитых бомбами зданий, ослепительно сверкало в лужах, и от этого блеска еще больше кружилась голова. С легким шуршанием таял и оседал метровый снег, который не убрали всю зиму. Прохожие на улицах встречались редко — слишком много людей

умерло за зиму, а тех, что остались, голод держал по квартирам. Озаренный апрельским солнцем непривычно пустынный город был неслыханно прекрасен в своей беде, и гордая молодежь красота его казалась дерзкой, как вызов.

Хотя прошло уже много времени, но о пропавшей колбасе я вспоминал не реже, чем раньше. Однако вспоминал по-иному. Запах ее, пленительный запах, теперь мучил меня как галлюцинация. Я вспоминал ее твердые кольца под моими пальцами, воображал желтоватые кусочки сала в ее красном теле, и это нестерпимое по силе и яркости представление было так мучительно, что я почти терял сознание. А к тому, что я не нашел мать майора и не доставил ей эту колбасу, я постепенно стал относиться как к делу, хотя и неприятному, но непоправимому и законченному. Я не знал тогда, что истории этой суждено иметь продолжение.

Когда апрель подошел к середине, мои товарищи по редакции один за другим стали получать назначения и разъезжаться. А меня все не вызывали, и нетерпение мое накалилось до крайности. Но вот, наконец, и я — чуть ли не самым последним — получил приказание явиться к одному крупному начальнику, чтобы узнать от него, где и на какой должности мне предстоит продолжать службу.

Идти к нему мне пришлось по набережной Невы. Еще не дойдя до набережной, я услышал равномерный шум, от которого дрожал воздух. Казалось, там, впереди, работал исполинский мотор. Вся просторная Нева от берега до берега была заполнена движущимся льдом. Лед шел с могучей силой, льдины кружились и, сталкиваясь, становились дыбом, сияя на солнце голубыми ребрами. Водовороты клокотали между льдинами. По вздувшейся живой весенней воде шел лед этой страшной зимы...

Начальник встретил меня приветливо. Он объяснил, что я так долго не получал назначения только потому, что решено было дать мне большую самостоятельную работу. Создавалась новая газета для летних частей, сосредоточенных по ту сторону Ладожского озера. Я должен немедленно направиться туда и все наладить.

Итак, мне предстояло покинуть осажденный город и служить, как говорили тогда в Ленинграде, «вне кольца».

— Только как вы туда доберетесь?.. — неуверенно сказал начальник, вручая мне документы.

— По Ледовой дороге... — ответил я.

И понял, что сказал глупость. Ведь я только что видел лед, плывущий по Неве. Какая уж тут Ледовая дорога.

Начальник рассмеялся.

— Все озеро забито плавающим льдом, — сказал он. — Дороги нет, а суда смогут пройти не раньше чем через десять дней... В неудобное время вы попали...

— Я полечу!

— Попробуйте, — сказал он. — Сейчас нет никакого сообщения со страной, кроме авиации, а транспортных самолетов не хватает... Вам не просто будет попасть в самолет...

Я полностью оценил значение его слов, только когда добрался до аэродрома. Аэродром этот расположен был к северу от города, между дачным поселком и еловым лесом. Немецкие снаряды сюда не долетали, и поселок поражал своим мирным видом: казалось, вот-вот в него вернутся дачники. Теперь дачи у аэродрома заполнили военные, которые, подобно мне, по делам службы должны были покинуть Ленинград. Все они ждали посадки в самолет, ждали по несколько дней, и многие уже потеряли надежду.

— Ждите, — сказал мне дежурный по аэродрому, мельком взглянув на мои документы. — У меня семь полковников уже трое суток ждут.

И я понял, что дело мое плохо, так как по званию я был далеко не полковник. Мне отвели койку в одной из дачек, и, разумеется, я пошел искать столовую. В столовой мое уныние еще усилилось — ломтик хлеба, который мне выдали по моему продовольственному аттестату, был испечен из смеси толченого угля с целлюлозой и на вкус напоминал кусок картона. И началось ожидание.

Вместе со всей толпой ожидающих я бегал к каждому отлетающему самолету, и всякий раз меня не

сажали. Когда самолетов не было, я бродил по лесу возле аэродрома. В лесу еще пятнами лежал снег, но на еловых ветках уже появились нежные светло-зеленые отросточки, ярко выделявшиеся на фоне темной старой хвои. Я срывал их и жевал остатками зубов; во рту становилось нестерпимо горько, я плевался, он не мог удержаться и жевал их, жевал без конца.

Так прошел день, прошел и второй. Самым удручающим было то, что от ожидания шансы мои вовсе не увеличивались. Сколько я ни ждал, дежурный всякий раз находил множество лиц, куда более достойных, чем я. От ожидания муки голода становились еще нестерпимее, а поесть я мог только на той стороне.

Соседи по койке, такие же неудачники, как я, говорили мне, что где-то здесь, в поселке, находится комендант аэродрома, одного слова которого достаточно, чтобы оказаться в самолете. Многие ходят к нему. Но, к несчастью, этот могущественный человек всем отказывает.

Я понимал, что он откажет и мне. Однако на третьи сутки я не выдержал и пошел искать коменданта. В комендатуру была превращена одна из дачек, чистенькая, нарядная, стоявшая за аккуратным забором среди светлых берез. Внутри тоже светло, аккуратно и чисто. На всем и на всех лежала здесь печать особой комендантской чистоты и подтянутости. Совсем юный лейтенант с серым от голода лицом, но с замечательно начищенными пуговицами сказал мне учтиво и строго, что комендант занят, и предложил подождать. В приемной уже ждали два полковника, — возможно, из тех самых, о которых говорил мне дежурный. Минут через десять их пригласили в соседнюю комнату к коменданту. Сквозь закрытую дверь я услышал возмущенное гудение их голосов. Потом они вышли, и по их красным недовольным лицам я увидел, что они ничего не добились.

Тогда вызвали меня. Я открыл дверь и вошел.

Комендант стоял за своим столом и смотрел на меня. Это был высокого роста майор, державшийся очень прямо; китель, узкий в талии, сидел на нем отлично, край подворотничка на шее сверкал

белизной, пуговицы блестели так же ярко, как пуговицы лейтенанта в приемной. На его крупном красном лице был шрам, рассекавший правую бровь.

Я его узнал сразу. Узнал ли он меня? Взгляд его карих глаз, казалось бы, ничего не выражал, кроме служебной сухости, но в еле приметном движении поджатых губ мне почудилась брезгливость.

Я начал было объяснять свою просьбу, но он не стал слушать.

«Ваши документы», — сказал он.

Я протянул ему командировочное удостоверение. Он слегка нагнулся над столом, взял синий карандаш в крупные, очень белые пальцы и написал на обороте: «Отправить с ближайшим рейсом».

Возвращая мне удостоверение, он сказал:

«А колбасу вы все-таки съели...»

5

— Ну и что же? — спросил Вася Котиков.

— Как что? — переспросил Соколовский.

— Что же было дальше?

— Ничего, — ответил Соколовский. — Через полчаса я сел в самолет и улетел.

— И майору не объяснили?

— Что я мог объяснить? И как? Побожиться, что я не крал колбасы? Он решил бы, что я жалко лгу, и стал бы презирать меня еще больше. Он, вероятно, даже извинил бы мне мой проступок, так как знал, что я был очень голоден, но от его презрения это меня не избавило бы. Он потому и просьбу мою удовлетворил немедленно, вне всякой очереди, что презирал меня...

— И так все и осталось?

— Так и осталось, — сказал Соколовский.

Но Котиков не мог успокоиться.

— Нет, вы все-таки совершили ошибку, — проговорил он уверенно. — Вы должны были разыскать часового, который стоял там в ту ночь на посту, и заставить его признаться...

— Часового? — спросил Соколовский. — Почему

часового? Откуда я знаю, кто ночевал в той землянке. Колбасу могла съесть и собака... Разве в этом дело!

— Дело не в этом, — сказал Максимов. — Но мучить себя тоже слишком не следует. В конце концов, можно наплевать на майора. Он ошибался, вы не брали колбасы.

— Он не ошибался, — возразил Соколовский. — Я обязан был доставить посылку. Вот и все.

Никто ему не возразил. Разговор вдруг иссяк, все задумались — каждый о своем.

Корниенко грузно поднялся со стула.

— Человек сам себя судит, и уж от этого суда не уйдешь, — проговорил он. — Тут нет тебе ни смягчающих обстоятельств, ни амнистий.

— И на кассацию не подашь, — сказал Максимов, вставая. — Третий час. Пора.

ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДИРОВКА

Т

оня торопливо коснулась лицом его щеки и шепнула:

— Смотри не влюбись там!

— В кого? В немку? — удивился Нечаев и вскочил на подножку вздрогнувшего вагона.

Старший лейтенант Сергей Нечаев был женат уже четыре года, имел двоих детей, из которых один умер, а между тем за все это время прожил с женой не больше двадцати дней. Он был на фронте, она — на Урале. Вскоре после капитуляции Германии им удалось съехаться вместе, и они уже надеялись никогда не разлучаться. Но не прошло и недели, как Нечаев был вызван к полковнику и получил приказание отправиться в дальнюю командировку.

Нечаев никак не выказал своего огорчения, но полковник, по-видимому, обо всем догадался.

— А я думал, вас теперь демобилизуют, — сказал полковник, вздохнув. — У вас на это больше прав, чем у многих. Но пока нет приказа. И генерал сам назвал вашу фамилию...

Старший лейтенант Нечаев действительно имел основания уйти из армии в запас: во время войны он был дважды тяжело ранен, и после второго ранения правая рука его плохо сгибалась в локте. На суховатом лице Нечаева с мягким мальчишеским ртом остались следы ожогов — два белых незагорающих пятна; но самые жуткие шрамы были у него на боку и на груди под гимнастеркой.

— Из лоскутков шит, — объяснял он, когда его

рассматривали в бане.— На мне одном можно изучать все достижения советской медицины.

Он улыбался, спокойно поглядывая темными глазами.

Роста он был небольшого, сухощав, держался прямо, и если и поддавался иногда унынию, то умел скрывать его. Однако на этот раз, узнав, что ему предстоит новая разлука с женой, он помрачнел и даже растерялся.

Когда в феврале последней военной зимы его после второго ранения выписали из госпиталя, он был признан «ограниченно годным для службы в военное время». Однако война продолжалась, армии он был еще нужен, и его тут же направили в один из отделов управления, занимавшегося снабжением войск. С этим отделом управления он и вернулся в Москву. Там продолжал он служить и после Дня Победы.

Полковник, объяснив ему то дело, которое он должен был выполнить в командировке, сказал:

— Напрасно вы удивляетесь, что генерал выбрал именно вас. Ведь вы знаете немецкий язык. Кого же послать в Берлин, как не вас?

Тут только Нечаев понял, что послужило причиной его беды. Заполняя когда-то анкету, он написал, что знает немецкий. Действительно, он в педагогическом институте до войны серьезно изучал немецкий язык. И вот теперь этот немецкий язык разлучил его с Тоней.

Нечаев, и Тоня, и их маленькая дочка жили за городом, в подмосковном поселке. Домой он приехал поздно вечером. Он постучал в окно, и Тоня, босая, в длинной ночной рубашке, вышла отворить ему.

Уснуть они не могли. Укрытые его шинелью, они лежали рядом на кровати, он — ближе к стене, а она — с краю, чтобы легче было вставать к девочке, которая спала в корыте на табуретке. Это была их последняя ночь перед разлукой, и они с тоской следили за тем, как быстро шла она к концу, как неотвратимо светлело окно, как солнечные лучи пронизывали листья, как крепили птичьи голоса.

Стоя на площадке движущегося вагона, он повторил ей:

— Полковник обещал отозвать меня при первой возможности.

Махнул ей рукой, вошел в вагон.

2

Вагон был жесткий купейный.

Нечаев долго не входил к себе в купе, стоял в коридоре и, не видя, смотрел в окно.

Сначала он весь был поглощен мыслями о Тоне и о их новой разлуке. Но горечь разлуки была для него издавна привычна, и он научился с нею ладить. Он так умел носить ее в душе, что она не отравляла ему всего мира и ничего от него не заслоняла. В конце концов это путешествие, в которое он направился столь некстати, само по себе очень любопытно. И мало-помалу он стал приглядываться к окружающему.

Весь вагон был полон офицерами тех званий, которым положено ездить в жестких классных вагонах — от младших лейтенантов до капитанов. Нечаев, приученный войною легко сходиться с людьми, чувствовал себя среди них так, словно с каждым был давно знаком.

— Вы в четвертом купе едете? — спросил его стоявший рядом лейтенант огромного роста.

«Ну и дядя!» — подумал Нечаев.

И ответил:

— В четвертом.

— Значит, соседи, — сказал лейтенант общительно. — Что ж не заходите?

— Дорога дальняя, успеется.

— Я тоже вот вышел в коридор, не хочу стеснять, — объяснил огромный лейтенант.

У него было добродушное, кроткое лицо, и он, видимо, страдал, что занимает слишком много места. Вагонный коридор тоже был тесен для него, и он старательно прижимался к стенке, когда кто-нибудь проходил мимо.

— Куда едете? — спросил он Нечаева через минуту. — Если не секрет.

— Не секрет, — сказал Нечаев. — В Берлин.

— В самый Берлин?

— В самый.

— И я в самый. Здесь мало кто до Берлина, все больше ближние. Значит, мы с вами вместе так до конца и поедем!

Он сказал об этом с такой радостью, что и Нечаев не мог не выразить удовольствия. Огромный лейтенант, видимо, проникся к нему чрезвычайным дружелюбием.

— Череда, — сказал он.

И, видя, что Нечаев не понял, пояснил:

— Это я. Такая фамилия. Лейтенант Череда. А вы уже там бывали или в первый раз едете?

— В первый раз, — сказал Нечаев.

— И я в первый раз. Шесть месяцев не был в своем полку. Меня ранило, когда мы еще в Литве стояли. Я сейчас из госпиталя.

Нечаев, сам слишком хорошо знакомый с госпиталями, опытным взглядом заметил на лице лейтенанта Череды ту одутловатость и бледность, которая появляется на лицах от долгого пребывания в госпитале. Это было славное молодое лицо с небольшими голубыми глазами и очень светлыми, словно выгоревшими, ресницами. Из-под этих ресниц глаза лейтенанта Череды поглядывали внимательно и зорко. Ладони у него были широкие, как сковородки, и весь он казался неуклюжим увальнем. Однако, когда они вошли, наконец, в свое купе, Нечаев убедился, что Череда в действительности вовсе не так уж неуклюж. Ловко орудуя своими ладонями-сковородками, он стал приводить загроможденное вещами купе в порядок, подымая узлы и чемоданы, словно они были пустые. Он устраивался в купе, как устраиваются в землянке, и нашел для каждой вещи ее место. Всем сразу стало просторней и удобней. На своей лавке он едва помещался, но расположился на ней совсем недурно. И шинель, и плащ-палатка, и все вещи его были под рукой, однако ни ему, ни другим не мешали.

Впрочем, вещей у него было немного: не чемодан, а дорожный мешок с ремнями, нечто вроде баульчика. Когда он рылся в этом баульчике, Нечаев заметил внутри пол-литровую бутылку водки.

— Да вы запасливый! — сказал Нечаев.

— Это я не для себя, — объяснил Черета. — В полк везу, товарищам. Захватил, чтобы не с пустыми руками приехать. А я не пью.

— Совсем не пьете?

— Совсем. Я ведь был ранен в живот, и у меня в госпитале половину желудка вырезали. И теперь я водки не выдерживаю. Пятьдесят граммов выпью — и со мной такое творится...

Кроме Нечаева и Череты, в купе было еще двое — капитан и младший лейтенант. Оба ехали сравнительно недалеко — в Белоруссию. Когда Нечаев вошел в купе, капитан уже лежал на верхней полке и спал, прикрывшись шинелью. Лица не было видно, торчали только начищенные до блеска сапоги. По редющим волосам можно было понять, что человек это немолодой. Он, по-видимому, так устал, что, засыпая, не успел снять сапоги. До следующего дня он ни разу не проснулся, даже не шевельнулся, и Нечаев не имел возможности его рассмотреть.

Зато младший лейтенант спать не собирался. Он был возбужден, деятелен и говорлив.

Это был мальчик лет девятнадцати, с круглым лицом, пухлыми губами, узкоплечий и довольно тщедушный. Он только что закончил школу младших лейтенантов в своем родном городе Иванове и направлялся в какую-то часть, стоявшую где-то под Бобруйском. На войне он не был и несколько раз повторил, что это очень его огорчает.

— Не повезло, товарищ старший лейтенант, форменным образом не повезло! — говорил он Нечаеву. — У нас выпускной вечер был, и вдруг на вечеру мы узнаем: Германия капитулировала. Кругом ликование, я, конечно, ликую вместе со всеми, а в душе грызет: опоздал, все сделалось без тебя!..

Молоденький младший лейтенант, по-видимому, опасался, что два таких бывалых боевых офицера, с орденами, с медалями, с нашивками за ранения, не могут относиться к нему с уважением, раз он не был на войне. А ему очень хотелось снискать их уважение и дружбу. Он был учтив и услужлив, на каждой станции порывался сбегать с чайником за

кипятком, угощал их не только своим сухим пайком, но и остатками пирога с капустой, испеченного мамой ему на дорогу, и обижался, когда они отказывались. Пирог он резал складным ножом со множеством лезвий разной величины и очень обрадовался, когда Черета обратил внимание на его нож. Он с гордостью показывал свой нож Черете и Нечаеву, выдвигал и задвигал каждое лезвие, и крохотные ножнички для стрижки ногтей, и штопор, и еще какое-то шильце неизвестного назначения.

Недостаток боевого опыта он старался возместить свирепостью. Вероятно, он полагал, что малейшее проявление мягкосердечия может уронить его в глазах настоящих, закаленных бойцов. Он кипел гневом против немцев и поносил их. Он утверждал, что всех их считает преступниками, достойными самого беспощадного наказания. Разбираться в том, кто из них виноват, а кто не виноват? Нет, он не охотник разбираться! Конечно, он понимает, что немцы бывают разные, но все они терпели Гитлера, не свергали его, пусть теперь все и ответ держат. Ведь так?

Говоря, он поминутно протягивал свой кисет с табаком то Нечаеву, то Черете. На кисете его было вышито: «Виталику от сестры Кати».

— Вас Виталик зовут? — спросил Черета.

— Виталий Громов.

— Громовая фамилия, — проговорил Черета.

Младший лейтенант беспокорно взглянул ему в лицо, стараясь угадать, уж не смеется ли он над ним. Но голубые глаза Череты были вполне серьезны.

Он, видимо, полностью разделял беспощадные суждения младшего лейтенанта Громова. Он охотно с ним соглашался. Кого-кого, а уж немцев он тоже терпеть не мог. Не прошло и двух часов после отъезда из Москвы, как поезд вступил в местность, где побывали немцы. Потянулись леса без веток, незапаханные грязные поля, обвалившиеся укрепления, оплетенные рваной ржавой колючей проволокой, исковерканные фермы взорванных мостов, безобразные остовы разбитых танков и сгоревших грузовиков, сожженные грязные вокзалы, трехметровые во-

ронки от авиабомб, доверху полные черной густой водой, надолбы, рвы, пустые обвалившиеся коробки кирпичных домов в уничтоженных городках, печи, оставшиеся от сожженных деревень, и землянки, землянки, землянки, в которых жили женщины и дети, одетые в жалкие тряпки. Нечаев все это видел уже множество раз и потому особенно не приглядывался. Но для младшего лейтенанта Громова это было ново. Он, конечно, и слышал, и читал о разрушениях, причиненных войной, но громадности их и громадности пространства, охваченного ими, представить себе не мог. День был теплый, но пасмурный, и под низкими, тяжелыми тучами обезображенный, оскверненный мир казался еще унылее. Младший лейтенант Громов стоял в коридоре за раскрытой дверью купе и, подавленный, смотрел в окно. Когда он замечал что-нибудь особенно его ужасавшее, об оборачивался и старался показать Череду и Нечаеву, лежавшим на своих полках. Череду охотно ужасался и, наконец поднявшись, тоже вышел в коридор, к окну. Нечаев же продолжал лежать. Чтобы с ним поменьше заговаривали, он закрыл глаза и притворился спящим. Так ему удобнее было думать о Тоне. Это был испытанный за время войны прием — закрыть глаза и воображать, что она здесь, рядом. Она, конечно, уже давным-давно дома, укладывает ребенка, или стирает, или шьет... Под стук колес он и в самом деле задремал. Начались долгие летние сумерки, и сквозь дремоту он время от времени слышал восклицания младшего лейтенанта, который все еще глядел в окно и бранил немцев.

Наконец совсем стемнело, и вагон затих. Даже младший лейтенант Громов уgomонился. Ночь прошла спокойно.

Нечаев проснулся на мгlistом рассвете.

Поезд стоял. Какая-то большая узловая станция — пыхтение многих паровозов с разных сторон, свистки, клочья дыма в окне, мокрые крыши вагонов. Младший лейтенант Громов уже не спал. Он торчал посреди купе, смотрел в окно, и тени проходившего по соседнему пути состава мелькали на его лице.

— Везут! Везут! — говорил он возбужденно.

Он, собственно, и разбудил Нечаева.

— Кого везут? — спросил Нечаев.

— Немцев!

Череда тоже поднялся с лавки и, загромоздив собою купе, глянул в окно через голову Громова.

— Пленные, — сказал он.

Нечаев приподнялся на локте. За мутным стеклом, совсем близко увидел он неторопливо ползущие мимо товарные вагоны встречного железнодорожного состава. Раздвижные двери вагонов были открыты, и там внутри можно было разглядеть множество стоящих, сидящих, лежащих людей в ненашей одежде.

— Пойдемте на площадку, посмотрим! — заторопился Громов. — Скорей, их здесь не остановят! Пойдемте, лейтенант! Товарищ старший лейтенант, пойдемте!

Ему так хотелось, чтобы все пошли, что он обратился даже к спавшему на верхней полке капитану:

— Товарищ капитан, пленных везут, пленных! Пойдемте на площадку!

Но капитан не шевельнулся.

С площадки действительно все было хорошо видно. Мягкий свет туманного летнего утра глубоко проникал внутрь медленно плывущих мимо вагонов, отчетливо выделяя из сумрака лица пленных немецких солдат. Сколько лиц! Нечаев вглядывался в них со все возрастающим любопытством. За годы войны ему не так уж часто приходилось видеть живых немцев. И уж совсем мало видел он их на близком расстоянии. Вот они — враги. Какие они? Он вглядывался в них, ожидая появления привычного чувства ненависти.

Лица показались ему до странности знакомыми. Это удивило его. Точно он видел их тысячи и тысячи раз. И лица спящих. И вон то лицо только что проснувшегося и озябшего во сне. И лицо вон того, который шарит пальцами у себя в кармане, надеясь нащупать за швом подкладки хоть немного табачного крошева. И то лицо, бледное, истомленное тоскою, с невидящими глазами. И лицо бывшего толстяка, похудевшее, опавшее, все в мешочках.

И землистое лицо вон того хилого мальчишки, который смеется во весь рот, рассказывая что-то соседу. Лица молодые, обтянутые розовой кожей. И лица пожилых семейных людей, огрубевшие и по добревшие от морщин. Лица крестьян и лица мастеровых. И лицо вон того тощего интеллигента в очках, затиснутого в угол. Желтоватые, осунувшиеся лица людей, которым давно уже трудно живется.

Знакомые лица.

Но где же он их уже видел?

Да всюду, в течение всей войны: на бесконечных дорогах во время отступления, и в эшелонах, и на вокзалах, и в блиндажах, и в тех госпиталях, в которых ему довелось лежать. Обыкновенные солдатские лица. Такие же, как и у русских солдат. Он не ожидал такого сходства. Есть, конечно, различия. И не только национальные — попадаются отдельные лица с незнакомым, чуждым выражением. Но сходство, поразительное сходство во много раз сильнее всех различий.

Младший лейтенант Громов стоял на подножке вагона, держась за поручень.

— Вы знаете, что такое «Дранг нах Остен»? — громко говорил он Нечаеву и Череду, стоявшим над ним.

— Знаю, — сказал Нечаев.

Но Громову, видимо, очень хотелось объяснить, и он продолжал, обращаясь к Череду:

— Это гитлеровский лозунг. Он значит: «Поход на Восток». Понимаете, лейтенант? Под этим лозунгом они напали на нас. Но не вышло! А вот теперь у них получился настоящий «Дранг нах Остен»...

Эта мысль показалась ему очень забавной, и он рассмеялся.

— Вот я им крикну, и они меня сразу поймут, — продолжал он.

И, замахав рукой, закричал:

— Дранг нах Остен! Дранг нах Остен!

Состав с пленными казался бесконечным. Вагон за вагоном медленно проплывал мимо. Лица в раскрытых дверях поворачивались в сторону кричащего и машущего рукой младшего лейтенанта. Трудно сказать, понимали они его или нет. Быть может, даже

не слышали сквозь грохот колес. Впрочем, некоторые, вероятно, слышали. Они улыбались ему дружелюбно и жалко.

— Дранг нах Остен! — кричал младший лейтенант Громов каждому новому вагону. — В Сибирь! Нах Зибириен!.. Что же вы молчите, лейтенант? — обратился он к Череду. — Давайте вместе!..

— Замолчите! — сказал ему Череду.

Громов поднял глаза и с недоумением взглянул на него.

Череду повернулся и ушел в вагон.

3

Поезд шел сутки, и вторые, и третьи, а кругом ничего не менялось — ободранные леса, грязные пепелища на месте деревень, воронки, полные воды, сгоревшие танки, ржавая проволока. Не менялась погода, мелкий дождь брызгал в синеватые тощие лица ребятишек, шлепавших босыми ногами по мокрой глине и махавших проходившему поезду. Младший лейтенант Громов и сонный капитан давно уже сошли. Нечаев и Череду остались в купе одни. Поезд пересек границу Польши, в вагонном коридоре появились офицеры польского войска, рослые, белокурые, в конфедератках с белыми орлами, а кругом по-прежнему мелькали разбитые дома, безрукие деревья, и брызгал дождь, и мокла вывороченная глина.

И только утром на третьи сутки, уже перед самой Варшавой, мохнатая шкура туч вдруг лопнула, расползлась, и солнечные лучи, хлынув с чистого, промытого неба, засверкали в дождевых каплях, висевших на телеграфных проводах. Едва поезд остановился, как пассажиры, схватив свои пожитки и толкая друг друга, кинулись к выходу из вагона. Нечаев и Череду, не знавшие, что необходимо спешить, через минуту остались в вагоне одни. В окно они видели, как пассажиры всего поезда — сплошь военные, — высыпав из вагонов, помчались наперегонки к нескольким грузовикам, стоявшим в конце пустыря, окруженного каменными домиками с сорванными крышами. Когда Нечаев и Череду, жмурясь от

солнца, вышли из вагона, грузовики эти, переполненные людьми, уже, грохоча, уходили по узкой кривой улочке.

Оказавшись в кучке офицеров, тоже не успевших сесть, Нечаев и Череда узнали, что находятся они в Праге, предместье Варшавы, расположенном на восточном берегу Вислы. Здесь кончалась железнодорожная колея, идущая из Москвы. Кончалась она прямо на пустыре, потому что здания вокзала не сохранилось. А дальше им ехать надо с Западного вокзала, который, как и весь город, лежит на другой стороне Вислы.

— Далеко ли? — спросил Череда у молоденького словоохотливого красноармейца, который объявил, что он больше месяца стоит в Варшаве и все здесь знает.

— Да километров десять, — сказал красноармеец. — Через весь город надо пройти. А вы подождите, еще какой-нибудь грузовик подвернется и свезет. А куда вам торопиться? У вас целый день впереди, поезд раньше вечера не пойдет...

Нечаев, быть может, так и поступил бы: стал бы ждать. Но Череда ждать не захотел.

— Пойдемте, старший лейтенант, а? — сказал он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. — Ну что там — десять километров! Город посмотрим. Вам тяжело чемоданчик нести? Так я вам помогу...

Он протянул свою огромную руку и попытался взять чемодан из рук Нечаева. Но Нечаев, разумеется, не уступил — с какой стати? — да и чемодан у него действительно был нетяжелый, и он нес его без особого труда. Череда же, укрепив ремнями свой мешок у себя на широкой спине, по-видимому, вообще не замечал его веса. И они вдвоем зашагали по проулку к Висле.

Череда шагал размашисто, но небольшой, сухонький Нечаев, достигавший ему только до плеча, не отставал от него. Они шли вниз, под уклон, и вдруг за поворотом Висла во всю ширь открылась перед ними.

Они улыбались, жмурясь от яркого света. Могучая просторная река блестела, словно выкованная из светлого металла. Над плотной водой быстро проно-

сились ласточки. Береговой склон, мягко спускавшийся к реке, порос молоденькой весенней травой яркости и свежести необычайной.

— Посмотрите!— вздохнул Череда, остановясь и движением руки останавливая Нечаева.

На том берегу, на высоком, как бы многоярусном склоне, просторно раскинувшись из края в край, лежал огромный город. Залитый утренним солнцем, чуть подсиненный далью, ограниченный снизу сверкающей водой, а сверху сверкающим небом, он словно свободно парил в воздухе со всеми своими странными башнями, с громоздящимися друг над другом горными хребтами крыш, с узкими трубами, похожими на мачты кораблей, с курчавыми купами садов, с провалами улиц.

Так вот она, Варшава!

Отсюда, с восточного берега Вислы, она в то утро казалась величаво-прекрасной. Отсюда мнилось, что там все полно жизни, и какой-то особой жизни — изящной, веселой и щедрой. Отдельные дома на таком расстоянии были плохо различимы, но представлялось, что все они построены пышно, нарядно и разнообразно...

Однако именно архитектура отдельных смутно различимых зданий вызывала некоторое беспокойство. Что-то жуткое мерещилось в причудливости этих башен, арок, теней, очертаний, что-то тревожное было во всей этой красоте и нарядности.

Неясная тревога, нарастая, заставила Нечаева и Череду вдруг перегляднуться и поспешно зашагать к мосту.

Мост через Вислу был только один — деревянный настил на понтонах. Конечно, прежде мостов было несколько, но теперь нелегко было даже догадаться, в каких местах они пересекали реку. Деревянный мост был совсем новый, от его нагретых солнцем грубо обструганных досок еще сладковато пахло смолой. Он был построен всего несколько месяцев назад, однако по его упруго колеблющемуся гулкому настилу уже успели перейти на ту сторону Вислы тысячи и тысячи танков, орудий, тягачей, машин, миллионы советских бойцов, взявших Берлин, освободивших Европу и закончивших войну.

Но в то утро мост был почти пуст. Стук сапог Череды и Нечаева отчетливо раздавался над гладкой водой. Черета и Нечаев шли, не отрывая глаз от города, который все рос, поднимаясь над ними; и чем ближе они к нему подходили, тем сильнее становилась их тревога.

И Нечаев вдруг вспомнил, как позапрошлым летом, еще на Орловщине, в знойный день шел он по холмистому полю со своим подчиненным и другом сержантом Савельевым и как им хотелось пить. Где-то за бугром постреливали, но недалеко, и они вышли к оврагу, густо заросшему тальником, и подумали, нет ли там, внизу, воды. Сержант шел впереди Нечаева, и первый спустился вниз по склону, и пропал в кустах. Нечаев тоже сошел вниз и, раздвигая ветки, увидел в сотне шагов от себя родничок, заросшую лужицу и своего сержанта, который лежал ничком в ярко-зеленой влажной траве, опустив лицо в воду.

— Да ты все не выпей, оставь мне! — крикнул, продираясь к нему сквозь кусты, Нечаев.

Внезапно что-то странное почудилось ему в неподвижности спины сержанта, в положении его руки.

— Савельев! Не слышишь?.. Да ты что?.. Встань! Встань! — кричал он ему со все возрастающей тревогой, пока, подойдя, не увидел кровь, стекающую с головы в воду...

Башни, колонны, арки... Да разве это колонны? Да разве это арки? Да ведь это пробоины в стенах, это вставшие дыбом балки перекрытий, это кровли, поддерживаемые в воздухе двумя стенами вместо четырех, это высокие фронтоны, за которыми — ничего, пустота, это лестницы, поднявшие свои марши над бездной и ведущие в никуда, это ряды окон, этаж над этажом, сквозь которые видно только небо, это комнаты и квартиры с яркими обоями, с мебелью, но лишённые третьей стены, как в театре, это просторные цирки дворов, окруженные нагромождениями рухнувших каменных плит, это высокие храмы, наклонившиеся, висящие над улицами вопреки всякому правдоподобию, это каркасы, остовы, обломки зданий, когда-то огромных и прекрасных.

Мост кончился. Нечаев и Череда, примолкшие, шагали по широкой улице, ведущей все вверх и вверх. Оба они давно уже привыкли к зрелищу разрушений, но то, что предстало перед ними здесь, им никогда еще не приходилось видеть. Те разрушения, с которыми они встречались до сих пор, возникли в результате артиллерийского огня, или бомбежек с воздуха, или пожаров. Там все было беспорядочно и случайно, как и в тех стихийных разрушениях, которые совершаются землетрясениями, ураганами, наводнениями, горными обвалами. Здесь не то: здесь не было ни беспорядка, ни случайности; здесь разрушения совершались по плану, обдуманно. И именно обдуманность, заметная с первого взгляда, была тут страшнее всего.

Не артиллерией и не авиацией была разрушена Варшава. Когда советские войска стали приближаться к Варшаве, варшавяне восстали против немцев. Немцы подавили восстание. Но советские войска были уже рядом, на восточном берегу Вислы, и гитлеровское командование поняло, что Варшавы ему не удержать. Тогда оно выгнало все население из города и приступило к уничтожению домов.

Эта мера не имела никакого военного смысла, она была вызвана желанием отомстить. Бессмысленная эта злоба была проявлением бессилия. Созданы были специальные команды взрывателей, разработан план, выделены взрывчатые вещества. Взрывчатых веществ, чтобы взорвать целый город, требовалось очень много, и тут немецкое командование проявило расчетливость и экономию. Каждый дом нужно было взорвать так, чтобы, затратив как можно меньше взрывчатки, сделать его невозстановимым и полностью непригодным для жилья. Это требовало изучения каждого дома и большой сноровки, и сноровка была проявлена. Все здания польской столицы были уничтожены до одного — от многоэтажных громад центра до последней хатки на окраине. Взрывчатка закладывалась снизу и всегда в таком месте, чтобы с наименьшей ее затратой достигнуть наибольших разрушений.

Вот почему разрушенная Варшава своим видом так отличалась от всех других разрушенных городов.

Взрывы образовывали в домах странные гроты, проходы. Уцелевшие верхние этажи, как вздыбленные мосты, висели над уничтоженными нижними. Накренившиеся крыши, поддерживаемые искривленными балками, прикрывали пустоту. Арки в десятки метров высотой, самых странных форм, неожиданно соединяли параллельные улицы, прежде разделенные кварталы. Солнечный свет, проникая сквозь пробоины в глубь обрушенных зданий, дробясь в бесчисленных щелях и трещинах, золотя столбы пыли, выхватывая из тьмы то ступени поваленной лестницы, то багряный кирпич, то яркий клочок обоев, то осколок стекла, то позолоту багета, то какую-нибудь кровать, повисшую между двумя этажами, делал еще более жуткой всю эту небывалую архитектуру, созданную взрывами.

Здания, рухнув, загромоздили улицы, и для прохода людей, для проезда машин был расчищен только один путь — тот, который, извиваясь среди развалин, вел через весь город с востока на запад. И у Нечаева с Чередой не было надобности расспрашивать дорогу. В тишине то справа, то слева, то ближе, то дальше, но неизменно слышали они постукивания топоров. Время от времени им попадались навстречу то советские бойцы в пилотках, то польские солдаты в конфедератках. Военные грузовики, осторожно огибая завалы кирпичей, медленно ползли от реки вверх или спускались сверху к реке. В кузовах грузовиков по большей части были не военные, а женщины с детьми, старики в узеньких коротких пиджаках, до того заношенных, что нельзя было догадаться об их цвете, мальчишки-подростки, узкоплечие, с бледными лицами. Это на случайных попутных машинах возвращались в родной город варшавяне. На перекрестках машины останавливались, и прибывшие слезали на мостовую — три-четыре человека, семья. Сначала они долго стояли, озираясь вокруг, мучительно узнавая и не узнавая. Потом, таща свои жалкие узелки, брели куда-нибудь в сторону по переулкам, заваленным разбитым кирпичом до уровня второго этажа, искать остатки родного дома.

Ближе к центру города стало многолюднее. Все — и мужчины, и женщины, и дети — что-нибудь тащили

на себе: мешок или сундук, котел или ведро с известкой, матрац или пилу, топор или лопату. Все они пытались устроить для себя и для своей семьи хоть какое-нибудь жилье. Они обследовали руины одного здания за другим, стараясь найти хоть закуток, хоть чуланчик, чтобы укрыться от дождя и холода.

Найти комнату, до которой можно было бы добраться без пожарной лестницы, у которой сохранилась хотя бы часть потолка и три стены из четырех, было редкой удачей. Но вот среди целого океана развалин такая комната найдена, и вся семья принимается за работу, похожую на сооружение птичьего гнезда. Подыскивались кирпичи, и закладывалась пробойна в стене, с крыши рухнувшего сарая сдирался толь, и наскоро заделывалась дырка в потолке. Яму в полу засыпали мусором и прикрывали тряпкой. Долго приискивали дверь подходящего размера и прилаживали взамен вырванной взрывом. Откуда-нибудь с висящего над пропастью четвертого этажа с риском для жизни приносили почти целую кровать, и на ней спали дети. Устройство печки откладывали до осени, а пока готовили во дворе на кирпичках. Самой трудной задачей было окно: в городе, где разбиты все стекла, невозможно было достать осколок больше, чем в несколько квадратных сантиметров. И окно забивали фанерой, и только где-нибудь в углу для света оставляли отверстие, прикрытое сложной мозаикой из склеенных осколков. Нечаев и Черета изредка подмечали такое живое окно среди рядов пустых и мертвых окон.

Поглощенные всем, что творилось вокруг, шли они молча и лишь иногда обменивались отрывистыми замечаниями. Черета с любопытством приглядывался ко всем надписям и вывескам и делал попытки прочитать их. Он немного знал латинские буквы, но не имел представления, как произносятся они польски, и у него получалась несладкая, совершенно непригодная. Нечаев тоже не знал польского языка, но опыт изучения других иностранных языков сделал его более догадливым, и некоторые слова ему удалось одолеть.

— U-li-ca, — произносил он по слогам.

— У-ли-ца, — повторял за ним Черета. — Что же это может значить?

— Пожалуй, это просто значит «улица», и больше ничего, — говорил Нечаев.

Но Черете не верилось, что объяснение может быть таким простым.

— Ну, это вы уж слишком...

Но когда вокруг кнопки электрического звонка у вырванных ворот оказалось написано «dzwopek» и когда сам он перед обрушенным мостиком через овраг прочитал надпись «most», он поверил и вдруг очень обрадовался.

— Чему ж вы удивляетесь? — сказал Нечаев. — Поляки ведь тоже славяне, как и мы!

— Славяне-то славяне, — говорил Черета. — Но все-таки «мост», «улица»! Никакой разницы!

Близость польского языка к русскому доставляла ему огромное удовольствие. Шагая по разрушенной Варшаве, он испытывал нежность к полякам и, по-видимому, подыскивал предлоги для этой нежности.

— Вы заметили, какие здесь дети красивые? — спросил он Нечаева.

Две тоненькие девочки лет пяти-шести, растрепанные, вымазанные известкой, влезали на обломок карниза, лежавший посреди улицы, и спрыгивали с него. Мимо шел мальчишка, заложив руки в карманы и посвистывая; внезапно он нагнулся, поднял камень и швырнул в воробья.

— Дети как дети, — сказал Нечаев.

Но Черета стоял на своем:

— И все женщины хорошенькие.

— Ну уж и все! — возразил Нечаев.

— Нет, правда, очень много хорошеньких. Прямо красивые. «Нет на свете царицы краше польской девицы». Вы знаете эти стихи?

— Знаю.

— А что это там написано? Вон наверху...

Большой дом с колоннами стоял на зеленом откосе высоко над улицей. По-видимому, внутри все было сожжено пожаром, но фасад уцелел, и только толстые тяжелые колонны закоптили. Над колоннами на фронтоне была надпись, и Черета безуспешно старался сладить с нею.

— «Haus der deutschen Kultur», — прочел Нечаев. — Это не по-польски, а по-немецки.

Дом немецкой культуры! Быть может, немцы построили этот дом? Нет, дом старый, большой, какой-то особняк. Взяли польский дом, стоящий посреди поверженной и растоптанной польской столицы, и написали на нем: «Дом немецкой культуры». Зачем? Какое-то неправдоподобное недомыслие... Вот так культура! Над собой, что ли, посмеялись?.. Нет, правда, зачем? Чтобы унижить поработанный народ, чтобы еще оскорбить его, чтобы каждый поляк шел мимо и читал?.. Так, что ли?..

Череда, выслушав объяснения Нечаева, спросил:

— Почему же теперь не сбили эти буквы?

— Не знаю, — сказал Нечаев. — Как их собьешь? Высоко. Руки еще не дошли. Подождите, собьют.

— А то лучше пусть так и останется! — решил вдруг Череда. — Разрушенный немцами город, а наверху надпись про немецкую культуру. Чтобы не забывать...

Солнце подымалось все выше, накаляло разбитые камни Варшавы; становилось жарко. Нечаев и Череда преодолели уже крутизну Висленского склона и брели теперь в верхней части города, более плоской. Каждый дом взорван... Взорван так, что видно это было только вблизи. Всякий раз, когда они сворачивали за угол и перед ними открывалась перспектива новой улицы, они вздрагивали от внезапной надежды, что развалины остались позади, а впереди все цело. Но надежда эта была недолгой. Они уторапливали шаги, оглядывали дом за домом, но, как и прежде, небо голубело в провалах крыш и стен. И все же, чем дальше они шли, тем сильнее чувствовали неповторимую прелесть этого города. Искалеченный, загаженный, заваленный крошащимся кирпичом, опустелый, он остался и стройным, и легким, и даже как-то по-особому веселым.

Утомленные ходьбой и зноем, они забрели в маленький скверик отдохнуть и присели на скамейку. Отсюда, сквозь тяжелую листву каштанов и лип, не было видно никаких разрушений. Зеленели газоны, пели птицы, голуби бесстрашно ходили у самых их ног. В разрывах между ветвями высились башни

костелов, утопавшие в синеве, и балконы, и статуи на фасадах; и город вокруг, едва угадываемый, казался щеголеватым, беспечным.

В сквере к ним подошел старик. На нем был твердый, очень белый воротничок и синий костюм, до того заношенный и ветхий, что весь лоснился и блестел. Твердые манжеты с большими запонками торчали из протертых рукавов. На брюках были отлично проутюженные складки, но носков не было, и на босых ногах болтались стоптанные, заплатанные туфли самого жалкого вида. Старик, по-видимому, некогда был значительно полнее, чем теперь, потому что его сгорбленное высохшее тело тонуло в одежде; в крахмальном воротничке могли бы поместиться две такие шеи, пиджак висел как колокол. И когда он заговорил, остановясь перед скамейкой, стало видно, что его вставные челюсти значительно обширнее десен и прыгают во рту.

— Всего восемьдесят золотых,— сказал он и протянул Череду автоматическую ручку, держа ее двумя желтыми пальцами с узлами на суставах.

— Что это?— спросил Черета, не поняв, чего он хочет.

— «Паркер». С золотым пером.

Он говорил по-русски свободно, с еле заметным акцентом.

— Да вы что? Продаете?— спросил Черета.

— Могу немного уступить. Пусть будет семьдесят золотых.

— Мне не нужно,— сказал Черета.

Тогда старик обратился к Нечаеву:

— Может быть, вы купите? Я даже за пятьдесят отдам. За сорок.

— Не нужно,— сказал Нечаев.— У меня есть ручка.

— Ну дайте тридцать.

Он стоял и ждал, переводя глаза с одного на другого. Безусловно, он готов был и еще уступить. Но, поняв, что продать все равно не удастся, он спрятал ручку в карман и вдруг сел рядом с ними на скамейку.

— Одолжите немного табаку, господа офицеры,— попросил он.

— У вас есть бумага?— спросил Черета.

Старик вынул из кармана газету, оторвал от нее квадратик и протянул Черете. Черета положил на квадратик щепотку табаку. Старик осторожно разделил щепотку на две маленькие кучки, из одной кучки свернул себе сигарку, а другую кучку стряхнул на другой клочок газеты, сложил его пакетиком и спрятал в карман.

— Про запас?— спросил Черета, протягивая старику зажигалку с огоньком.

— Благодарствуйте,— сказал старик, затягиваясь дымом.— Нет, не про запас, а для своей старухи. Несчастье иметь в такие времена курящую жену. Она может не есть, но не курить она не может.

— А где вы так научились говорить по-русски?

— Я говорю на шести языках,— ответил старик.

— Ого!— воскликнул Черета.— Вы профессор?

— Нет, я работал в конфекционе.

— В конфекционе? А что такое конфекцион?

— Как, вы не знаете, что такое конфекцион?— удивился старик.

Черета смущенно взглянул на Нечаева, ожидая от него помощи. Но Нечаев и сам не знал, что такое конфекцион.

— Конфекцион — это магазин готового платья,— объяснил старик.— Мы покупали товар во многих странах, и к нам приезжали покупатели из многих стран. И мне нужно было знать языки.

— Так вы торговец?

— Старший приказчик,— сказал старик с достоинством.— Я начал работать в конфекционе в тысяча девятьсот первом году, мальчиком. За это время конфекцион пять раз переходил из рук в руки, а я все оставался, все работал. И стал я старшим приказчиком, и была у меня квартира, и мебель, и двое сыновей. И нет у меня ничего. Один сын убит, другой пропал без вести. И нет того дома, где была моя квартира и моя мебель. И хозяин конфекциона в Лондоне, а конфекциона нет. И обуви нет, и еды нет, и табака нет. И Варшавы нет. Мы с женой вырыли нору в камнях и спим там, как звери...

Нечаев думал о том, сколько силы воли и чувства собственного достоинства должно быть у этого

старого человека, если при той жизни, которую он ведет, у него такие выбритые щеки, такой чистый воротничок, такие выутюженные брюки.

Старик с жадностью затянулся в последний раз, отшвырнул окурок и поднялся со скамейки.

— Когда же их пришлют сюда?— спросил он.

— Кого?— не понял Черета.

— Немцев.

Черета удивился:

— Зачем?

— И вы спрашиваете зачем!— воскликнул старик с негодованием.— Чтобы они построили заново все, что разрушили! Или вы думаете, это несправедливо?

— Нет,— сказал Черета твердо,— я думаю, это было бы справедливо.— Он разделял гнев старика, и щеки его порозовели.— А вы слышали что-нибудь? Их пришлют?

— Их должны прислать! Как же может быть иначе?— сказал старик убежденно.— Пришлют сколько понадобится. Миллион понадобится— пришлют миллион, два миллиона понадобятся— пришлют два миллиона. И мы не отпустим их, пока все не будет сделано, как было раньше!

Он стоял перед скамейкой взволнованный, и кадык на его тощей шее вздрагивал от гнева.

— Чтобы как было раньше!— повторил он.— Мы ничего не забыли. Мы им напомним! У этой лестницы было двадцать семь ступенек— пусть опять будет двадцать семь ступенек! Здесь был конфекцион— и пусть опять будет конфекцион! Здесь была квартира пана Богуславского, и пусть опять будет квартира пана Богуславского! Здесь стоял комод, и пусть опять стоит комод! И так каждый дом! И так весь город!..

Упрямо щелкнув вставными челюстями, он побрел прочь.

Длинный яркий день шел уже к концу, улицы между разбитыми домами наполнились тенью, и лишь крыши и шпили сияли в солнечных лучах, когда Нечаев и Черета после многих остановок доплелись, наконец, до западной окраины Варшавы, носящей странное название— Воля. Дома здесь были

поменьше — в один и в два этажа, и все до одного они были разрушены тем же способом, что и дома в центре города: строго рассчитанными взрывами, приносящими наибольшие разрушения с наименьшей затратой взрывчатки. Здесь, возле Воли, находился Западный вокзал Варшавы.

Близость вокзала они почувствовали задолго по возраставшему оживлению на улицах. Все чаще стали попадаться им люди с узлами и корзинами. Люди эти сбивались в кучки, и скоро на улице образовались два людских потока: один двигался вместе с Чередой и Нечаевым, другой — навстречу. Люди с узлами и корзинами сидели вдоль улицы прямо на тротуарах, прислоняясь спинами к стенам разбитых домов. Вскоре сидящих стало так много, что они оттеснили пешеходов на середину улицы, и Череду с Нечаевым теперь приходилось поминутно переступать через вытянутые ноги. А заглянув в поперечный переулок, они вдруг обнаружили, что он весь из конца в конец полон сидящими и лежащими людьми. И все дворы вокруг и развалины полны были людьми, давно и упорно ждущими. Мужчины и женщины с безмерно утомленными, поблекшими лицами спали, ели, нянчили младенцев на голых разбитых камнях, уже равнодушные к пыли, к жаре, к мухам. Между ними шныряли босоногие мальчишки, размахивая бутылками с желтоватой жидкостью и крича звонкими голосами:

— Лимонада! Лимонада!

В разоренной, разрушенной стране, только что освобожденной от чужеземного ига, все куда-нибудь ехали. Изгнанные из Варшавы варшавяне возвращались в родные места. Множество семейств переселялось на запад, к Одру, на старинные польские земли. Множество людей, угнанных немцами в Германию, в Австрию, возвращались в родные места. Миллионы разлученных войною с близкими двигались теперь на свидание с ними: жены к мужьям и мужья к женам, дети к родителям и родители к детям. Вся Польша находилась в движении, и скопление людей свидетельствовало о близости вокзала.

Но где же, наконец, вокзал?

И вдруг Нечаев и Черета, свернув за угол, оказа-

лись среди железнодорожных путей, разбежавшихся по широкому пространству. И поняли, что никакого вокзала, конечно, нет, да и нелепо было предполагать, что немцы, уходя, сохранят здание вокзала.

Колея была узкая, западноевропейская, и русскому глазу, привыкшему к нашим железным дорогам, все казалось здесь маленьким, словно игрушечным. Низенькие стрелки, короткие шпалы, небольшие паровозики с широкими трубами, вагоны-недомерки. Больше всего Нечаева и Череду удивило устройство пассажирских вагонов. Вокруг каждого вагона с наружной стороны шла узенькая приступочка, на которой можно было стоять, держась за поручень. И люди, которым не удалось протиснуться в переполненные вагоны, стояли на этих приступочках, прижавшись друг к другу, и еще как-то умудрялись держать на весу свои пожитки. На медленно подходивший поезд жутко было смотреть: все вагоны были снаружи облеплены живой коркой из человеческих тел. Когда паровоз, пыхтя, остановился, люди сразу соскочили на землю и, торопясь, зашагали. И тут оказалось, что у польских вагонов чрезвычайно много дверей, столько дверей, сколько у наших вагонов окон. И все эти двери распахнулись разом, и тысячи людей разом хлынули из поезда на рельсы.

Часа через полтора Черета и Нечаев сами сидели уже в поезде и хорошо рассмотрели устройство польского вагона. В нем не было никакого внутреннего коридора, никакого прохода из конца в конец. Вагон был разделен глухими перегородками на ряд купе, не сообщавшихся между собой. Войти в такое купе можно было только снаружи, у него были две наружные двери — справа и слева. А приступочка вокруг вагона построена была для кондуктора, чтобы он на ходу поезда мог, как по карнизу, перебираться из купе в купе.

И когда двери захлопнулись и поезд тронулся, купе превратилось в отдельный маленький мирок, изолированный от всей вселенной. На двух скамейках уместились двенадцать человек. Еще шестеро уместились между скамейками. В числе этих шестерых были Нечаев и Черета.

Вначале Черета, воспользовавшись длиной своих

ног и огромным опытом влезания в вагоны, опередил всех и занял одно из лучших мест в купе — на скамье в углу, возле окошка, устроенного в верхней части двери. Но через несколько мгновений он обнаружил, что прямо перед ним стоит молоденькая полька, держит в руках тяжелый узел и внимательно поглядывает на него прозрачными серыми глазами. Сердце Череды дрогнуло. Густо покраснев, он поднялся во весь свой рост и предложил польке занять место на скамье. Она приняла его предложение без всякого ломанья, улыбнулась ему, уселась и сказала:

— Дзенкуен, пану.

И звук польской речи в ее устах показался Череду и Нечаеву удивительно приятным, звонким, изящным. Черета уложил ее узел под лавку, а сам уселся на свой вещевой мешок рядом с Нечаевым, сидевшим на своем чемодане. Лицо Череды оказалось возле колен молоденькой польки, и он каждую минуту, не удержавшись, взглядывал на нее. А так как и она поглядывала на него благосклонно, он стал подумывать, как бы с ней заговорить.

Останавливало и смущало его то, что все находившиеся в купе — пожилые женщины со спицами в руках, совсем юный польский солдатик, старик в большом картузе и другие — разглядывали его и Нечаева со слишком большим любопытством. Однако, когда поезд тронулся и шум колес стал заглушать слова, он набрался храбрости и, повернувшись к польке, спросил:

— Куда вы едете?

Она поняла его и ответила:

— До дому, в Вуджь.

Он понял только начало ее ответа. Последнее слово осталось ему непонятным. И он спросил:

— А где ваш дом?

— В Вуджи, — сказала она и, видя, что он не понимает, повторила несколько раз: — Вуджь, Вуджь...

И это польское слово, произнесенное ею, казалось красивым и милым. Но от повторения оно не стало понятнее. Черета делал отчаянные усилия разгадать его — и не мог. К тому же едва начался его разговор с полькой, как все в купе умолкли и стали прислушиваться. Спицы в пальцах пожилых жен-

щин, перед тем быстро мелькавшие, настороженно остановились. Видя затруднения Череды, все со всех сторон шли ему на помощь и повторяли:

— Вуджь! Вуджь!

Выручил его маленький человечек в потрепанном сером пиджачке.

— Вуджь — это Лодзь, — сказал он. — Город Лодзь. Панна вам объясняет, что она едет домой, в Лодзь.

Человек в сером пиджачке, говоривший по-русски, был очень учтив и робок — он один из первых вошел в купе, но из деликатности не занял никакого места и остался стоять.

— Садитесь на мой чемодан, — предложил ему Нечаев. — Тут места хватит для нас двоих.

Тот принялся благодарить, смущенно приподымая над головой серую кепочку. Он колебался, но Нечаев был настойчив, и, наконец, он уселся на чемодан, на самый край.

— А я так торопился, что не успел даже к себе в общежитие забежать, — сказал он, желая, по-видимому, объяснить, почему у него нет чемодана; действительно, у него ничего не было с собой, кроме небольшого газетного свертка. — Получаю назначение и узнаю, что поезд отходит через двадцать минут. Если на этот поезд не попаду, доберусь на тридцать шесть часов позже. Хватаю кепку и бегу...

— Куда ж вас назначили? — спросил Нечаев.

В ответ он услышал название, которого никогда до сих пор не слышал.

— На какую должность?

— Прокурором.

Нечаев с удивлением посмотрел на своего соседа.

— Что, не похож я на прокурора? — сказал человек в пиджаке, поняв взгляд Нечаева, и рассмеялся. — Никогда я еще не был прокурором. Но, знаете, партия поставит — надо идти. Демократическая Польша существует в первый раз. У нас везде новые кадры. Все в первый раз...

Нечаев снова взглянул на человека в пиджаке, и тот больше не показался ему ни таким уж маленьким, ни таким уж робким. Суховатое, немоло-

дое лицо и спокойный взгляд многое выдавших глаз. Почему, в самом деле, ему не быть прокурором?..

А Черета между тем продолжал свои попытки вести разговор с полькой.

— И давно вы не были дома? — спросил он ее.

Она ответила по-польски, и он хотя и не понял ее слов, догадался, что дома она не была очень давно.

— Где же вы были? В Варшаве?

Она решительно замотала головой: нет, не в Варшаве!.. Где же она была? Черета несколько раз повторил вопрос, думая, что она не понимает. Но вдруг вместо ответа она приподняла пальцами край короткого рукава блузки и показала Черете ту часть своей руки, на которой делают прививку оспы. И под коричневым пятнышком старой оспенной прививки все увидели четко выжженное на нежной розовой коже пятизначное число: 15629.

— Панна хочет объяснить пану, — сказал прокурор, — что панна была у немцев на работах. Ее угнали три года назад. Панна работала в Австрии и теперь через Варшаву возвращается в Лодзь...

Увидев черные цифры на руке польки, Черета помрачнел. Те мысли, которые, видимо, зрели в нем в течение всего дня, вырвались, наконец, наружу.

— А ведь тот младший лейтенант был прав! — сказал он Нечаеву.

— Какой?

— Помните, он кричал пленным: «Дранг нах Остен»... Нечего с ними цацкаться!..

Вспомнил он и старика в варшавском сквере, который требовал, чтобы немцев пригнали в Варшаву и заставили вновь построить своими руками все, что они разрушили. Старый нищий поляк в твердом воротничке... Повернувшись к прокурору, Черета стал рассказывать ему, что говорил этот старик.

— Здесь был дом — пускай построят как раз такой самый дом. Была лестница в двадцать семь ступенек — пусть будут снова двадцать семь ступенек. Тут шкаф стоял — пусть опять шкаф стоит... Ведь правильно?.. Чтобы вся Варшава опять стала как была!

— Как была? — переспросил прокурор и рассмеялся. — Зачем как была? Не надо нам немцев и не надо нам такой Варшавы, как была. Мы сами ее построим, и гораздо лучше, чем была.

4

Поезд к утру привез их в Лодзь и потом весь день неторопливо тащился к Познани.

Этот второй день в Польше был такой же сияющий, как и первый. От зари до зари ни одного облачка не возникло в небесах, и польская волнистая равнина казалась погруженной в мягкую голубизну. Купы деревьев — уже не березы, не елки, а липы и вязы — раскинулись среди полей по пологим склонам холмов. Далекие башни костелов, как легкие светлые стрелы, вонзались в небо. От Вислы до Одера немцы бежали так быстро, что многое не успели разрушить. По излучам синих речек в светлой зелени лугов и в темной зелени садов белели городки. Освобожденная страна, словно очнувшись от долгого страшного сна, сама дивилась своей красоте и улыбалась от радости.

И отблеск этой радости светился во всех глазах, молодых и старых. Радость пробивалась даже сквозь усталость, сквозь заботу, сквозь раздражение. Поезд проходил на станциях через шумные толпы людей, и люди беспрестанно смеялись в его переполненных вагонах. И все, что совершалось вокруг, поминутно врывалось в поезд и обсуждалось всем поездом пламенно, бурно. А вокруг совершались события необычайные. Хлопы пахали разделенную панскую землю. Управление заводами, складами, дорогами, городами переходило в руки маленьких людей, вчера еще забитых и загнанных, никогда в своей жизни ничем не управлявших. Народ, униженный, ограбленный, выгнанный из родных мест, вдруг оказался хозяином своей страны и сначала робко, не веря себе, но быстро смелея, решал, распоряжался, хозяйничал. Немцы оттеснили его с запада на восток, и теперь он все нараставшими волнами двигался с востока на запад. И народное государство, совсем еще

юное, растило повсюду органы власти, словно молодые побеги, не успевшие еще отвердеть и окрепнуть, и ощупывало свои новые границы.

По фасадам всех станционных зданий на красно-белых полотнищах были написаны два слова: «Nasze morze». И значили они: «Наше море». Это было напоминание, что южный берег Балтийского моря, от которого поляки были оттеснены немцами, снова стал польским. И все вокруг было только началом, все было обращено к будущему, и будущим были полны все надежды, все опасения, все мечты, разноречивые, не всегда ясные, но такие горячие, что тронь их — и обожжешься.

Опаленные этим жаром надежд, опасений, мечтаний, Нечаев и Череда вечером приехали в Познань. Переночевали они в офицерском общежитии при комендатуре вокзала, а утром стали разузнавать, как им двигаться дальше.

Из Познани поезда ходили уже и на запад — во всяком случае, до города Кшижа, — но насколько регулярно ходят они западнее Кшижа, точных сведений не было. И по совету работника комендатуры Нечаев и Череда решили прибегнуть к знакомому способу — выйти на шоссе и проголосовать.

— Там все машины идут в Германию. К вечеру будете на Одере, а завтра — в Берлине.

Тот же работник комендатуры присоветовал получить здесь же, в Познани, все, что причитается им по продовольственным аттестатам на несколько дней вперед.

— За Одером с питанием куда хуже, — объяснил он. — Норму свою вы, конечно, и там получите, но уж продукты будут не те.

На получение продуктов ушло все утро, и, когда они отправились пешком через город искать шоссе, ведущее на запад, было уже очень жарко. Духота стояла на улицах, асфальт плавился и размякал. После Варшавы странными казались бегающие трамваи, совершенно целые дома, сквозь раскрытые окна которых на всех этажах видны были квартиры, мебель, люди; внизу, за витринами с зеркальными стеклами, даже шла кое-какая торговля. Но через несколько со-

тен шагов опять потянулось знакомое: проваленные крыши, пустые глазницы окон, груды битого кирпича. Это они вступили в район познанской цитадели, серая исковерканная громада которой возвышалась в центре города. До конца февраля в этой цитадели укрывались немецкие войска, не успевшие уйти за Одер при стремительном зимнем наступлении советских армий. Окруженные со всех сторон, обреченные, они, прежде чем сдаться, в течение нескольких недель разрушали польский город артиллерийским огнем.

На шоссе стоял такой же зной, как в городе. Ни облачка, но синева неба была уже не такая густая, ясная, как вчера, а словно слегка запылилась. Военных грузовиков шло в сторону запада немало, но, когда Нечаев останавливал их, оказывалось, что все они ближние и даже до Одера не доезжают. Нечаеву и Череве хотелось бы, чтобы их довели прямо до Берлина, и они пропустили несколько машин. Но ждать, да еще на самом солнцепеке, было скучно, и минут через двадцать Черевда потерял терпение. Ехать так уж ехать, а там видно будет. И они влезли в пустой кузов грохочущего ЗИСа, водитель которого обещал доставить их до Одера, до самого моста.

Они понеслись, подсакивая, но прохладней не стало. Капельки пота застревали в светлых бровях Черевды. По обеим сторонам дороги тянулись поля, почти сплошь незапаханные, заросшие сорной травой. Здесь, к западу от Познани, было несравненно пустынее, чем в центральных областях Польши: немцы сначала выселили отсюда поляков, а теперь и сами уходили за Одер. И следы войны стали встречаться куда чаще: здесь, перед Германией, немцы понастроили заграждений, рвов, блиндажей, дотов, и по обеим сторонам дороги гроздились груды развороченной земли, вставшие на дыбы бревна и рельсы, обрушенные стены грязных кирпичных домишек в опустелых деревнях.

Мало-помалу впереди, на западной половине неба, стали появляться мутные белесые облачка с неясными краями, но до солнца они не доползали, и жарко было по-прежнему. Закипела вода в радиаторе. Водитель-красноармеец, остановившись у колодца и

налив в радиатор воды, долго пил из ведра, потом вытер пот со лба и сказал:

— Душно. Гроза будет.

— Что-то непохоже, — ответил ему Черета из кузова. — Тучи не видно. Дай-ка сюда ведро.

Он перегнулся через борт и без всякого усилия поднял в кузов полное ведро. Они с Нечаевым напились мутной тепловатой воды. Затем Черета ополоснул себе лицо, черпая из ведра огромными шершавыми ладонями, и вылил остаток воды в горячую пыль.

— Э, нет, товарищ лейтенант, — сказал водитель, собираясь войти к себе в кабину, — туча есть. Поглядите!

Действительно, далеко впереди, над дорогой, на западе, возвышалось нечто вроде синего холма. Однако только с трудом можно было догадаться, что холм этот — край тучи. Туча казалась неподвижной, и прошло часа полтора, прежде чем полог ее прикрыл всю западную часть неба. Она еще не достигла солнца, но тень ее уже лежала на полях, и все вокруг потускнело. Душный воздух был по-прежнему неподвижен, птицы смолкли, и на пустынной дороге раздавалось только дребезжание грузовика.

Черета упорно не верил в грозу и, даже когда ползущая перед тучей волокнистая дымка совсем затуманила солнце, утверждал, что все обойдется: слишком уж тихо кругом. Однако минут через двадцать они явно слышали раскат грома — далекий, но настолько звучный, что его не мог заглушить шум машины. Они переглянулись. Этот грохот напомнил им обоим грохот фронта, который они оба так долго не слышали. И хотя они привыкли к грохоту фронта и никто не мог бы утверждать, что они боятся его, так приятно было сознавать, что это не бомбы, не пушки, но гром, грозящий людям дождем, а не смертью.

Несколько раз на дороге они обгоняли кучки польских пехотинцев с автоматами, шагавших в строю. Двигались они в ту же сторону, на запад, — шли занимать посты вдоль новой польской границы. Мерно подымались и опускались запыленные сапоги. Когда машина проносилась мимо, до Череты и Нечаева на мгновение долетал обрывок песни. Десятки глаз, го-

лубых, серых и карих, на совсем юношеских лицах, с любопытством скользнув по машине, уплывали назад.

Иногда — и чем дальше, тем чаще — обгоняли они и совсем других пешеходов. Это были по большей части женщины с детьми, убого одетые, и очень старые мужчины. Многие из них толкали перед собой детские коляски или самодельные деревянные тачки, доверху груженные домашним скарбом. Дети семенили, держась за юбки матерей, младенцев несли на руках. Когда машина проносилась мимо, никто даже не поворачивал головы. Глаза их утомленно смотрели вперед, на запад, и темная туча, охватившая уже полнеба, отражалась в зрачках.

Нечаев и Череда отлично знали, что это немцы, уходящие с польских земель к себе за Одер, в Германию, и следили за ними с тревожным любопытством. Череда после всего виденного в Польше вполне, разумеется, сочувствовал этому переселению, и все же эти женщины с детьми, бредущие по дороге, в глубине души смущали его.

— А ведь им не так уж далеко идти, — говорил он Нечаеву, стараясь себя утешить. — Здесь до Одера километров десять-двенадцать осталось. Ведь верно?

— Пожалуй, верно, — отвечал Нечаев.

— Ну, еще одну ночь они переночуют на этом берегу, а завтра уже там, — продолжал Череда. — А там делят помещичью землю, и им дадут участки. Заводы восстанавливают, работы хватит на всех...

Но, кажется, полностью утешить себя ему не удалось. Спустя немного он добавил:

— Вот только дождь их сейчас помочит беспощадно...

А до дождя действительно оставалось уже недолго. Стало сумрачно, и сумрак поминутно вздрагивал от зарниц. Впереди грохотало почти непрерывно, и срок, отделявший молнию от грома, становился все короче. Туча уже не казалась почти неподвижной; напротив, видно было, как там, вверху, с неистовой быстротой вихряются зловещие клубы. Но на земле все еще было тихо, и только их машина, трясясь, мчалась на предельной скорости по длинному пологому склону.

Вот дорога круто свернула, и с поворота они уви-

дели большую реку в обрывистых берегах. Метрах в двухстах направо начинался въезд на узкий деревянный мост, к которому сбегалось несколько дорог. А налево вдоль берегового склона тянулись разбитые кирпичные домики маленького городка.

Внезапно могучий порыв ветра налетел на машину и чуть не вытряхнул их из кузова. Ветер поднял с земли облако пыли, и в этом мутном облаке сразу исчезли и река, и мост, и городишко.

Водитель круто затормозил, остановил машину, открыл дверцу кабины и, высунувшись, что-то крикнул им. Голос его потонул в ветре и в раскате грома. Он что-то старался им объяснить, показывая руками то в одну сторону, то в другую.

— Вам через мост на Берлин, — наконец услышали они, — а я через мост не поеду. Мне вон туда, на этом берегу!..

Словом, нужно было вылезать. Схватив свои вещи, они перелезли через борт на дорогу, и машина умчалась, сразу потонув в пыли.

Ветер валил с ног. Пыль не давала открыть глаза. Гремело уже почти над головой. До Берлина оставалось не меньше ста километров. Что было делать? Ждать машины на Берлин? Или идти пешком через мост? Но шесть часов в кузове грузовика утомили их. И хотелось есть. И уже вечер...

— Сейчас хлынет, — сказал Череда. — Потом решим. А пока надо под крышу.

И он зашагал к разбитым домишкам городка, еле видимым за пыльной мглой. Скоро они шли уже по городской улочке, мощенной булыжником. Два ряда домиков, но только коробки, ни у одного нет крыши. Пустыня. Неужели здесь нигде нельзя даже укрыться от дождя?

И вдруг впереди, у перекрестка, они увидели какие-то фигуры. Трое. Рослый боец в плащ-палатке, с поднятым капюшоном с автоматом на груди. Женщина среднего роста, в дождевике из прозрачного материала, похожего на клеенку, тоже с поднятым капюшоном, напоминающим остроконечные колпачки гномов; на тощих ногах без чулок парусиновые туфли. Третья фигурка, самая маленькая из трех, тоже женщина. Военнослужащая. Пилотка набок, гим-

настерка, темно-синяя юбка, черные чулки, черные туфли на изрядных каблуках. На поясе пистолет ТТ. Что у нее там, на погонах? Э, да она старший лейтенант!..

— Товарищ старший лейтенант, где у вас тут, в вашем царстве, можно от дождичка спрятаться? — спросил Черета, подходя, приветствуя и улыбаясь.

Девушка — старший лейтенант окинула его и Нечаева быстрым строгим взглядом, отдала приветствие, сдвинув каблучки, и сказала:

— Минуточку...

Всем своим видом давала она понять, что находится при исполнении служебных обязанностей. Обернувшись к женщине в дождевике, она проговорила очень громко, официальным голосом:

— Я вам разъясняю и повторяю: оставаться вам здесь нельзя. Идите на мост и возвращайтесь туда, откуда вы пришли...

— Майне мутта, — сказала женщина в дождевике.

Протягивая девушке — старшему лейтенанту какую-то развернутую бумажонку, она сделала попытку пройти мимо нее дальше, в город.

— Стойте! — крикнула девушка — старший лейтенант, топнув ногой и опустив руку на кобуру своего пистолета. — Я вам разъясняю... На мост! Сюда нельзя!.. Сил моих с ней больше нет, — сказала она Черете и Нечаеву. — Перешла с немецкой стороны через мост и лезет прямо на часового. Никакие уговоры не действуют. А здесь, понимаете, рядом объект. Гражданским сюда нельзя. Часовой вы звал меня. Мы с ней уже минут двадцать бьемся. Сейчас вымокнем... Если вы будете нарушать, — опять обратилась она к немке, — если сами не перейдете на ту сторону, я прикажу вас проводить.

Ей было года двадцать два, а то и меньше, этой маленькой, плотной девушке — старшему лейтенанту. Орден Красной Звезды алел на ее высокой, полной груди. Вздернутый носик, сидящий между двух круглых румяных щек, придавал ей независимый и даже заносчивый вид. Но глаза были добрые, неглупые и не очень уверенные в себе.

— Придется отвести ее, Мухин, — сказала она часовому.

Тут над нами раздался такой раскат грома, какого еще не было.

— Вот дает! — сказал Мухин, глянув на небо из капюшона своей плащ-палатки.

Идти сейчас с немкой через мост ему, безусловно, не хотелось.

А немка между тем сделала новую попытку проваться. Она наступала прямо на девушку — старшего лейтенанта, говоря что-то быстро и пылко и поднося к самым ее глазам свою бумажонку. В ее речи беспрестанно повторялись слова «майне мутта» и «герр бургомайста». Бумажонка, которую она держала в руках, была, судя по большой круглой печати в углу, каким-то немецким официальным документом. Нечто вроде справки. Написана эта справка была не на пишущей машинке, а чернилами, от руки, четким, крупным почерком. И Нечаев, стоявший рядом, невольно прочел ее.

— Послушайте, товарищи! — сказал он. — Это ей выдано от бургомистра какого-то там места в Берлине. Удостоверение, что она действительно идет в такой-то город искать больную мать. И просьба оказывать содействие. Ее мать здесь.

Немка, заметив, что Нечаев прочел и понял справку, мгновенно обернулась к нему. И он впервые увидел ее лицо, до сих пор скрытое от него капюшоном. Узкое лицо со впавшими щеками. Большой рот, прямой, острый нос, светлые брови. Глаза казались темными благодаря очень крупным зрачкам. Возраст неопределенный — от двадцати трех до тридцати пяти. В то мгновение Нечаеву показалось, что скорее тридцать пять, чем двадцать три.

Она находилась в крайнем волнении. Обнадеженная тем, что ее, кажется, начали понимать, она теперь обрушила всю свою речь на Нечаева; слова ее посыпались еще быстрее. И Нечаев не без удивления обнаружил, что понимает почти все.

— Она говорит, что ее мать, больная, осталась тут, в городке, — объяснил он. — Она хочет найти мать и увезти ее с собой в Берлин. Она уверяет, что ни минуты здесь лишней не задержится...

— Мутта, мутта! — повторяла девушка старший лейтенант. — Как будто я не понимаю... Нет здесь ее

мутты! Немцев здесь нет. Все ушли на тот берег.

Немка жадно прислушивалась к русским словам, зная, что решается ее судьба. С надеждой и мольбой смотрела она на Нечаева.

— Ну, несколько человек могли остаться... — сказал Нечаев.

— Ни одного.

— Старуха какая-нибудь...

Но девушка старший лейтенант уже начала терять терпение.

— Я здесь помощник коменданта, понимаете? Я не могу не знать, — сказала она. — Мухин, когда последние шесть человек ушли?

— Да уж больше недели будет.

К этому времени ветер стих, и наступила та тишина, которая бывает перед самым дождем. Стало еще темнее. Молния, все озарив, упала где-то совсем рядом, и раздался грохот, как от целой серии полутонных авиабомб.

— Дает! — сказал Мухин, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

И тут вдруг в разговор вступил Черета.

Он долго не понимал, чего добивается немка, и относился к ней только как к досадной задержке. Но, когда до него, наконец, дошло, он внезапно разгорячился.

— Да ведь ее мать больная! Как же она могла уйти? — сказал он девушке старшему лейтенанту. — Соображать надо!..

Этого девушка старший лейтенант не перенесла.

— Вы, что ли, собираетесь учить меня соображать? — сказала она, презрительно оглядев всю его длинную фигуру от сапог до фуражки. — Что вы здесь делаете? Я не знаю вас. Кто вы такой?

— А вы кто такая? — зычно спросил Черета и сделал шаг ей навстречу.

При свете новой молнии стояли они друг перед другом, полные гнева: он — огромный, а она — маленькая, похожая на растопырившую перья куропатку.

Тут Нечаев понял, что вмешаться нужно немед-

ленно. Он взял Череду за рукав, осторожно оттащил его и встал перед ним.

— Тише, тише, лейтенант, — сказал он ему, стараясь говорить как можно спокойнее и мягче. — Вы совсем не правы. Раз помощник коменданта говорит, что здесь никого нет, значит, никого нет. А мы направляемся в Берлин, — прибавил он, протягивая девушке старшему лейтенанту свое командировочное удостоверение, — да вот гроза, ветер, транспорта нет. Нужно переждать до утра. Есть у вас тут хоть сарай какой-нибудь с крышей?

Девушка старший лейтенант сразу успокоилась. На командировочное удостоверение она почти не взглянула.

— Здесь единственный дом уцелевший, где наша комендатура, да там полно, — сказала она миролюбиво. — А вон в этом переулке, в том ряду, четвертый дом справа, там наверху две комнаты ничего, там иногда ночуют. Бегите!

Действительно, пора уже было бежать. Со стороны реки доносился, нарастая, ровный шум. Это приближался ливень. Девушка старший лейтенант сама хотела бежать в комендатуру, но нужно было как-то порешить с настойчивой немкой.

— Так отведите ее на мост, Мухин, — сказала она.

— Есть отвести на мост, — сказал Мухин без особой охоты.

— Да пусть она пойдет с нами, — предложил Нечаев неожиданно для самого себя. — Зачем надо, чтобы она на ночь глядя в такую грозу шла пешком в Берлин...

— Поймите, нельзя ей здесь оставаться... Запрещено.

— Так ведь только до утра. Мы сами за ней присмотрим и ни на шаг от себя не отпустим... Даю вам слово...

— Завтра утром наша комендатура отсюда уходит. Мы передаем это место полякам, и все должно быть в порядке...

— Так мы на рассвете уйдем отсюда и ее с собой уведем!

Девушка старший лейтенант колебалась. Она не скоро сдалась бы, если бы не дождь. Шум прибли-

зился вплотную, упали первые крупные теплые капли.

— Ладно, бегите, — сказала она, махнув рукой.

И сама побежала вверх по улице, к центру городка.

Ливень хлынул, и сквозь шум струй слышно было, как она звонко, по-девичьи, вскрикнула, убегая. Мухин отошел под узенький навес, сохранившийся над крыльцом разбитого домишка у перекрестка. А Нечаев и Черета побежали вниз по переулку, сделал немке знак бежать вместе с ними.

Небеса словно прорвало, ливень хлынул с оглушительной силой, вниз по булыжнику переуллка сразу покатился целый поток, гулко и грозно гремел гром. Черета бежал впереди, считая при мятущемся свете молний домишки с правой стороны. Второй, третий... Это только зубчатые остатки кирпичных стен, на мгновение возникающие из мглы. Где же четвертый? Эге, да он стоит, отступя от дороги, в какой-то низинке... Он оттого и уцелел, что стоит в низинке... Черета обернулся и сделал знак рукой Нечаеву и женщине, бежавшим сзади.

Через полминуты они уже все трое стояли в темных сенях. Дом не запирался: наружная дверь была сорвана с петель и валялась на земле у крыльца. Нечаев и Черета сняли тяжелые от воды фуражки и вытерли платками лица. По их спинам под намокшими гимнастерками текли прохладные струйки. Снаружи по-прежнему шумело и гремело, а здесь какие-то проломанные простенки, исковерканные железные кровати, груды обвалившейся штукатурки. Но потолок цел, и сухо.

Женщина, войдя, зашла куда-то в угол и стояла там так тихо, что Черета и Нечаев несколько раз оглядывались, чтобы убедиться, здесь ли она. Во мраке видны были только смутные очертания ее мокрого плаща. Молния отражалась в крупных черных зрачках.

Черета не вполне еще успокоился после своего столкновения с девушкой-старшим лейтенантом и, вспоминая ее, продолжал ворчать.

— Принципиальные! — говорил он Нечаеву. — Женщины часто бывают такие принципиальные.

Упрется — и ни с места. Ступай на мост ночью под дождем, и все тут. А зачем, спрашивается? Есть тут какая необходимость? Это вы хорошо придумали — захватить немку с собой. Мы чуть свет поедem в Берлин и ее подвезем...

Нечаев тем временем нащупал ногой деревянную ступеньку. Лестница на второй этаж! Он осторожно пошел наверх. Через минуту сверху раздался его голос:

— Сюда!

Череда сделал знак женщине идти наверх, и она послушно зашагала по ступенькам. Череда пошел за ней. Они оказались в комнате вполне целой, только стекло в окне было выбито. На выцветших обоях можно было заметить прямоугольные темные пятна, где висели когда-то картины. Мебели не сохранилось никакой, лишь вдоль стен на полу лежали два тюфяка. Вероятно, за последние недели здесь нередко останавливались на ночлег разные военные люди, ехавшие по шоссе к Берлину. Череда поднял с пола две пустые консервные банки и швырнул их за окно. Потом заметил сбоку плотно прикрытую дверь. Он нажал на дверную ручку, дверь распахнулась, и они увидели вторую комнату, поменьше, тоже с окном без стекла и с двумя тюфяками у стен.

— Отлично! — воскликнул Череда. — Здесь мы устроим нашу немецкую гражданку. А то надо раздеться и хоть гимнастерки посушить. Пожалуйста, заходите, — сказал он, обращаясь к немке и показывая ей на дверь.

Она как поднялась сюда, так и стояла, не двигаясь, посреди комнаты. С плаща ее капала на пол вода, парусиновые туфли на босых ногах набухли. Опустив голову, она исподлобья нерешительно смотрела на Череду.

— Как по-немецки сказать «пожалуйста»? — спросил Череда.

— Битте, — сказал Нечаев.

— Битте, битте, заходите и устраивайтесь, — сказал Череда немке, стараясь придать себе любезный вид.

— Данке, — сказала она и вошла в комнату.

Череда осторожно прикрыл за ней дверь.

Не теряя ни минуты, Череда опустился на тюфяк и стал устраиваться. Он поставил свой мешок на пол, расстелил свою плащ-палатку, с удовольствием стащил с себя сапоги, размотал портянки, снял гимнастерку и рубаху и повесил их на два гвоздя. За окном шумело и гремело по-прежнему, и конца этому не предвиделось. Стало еще темнее, и уже не от грозы, а просто потому, что вечерело.

— Нужно закусить, пока не совсем темно, — сказал Череда. — А то потом рот с ухом спутаешь.

Они оба не ели с утра и очень проголодались. Череда потянул руку за своим мешком. «Ну и крепко же ты сработан!» — думал, глядя на него, Нечаев. С голыми плечами и голой грудью Череда казался еще мощнее и громаднее, чем одетый. Несмотря на сумерки, на верхней части его живота был отчетливо виден синеватый шрам — след операции. Глянув на этот шрам, Нечаев, снявший уже сапоги и гимнастерку, не стал снимать рубаху — он стеснялся своего искалеченного тела.

Чемодан Нечаева, поставленный на полу между двумя тюфяками, должен был служить им столом. Буханки хлеба, масло, круглые коробки мясных консервов. Вытаскивая из мешка хлеб, Череда наткнулся на свои пол-литра. Ухватив бутылку за горлышко, он поднял ее и держал на весу, словно не зная, поставить ли ее на чемодан или опустить обратно в мешок.

— Вот бы сейчас дернуть! — сказал он. — Лучшее средство от сырости... Но мне нельзя: не выдерживаю... После операции никак нельзя...

При виде бутылки Нечаеву вдруг тоже захотелось выпить. Он чувствовал, что Череда колеблется и что стоит ему сказать одно слово — и бутылка окажется на чемодане. Он и сам колебался. Но благоразумие победило.

— Раз нельзя, так нельзя, — сказал он. — Спрячьте.

— Может быть, вы без меня выпьете?..

— Нет, зачем же... Один я пить не стану.

Бутылка исчезла в мешке, и Череда принялся открывать консервы.

— Послушайте, а как же она?.. — спросил он вдруг.

— Я и сам думаю... — сказал Нечаев.

— Ничего у нее с собой нет... А ведь она изда- лека... И вид у нее тощий... Одни кости...

— Так пойдите позовите ее, — сказал Нечаев.

— Позвать?.. Эх, беда, придется одеваться...

Они нехотя натянули на себя сапоги и непросох- шие гимнастерки.

— Нет, уж вы пойдите... — сказал Черета. — Я по- немецки ни бум-бум...

Нечаев тоже не был уверен в своем знании не- мецкого языка и побаивался, что за годы войны мно- гое позабыл. Однако нужно же ее позвать. Он по- дошел к двери и постучал.

Никакого ответа.

Он постучал громче. Опять никакого ответа. Впрочем, на этот раз стук его совпал с раскатом грома. Он постучал еще раз. Нет ответа.

Тогда он тихонько открыл дверь.

Она стояла у подоконника спиной к двери и вгля- дывалась в городишко, развалины которого смутно виднелись за пеленой дождя. В сумерках на фоне окна виден был только темный ее силуэт. Плащ ее висел на стене. Вот какая она без плаща... Еще уже... Узкие плечи, слегка сутулые... Голые руки, темное платье. Волосы, кажется, вьются...

Она быстро обернулась, и, хотя Нечаев почти не видел ее лица, он почувствовал, с какой тревогой она взглянула на него. Он приготовил в уме немец- кую фразу, однако у него не хватило духу эту фра- зу произнести: слова застряли в горле. Но она и без слов поняла, что он ее зовет. Настороженная, недо- верчивая, вышла она из комнаты.

Черета сидел на тюфяке перед чемоданом и на- мазывал масло на ломоть черного хлеба.

— Садитесь, покушайте, — сказал он ей.

Она не поняла и остановилась посреди комнаты, с беспокойством ожидая, что будет дальше. Нечаев сел на свой тюфяк и похлопал по тюфяку рукой, приглашая ее сесть рядом. Она замотала головой. Но он был настойчив и опять похлопал по тюфяку. Она опасливо подошла и села на самый край тю- фяка, на расстоянии метра от Нечаева.

И Черета протянул ей ломоть хлеба с маслом.

Она не брала, по-видимому не понимая, чего от нее хотят.

Потом вдруг воскликнула по-немецки:

— Мне?

И быстро повернула голову к Нечаеву, как бы спрашивая его, не ошиблась ли она.

Этот удивленный возглас при виде куска хлеба взволновал Нечаева, и в волнении он заговорил по-немецки.

— Вам, вам! — сказал он поспешно. — Кушайте, мы просим вас...

Она робко взяла ломоть, но сразу же стала есть. Ела она деловито, вся поглощенная едой. Когда крошки падали ей на подол, она сразу же подбирала их двумя пальцами и отправляла в рот.

Она была, несомненно, очень голодна, и потому кормить ее было особенно приятно. Черета отрезал новый ломоть хлеба, побольше, толсто намазал его маслом, положил сверху мясо и держал наготове, чтобы дать ей, когда она справится с первым ломтем. Она взяла и второй ломоть, поблагодарив наклоном головы, и ела его так же деловито, серьезно и бережно, как и первый.

— Она, может, сегодня и во рту-то ничего не держала, — сказал Черета. — Спросите ее.

Нечаев спросил по-немецки, обедала ли она сегодня.

— Я масла больше двух лет не видала, — сказала она; масло она называла не «буттер», а «бутта». — Я ела в последний раз в Берлине...

— А когда вы были в Берлине? — спросил Нечаев.

— Вчера утром.

— Вы два дня ехали из Берлина?

— Я шла пешком. Вчера, едва солнце встало, я вышла и пошла.

— И всю дорогу ничего не ели?

— Я привыкла не есть.

— Нельзя привыкнуть не есть, — возразил Нечаев.

— Можно привыкнуть есть, и можно привыкнуть не есть, — сказала она. — Я привыкла не есть.

Голос у нее был слегка хриловатый. Уже едва

различимая в сгущавшихся сумерках, она была похожа на большую странную птицу. Гроза не то чтобы поутихла, а немного отошла в сторону, на восток. Гром перекатывался уже не над самой крышей, а где-то сбоку, но дождь лил по-прежнему. При вспышках молний квадрат окна озарялся на долю мгновения, зажигая блеском ее глаза и глаза Череды, который с напряженным любопытством вслушивался в ее слова, старался разгадать их смысл и поминутно спрашивал Нечаева:

— Что? Как? Что она сказала?

— Вы живете в Берлине? — спросил Нечаев.

— Я живу в Берлине, а моя мать живет здесь, — ответила она. — До войны, когда-то, я тоже жила здесь. Мой отец был матрос, он плавал на судах по Одру.

— Что? Что? — спросил Черета.

Нечаев поспешно и коротко ему объяснил, потом опять перешел на немецкий:

— А где теперь ваш отец?

— Умер.

— А почему вы уехали в Берлин?

— Так хотела фирма «Борманн». Я работала в фирме «Борманн».

Она повернула лицо к Нечаеву, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело на него это известие. Но Нечаев не знал, что такое фирма «Борманн».

— «Борманн!» — воскликнула она. — Это всемирно известная фирма! — Невежество русского офицера удивило ее. — В двадцати трех городах Германии были отделения фирмы «Борманн», и здесь тоже. Я сначала работала здесь в отделении фирмы «Борманн», а потом меня взяли в центральную контору, в Берлин. И моя мать осталась тут одна.

— Что это — Борманн? — спросил Черета.

— Фирма какая-то, — ответил Нечаев.

— Я узнала, что мать моя больна, когда русские были уже близко, — продолжала она. — Я хотела поехать, но вижу, нельзя. Потом русские подошли к Берлину, и я тринадцать суток сидела в подвале. Все мы тринадцать суток сидели в подвалах, и кругом гремело гораздо громче, чем сейчас гремит.

а когда стихло, я стала думать, как прийти сюда и найти свою мать.

— А почему вы полагаете, что ваша мать еще здесь? — спросил Нечаев.

— Я это знаю. Три дня назад я встретила в Берлине женщину, которая пришла отсюда и видела мою мать. Я явилась к новому бургомистру и рассказала ему все, и он дал мне бумагу, чтобы все видели, зачем я иду, и не задерживали меня. Я возьму мою мать и вернусь с ней в Берлин.

— Здесь нет вашей матери, — сказал Нечаев. — Все ушли отсюда, во всем городе нет ни одного человека, кроме военных...

— Моя мать не ушла, — сказала она убежденно.

— Уверяю вас, ее здесь нет!.. Она, конечно, отправилась в Берлин и ищет теперь вас там.

— Моя мать не могла уйти. Ей шестьдесят шесть лет, и она больна.

— Ну, ее увезли в Берлин... — сказал Нечаев.

— Увезли?

Тут Нечаев впервые услышал, как она смеется. Смех у нее был хриплый, горький и презрительный.

— Моей матери подали золотую карету... Нет, ей подали «опель-адмирал» и отвезли в Берлин! Вот как вы шутите!

— Я не шучу. Я знаю, что здесь ее быть не может...

Он продолжал убеждать, и мало-помалу она перестала с ним спорить. Однако нельзя было понять, согласилась она с его доводами или нет. Она усердно ела ломти хлеба, которые намазывал для нее маслом Череда. Потом вдруг сказала:

— Довольно. Я сыта. Спасибо.

— Кушайте еще! Нам хватит!

— Вы очень добры. Нельзя после голода есть много: это кончится плохо. Спасибо.

И она встала с тюфяка.

Нечаев поднялся тоже.

— Ложитесь спать, — сказал он, открывая дверь во вторую комнату. — Утром мы вместе с вами выйдем на дорогу и остановим первую машину и отвезем вас в Берлин. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказала она и вошла в свою комнату.

Нечаев притворил за ней дверь.

— Здорово вы все-таки говорите по-немецки! — с восхищением воскликнул Череда, когда они улеглись на своих тюфяках.

Он и раньше уважал Нечаева за образованность, а теперь просто гордился им.

— А ела-то она как, а? — вспомнил он. — Не шибко ее Гитлер кормил.

— Видно, не шибко.

— Украину разграбили, Польшу разграбили, но ей небось ничего не перепало, — продолжал Череда. — Ей — только бока подставляй.

— Пожалуй, что так.

— И теперь, когда пришло время ответ держать, виноватые норвят скрыться. А кому прежде всего достается? Опять ей да ее мамаше...

Гроза грохотала где-то уже совсем далеко, на востоке. Но дождь шумел по-прежнему сильно и однозвучно. И под ровный шум дождя они уснули.

5

Нечаев проснулся от легкого скрипа двери.

Он открыл глаза и не сразу сообразил, где находится, — так все изменилось вокруг. Комната, озаренная легким струящимся светом, казалась новой, незнакомой. Что ж это случилось? Дождь прошел, за окном ясное небо и луна. Квадратный лунный блик лежал на полу между тюфяками.

Снова скрип дверных петель. Дверь комнаты, где они поместили ту женщину, медленно-медленно приоткрывалась. Нечаев поднял голову. Скрип сразу прекратился.

Женщина, вместо того чтобы спать, стояла на пороге своей комнаты и смотрела на него. Он видел, как блестят ее глаза. Она, несомненно, собиралась уйти, и притом так, чтобы никто не заметил. Остановилась она только оттого, что Нечаев шевельнулся.

У Нечаева была выработанная фронтовой жизнью привычка — вставать мгновенно. Еще не совсем ясно

поняв, что происходит, он уже натянул сапоги, влез в гимнастерку, надел пояс с пистолетом. Увидев, что уйти незаметно ей не удалось, она перестала прятаться, вышла из своей комнаты и открыто двинулась к лестнице.

— Стойте! — сказал он по-немецки. — Куда вы?

— Я должна найти свою мать...

— Но ведь я объяснил вам...

— Моя мать не могла уйти. Она парализована, она всегда лежит, у нее не двигаются ноги.

— И все-таки...

Говорили они вполголоса, чтобы не разбудить Череду.

— Мать моя просила мне передать, чтобы я пришла сюда за ней, и я пришла. Она здесь, здесь!

Нечаев чувствовал себя бессильным перед такой убежденностью. Да и что он знал в конце концов? Однако, когда женщина эта опять шагнула в сторону лестницы, он, помня свое обещание, данное помощнице коменданта, преградил ей дорогу.

— Как вы пойдете? — сказал он. — Тут всюду часовые. Вас сразу остановят.

— Ах, бог мой, часовые! — воскликнула она. — Я им говорю, объясняю, а они ничего не понимают... Но ведь часовые — солдаты, а вы — капитан, вы можете им приказать...

— Вздор! Я никому здесь приказывать не могу...

Он стояли друг против друга, и Нечаев совсем близко видел ее лицо. Теперь, при лунном свете, она показалась ему гораздо моложе, чем прежде. В ее сдвинутых бровях, в блестящих глазах, в стиснутых губах большого рта было что-то упрямое и порывистое до одержимости.

— Вы все можете, герр капитэн, — говорила она. — Вы галантный офицер, я вижу, и вы должны мне помочь. Я прошу вашей галантности не для себя, а для старой женщины, моей матери. Подумайте, я прошла такой большой путь, и теперь, когда осталось двести метров, меня не пускают. Но если я буду с вами, меня никто не посмеет остановить. С самим господином капитаном!.. Идемте!.. Идемте!..

И, вовсе не дожидаясь его согласия, она быстро обошла его кругом и побежала вниз по деревянной

лестнице. И ему ничего другого не оставалось, как побежать вслед за нею, покинув спящего Череду.

Нечаев не знал, правильно ли он поступает, но теперь уже склонен был думать, что правильно. Чем черт не шутит, не лежит ли действительно в одном из этих разрушенных домишек старая немка, всеми брошенная, парализованная, без всякой помощи? Основана же на чем-нибудь такая убежденность ее дочери! Почему же не пойти и не проверить?..

Половинка луны плыла высоко в небе. Обрывки туч быстро неслись мимо. Крупные капли блестели на ветках. Воздух после дождя был свеж и влажен. И удивительно тих. Неправдоподобная тишина стояла над развалинами городка, залитыми лунным светом. И только вспышки далеких зарниц, напоминавших об ушедшей грозе, наполняли это мертвое нагромождение разбитых камней призрачной жизнью.

Выйдя в переулок, она остановилась и осторожно глянула влево и вправо.

Никого.

Она пошла не влево, где стоял на посту Мухин, а вправо, вниз, в сторону Одера. Шла она так быстро, что Нечаев не без труда поспевал за нею. Капюшон ее плаща был откинут на спину, и рыже-вато-каштановые волосы, ничем не прикрытые, вздрагивали на ходу. Она старалась ступать бесшумно, но это ей плохо удавалось: у ее парусиновых туфель были деревянные подметки, при каждом шаге громко стучавшие о камень. Обрывки туч иногда на мгновение закрывали луну, и тогда все разом гасло вокруг, и становилось так темно, что Нечаев терял свою спутницу из виду. Но вот половинка луны, как легкая лодка, опять выплывала на простор, и все озарялось еще ярче.

Они шли к Одеру; спуск становился круче; впереди меж ветвями кустов уже блеснула лунная дорожка, бегущая по воде. Однако спутница Нечаева внезапно круто свернула налево, в узенький, заросший крапивой, совсем неприметный проулок между длиннейшим кирпичным забором и отвалившимися кирпичными стенами каких-то сараев. Она действительно здесь, в этом городке, все знала отлично и, несмотря на то, что шла с Нечаевым, выбирала такой

путь, где можно было наверняка никого не встретить. Она вела его по дворам разбитых домиков, по каким-то садикам с ободранными деревьями, по дорожкам, усыпанным осколками оконного стекла, ярко блестящими при лунном свете.

Улиц она избегала. Когда им приходилось пересекать улицу, она, прежде чем выйти на открытое место, внимательно смотрела во все стороны. Но комендантские посты находились, вероятно, только на главных перекрестках, а улицы были пустынные. И ни разу никто не повстречался им.

Она уже больше не спешила; чем дальше, тем медленнее она шла. Нечаеву уже не приходилось с трудом догонять ее; напротив, теперь он порой поджидал ее, чтобы узнать, куда идти. С какой-то минуты ею, казалось, овладела некоторая нерешительность; она словно ждала чего-то. Время от времени она взглядывала на Нечаева нетерпеливыми, темными, полными лунного блеска глазами. И Нечаев чувствовал, что она ждет чего-то именно от него. Но не мог понять чего.

Наконец она остановилась.

— Спасибо, — сказала она. — Вы удивительно добры. Я напрасно побеспокоила вас. Как видите, мы никого не встретили. Теперь я дойду одна. Возвращайтесь.

— Ну, зачем же! — возразил Нечаев, полагая, что она говорит так только из учтивости. — Я провожу вас.

Но она продолжала с удивившей его настойчивостью:

— Мне жаль, что вы себя утруждаете...

— Я нисколько себя не утруждаю.

— Но ваш товарищ остался там один...

— С ним ничего не случится. Он спит.

Она замолчала и пошла дальше. Но теперь она находила дорогу уже не с такой уверенностью, как прежде. Она словно опасалась заблудиться и не узнавала тех мест, по которым они шли. Иногда она вдруг останавливалась посреди какого-нибудь двора, словно колеблясь, куда идти дальше — направо или налево, и Нечаев стоял вместе с нею, дожидаясь, когда она примет решение. Раза два она даже, свер-

нув в одну сторону и пройдя несколько шагов, круто останавливалась, поворачивала, возвращалась и шла в другую сторону, противоположную; и Нечаев брел за нею.

Они шли вдоль заросшей кустами невысокой кирпичной стены, когда внезапно небольшая тучка, пробежав на луну, все погрузила во тьму. И в этой тьме Нечаев вдруг почувствовал, что его спутницы нет рядом с ним.

Он остановился и прислушался.

Ни звука.

— Где вы? — спросил он по-немецки.

Никакого ответа.

Но тут луна выплыла из облака, и снова все озарилось. Нечаев оглянулся. Рядом с ним — никого.

Он увидел ее шагах в семи от себя — в проломе кирпичной стены, пробитой снарядом. Она стояла по ту сторону стены и с беспокойством смотрела на него через пролом.

«Неужели она хотела спрятаться от меня?» — подумал Нечаев с удивлением.

Но едва она заметила, что он видит ее, выражение ее глаз сразу изменилось.

— Так вы здесь! — воскликнула она обрадованно и кинулась к нему. — А я вас потеряла! Так было темно, так темно, ничего не видно!.. Я вас искала, я туда, я сюда, ищу, ищу!..

Она закрыла глаза и выставила вперед руки, чтобы показать, как она в темноте искала Нечаева. «Все-таки каким образом она очутилась за стеной?» — думал Нечаев. А она продолжала радоваться, что нашла его. Она взяла его под руку горячей голой рукой, выскользнувшей из плаща, и даже на мгновение прижалась щекой к его плечу.

— Идемте!

Она выпустила его руку и быстро зашагала. К ней снова вернулась решительность, и дорогу она выбирала без колебаний. Уверенно и круто сворачивала она то в одну сторону, то в другую. Нечаев старался не отставать от нее ни на шаг.

— Теперь уже совсем немного осталось, — говорила она. — Мы почти пришли...

Нечаеву стало казаться, что они кружат, что они

идут там, где уже один раз проходили. Впрочем, все эти разбитые домишки, кирпичные заборы, пустые улочки так похожи... И все-таки на этом пустыре между трех разбитых домов они, несомненно, уже были!..

Но он не успел как следует оглядеться, потому что луна вдруг погасла снова.

И в наступившей темноте он ясно услышал, как она прыгнула в сторону и побежала, стуча своими деревянными подошвами.

Он сразу же кинулся за ней по стуку ее подошв. Но стук мгновенно прекратился. Он пробежал по инерции еще несколько шагов; потом остановился и прислушался.

Полная тишина.

Он не делал больше попыток позвать ее, потому что понимал, что она не откликнется.

Справа он услышал легкий шорох и бросился туда. Но, быть может, это ветер... Или птица шевельнулась в кустах... Никого.

Тут луна начала выползать из облака, и все осколки стекла, которыми был усыпан пустырь, засверкали множеством огней. Нечаев стоял на пустыре один.

Он подозревал, что она спряталась, что она где-нибудь здесь, поблизости, стоит, притаившись, и смотрит на него. Он вглядывался в каждую тень, падающую на пустырь. Он стал медленно обходить пустырь кругом. Может быть, она в одном из этих разбитых домиков? Он заглянул и в домики. В домиках не было ни крыш, ни простенков, ни перекрытий, они напоминали большие пустые лоханки, полные лунного света. И ни в одном из них он ее не обнаружил. Да и зачем стала бы она в них задерживаться, когда у нее было вполне достаточно времени, чтобы проскользнуть сквозь них и исчезнуть в лабиринте развалин, среди которых она так легко находила дорогу?..

Его обманули. Она воспользовалась его доверчивостью для своих целей. Каких? Может быть, преступных... Она сейчас смеется над ним, дураком...

Он задыхался от гнева, досады, обиды. Уж он показал бы ей теперь, если бы она попалась ему на глаза! Он все еще продолжал искать ее, хотя пони-

мал, что это безнадежно. Но что же делать? Заявить в комендатуру? Не очень приятно будет ему встретиться с той маленькой толстенькой помощницей коменданта, которую он упросил оставить эту негодную немку под его ответственность...

Пройдя насквозь через какой-то разбитый домишко, он оказался на улице. Вероятно, это была главная улица городка; она тянулась по гребню берегового откоса параллельно реке, и дома здесь были повыше, чем на других улицах, несколько даже трехэтажных. Нижние этажи этих домов сплошь занимали магазины и конторы — это видно было по ширине оконных проемов и по остаткам вывесок. То там, то здесь при лунном свете блестела какая-нибудь золоченая буква величиной с метр, или болтался на покосившемся кронштейне бронзовый бык, перевернутый взрывом снаряда вверх копытами, или крендель булочной отбрасывал двукрылую тень, покрывавшую мостовую от одного тротуара до другого.

Понимая, что поиски продолжать бессмысленно, Нечаев зашагал по главной улице в ту сторону, где должно было находиться шоссе, ведущее к мосту. Так дойдет он до того места, где стоит на часах Мухин. Нужно хоть Мухина предупредить... Кроме того, только от поста он способен найти дорогу к дому, в котором остался лейтенант Череда... Нечаев шел посередине улицы, и стук его сапог гулко раздавался в тишине. На ходу он машинально оглядывал обломки вывесок, стараясь разгадать их значение. И вдруг одно слово на вывеске поразило его.

Впрочем, вся вывеска состояла из одного этого слова. Над пятью широкими окнами нижнего этажа углового трехэтажного дома было написано: «Вогтапп».

Борманн! Она говорила, что работала прежде в здешнем отделении фирмы «Борманн»... А фирма «Борманн» действительно существовала и имела в этом городке отделение!.. Значит, не все, что она говорила, ложь... Значит, была в ее словах и правда!.. Он смотрел на золоченые буквы «Вогтапп», охваченный неожиданной радостью и надеждой. Если «Борманн» — правда, так, может, ее больная мать тоже правда?.. Ему так хотелось не быть обманутым!

Но почему же она тогда спряталась от него, почему она убежала?.. Она не желала, чтобы он узнал, куда она идет. Другого объяснения невозможно придумать. Она для чего-то обманула его, провела его как дурака... Фирма «Борманн»... Если бы узнать, где в ее словах кончалась правда и где начиналась ложь...

Он стоял перед домом фирмы «Борманн» и вглядывался в пустые черные впадины окон. Между окнами тоже были вывески, сильно попорченные осколками шрапнели. На каждой из них можно было разобрать слово «Вогтапп», написанное помельче, и изображения каких-то предметов. Какие-то машины, аппараты... Это, по-видимому, пишущая машинка, а это кассовый аппарат для выбивания магазинных чеков. Так вот чем торговала фирма «Борманн»...

Вдруг он услышал звук, легкий, но отчетливый. В тишине, наполнявшей мертвый городок, этот негромкий звук был так неожидан, что он вздрогнул. Он подождал, сдержав дыхание. Звук повторился. Что это за звук? Шелест листьев? Нет, нет. Плеск воды? Нет, не то. Скорее шуршание сыплющегося песка. Гравий, мелкие камешки, падающие сверху. Опять!.. На этот раз он даже различил по звуку, как эти камешки, падая с высоты, прыгали, ударяясь о землю.

Все это совершалось где-то там, в темноте этих окон, внутри дома. Снова горсть камешков, сорвавшись с высоты, рассыпалась по земле... Еще... еще... Внутри дома Борманна или, может быть, позади него шла какая-то таинственная работа.

А вдруг это она?

Нечаев отлично понимал, что для такой догадки нет почти никаких оснований. Но эта мысль взволновала его: он весь еще был под впечатлением ее бегства, своих поисков, сомнений, досады. И, оглянувшись по сторонам, он осторожно вошел в окно магазина, перешагнув через подоконник, возвышавшийся над тротуаром меньше чем на полметра.

Дом был трехэтажный, с башенкой на углу, один из самых больших домов городка, и наружные стены его уцелели. Но от сердцевины дома ничего не осталось. Лунный свет, проникая сквозь окна и пробои-

ны, длинными струнами прочеркивал темноту. Тьма между лунными бликами была так черна, что казалось, там провалы, ямы; перед каждым шагом Нечаев осторожно щупал почву ногами. Только бы не нашуметь, не вспугнуть!

Внезапно высоко-высоко над собой, в зените, он увидел голубоватую звездочку. Значит, там, наверху, ничего нет, если отсюда, снизу, видно небо. А между тем звук этот, постоянно повторявшийся, всякий раз начинался где-то наверху. Сыпалось что-то сверху, шурша по стене, потом уже внизу рассыпалось со стуком во все стороны. Переступая через бревна, через кирпичи, Нечаев прошел дом насквозь и вышел во двор.

Двор был небольшой, квадратный, залитый асфальтом, с четырех сторон окруженный домом фирмы «Борманн» и наискось прорезанный границей между черной тьмой и лунным светом. Две липы без единого листочка, как зимой, купали в лунном сиянии свои обожженные сучья. Звук снова повторился... Рядом... Справа... Вдоль той стены, которая вся погружена во мрак... Нечаев круто повернулся лицом к звуку. Камешки со стуком запрыгали перед ним по асфальту. И один из них, подпрыгнув, больно ударил его по руке.

Боясь быть замеченным, Нечаев поспешно отступил в тень и, подняв голову, стал наблюдать. Все это сыпалось на двор из окна третьего этажа. Окно находилось не в той части здания, сквозь которую он только что прошел, а в боковой, правой. Вся та стена погружена была в тень, но верхние окна ее чуть-чуть светились, — вероятно, лунный свет проникал внутрь через окна противоположной стены или через крышу. Окно, на которое смотрел Нечаев, было расширено взрывом и имело неправильную форму... Там, за этим окном, сейчас шла какая-то работа. Кто-то помаленьку сбрасывал оттуда во двор мусор — истолченную в пыль штукатурку и мелкие осколки кирпича.

Как же туда забрались, на третий этаж, когда все потолки обрушены?.. Впрочем, кто его знает, эта часть здания, быть может, не так пострадала... Если попробовать войти вон в ту дверь...

Нечаев осторожно, кружным путем, побрел к выходящей во двор двери, стараясь ни разу не вынырнуть из тени на свет.

Войдя, он оказался в полной тьме. «Еще на мину нарвусь! — подумал он. — Добегаюсь тут по развалинам до беды... Разве за такой короткий срок могли все разминировать...» Однако он продолжал ощупью двигаться вперед. Была же здесь лестница... А, вот и ступенька!.. И он медленно, ничего не видя, побрел наверх.

Теперь тот звук раздавался почти прямо над ним. Там словно что-то рыли. Нечаев осторожно нащупывал ступеньку за ступенькой. Вот первый марш лестницы кончился. Сейчас будет поворот.

За поворотом лунный луч, прорвавшийся меж разъехавшимися кирпичами, как длинная спица, пронизывал темноту. И при расплывчатом свете вокруг этого луча Нечаев смутно различил следующий марш лестницы — тот, по которому ему предстояло идти. Лестница лепилась к стене, вися над черной пустотой, у нее не было перил и даже, кажется, в нескольких местах не хватало ступенек. «И черт его знает, чего я полезу! — опять подумал Нечаев. — Там, может, собака роется или ворона...» Но нет, он отлично знал, что ни собака и ни ворона не станут так упорно, равномерно и осторожно рыть в одном месте. И он пошел вверх, стараясь держаться поближе к стене и переступая через провалы, зиявшие там, где не хватало ступеней. За следующим поворотом стало еще светлее: рассеянный свет проникал откуда-то сверху. Еще поворот — и он остановился на площадке третьего этажа.

Теперь тот шум раздавался в нескольких шагах от него, совсем рядом. Он застыл и осмотрелся.

Сквозь дверной проем без двери увидел он просторную комнату, довольно хорошо сохранившуюся и ярко освещенную лунным светом, проникавшим через три окна, обращенных на улицу. Три других окна, выходящих во двор, казались черными. Возле третьего из этих окон громоздилась большая куча мусора, свалившегося с потолка, который был провален и обрушен как раз в правом, дальнем углу комнаты. Край этой мусорной кучи сползал в окно.

За кучей находилась плотно прикрытая дверь, хорошо видная, потому что на верхнюю часть ее падал широкий лунный блик. Именно там, между кучей мусора и дверью, совершалось то, что шумом своим привлекло Нечаева. Там двигалось что-то живое, неясное, копалось в мусоре, подбирало мусор снизу и бросало вверх, на кучу, но мусор на куче не удерживался и при каждом броске, шурша, сползал за окно во двор.

Это живое существо, почти целиком заслоненное кучей, казалось таким небольшим, что Нечаев опять подумал, уж не собака ли тут. Однако нет, это спина человека, это человек стоит на коленях, низко согнувшись.

И вдруг человек этот выпрямился и поднялся с колен.

Женщина.

Она взялась за дверную ручку и с силой рванула ее к себе.

Но дверь не открылась.

Нечаев неподвижно стоял в темноте и даже не дышал. Он только смотрел. Но она словно почувствовала его взгляд. Она тревожно повернула лицо, и лунный свет, отразясь, блеснул в ее больших глазах. Ну ясно, это была она! Застывшая в испуге, она смотрела прямо на Нечаева, не видя его, но безошибочно угадывая.

Весь прежний гнев вспыхнул в нем с новой силой. Громко стуча сапогами, он вступил в комнату и вышел на свет.

Узнав его, она сделала попытку изобразить на лице своем радость.

— О, это вы, герр капитэн! — воскликнула она. — А я потеряла вас...

Эта новая ложь возмутила его.

— Довольно врать! — крикнул он. — «Мутта, мутта!» — передразнил он ее. — Скажите мне только еще раз, что здесь вы ищете свою мамашу! Посмейте мне только сказать!..

Но про мать свою она больше говорить не пыталась. Она смотрела на него блестящими глазами, отражавшими голубоватый свет луны, и в тревоге ожидала, что будет дальше.

Нечаев тем временем оглядывал комнату, стараясь понять, что она здесь делала. Нет, эта комната никогда не была жилой. Какие-то перебитые трубы на стенах, по-видимому для газа, водопроводные краны, остатки стеллажей, обломки столов, похожих на верстаки, на прилавки. Лаборатория или мастерская. Что же она делала там, в углу, перед той дверью? Он шагнул вперед, глянул за кучу и все понял: она хотела открыть эту дверь, но, когда вошла сюда, нижняя часть двери была засыпана мусором, и потому дверь не открывалась. Шум, который он слышал, был вызван тем, что она отгребала мусор от двери. И она уже почти расчистила пол перед дверью, совсем немного осталось... Только зачем ей все это понадобилось?

— Что за этой дверью? — спросил он.

— Не знаю, — сказала она.

— Отойдите! — приказал он и сам двинулся к двери.

Но она не шевельнулась.

Он ухватился за дверную ручку.

Тогда она спиной прижалась к двери.

— Прочь! — сказал он.

Но она и не думала отходить. Подняв обе руки, она положила их Нечаеву на плечи. Ее лицо, озабоченное луною, было прямо перед его лицом.

— Вы мне так нравитесь, герр капитэн! — произнесла она быстрым шепотом. — Я давно уже хотела сказать, но у меня не хватало храбрости... Разве я вам совсем неприятна, герр капитэн?.. Разве у меня не может быть надежды?..

Она обхватила его шею руками, прильнула к нему всем телом и вдруг повисла на нем, обмякла. От неожиданности он едва удержался на ногах.

— Ну, герр капитэн, смелее...

Он даже не сразу понял. Поняв, он окончательно вышел из себя. Он с силой отшвырнул ее в сторону. Она отлетела на несколько шагов, едва не упала. Но, мгновенно вернувшись, она снова прижалась к двери спиной.

— Отойдите!

— Герр капитэн! — сказала она умоляюще.

Но от гнева Нечаев уже потерял самообладание.

ние. Он расстегнул кобуру, вынул пистолет и поднял его.

— Убью! — сказал он по-русски.

Она испугалась — не его пистолета, а его лица. И поняла, что упорствовать дальше бесполезно. Она отошла от двери в сторону шага на три и остановилась возле стены.

Он нажал на дверную ручку и изо всей силы рванул к себе.

Дверь была незаперта, но не открылась потому, что слой битой и растоптанной штукатурки все еще придерживал ее внизу.

Оглянувшись, Нечаев нашел на полу доску. Он поднял ее и, действуя ею как лопатой, стал сгребать штукатурку с пола и швырять за окно. Он нисколько не заботился о тишине, и шум, поднятый им, казался в безмолвном воздухе оглушительным.

— Зачем так громко?.. Услышат!

Она с полным тревоги вниманием следила за каждым его движением.

— Пусть услышат. Мне здесь не от кого прятаться, — ожесточенно ответил он и снова загрохотал доской по полу.

— То, что я ищу, нужно только мне, — проговорила она. — Для вас оно не имеет никакой цены...

Он отшвырнул доску и опять ухватился за дверную ручку.

На этот раз дверь подалась и приотворилась, образовав довольно широкую щель.

И раньше, чем он успел опомниться, в эту щель кинулась она. И замерла на пороге.

Он, стоя позади нее, поднявшись на носки и вытянув шею, старался через ее плечо разглядеть, что там, за дверью.

За дверью не было ничего.

Не было даже пола — пропасть начиналась сразу за порогом.

Весь этот угол дома был вырван, обрушен и уничтожен — все три этажа, — и дверь вела в пустоту, в воздух. Далеко внизу виден был пустынный переулок, пересеченный тенями деревьев, а еще дальше и еще ниже, за садами и развалинами, под откосом блестели воды Одера.

Медленно, полным досады и горечи голосом произнесла она довольно длинную немецкую фразу, из которой он не понял ни слова. Это, несомненно, было ругательство — в институте его немецким ругательствам не учили.

Он был потрясен ее откровенным отчаянием.

Она отошла от двери, потеряв к ней всякий интерес, и сказала:

— Ну, вот и все. Глупо было думать, что здесь можно что-нибудь найти.

Посмотрела на его пистолет в кобуре и прибавила:

— Убейте меня. Ведь вы собирались меня убить. Теперь я ничего не имела бы против...

Тут лицо ее презрительно перекосилось.

— Но ведь вы не убьете, я знаю, — сказала она со злой усмешкой. — Я и тогда несколько вас не испугалась.

И она безнадежно махнула рукой.

Ей, по-видимому, хотелось сорвать на нем злость, сказать ему что-нибудь оскорбительное. А его гнев, напротив, быстро остывал. Очень уж она была жалкой. Теперь он помнил прежде всего запах ее платья, который ощутил три минуты назад, когда она обняла его за шею, стоя перед дверью. То был запах заношенной ткани, много раз мокнувшей и много раз высохавшей на теле, запах ночевок без раздевания, длинных путей, голодовок, нищеты...

— Что вам здесь было нужно? — спросил он. — Что вы искали?

— Арифмометр, — ответила она.

— Что? — не понял он.

— Арифмометр. Счетную машину. — Она pokrутила кистью руки, чтобы показать, как вертят ручку арифмометра. — Этот арифмометр оставался там, в той комнате. Но нет ни комнаты, ни шкафа, ни арифмометра...

— А зачем вам арифмометр?

— Он был мне нужен.

— И только ради этого вы сюда пришли?

— Только ради этого.

Нечаев помолчал, подумал. Она покорно ждала.

— Пойдемте, — сказал он ей.

Она пошла послушно, опустив голову, и они сошли по лестнице без перил, пересекли двор, вышли сквозь здание на главную улицу и зашагали рядом по мостовой.

— Если вы ведете меня в русскую комендатуру, так нам не сюда, — сказала она. — Комендатура, по моим догадкам, правее, на Гофманштрассе...

— А вы хотите, чтобы я вас свел в комендатуру? — спросил он.

— Мне теперь все равно, — сказала она. — Тюрьма, Сибирь, расстрел — теперь для меня все безразлично.

Нечаев не свернул вправо, а продолжал идти в прежнем направлении. Так прошли они квартала два.

— Я вижу, вы ведете меня к мосту, — сказала она. — Вы хотите проследить, чтобы я перешла через мост. Напрасно беспокоитесь, я и сама пойду к мосту. Я не останусь здесь ни на одну лишнюю минуту: мне здесь нечего делать. И вы зря себя утруждаете, герр капитэн...

— Почему вы называете меня капитаном? — спросил он. — Я обер-лейтнант, а не капитан.

— Все старшие лейтенанты любят, чтобы их называли капитанами, — сказала она.

— Нет, не все, — возразил он.

— Все, — повторила она убежденно.

Он замолчал, и они молча прошли еще квартал.

— Вы хотите, чтоб я вам поверил и отпустил вас здесь, — сказал Нечаев. — А я больше не могу вам верить...

— Я не хочу, чтобы вы мне верили, — возразила она. — Мне все равно.

— Я не могу вам верить, потому что вы мне лгали, — продолжал он. — Вы пришли сюда искать какие-то вещи, мародерствовать, а солгали мне, будто ищете свою больную мать.

Она искоса взглянула на него и усмехнулась.

— Не то удивительно, что я вам солгала, а то удивительно, что вы мне поверили, — сказала она безжалостно. — Впрочем, и это не удивительно. На све-

те нет ничего удивительного. Удивляются только дураки.

После этого Нечаев долго не делал попыток с ней заговорить. Они молча свернули влево, потом вправо и подошли к тому перекрестку, где стоял часовой. Мухин успел уже смениться, и боец, стоявший на его месте, не обратил на них никакого внимания. Они вышли из городка и через поле дошли до проезжей дороги, ведущей к мосту. До расставания им осталось всего несколько минут.

— И вы согласны были обнимать меня ради арифмометра? — сказал Нечаев.

— Ну и что же! — ответила она. — Мне нужен был этот арифмометр.

— Нет, этого я не могу понять! — сказал Нечаев.

— Вы не можете этого понять, потому что вы богатый и ваши родители были богатые, — сказала она.

Нечаев опешил.

— Почему вы думаете, что я богатый? — удивился он.

— Вы — офицер, — сказала она. — Сыновья богатых идут в офицеры, а сыновья бедных — в солдаты.

— Ну нет, так не везде, — возразил Нечаев.

— Везде, — сказала она.

Больше они уже не проговорили ни слова.

Несмотря на глухую пору, дорога, ведущая к мосту, не была пустынна. По ней так же, как днем, медленно двигались пешеходы — одинокие женщины, женщины с детьми, старики. Слово тени, всходили они на мост, шли к противоположному берегу и растворялись в смутной лунной полумгле.

У моста Нечаев остановился. А спутница его, не кивнув ему, не взглянув на него, взошла на мост, стуча деревянными подошвами по деревянному настилу, и через минуту исчезла впереди вместе с другими тенями.

Нечаев постоял, посмотрел на мост, на сверкание воды внизу, повернулся и пошел назад. Через пять минут он был уже в том домишке, где оставил Череду. Черета по-прежнему спал на своем тюфяке, не переменяв даже позы, и только лунный блик, падавший из окна, сдвинулся далеко в сторону.

Нечаев проснулся оттого, что озяб.

Из разбитого окна несло сыростью. Уже совсем рассвело. И опять шел дождь.

Не ливень, как вчера, а ровный, однообразный дождь, начавшийся, видимо, уже довольно давно и зарядивший надолго. Небо в окно смотрело мутное, без просветов.

Череда проснулся почти в одно время с Нечаевым. Он тоже озяб; прежде чем открыть глаза, он несколько раз менял положение, ежась и складываясь калачом. Наконец он совсем очнулся, сел на своем тюфяке, подняв плечи, и сказал:

— Бррр!..

Торчать здесь больше не имело смысла; все равно дождь не переждешь. Надо было собираться в путь. Озябшие и хмурые, они не сразу разговорились. Выйдя наружу, они умылись под струей дождевой воды, стекавшей по желобу с крыши, потом вернулись наверх в комнату, чтобы поесть перед дорогой.

— Надо постучать немке в дверь,— сказал Череда,— а то она заспалась и нас задержит.

Он опешил, когда Нечаев ответил ему, что немки давно нет. Слушая краткий рассказ Нечаева о ночных похождениях, он удивлялся каждому слову. Прежде всего он удивился тому, как это он сам ничего не слышал. Потом тому, что ночь была лунная, а он-то думал, что дождь так с вечера и льет не переставая. Он замер, слушая, как она обманула Нечаева и удрала и как Нечаев искал ее и нашел в разбитом доме фирмы «Борманн».

— Так, значит, у нее никакой мамы не было?

— Ну ясно,— сказал Нечаев.

— Что же она искала?

— А, барахло какое-то... Арифмометры... Здесь все брошено, вот барахольщики и рыщут...

— Ну, народ! — сказал Череда. — Все одинаковые! Нет уж, теперь ни одному не поверю... Родную мать в это дело вплела!..

— А мне наука — не связываться,— сказал Нечаев.— Вот связался и остался в дурнях...

Они, наверно, и еще об этом поговорили бы, ес-

ли бы мысли их внезапно не были отвлечены в сторону. Роясь в своем мешке и вытаскивая из него хлеб, масло, консервы, нож, вилку, Черета опять наткнулся на свою поллитровку. После сна он еще не согрелся, и потому на этот раз она показалась ему особенно соблазнительной. Он поднял ее, держа за горлышко, и стал медленно раскачивать перед чемоданом Нечаева.

— Открыть разве...— сказал он нерешительно.— Ведь нам под дождем ехать...

Нечаев промолчал. Он тоже еще не согрелся и, по правде говоря, не прочь был бы глотнуть немного.

— Вы бы выпили, а? — спросил Черета и прищурил один глаз.

— Я-то что...— сказал Нечаев.— Ведь вам же нельзя...

Черета вздохнул.

— Ну, сто грамм ничего...— проговорил он, понизив голос почти до шепота. — Я сильно окреп с тех пор, как пил последний раз... Сырость-то сегодня какая...

— А как же ваши друзья в полку?

— У них есть, наверно... А нет, так все равно одним пол-литром весь полк не угостишь...

Держа бутылку левой рукой, Черета энергично описал ею в воздухе нечто вроде восьмерки, затем ловко шлепнул огромной ладонью правой руки по донышку. Пробка вылетела. На чемодане появились два стакана.

Они с удовольствием выпили и с не меньшим удовольствием принялись за еду.

— Еще? — спросил Черета.— Стоит ли оставлять такую малость...

Но Нечаев проявил благоразумие. С утра не надо. И Черета, заткнув бутылку пробкой, нехотя спрятал ее в мешок.

Они согрелись, развеселились. Особенно повеселел Черета. Через минуту он уже крупно шагал по переулку, вертя перед собой свой мешок, даже подбрасывая его в воздух и ловя на лету. Он уверял, что такая погода ему нравится, и запрокидывал голову, чтобы дождь брызгал ему прямо в лицо. Время от времени он останавливался и поджидал Не-

чаева, не поспевавшего за ним. На Нечаева он теперь, после выпивки, поглядывал особенно ласково и начал неуклюжий разговор о том, как ему повезло, что он встретил такого спутника. Нечаев, не любивший излишней, нахмурил брови и спросил:

— Как вы себя чувствуете?

— Отлично! Лучше не бывает!

Пройдя через поле, они вышли на шоссе и остановились. Черета вертел и подбрасывал мешок. В том, что они сейчас же уедут, он не сомневался.

— Здесь до Берлина меньше трех часов, — утверждал он. — Мы еще до полудня будем на месте!

Но время шло, дождик лил, а машин не было. Одни только пешеходы, мокрые, забрызганные грязью и, казалось, ко всему равнодушные, то одиночками, то маленькими группами брели по направлению к мосту, как вчера днем, как ночью. Пройдут — и на дороге опять никого.

И вот, наконец, вдалеке появилась машина. Полуторка. Пустая. Это было нетрудно заметить — так она гремела и подскакивала.

Машина была еще очень далеко, а Черета уже стоял посреди дороги, размахивая руками и мешком. Однако машина, приблизившись, вместо того чтобы сбавить ход, вдруг сделала небольшой заворот, объехала его и покатила дальше. Черета, уверенный, что им пренебрегли, погрозил вслед кулаком. Но когда машина отъехала метров на пятнадцать, дверца кабины вдруг приоткрылась, шофер поглядел на них и сделал им рукой знак, который можно было истолковать как приглашение. И они неуверенно побежали за машиной, не зная, остановится она или нет.

— Заметили, какая зверская рожа у шофера? — сказал Черета на бегу. — Рядом с ним кто-то сидит...

Перед самым поворотом на мост машина остановилась. Из кабины вышла толстая женщина, а вслед за ней и шофер. Женщина была с головой закутана в серую шаль и напоминала большой кулек. Шофер что-то объяснял ей, энергично жестикулируя, но она, по-видимому, туго понимала, потому что объяснения эти продолжались до тех пор, пока не добежали Черета с Нечаевым.

Женщина оказалась беременной и напрасно старалась концами шали прикрыть свой огромный живот. Одутловатое лицо с нездоровыми пятнами и замученные, ничего не понимающие глаза. Шофер был молодой боец в пилотке и в промасленной до черноты брезентовой куртке. В его широком, скуластом лице с маленькими глазками и приплюснутым носом действительно чудилось что-то разбойничье; это впечатление еще усиливалось большими черными пятнами мазута на щеках и на лбу.

Однако он приветствовал обоих офицеров как положено, вполне учтиво. И сразу же принялся объяснять, каким образом немка очутилась у него в машине.

— В военных машинах запрещено гражданских возить... И это правильно, я сознаю... Но вы посмотрите, в каком она положении — сейчас рассыплется... А идет — надо, видно, идти... Попросила, я и подвез... — оправдывался он.

— Что же ты ее тут высадил? — спросил Черета.

— А дальше никак нельзя, — объяснял шофер. — Там, за мостом, на горку въедешь — контрольно-пропускной пункт. Увидят гражданскую и снимут ее с машины. И правильно... Я сознаю...

Он говорил виновато, боясь, как бы Нечаев и Черета его не упрекнули. Конечно, война только что кончилась, кругом чужая страна, едва замиренная, в машине ты один, грузы возишь ценные, и если начнешь сажать в машину кого попало, так на такое можешь нарваться... А немцы сейчас все на ногах, все по дорогам. Война их разбросала, разогнала, и теперь каждый что-нибудь ищет и куда-нибудь бредет...

Беременная немка, поняв, что ее дальше не повезут, не взглянув и не кивнув, двинулась к мосту, тяжело переставляя ноги.

— Может, вы ко мне в кабину сядете, товарищ старший лейтенант? — предложил шофер Нечаеву.

— Нет, я уж лучше в кузов.

— Так, может, вы, товарищ лейтенант... Ведь дождик...

— Я? — переспросил Черета. — Ну уж нет! Задохнешься у тебя там. Я на вольном воздухе!..

Он закинул в кузов свой мешок, чемодан Нечаева, поставил ногу на колесо и перешагнул через борт. Оттуда, сверху, он протянул руку Нечаеву, и Нечаев оказался втянутым в кузов словно мощным краном. Шофер, кажется, был доволен, что ни один из них не сел в кабину. Он вернулся к баранке, захлопнул дверцу, и они покатали.

У самого въезда на мост они обогнали беременную немку. Слева перед мостом в зеленой дощатой будке стоял польский солдат, рослый, подтянутый, щеголеватый, с белым орлом на конфедератке; увидев в кузове машины двух советских офицеров, он лихо, по всем правилам, отсалютовал им винтовкой, четко шелкнув каблук о каблук. Машина мягко прокатилась по дощатому настилу над водой. В самом конце моста, на левом берегу Одера, стояла точно такая же зеленая будочка; в ней на скамейке сидела круглолицая девушка-красноармеец, коренастая, плотная, в кирзовых сапогах, в пилотке, в гимнастерке, в зеленой юбке, из-под которой торчали толстые колени. На коленях у нее лежал автомат.

— Здрóво, Клавдя! — крикнул ей шофер, приоткрыв дверцу.

Она улыбнулась и махнула ему рукой.

Так началась Германия.

Метров через сто их на минуту остановил шлагбаум контрольно-пропускного пункта. Часовой мельком глянул в документы, и они поехали дальше. Дорога слегка завернула. И тут, за поворотом, едва контрольно-пропускной пункт скрылся из виду, машина опять остановилась, без всякой, казалось бы, причины.

— С этим шофером мы далеко не уедем, — проворчал Черета.

Возбуждение Череды все возрастало, ему хотелось двигаться, мчаться. Но шофер, очевидно, не склонен был спешить. Минуты через две он медленно вылез из кабины, перешел дорогу поперек и глянул куда-то назад. Потом, опасливо взглянув на Череду и Нечаева, вернулся к машине.

— Чего мы стоим? — спросил Черета.

— Покрышки проклятые... надо проверить... — ответил шофер невнятно.

Он склонился над колесом и долго выстукивал пальцем грязную резину. Потом перешел ко второму колесу, от второго к третьему. Двигался он так медленно, словно к ногам его были привязаны гири. Но покрышки были целы. Он все поглядывал назад, в сторону поворота дороги. Проверив четвертую покрышку, он еще постучал согнутым пальцем по деревянному борту кузова, словно тоже для проверки, хотя в этом не было никакого смысла. Потом, на мгновение обратив к Черете свое свирепое лицо, быстро зашагал прочь от машины, назад, в сторону поворота дороги.

— Куда ты? — крикнул Черета.

Но шофер не ответил. Дойдя до поворота, он остановился. Оттуда ему был виден контрольно-пропускной пункт и мост. Но из машины видна была только его спина, сутулившаяся под дождем. Он ждал чего-то.

— Да ну его к черту! — сказал Черета, потеряв терпение. — Лучше пешком идти! Если пойдет другая машина, я пересяду!..

Но тут шофер повернулся и побрел к ним.

— Сейчас, сейчас... — сказал он Черете.

Однако шел он так медленно, словно спал на ходу. Долго обтирал он подошвы о ступеньку, вздыхал и сопел, влезая в кабину. Наконец он уселся и включил мотор.

Тут Черета легонько толкнул Нечаева в бок:

— Посмотрите!

Из-за поворота вышла беременная немка. С трудом неся тяжелый живот, она шагала по самой середине дороги, неподвижно смотря прямо перед собой. Когда она поравнялась с машиной, шофер отворил дверцу, высунул руку и помог ей войти в кабину.

И они понеслись.

— Я так и думал, что он ее ждет, — проговорил Черета. — Чего же он нам не сказал? Боялся, видно...

Черете сидеть не хотелось, и он ехал стоя, опершись грудью о крышу кабины и глядя вперед. Дождь хлестал прямо в его широкое лицо, но это только доставляло ему удовольствие. Полой своей плащ-палатки он заботливо укрывал Нечаева, кото-

рый старался усесться у его ног, прислонясь спиной к задней стенке кабины. Но спокойно сидеть Нечаеву никак не удавалось, потому что Черета поминутно толкал его и заставлял вскакивать, говоря:

— Гляньте!.. Гляньте!..

Они ехали по Германии, по той самой Германии, с которой они так долго сражались и которая еще так недавно казалась недосыгаемо далекой. Впрочем, ничего особенно нового вокруг не было. Очень плоская равнина, словно разглаженная утюгом. Пустые, незапаханные поля, тонушие в дождевой мгле. Небольшие лесочки, явно насаженные: сосны в них, все одного роста, стояли рядами, как солдаты, и с движущейся машины казалось, что они все время перестраиваются, сдвигая ряды и поворачиваясь то направо, то налево. Мокрая вывороченная глина траншей и воронок, бетон блиндажей, рваная, ржавая колючая проволока, разбитые, обожженные дома — все то, чем были они окружены на всем их двухтысячекилометровом пути. И дорога, прямая, как линейка, с двух сторон обсаженная тощими длинными деревьями, тянувшими сучья друг другу навстречу и сплетавшими свою мокрую жиденькую листву над машиной.

И по-прежнему на этой дороге они то там, то сям обгоняли пешеходов — обычно женщин, то одиноких, то с детьми, прошедших, безусловно, уже десятки километров и знающих, что еще десятки километров им предстоит пройти. Они шагали, безучастные к дождю, к проезжающей машине, ко всему кругом. Все они были выгнаны из домов обстрелами, бомбежками, пожарами, эвакуациями, сборами на военные работы; одни не успели убежать с бегущими на запад германскими армиями, другие, напротив, оказались вдали от родных мест как раз потому, что убежали. И теперь, когда все утихло, они брели по дороге в Берлин, смутно надеясь найти там хоть какой-нибудь кров, хоть какую-нибудь пищу. Среди шагающих немцев больше всего было выходцев из старых польских земель, теперь возвращаемых Польше. Имуущество свое они волокли на себе. Особенно нагружены были те, которые только недавно вышли в путь. Те, которые шли издалека, успели уже все по-

бросать и двигались налегке. И по обочинам дороги валялся брошенный скарб — кастрюли, альбомы с семейными фотографиями, вилки, библии, наволочки, набитые размокшими письмами.

Как ни весело, ни лихо настроен был Черета в то утро, но при виде этих пешеходов в глазах его появлялось растерянное выражение. Он не был уверен, как к ним надо относиться, и эта неуверенность смущала его. Конечно, страна здесь чужая, и ни с кем нельзя связываться... Да они и сами хорошо проучены: мало их разве поводила за нос та дрянная немка в городишке...

— Поглядите, что это там? — вдруг воскликнул он, пристально смотря куда-то далеко вперед.

Нечаев тоже посмотрел вперед и увидел вдали посреди шоссе что-то вроде коротенького столбика, тумбы... Или это ящик, выпавший из какой-нибудь машины?.. Нет, не то. По обеим сторонам этого небольшого странного предмета были как бы два крыла, которые подымались и опускались одновременно... С помощью этих беспрерывно и равномерно машущих крыльев предмет этот двигался по шоссе. Так кто же это? Животное? Птица? И вдруг Нечаев различил большую голову в черной кепке.

Это калека, человек без обеих ног. Он сидит на дощечке с маленькими колесиками и катит по гудрону, отталкиваясь взмахами рук. В руках у него два каких-то деревянных копытца, которыми он упирается в землю.

Хотя машина приближалась к нему, он и не думал посторониться; он даже не обернулся, чтобы посмотреть, и продолжал двигаться по самой середине дороги. Шофер замедлил ход, и они осторожно объехали его. И, глянув назад, Нечаев увидел седые усы. Старик.

Черета забарабанил кулаком по крыше кабины, крича:

— Стой! Да постой же!

Машина, прокатив еще метров десять, остановилась. Дверца кабины щелкнула, и выглянул шофер.

— Послушай, — сказал Черета. — Давай возьмем его...

— Да ведь у меня в кабине места нет...

— А наверх?

— Слишком видно...

— Да он без ног!.. Неужто и безногого нельзя?..

— Я и сам думал... Пожалуй...

А между тем калека, мерно работая руками, приближался сзади к машине. Деревянные копытца стучали, колесики гремели. Лицо его было скрыто большим козырьком черной кепки.

— Послушайте!.. Пойдите!.. — закричал ему Черета. — Эй! Эй!

Безногий был уже возле заднего колеса машины. Услышав голос Череты, он остановился и закинул голову. Внизу, рядом с грязным колесом, Черета увидел усатое лицо и строгие, умные глаза.

— К нам! К нам! — сказал Черета, перегнулся через борт и протянул вниз свою длинную руку.

Но безногий то ли не понимал, то ли не хотел понять. Он не поднял рук и продолжал сурово и безучастно смотреть на Черету снизу.

Тогда Черета прыгнул к нему на дорогу. Он подошел к калеке сзади и опустился на корточки. Ухватясь руками за доску, на которой тот сидел, он напрягся и вдруг выпрямился. Калека, привязанный к доске ремешками, оказался высоко в воздухе. Он швырнул в кузов свои деревянные копытца, уцепился руками и перекинул через борт свое короткое тело.

В кузове он с необыкновенной ловкостью двигался и поворачивался на своих колесиках. Он устроился у заднего борта, прислонясь к нему спиной. Голова его едва возвышалась над бортом. Черета вернулся на свое место, и машина двинулась дальше.

— Как вы думаете, — спросил Черета у Нечаева, продолжая рассматривать калеку, — он потерял ноги на этой войне или на прошлой?

— Если судить по возрасту, так скорее на прошлой, — ответил Нечаев неуверенно. — Впрочем, кто знает, может, он и не так стар, как кажется... Может, и на этой...

— А вы его спросите.

Но Нечаеву не хотелось заговаривать с безногим. На морщинистом, мокром от дождя, простом и мужественном лице этого старого челове-

ка лежали следы долгих страданий, вызывавшие уважение и требовавшие сдержанности. Темная от грязи и воды куртка из мешковины, с оловянными пуговицами, надета, видимо, на голое тело... Этот человек уже свел счеты со всем миром, расплатился за любую чужую вину... Черета тоже не настаивал на расспросах, хотя очень взволнован был и видом старика и тем, что посадил его в машину. Вообще возбуждение, в котором он находился сегодня с самого отъезда, не только не уменьшалось, но, кажется, даже усиливалось. Он был непоседлив, жаждал деятельности и ко всему, что попадалось им на пути, относился с самым пылким участием.

Через несколько минут его взволновала шагающая по дороге семья, состоявшая из матери и четверых детей. Мать тащила на себе полосатый сеник, набитый каким-то добром, и катила перед собой колясочку, в которой лежал младенец, укрытый от дождя сложным сооружением из клеенок. Старший мальчик волочил за собой на веревках самодельную тележку, нагруженную домашним скарбом и покрытую одеялами. Девочка лет девяти вела за руку девочку лет шести; у одной в свободной руке был бидон, у другой — чайник. Сзади шла низенькая рыжая лохматая собака на таких коротких ножках, что длинная шерсть ее, свисая, достигала почти до земли.

Черета опять стал стучать по крыше кабины, и машина вновь остановилась. Нечаев думал, что на этот раз шофер запротестует, но он не только не запротестовал, а даже сам вылез из кабины и стал знаками предлагать немке подвезти ее. Немка ничего не поняла, испугалась его зверского лица и остановилась, прижав к своей юбке обеих девочек. Но тут прыгнул с машины полный решимости Черета и сразу же приступил к действиям. Он взял тележку у мальчика, поднял ее двумя руками над головой и опустил в кузов. Таким же способом отправил он туда же одну за другой и девочку. Потом бережно проделал то же самое с коляской, в которой лежал младенец; при этом мать металась вокруг, подымая руки, и все повторяла: «Ах, майн готт!» Черета посадил и ее, и мальчишку, и собаку, которая отблагот-

дарила его тем, что принялась в кузове отряхать свою мокрую шерсть и окатила его брызгами.

Так началось. Теперь в кузове находилось уже столько гражданских, что не было никаких оснований не взять еще. Если влетит, так уж заодно. Да и Черета вошел в азарт. Его приводила в восторг изумленная радость этих людей, их благодарность, по большей части молчаливая. Он готов был ради них сколько угодно раз прыгать через борт, поднимать любые тяжести. В своем увлечении он порой совершал и ошибки. Увидев, например, на дороге одинокую старуху, которая катила перед собой детскую коляску, он решил, что в коляске ребенок, а оказалось, что коляска набита каким-то барахлом, тщательно упакованным и, по-видимому, ценным. Когда Черета, соскочив, поднял коляску в кузов, старуха решила, что он хочет ее ограбить, и набросилась на него с визгом. Когда же он и ее посадил в кузов, она сразу же начала громко выражать недовольство тем обществом, которое там застала, и, подбирая свои юбки, с особой брезгливостью сторонилась от безногого.

Но и эта старуха не остудила пыл Череты. Он продолжал свою деятельность, и скоро кузов оказался набит людьми и пожитками. Последней посадил он девушку в брюках, которая шагала по дороге, неся на себе велосипед с лопнувшей шиной и ведя за руку четырехлетнего мальчика. Очутившись в кузове, девушка приписала свою удачу своей внешности и все время умильно и многозначительно поглядывала на Черету, стирая ладонью грязь с бледного забрызганного личика и наматывая на пальцы мокрые кудряшки. Возможно, Черета не вполне был равнодушен к ее вниманию, хотя не подавал виду. Стараясь, чтобы всем было удобнее, он рассадил людей вдоль бортов, а пожитки сложил в середине. Образовалась изрядная куча из сундучков, корзин, мешков, тележек. И Черета устроился на этой куче, возвышаясь над всеми, как добрый и могущественный бог. У ног его копошились дети, а мокрой своей фуражкой он почти доставал до веток, сплетавшихся над дорогой.

Нечаев по-прежнему сидел, прислонясь спиной к кабине и стараясь поглубже уйти в свою шинель,

чтобы защититься от сырости. Он пригрелся и малопомалу под влиянием тряски почувствовал сонливость. Глаза его уже стали закрываться. И вдруг крик, громкий, отчаянный, совсем близкий, заставил его вздрогнуть и вскочить.

Это был даже не крик, а вой, захлебывающийся, дикий. Казалось странным, что так может кричать человек. А между тем это кричал Череда — раскрыв рот, корчась и держась за живот обеими руками.

Сраженный внезапной болью, он, грохоча, скатился с разъезжающейся кучи вещей, наваленных посреди кузова, прямо к ногам перепуганных пассажиров. Огромное тело его извивалось и тряслось между ног и корзин в натопанной грязи, фуражка слетела с головы, русые волосы разметались по мокрым доскам, капельки пота выступили на бледном лбу, две слезинки выкатились из закрытых глаз. Кричать он перестал почти сразу и только громко стонал, держась за живот, но тут заревели в испуге все ребятишки в машине, и мамаша заметалась, крича: «Майн готт! Майн готт!», и собака пронзительно залаяла, то подскакивая к Череду, то отскакивая от него.

Разумеется, машину немедленно остановили. Нечаев не без труда уложил голову мечущегося Череды к себе на колени. Глаз Череда не открывал и на все вопросы отвечал только стонами. Шофер вылез из кабины, и Нечаев стал совещаться с ним, что делать.

— Не загнулся бы, — сказал шофер.

Они оба не на шутку встревожились. Как помочь заболевшему человеку на большой дороге в чужой стране? Нечаев знал, что Череда только что выписался из госпиталя после серьезнейшей операции, и это еще усиливало его беспокойство. Нужен врач, и притом немедленно.

Рядом с дорогой лежала разбитая немецкая деревня, по-видимому пустая; врача в ней не найдешь. Шофер вспомнил, что, проезжая здесь несколько дней назад, он километрах в двух отсюда, дальше по дороге, видел на заборе стрелку и русскую надпись: «Хозяйство Михайлова». Это означало, что там находится какая-то советская воинская часть. Доехать бы до этой части и там узнать, где здесь ближайший медсанбат...

Но тут Черета вдруг решительно замотал головой.
— Конечно, в медсанбат! — сказал Нечаев. — Скорей! Едем!

Черета открыл глаза.

— Не надо медсанбата! — проговорил он слабым голосом. — Нет, только не в медсанбат!

Видя, что Черета очнулся, Нечаев обрадовался и сказал:

— Вы не беспокойтесь, мы вас довезем осторожно. Вас посмотрят врачи, и вам сразу станет легче...

— Не надо врачей, прошу вас! — прошептал Черета умоляюще. — У меня и так скоро пройдет... Мне бы только полежать спокойно...

— Ну вот в медсанбате и полежите...

Но Черета в испуге даже приподнялся. Он не хотел ни медсанбата, ни врачей.

— Но почему же? — удивлялся Нечаев.

— У меня и так пройдет, я знаю... А они сразу догадаются...

— Догадаются? О чем?

— Что я выпил...

Тут только Нечаев смекнул, в чем дело. Это всего только последствия выпитой утром водки.

Тревога его несколько поубавилась, хотя, как бы там ни было, а положение Череты оставалось тяжелым. Черета по-прежнему и стонал, и метался, и корчился, держась руками за живот. Продолжать путешествие в таком состоянии он не мог. И так как машина должна ехать дальше, нужно было немедленно найти какой-нибудь выход.

— Уложить бы его в постель, — сказал Нечаев нерешительно. — Если бы хоть один дом здесь уцелел...

— А вот, глядите, во втором этаже занавески, — сказал шофер. — Может быть, там кто есть... Снесем его туда, а?

Действительно, в окнах соседнего кирпичного дома белели занавески. Пожалуй, там можно найти и кровать.

— А вы не оставите меня там одного? — спросил Черета, с испугом глядя на Нечаева.

— Нет, нет, не беспокойтесь, — ответил Нечаев.

Черета, заболев, стал робок и беспомощен, как ребенок. Непрекращавшиеся рези в животе заставляли

его жалобно стонать и проливать слезы. Он поминутно хватал Нечаева за руки, боясь, как бы тот его не кинул. Чтобы вытащить Череду из кузова, пришлось открывать борт. Вытаскивали его Нечаев и шофер. Немцы, стоя в кузове, наблюдали за ними молча, с неподвижными лицами. Вероятно, они сочувствовали Череду; но в то же время происшествие это было задержкой в пути, и они ждали, когда их повезут дальше.

Нечаев не был уверен, удастся ли ему снести Череду на себе, тем более что нести нужно было и вещи. Но, к счастью, оказалось, что Череду может идти сам. Он обнял Нечаева за шею, навалился на него всей тяжестью, и они побрели.

— Помочь вам? — крикнул им вслед шофер.

— Не надо, поезжайте, — ответил Нечаев.

И машина уехала.

Деревня состояла из кирпичных нештукатуренных домов, находившихся в разной степени разрушения. Под дождем, окруженные черной топкой грязью, дома эти имели вид жалкий и мрачный. Дом, к которому они направлялись, хотя и целее других, тоже был похож на угрюмый кирпичный сарай. Окна нижнего этажа зияли пустыми провалами, но в двух небольших окошечках второго этажа уцелели стекла, и на одном из них белели занавески.

Ворота, ведущие во двор, были сорваны с петель и валялись в грязи. Двор, узкий, немощеный, топкий, ограниченный слева слепой кирпичной стеной соседнего дома, кончался пустым коровником с раскрытой настежь дверью. Свет в коровник проникал сквозь широкий пролом в крыше, и через дверь видны были деревянные стойла да вилы, воткнутые в груды старого навоза. Нечаев довел продолжающего стонать Череду до крыльца, и они вошли в дом.

Этот деревенский крестьянский дом внутри ничем не отличался от любого домика в каком-нибудь городишке. В полутемных сенях справа была обитая кленкой запертая дверь, ведущая в нижний этаж. Наверх вели деревянные истоптанные ступени. Здесь стоял тот затхлый запах плесени, который обычно бывает в нежилых помещениях. Нечаев подумал, что занавески в окне, собственно, ничего не означают и

что в доме, по-видимому, никого нет. Однако отступить было уже поздно. И он пошел наверх, осторожно таща за собой стонущего, пыхтящего и совсем раскисшего Череду.

Дверь наверху тоже была обита старой клеенкой, сквозь дыры которой торчали клочья войлока. Нечаев постучал.

Полная тишина.

Нечаев постучал сильнее.

Никакого ответа.

Нечаев, уже не надеясь, стал размышлять, что же теперь делать. Но так как ему ничего не приходило в голову, он постучал еще раз.

И вдруг за дверью раздались шаги. Тяжелые. Как показалось Нечаеву, мужские. Кто-то подошел к двери изнутри и остановился, прислушиваясь, в каких-нибудь пятидесяти сантиметрах от них.

Нечаев подождал немного и опять постучал. Лязнул железный засов, и дверь приоткрылась.

Женщина. Очень большого роста, почти как Черета. Желтое костистое лицо с крупными, почти мужскими чертами. Серые волосы, узкий, ввалившийся рот. Длинное черное платье, от шеи до пола. Рука, лежащая на дверном засове, — крупная, грубая, крестьянская рука, обезображенная многолетней тяжелой работой.

Старуха, загоразивая собою вход, выцветшими водянистыми глазами смотрела на двух русских военных.

— Мой товарищ болен, — сказал Нечаев по-немецки.

Старуха не двинулась, и лицо ее не шевельнулось.

Черета застонал. Рези в животе у него были так сильны, что он с трудом удерживался от того, чтобы не сесть на пол.

Но и стон его не заставил дрогнуть лицо старухи.

Больше ждать было невозможно, и Нечаев стал протискиваться в дверь. Старуха отступила все с тем же каменным лицом. И они вошли.

Они оказались в маленькой кухне. Чугунная плита, некрашенный стол, посудные полки с фестонами из розовой бумаги. Несколько кастрюль, очень боль-

шой кофейник, покрытый полотенцем, три тарелки, две чашки. Все это блестело чистотой, отражало свет тусклого дня, проникавшего сквозь окошко, и от этого казалось еще более скудным.

Открытая дверь вела из кухни в комнату. Там, за дверью, белела подушками широкая двуспальная кровать. Завидев эту кровать, Череда со стоном, похожим на вой, устремился к ней и рухнул на нее ничком, держась руками за живот и свесив ноги. Мягкая перина глубоко осела под его тяжелым телом.

Нечаев вошел в комнату вслед за ним, стащил с его ног сапоги, перевернул его на спину и уложил поудобнее, стараясь по возможности меньше мять и пачкать постель. Череда стонал, закрыв глаза. Старуха стояла в кухне, свесив тяжелые руки, и смотрела на них через дверь все с тем же каменным, суровым лицом. Взгляд ее водянистых глаз смущал Нечаева. До чего тоща! Скелет в черном заношенном платье. Как она живет здесь одна, в пустой, разрушенной войной деревне? Что она ест?

Подумав о том, что она голодна, Нечаев открыл свой чемоданчик, вынул из него кусок черного хлеба весом в полкило и протянул старухе.

Она стала есть сразу же, даже не присев, отламывая куски скрюченными пальцами, засовывая в рот и жуя беззубыми деснами. Так, стоя, ела она очень долго, пока не съела всего. Когда хлеб был съеден, она, глядя на Череду, сказала по-немецки:

— Я знаю, что ему нужно... Ему нужна горячая бутылка.

Немецкий язык у нее был таков, что Нечаев не сразу стал ее понимать и вначале только догадывался по отдельным словам. Оказалось, что в ее большом кофейнике, закрытом полотенцем, кипятилок. Она достала бутылку, наполнила ее горячей водой и решительно двинулась к Череду. Склонясь над ним, она умело расстегнула на нем пояс, задрала кверху край гимнастерки, положила бутылку на живот и прикрыла ее гимнастеркой. Череда опять простонал, но это был стон скорее удовольствия, чем боли.

Горячая бутылка подействовала на него благотворно. Он затих, перестал дергаться и, наконец, открыл глаза. Вначале взгляд его, расслабленный и вялый,



блуждал, ни на чем не останавливаясь. Потом вдруг зрачки его сузились и устались в одно место — прямо перед собой. И в них мелькнуло нечто вроде испуга.

В ногах кровати, на которой лежал Черета, стоял старый убогий комод, а на комод — зеркало, тускло мерцавшее. Под зеркалом — белая салфетка, на салфетке — четыре фотографии, застекленные, поддерживаемые в вертикальном положении незатейливым устройством из гнутых проволок. Вот на эти фотографии и был устремлен взгляд Череты.

Четыре гитлеровских солдата смотрели на Черету и Нечаева с четырех фотографий. В полной форме, со свастиками, значками и медалями. Три молодых и один пожилой. Этот пожилой солдат был толст и грузен, он сидел на какой-то скамье, расставив ноги и положив на колени автомат; у него были седые волосы, подстриженные ежиком, и широкое усатое лицо; стальная каска лежала рядом с ним на скамейке. У трех молодых вид был подтянутый, молодцеватый. Особенно выразителен был один; он тоже сидел, положив одну ногу в блестящем сапоге на другую, перетянутый ремнями, в черном мундире, без фуражки, с ровным пробором в гладких волосах и узенькими усиками, придававшими ему наглый вид. Другой, стоявший по стойке «смирно», с выпученными от усердия глазами, казался грубым и туповатым деревенским пентюхом, несмотря на все свои значки и ремни. И что-то милое было только в третьем, самом младшем, с жалкой тоненькой шеей в слишком широком воротнике, с ребячьими плечами и растерянными глазами, глядевшими из-под козырька.

Черета и Нечаев молча и напряженно вглядывались в мундиры и в лица этих людей, таких им чуждых и враждебных, которые, несомненно, когда-то жили в этой комнате. Война еще только что окончилась, и вид вражеских солдат не мог оставить Нечаева и Черету равнодушными. Они так поглощены были разглядыванием фотографий, что забыли про старуху, которая стояла в дверях между комнатой и кухней, не отрывая от них глаз.

— Он мертв, — сказала она внезапно, и Нечаев даже слегка вздрогнул от звука ее голоса.

— Кто? Этот? — спросил Нечаев по-немецки и указал на того, у которого были узенькие усики.

— Да, этот, — подтвердила она. — И этот тоже мертв, — показала она на пожилого толстяка. — И вот этот. И еще вот этот, — указала она на самого младшего. — Все мертвы. Все убиты.

Заметив вопросительный взгляд Череды, Нечаев объяснил вполголоса:

— Да, да, их нет. Убиты.

— Спросите: это ее сыновья? Ее муж?

Но спрашивать было незачем: и так ясно. Семейное сходство подтверждало все: эта крупная костистая старуха была матерью этих рослых молодых мужчин, а этот рыхлый толстяк с усами и ежиком — их отцом.

Она говорила о них просто, со спокойствием отчаяния. Немецкие слова она выговаривала совсем не так, как учили Нечаева в институте, однако не только он понимал смысл ее речей, но и Черета, даже забывший о своей боли и уже сидевший на кровати, придерживая рукой на животе бутылку, почти не нуждался в переводе.

Мужа ее убили первым, еще в октябре сорок первого года. Он был первый убитый из мужчин их деревни, и она была здесь первая из женщин, получивших извещение. Потом убили ее второго сына. Такой был здоровый и сильный. Его только обмундировали, он пошел в фотографию и снялся, его увезли и сразу убили. Старший ее сын долго был жив и долго воевал. За войну он два раза приезжал к ней сюда. Если бы война кончилась прошлой весной, они оба были бы живы — и старший и младший. Старшего убили год назад, в начале того лета. Она осталась вдвоем с младшим. Она уже привыкла жить с ним вдвоем, они всю войну вдвоем прожили. Его взяли совсем недавно, в феврале, и обучали вместе с другими такими же детьми здесь, рядом, на поле за деревней. Первое время он каждый день забегал домой. Его убили в апреле, когда уже почти стаял снег, совсем недалеко, на этой стороне Одера. Извещения не прислали, а просто проходил мимо один солдат, который прежде учился с ним вместе в школе, и сказал, что видел, как его убили...

Она рассказывала ровным голосом, без вздохов и слез, и с каким-то особым бесстрашием выговаривала слова:

— Он мертв. Их нет. Они все убиты.

Здрово и просто отвечала она Нечаеву на вопросы о ее жизни. Нет, этот дом вовсе не их, они только снимали здесь, наверху, комнату с кухней. И земли у них нет, она всю жизнь работала в соседнем поместье, ухаживала за скотиной. Муж ее тоже когда-то служил у тех же господ, но потом на него не хватило работы. Он всегда ездил куда-нибудь искать работу, иногда даже очень далеко, даже в Канаду, даже в Аргентину, всюду побывал, но всегда возвращался обратно, с деньгами или без денег. А теперь он мертв, его убили. И сыновья ее искали работу и работали. Старший сын перед войной работал в Силезии на шахте — не под землей, а в конторе. А второй сын работал вместе с ней здесь, в поместье, и господа очень хорошо к нему относились. Но сыновей ее нет. Убиты ее сыновья.

Тем временем Череда выздоровел окончательно. Неприметно для самого себя он поднялся с кровати, поставил бутылку на подоконник, застегнул пояс и теперь слушал речь старухи, стоя рядом с Нечаевым. Время от времени Нечаев переводил ему вполголоса отдельные слова, об остальном он догадывался сам, так как смысл ее речей был не в словах, а в этом ровном голосе, внешне почти спокойном, но в действительности напряженном до предела от боли и горя. Он опомнился только тогда, когда она замолчала.

— Нам же надо ехать! — воскликнул он, подымая с пола свой мешок. — Сколько времени мы потеряли!

— А как вы себя чувствуете?

— Отлично! Все прошло!

— Смотрите, как бы не началось снова... — сказал Нечаев недоверчиво.

— Теперь уж не начнется. Я себя знаю. Идем!

Нечаева смущала смятая постель. Он вспомнил, что при отъезде из Москвы ему вместе с командировочным удостоверением выдали пачку немецких денег — так называемых «оккупационных марок», выпущенных союзными державами для расплаты с населением в Германии. Нечаев ни разу не вынимал

этой пачки из кармана гимнастерки. Хорошо бы расплатиться со старухой за смятую постель, за беспокойство, да вот беда — он не имел никакого, даже самого отдаленного представления о стоимости этих денег. Сколько ей дать — одну бумажку, или четыре, или восемь? Он вытащил из кармана всю пачку целиком и стал в нерешительности разглядывать ее. Потом отсчитал сто марок разными бумажками и положил на кухонный стол.

Старуха отнеслась к этому спокойно, без радости и без удивления. Она вытащила одну бумажку в пять марок и оставила ее себе, а девяносто пять марок вернула Нечаеву. Сделала она это с достоинством человека, хорошо знающего ценность денег и желающего получить только то, что ему причитается.

Потом она подошла к Череду, стоявшему уже возле двери; протянув руку, она застегнула пуговичку у него на вороте и ловким движением опытной солдатской матери поправила на нем ремень. При этом она негромко произнесла какую-то фразу, задала ему какой-то вопрос, которого он, конечно, не понял.

— Что значит по-немецки «хаймат»? — спросил Череду у Нечаева.

— «Хаймат» — это родина, — сказал Нечаев.

Тогда она, видя, что Череду ее не понял, обратилась к Нечаеву:

— Я про Германию спрашиваю. Германия будет?

Она обращалась к ним с этим вопросом в полной уверенности, что они в состоянии на него ответить. Они были как раз те люди, от которых теперь зависела будущность Германии.

— Германия? — переспросил Нечаев. — Германия будет.

На дворе дождь моросил по-прежнему. Нечаев и Череду снова вышли на дорогу. Не идет ли машина? Но никаких машин не было. Впрочем, Череду это нисколько не удручало. Болезнь его прошла бесследно, он опять был оживлен, возбужден и подбрасывал свой мешок. Впечатления дня переполняли его.

— Да, старуха... Ох, старуха... — говорил он. — Как она хлеб ела... Всю семью потеряла, ничего у нее

нет, а про родину спрашивала... Не то что та, молодая, которая нас вчера на Одере обманула. Ту я до сих пор без злости вспомнить не могу...

И только он это сказал, как они оба разом увидели ее — ту самую немку, которая ночью, при луне, водила Нечаева по разрушенному городку над Одером. Она шагала по шоссе в Берлин. Как они обогнали ее на машине, не заметив?.. Впрочем, мало ли народу обогнали они на шоссе... Может быть, она отдыхала где-нибудь в развалинах, когда они проезжали мимо... Во всяком случае, это была она, закутанная в прозрачный дождевик с остроконечным капюшоном на голове. Она шагала неторопливо и равномерно, как шагают люди, которые уже много прошли и которым предстоит пройти еще больше. Поравнявшись с ними, она окинула их взглядом. Узнала ли она их — осталось неизвестным. Во взгляде ее не отразилось ничего. Так глядят на столб или на стену. Она прошла мимо, в мокрых грязных парусиновых туфлях на босых ногах, и они долго еще слышали стук ее деревянных подошв.

7

Миновало не меньше получаса, прежде чем появилась, наконец, машина, идущая в сторону Берлина. Везла она какие-то ящики и двигалась неспешно, потому что в моторе у нее что-то разладилось.

Нечаев и Черета устроились на ящиках, на самом верху, и покатали.

Дорога была прямая, и они увидели свою вчерашнюю знакомую задолго до того, как поравнялись с нею. Так как ехали они довольно медленно, у них было достаточно времени, чтобы как следует ее рассмотреть. Она шла, и шла, и шла, не глядя по сторонам, не оглядываясь, мерно размахивая правой рукой и разбрызгивая мелкие лужи на гудроне своими парусиновыми туфлями.

— Русская женщина на ее месте разулась бы и пошла босиком, — сказал Черета с неприязнью.

Нечаев подумал, что это, пожалуй, верно, и сказал:

— Очень уж они все обгорожанились. Слишком давно отвыкли от настоящей деревенской жизни.

Наконец машина поравнялась с нею и обогнала ее. Она не обратила на них никакого внимания, не подняла даже глаз.

— А что,— спросил Нечаев,— не подвезти ли?

— Да ну ее!— сказал Черета.

Но, взглянув на Нечаева, передумал:

— А то что же... Нам ведь ничего не стоит...

Почему не подвезти...

Теперь заколебался Нечаев:

— Действительно, зачем с ней связываться...

Опять наврет чего-нибудь.

Однако Черета уже принял решение и стучал кулаком в крышу кабины. Шофер-красноармеец остановил машину и открыл дверцу. Поняв, в чем дело, он спросил:

— Вы что, знаете ее, что ли?

— Знаем,— сказал Черета.

Шофер колебался.

— Ну, если знаете...— согласился он наконец.— А то мне не велено гражданских возить. У меня там в ящиках патроны...

Тем временем она подошла к машине, и Нечаев весьма сухо сказал ей, что они могут ее подвезти.

Только тут она призналась, что узнала его.

— Вы любезны, как всегда, господин капитан,— сказала она.

Нечаев внимательно посмотрел на нее, чтобы понять, не смеется ли она над ним. Но на лице ее была скорее злость, чем насмешка.

Черета протянул руку, чтобы помочь ей влезть, но она влезла сама, без его помощи, легко и умело. И села на ящик между ними.

Нечаеву она теперь казалась совсем другой, чем ночью при луне. От ночи у него сохранились в памяти прежде всего ее очень большие глаза с широкими темными зрачками, полными лунного света. Теперь же глаза ее казались самыми обыкновенными, маленькими глазами, и зрачки в них были маленькие, обведенные бледными голубенькими ободками. Тень усталости, раздражения и горечи лежала на ее лице.

Ехали почти молча. Полей и лесов становилось

все меньше, все чаще вдоль дорог тянулись ряды зданий — городки и поселки, порой сливавшиеся друг с другом и почти сплошь разрушенные. Иногда внимание Череды привлекал какой-нибудь заводской корпус или какая-нибудь пышная вилла, от которой остались только мраморная лестница да колоннада, и он спрашивал, что это такое. Нечаев переводил его вопросы их спутнице, и она отвечала — кратко, неохотно и равнодушно. Все их окружавшее, казалось, нисколько не занимало ее.

— Ну и наломали же дров! — ужаснулся Черета. — Тяжело ей на это смотреть!

Однако он ошибался. Развалины громадных зданий не вызывали в ней, по-видимому, никаких чувств.

— Разве вам не жалко? — спросил ее, наконец, Нечаев.

Она повернула к нему лицо.

— А что мне жалеть? — спросила она. — Это не мое. Пусть жалеют хозяева.

— Но ведь это ваша родина, — сказал Нечаев, думая о той старухе, у которой они только что были.

— Родина! — воскликнула она со злостью. — Родина — это тоже для богатых... Они придумали родину, чтобы заставить бедных на себя работать... Я всю войну работала ради родины, а что я получила?

Она проговорила это все вызывающе, и ясно было, что она считает Нечаева либо богатым, либо сторонником богатых.

— У бедных тоже есть родина, — сказал Нечаев. — Ведь все эти заводы и дома построены бедными, а не богатыми. Если бы между бедными создавалось единение, дружба, они могли бы...

— Между бедными не может быть дружбы, — перебила она его.

— Почему?

— Потому что у бедности нет границ. Всегда найдется кто-нибудь еще беднее. Если у тебя есть только одна юбка, тебе будет завидовать та, у которой нет и одной юбки и которая вместо юбки носит мешок... А той, у которой есть мешок, завидует та, которой совсем нечем прикрыть зада...

Нечаев видел, что она раздражена до крайности и нарочно старается говорить как можно грубее.

— Человек, как бы он ни был беден, должен оставаться человеком,— сказал он строго.— И для бедных людей существуют дружба, любовь, верность.

— Верность! Любовь!— повторила она насмешливо.— Вы верите в любовь?

— Верю.

— Вы шутите, герр капитэн!

Он промолчал, чувствуя, что и сам начинает раздражаться.

Помолчала и она. Потом угрюмо сказала:

— И я когда-то верила в любовь. Лет до семнадцати.

— А сейчас?

Она искривила рот и громко свистнула сквозь правый угол губ. Черета, не понимавший их разговора и начинавший подремывать, вздрогнул и взглянул на нее с испугом.

— Так что же, по-вашему, нет ни любви, ни верности?— спросил Нечаев.

— А по-вашему, есть?

— По-моему, есть,— сказал он.

— Вы, видно, только что женились. Или собираетесь жениться.

— Нет, я давно женат, с первых дней войны.

— И вы всю войну были верны вашей жене?

— Да,— сказал он.

— И ни разу не ходили даже к тем девицам, которых возят за армиями для господ офицеров?

— За нашими армиями не возят таких девиц!

— Это почему же?— спросила она вызывающе.— Потому что у вас социализм?

Он промолчал. Он заставил себя промолчать. Он был недоволен, что дал себя увлечь в разговор о жене и о верности ей. Да и о социализме он в таком тоне разговаривать не собирался. Он решил молчать.

Но она уже разговорилась и, видимо, не могла остановиться. Горечь обид и неудач переполняла ее. Она продолжала говорить, подбирая самые злые сло-

ва, какие могла придумать, дразня его и стараясь излить на него свое раздражение.

— Этим девицам совсем неплохо жилось, и многие им завидовали, — сказала она. — Их отлично кормили.

Он промолчал.

— Так вы не хотели меня поцеловать там, в конторе Борманна, из верности своей жене?

Он промолчал.

— Рассказывайте! — воскликнула она. — Если бы я была посвежей, если бы я была получше одета, вы повели бы себя совсем по-другому...

Он упорно молчал.

— Любовь!.. Верность!.. — повторяла она с какой-то горькой злобой. — Нет, это только для богатых. Если бы нашелся человек, который стал бы меня кормить, я, может, и сама была бы верна...

Нечаев не сказал ни слова.

— Что же вы молчите? — спросила она. — Это неучтиво. Не узнаю вас, мой славный господин капитан. Вы были так галантны. Вы думаете, я не знаю, что такое социализм? Я знаю. Мой покойный отец был социалистом. Они каждый день собирались в пивной, пели песни и пили пиво. Иногда они дрались на улицах с полицией, или со «стальным шлемом», или с нацистами. Иногда они бастовали. Но из забастовок ничего выйти не может: на свете всегда слишком много безработных. Пароходство нанимало на свои баржи других матросов, а мой отец по полугоду ходил каждый день в контору и, сняв кепку, просил, чтобы его приняли обратно.

— И все же он верил в социализм?

— Верил. Он говорил, что при социализме не будет денег и все будут давать бесплатно. А у вас в России есть деньги? — спросила она с любопытством.

— Есть, — ответил Нечаев.

— Ну вот видите!

Нечаев опять замолчал. Да и что он мог бы сказать ей? Или, вернее, он мог бы возразить ей слишком многое, но это было бы совершенно бесцельно. Любые его слова вызвали бы у нее только злую насмешку, потому что она верила лишь своему

жизненному опыту. У него с ней разные взгляды, потому что они прожили разные жизни. Какую же жизнь она прожила, если у нее такие взгляды!

Опять они ехали молча, и опять молчание нарушал по временам один только Черета. Оживление его кончилось, он дремал. Иногда он открывал глаза и, видя вокруг дома, спрашивал:

— Берлин?

— Нет еще, — отвечала она равнодушно, и действительно, большие дома сменялись хибарками, а хибарки — полями, похожими, впрочем, скорее на пустыри.

Нечаев изредка поглядывал на нее сбоку. Она думала о чем-то своем. Выражение лица ее несколько смягчилось и теперь было не злым, а только грустным. У Нечаева тоже улеглось раздражение, вызванное разговором с нею, и он спросил:

— Вы не замужем?

— Не замужем, — ответила она.

— И не были?

— Нет. Но у меня был ребенок.

Помолчав, прибавила:

— Девочка. Она умерла.

— Давно?

— Давно. Когда я еще работала в фирме «Борманн».

— Вы, значит, действительно работали в фирме «Борманн»? — воскликнул он.

Он был удивлен, потому что считал ложью решительно все, что она ему рассказала о себе в том городке, где они ночевали. Но она совсем по-иному поняла его удивление. Она решила, что он считает ее недостойной работать в фирме «Борманн» и потому сомневается в ее словах. Она резко повернулась к нему, и глаза ее блеснули. Она заговорила быстро-быстро, и из ее торопливых, пылких фраз он с еще большим удивлением понял, что работа в конторе фирмы «Борманн» представляется ей высоким общественным положением и редкой жизненной удачей.

Даже самое это слово — «Борманн» — она произносила по-особому, чуть-чуть с придыханием и слегка понизив голос. По ее словам выходило, что в на-

чале жизни ей сказочно повезло: едва она окончила школу, как ее взяли на работу в контору отделения фирмы «Борманн», в тот самый дом с башней на главной улице, который господин капитан видел. А оттуда уже через полтора года ее перевели в главную контору фирмы, в Берлин.

— Если бы я работала там до сих пор, я теперь могла бы быть заведующей отделением где-нибудь в большом городе! — воскликнула она.

— Почему же вы ушли? — спросил Нечаев.

— Пришлось уйти... Ведь я вам говорила, что у меня был ребенок.

— Они не хотели вас держать, потому что у вас был ребенок?

— Natürlich! Естественно, — сказала она. — Ведь я не замужем. Как видите, я сама во всем виновата!

Она охотно и просто рассказала Нечаеву, как это получилось. Дело в том, что у нее был друг. Он, конечно, был гораздо старше ее и занимал солидное положение. Короче говоря, это был бухгалтер отделения фирмы «Борманн» в том городе на Одере. Ну да, это он и устроил ее к «Борманну», иначе чего ради ее туда приняли бы! Мама была так довольна, так довольна, потому что отец к этому времени умер, они остались вдвоем, и им совсем некуда было деться. Мама предупреждала ее, чтобы она не уговаривала своего друга жениться на ней, потому что она этим только вспугнет его...

— Это мать вас предупреждала? — спросил Нечаев.

— Natürlich! Естественно, — сказала она. — Не мог же он жениться на мне, раз у меня ничего не было. Но я тогда этого не понимала. Я хотя боялась его, а все-таки думала, что он весь у меня в руке. — Она сжала свой тощий кулачок и поднесла его к Нечаеву. — Нет, о свадьбе я с ним не заговаривала, но, когда со мной случилась беда, я вспомнила, как он уверял, что любит детей, и никому ничего не сказала, пока не стало поздно... Я могла бы быть умнее в мои семнадцать лет... Наконец пришлось ему сказать...

— Ну, а он? — спросил Нечаев.

— Очень, очень рассердился. Natürlich! Естественно. Он не знал, что я такая дура и так подведу его. И все-таки он очень хорошо со мной обошелся. Он сказал обо мне самому хозяину, и меня перевели в Берлин, в центральную контору. А когда пришло время, мне дали маленький отпуск, и все вышло так, что никто не знал...

— И хозяин тоже не знал?

— Не могу вам сказать. Я с хозяином никогда не разговаривала. Может быть, он и знал. Но ему безразлично: он привык к таким делам. Для фирмы важно: лишь бы никто больше не знал. Девочку сразу отправили к моей маме, и я снова стала работать в центральной конторе. Мы продавали наши кассовые аппараты всему миру, и я так научилась писать деловые письма, что меня постоянно хвалили. Эти письма почти одинаковые, они очень мало отличаются одно от другого, но эти отличия нужно знать, в них вся тонкость. Я писала в Финляндию, в Швецию, в Исландию, в Испанию, в Аргентину, в Никарагуа... Но тут началась война с Францией, с Англией, и заграничная торговля стала падать. Кроме того, я к этому времени начала сильно нервничать и от этого стала хуже работать. Я нервничала, потому что дочка моя там, у мамы, болела, умирала. Хотя что же нервничать, я ведь с самого начала знала, что она все равно умрет...

— И ничего нельзя было сделать? — спросил Нечаев, у которого за войну тоже умер ребенок.

— Она бы не умерла, если б я ее сама кормила. А когда она умерла, я узнала, что у моего друга есть новая барышня, которую он, как прежде меня, тоже устроил на работу в отделение фирмы «Борманн» у нас в городе. Мне уже было все равно, я ей зла не желала, но она, видно, меня опасалась и решила погубить. И в берлинскую контору пришло письмо, что у меня был ребенок. А тут из-за войны деловая переписка сильно сократилась, кроме того, я не знала стенографии, не знала иностранных языков, и мне сказали, что я должна уйти...

— А как же этот ваш бухгалтер? — спросил Нечаев. — Он женился на той новой барышне?

— Ну нет. Она и сама не думала, что он на ней

женится: у нее тоже ничего не было. У нас в городе, на главной улице, наискосок от дома Борманна,— писчебумажный магазин. Владельца этого магазина в самом начале войны взяли в солдаты и через год убили. И мой друг женился на его вдове. Когда он стал владельцем писчебумажного магазина, он ушел от Борманна — Борманн был ему уже не нужен. Потом и его взяли в солдаты, хотя ему было уже много лет, и он пропал без вести...

— А вы? Что с вами дальше было?

Но о том, что с нею было дальше, она рассказывала довольно сбивчиво. По-видимому, уйдя от Борманна, она долго нигде не работала.

— Как же вы жили?

— У меня появились знакомства,— объяснила она неопределенно.

Но жила она очень плохо, и к тому же ей пришлось взять мать к себе в Берлин. Она много раз делала попытки устроиться в какой-нибудь торговой конторе, но неудачно: у нее не было ни нужного образования, ни рекомендации, ни связей. А война не кончалась, и жизнь становилась все хуже и хуже. И она поступила на военный завод. Там некоторые недурно зарабатывали, но только те, у которых была какая-нибудь квалификация. У нее никакой квалификации не было, ей пришлось делать самую грязную работу, и она зарабатывала так мало, что едва хватало на одну тарелку супа в день. Днем она работала на заводе, а ночью сидела в подвале, потому что каждую ночь прилетали американцы и бомбили город.

— А потом разбомбили завод, и мы совсем перестали выходить из подвалов. И русские окружили город со всех сторон, и бои шли на улицах, и падали дома, и все горело, и свет потух, и вода перестала течь по водопроводным трубам. День за днем мы сидели в темноте и ничего не ели и пили грязь из луж. Наконец через много дней все вдруг утихло, и мы вылезли, и города уже не было, а были только камни, и по этим камням русские вели наших сдавшихся в плен солдат. Женщины стояли на камнях, и заглядывали пленным в лица, и окликали знакомых по именам: «Карль!», «Рудольф!» Мне сказали, что

русские велят разбирать кирпичи, завалившие улицы, и тем, кто выйдет на эту работу, дадут карточку. И я пошла разбирать кирпичи. Стены многих домов так нависли над улицами, что могли вот-вот обрушиться и раздавить людей. Мы сначала валяли эти стены, а потом разбирали их. На этой работе я повидала многих господ и дам, которые никогда до тех пор не пачкали себе рук. Ну, они и тут старались не слишком себя утруждать: возьмут один кирпичик, отнесут в сторону и отдыхают полчаса. Вот там я и встретила его!..

— Кого? — спросил Нечаев.

— Господина Херберта Борманна!

Как всегда, она произнесла эту фамилию с придыханием и понизив голос.

— Это что же за Борманн? Хозяин фирмы?

— Нет. Племянник хозяина. Херберт. — Она повернулась к Нечаеву и говорила в сильнейшем волнении. — На нем был самый плохой из всех его костюмов, и все же, если бы он таскал кирпичи десять лет, он не заработал бы даже на брюки от такого костюма. Говорили, что хозяин хочет взять его к себе в компаньоны, и он когда-то появлялся у нас в конторе. Теперь он таскал кирпичи рядом со мной, но я была уверена, что он меня не узнаёт. Вдруг слышу, он говорит тихонько: «Фрейлейн Шарлотта Фенске...»

— Это что? — спросил Нечаев. — Имя такое?

— Это я! — воскликнула она. — Шарлотта Фенске. Это меня так зовут. Господин Херберт Борманн вспомнил и фамилию мою и даже имя! Он спросил меня, как я поживаю, а я спросила его, как поживает он сам и как поживает хозяин. Он ответил, что как можно в такое время поживать: отечество погибло, мировая катастрофа, у фирмы «Борманн» потери колоссальные! Хозяин еще месяц назад со всей семьей и центральной конторой уехал в Гамбург. А он, Херберт, вынужден был остаться здесь, потому что нельзя же было бросить на произвол судьбы завод и все восточные отделения. Завод разрушен, буквально сметен с лица земли, но кое-какое оборудование уцелело. Господин Херберт Борманн сказал, что говорит со мной откровенно, так как помнит

мою работу в конторах фирмы и знает, что мне можно доверять. Тогда я взяла да и сказала: «А почему бы фирме «Борманн» не принять меня на работу обратно...»

— Что же он? — спросил Нечаев.

— Он так печально, так тонко улыбнулся и ответил: «Ах, фрейлейн Фенске, вы просите у меня работы, когда, как видите, я сам таскаю кирпичи вместе с вами!» Я не поверила ему, конечно: я-то знала, что он таскает кирпичи только для того, чтобы казаться таким, как все, что фирма «Борманн» была и всегда будет, но что поделаешь... Однако два дня назад он зазвал меня за кучу кирпичей и послал...

— Куда?

— В мой родной город, за Одер.

— Как? Туда, где мы встретились?

— Ну да.

— Это он послал вас туда?

— Конечно.

— Для чего?

— Как для чего? Чтобы я достала ему тот арифмометр! Вы же знаете...

— Арифмометр! А зачем ему арифмометр?..

— Это последняя модель. Опытная. Уникум. Нигде второго такого арифмометра нет. Они увезли его туда этой зимой... Берлин ужасно бомбили, а там было тихо... Так господин Херберт Борманн зазвал меня за кучу кирпичей и спросил, хорошо ли я помню то отделение фирмы, здание, расположение комнат. Ну как мне не помнить, когда я там столько работала!.. Он спросил, знаю ли я комнату за лабораторией. Ну ясно, знаю... Да что... Вот как все кончилось...

— Нет, я все-таки не понимаю,— сказал Нечаев.— Как он мог вас послать? Ведь вы же у него не в подчинении...

— Какое тут подчинение! Едва он мне сказал, я готова была на одной ноге скакать до Одера...

— Что же, он обещал принять вас на работу?

— Нет, он так определенно не говорил. Он сказал, что обратился ко мне потому, что считает меня своим человеком и что фирма «Борманн» услуги моей не забудет... Если я достану этот арифмометр,

я докажу, какой я ценный работник, и он будет ходатайствовать за меня перед хозяином... Э, теперь это не имеет никакого значения... Вы видели, как все кончилось...

— И вы согласились! — воскликнул Нечаев.— Вы пошли!

— Он объяснил мне, в чем главная трудность,— продолжала она.— Отсюда за Одер немцев не пускают, и в городке, по-видимому, никого нет, кроме русских или польских военных. Он помог мне достать у бургомистра бумажку, что в том городке осталась моя мать, но очень сомневался, что мне удастся дойти. А я не сомневалась! Я знала, что дойду! Я все могу, я ничего не боюсь, я сил своих и трудов не жалею... И я дошла! Но нет мне удачи... Мне никогда не бывает удачи и быть не может... Нет того арифмометра... Не могу же я ему принести то, чего нет!..

Мелкий дождик все брызгал и брызгал, машина, чихая и фыркая мотором, неторопливо катила вперед. Вечерело, давно уже начались сумерки, Черета спал, опустив голову на грудь, а она, сидя на ящике, все убивалась, думая о своей неудаче с арифмометром. Нечаев, чувствуя потребность ее утешить, стал уверять, что фирма, конечно, возьмет ее на работу и без арифмометра: ведь она ради них рисковала собой. Неужели они останутся к этому равнодушны?

— Natürlich! Естественно! — сказала она, как всякий раз, когда рассказывала о чем-нибудь, с его точки зрения совершенно неестественном.— Зачем им я? Им нужен тот арифмометр, а не я. Господин Херберт Борманн мог бы обратиться к любой там, на разборке кирпича, и посулить ей, и любая сделала бы то же самое, что и я. И ему это отлично известно.

— Но ведь вас могли принять за шпионку, вы рисковали ради них свободой, жизнью...

— Э, господин капитан...

Она с таким презрением отнеслась к его словам, что даже отвернулась.

Быстро темнело. К тому же сырой туман стал еще гуще и скрыл все вокруг. Шофер включил фары, но бледные лучи их потонули в мокрой полутьме.

— «Борманн»! «Борманн»! — сказал Нечаев. — Бросьте вы думать об этой фирме «Борманн». Разве ничего другого нет на свете? Ведь вы совсем молоды...

— Я еще молода, но недостаточно красива, — ответила она, поняв его по-своему. — Сейчас слишком много женщин. Кроме того, для этого нужно иметь подходящий вид, одеться, а самое простое платье на черном рынке стоит двести марок...

— Но ведь теперь все переменится! — воскликнул он; ему самому пока еще было совершенно неясно, как именно здесь все переменится, но, что теперь, после нашей победы, все здесь должно перемениться, он не сомневался. — Теперь все у вас будет новое!

— Нового ничего никогда не бывает, — проговорила она твердо, с поразившей его убежденностью.

— Как не бывает! Вот был Гитлер — и нет его.

— Я Гитлера не оплакиваю, но он меня не касался, — сказала она равнодушно. — Что-нибудь другое будет, такое же. Богатые всегда изобретут какое-нибудь начальство, чтобы держать бедных в кулаке.

На этом их разговор кончился.

Машина свернула с асфальта и затряслась по разбитой булыжной мостовой. Голова Череды подсакивала при каждом толчке, однако он не просыпался. Они ехали по совершенно пустой городской улице; в окнах смутно различимых домов не было ни одного огня. Вероятно, уже начался Берлин.

На перекрестке она вдруг решительно поднялась с ящика и, повернувшись, постучала в заднее стекло кабины. Машина остановилась.

— Благодарю вас, — сказала она Нечаеву. — Мне удобнее сойти здесь. В этот час гражданским запрещено находиться на улицах. Но я-то дойду...

Она ловко перешагнула через борт на колесо и прыгнула вниз. Стоя внизу рядом с машиной, она повернула к Нечаеву свое узкое, смутно различимое лицо и протянула ему руку. Рука у нее была мокрая и холодная.

— Каждый человек идет своим путем и ничего не может сделать для другого, — сказала она. — У вас свой путь, у меня свой, и у каждого свой.

И ушла.

Нечаев за годы войны столько видел разбитых зданий, что уцелевший дом удивлял его больше, чем разрушенный. Сейчас он проехал от центра России до центра Германии, пересек во всю ширину огромное пространство, на котором не осталось ни одного целого города, ни одной несгоревшей деревни. Он пешком прошагал из конца в конец по взорванной Варшаве. И все же зрелище разрушенного Берлина поразило его так, что прошло много дней, прежде чем он привык к нему.

Разрушенный Берлин был потрясающе громаден. Вероятно, когда он был цел, он вовсе не казался таким большим, потому что взор пешехода постоянно был ограничен стенами домов. Но сейчас, когда стены были обрушены и повсюду образовались гигантские провалы, арки, пещеры, проходы, все его пространство, могуче загроможденное обломками в десятки метров высотой, производило то же впечатление громадности, какое производит сплетение горных хребтов, когда на них глядишь с одной из вершин. Притом эти хребты, эти причудливо нагроможденные друг на дружку каменные глыбы были так странны, так жутко фантастичны, так не похожи ни на что земное, что казалось, будто находятся они на какой-то мертвой планете вроде Юпитера или Сатурна.

Удивительно было то, что даже в этом состоянии полного разрушения Берлин вовсе не потерял своего характера, сложившегося за столетия его существования. Берлин оставался Берлином. Подобно тому как взорванная Варшава не лишилась своего веселого изящества, своей мягкой женственности, разрушенный Берлин со своими заваленными прямыми улицами, со своими исковерканными тяжелыми фасадами, со своими обезглавленными колоннами и обрушенными орлами, со своими расколотыми памятниками из пустотелого чугуна по-прежнему оставался воплощением какой-то напыщенной грубости.

Но все это Нечаев уловил и заметил не сразу, а гораздо позже. Он въехал в Берлин ненастной ночью и ничего не мог рассмотреть во тьме, кроме

обступивших его со всех сторон бесконечных зубчатых стен, странные выступы которых смутно выделялись на еле светлевшем небе. Машина ползла во мраке, будя гулкое многообразное эхо, а так как ни он, ни проснувшийся, наконец, Черда не имели представления, в какое именно место Берлина им надлежит прибыть, то они с машиной и не расставались. Они чувствовали, что нужно бы спросить. Но кого спрашивать, когда ни человека, ни огонька кругом?

Внезапно прямо перед машиной вспыхнул яркий свет карманного фонарика. Шофер затормозил. Это ночной патруль проверял документы — офицер и три красноармейца, все в плащ-палатках. Нечаев и Черда стали их расспрашивать, но те ничего не могли объяснить и только посоветовали зайти в комендатуру. Оказалось, что комендатура тут же, рядом, — машина остановилась возле самых ее дверей. Нечаев и Черда взяли свои вещи, вылезли из кузова и, пройдя мимо часового, вошли в темный подъезд.

Огромный вестибюль был освещен маленькой керосиновой лампочкой с закопченным стеклом, и углы тонули во мраке. Лампочка стояла на столе, а за столом сидел сонный дежурный офицер и поживался от ночного холода. Рассмотрев документы Нечаева и Череды и поразмыслив, он объяснил им, что они находятся чуть ли не в самой середине Берлина, в районе, который носит название Митте, то есть Центр. Комендатура, в которую они попали, не районная, а участковая; каждый район разделен на участки, и в каждом участке есть своя комендатура. Черда совершенно напрасно сюда заехал: его полк расквартирован где-то на самой восточной окраине Берлина, и ему следовало вылезти из машины по крайней мере час назад. Теперь ему можно посоветовать только одно: провести ночь здесь, в комендатуре, а утром отправиться в полк. Нечаев же, напротив, сразу попал почти туда, куда ему нужно. Военное учреждение, в которое он командирован, расположилось как раз в районе Митте и находится в соседнем участке. Туда ходу пятнадцать минут. Ему сейчас дадут красноармейца, чтобы проводить его.

Словом, Нечаеву и Череду предстояло разлучиться. Они за дорогу так привыкли друг к другу, что оба испытали тоскливое чувство сиротства. Но и самое это чувство было для них привычно: за войну каждому из них столько раз случилось в землянке, в поезде, в машине за одну ночь близко узнать человека, которого никогда до тех пор не видел, понять его, сродниться с ним, полюбить, чтобы тут же, через несколько часов, расстаться с ним навсегда. И Череду с Нечаевым жали друг другу руки, глядели друг другу в лица, топчась на месте и без конца повторяя:

— Ну, авось еще когда-нибудь... Нет уж, я не забуду... Авось приведется... Все может быть... Может, где-нибудь...

Но оказалось, что красноармеец уже ждет Нечаева и надо идти.

Нечаев опять вошел в темноту, в дождь и зашагал по мостовой. Красноармеец сказал, что выведет его кратчайшим путем, напрямик, и то и дело сворачивал в какие-то узкие закоулки между гигантскими черными глыбами, в которых Нечаев смутно угадывал то стены, то груды щебня. Стараясь не отстать от своего провожатого, быстро и уверенно шагавшего, он поминутно спотыкался о кирпичи, бревна и железные балки. Всюду, куда бы они ни сворачивали, им сопутствовал один и тот же запах, который то усиливался, то ослабевал, но никогда не пропадал совсем. Запах этот был неоднороден по своему составу, он состоял из соединения нескольких запахов, и если бы Нечаев попытался в них разобраться, он определил бы запах гари, запах плесени, запах испорченной канализации и запах еще чего-то, знакомый и непередаваемо отвратительный... Внезапно они вынырнули из закоулка на пустынную улицу с хорошо расчищенным тротуаром. Красноармеец довел Нечаева до подъезда и попросил разрешения уйти.

Так Нечаев прибыл к месту своей командировки.

По случаю ночного времени его и здесь принял дежурный офицер — сутулый человек с погонами инженер-капитана. Он встретил его сухо, а поднеся его документы к стеклам пенсне, блестящим при

свете керосиновой лампы, и поняв, кто он такой, стал еще суше. Задав Нечаеву несколько вопросов, инженер-капитан сказал:

— Между нами говоря, зря вас прислали. Все идет своим порядком, и ничего вам ускорить не удастся. Ни начальника, ни заместителя сейчас нет в Берлине. Но даже если бы они и были, все равно вы приехали зря... Впрочем, это не мое дело... Сейчас ночь, приходите завтра утром. А пока мы подумаем, как вас устроить на ночлег...

Дуя на печать, чтобы украсить ею командировочное удостоверение Нечаева, он объяснил, что здесь у них все койки заняты и что, пожалуй, Нечаеву лучше всего пойти ночевать в участковую комендатуру, но не в ту, где он уже был, а в другую, на Фридрихштрассе. При комендатуре на Фридрихштрассе есть гостиница, или, вернее, комендатура находится в первом этаже гостиницы; это огромный отель, он третьего дня начал работать, и там, немного заплатив, можно получить отдельный номер...

— Это недалеко, и заблудиться нельзя. Выйдите на тротуар и направо до первого перекрестка. Там опять направо — до подъезда, перед которым стоит часовая. Пока вы будете идти, я позвоню туда...

Инженер-капитан подал Нечаеву вялую руку, и Нечаев опять отправился в путь.

Дождь шел по-прежнему, но небо как будто слегка посветлело. Вероятно, там, за тучами, взошла, наконец, луна. Темные, безжизненные глыбы стен с причудливыми выступами вверху стали видны отчетливей. Нечаев свернул направо. Никого. Впервые он остался совсем один, без спутника. В напряженной тишине, владычествовавшей здесь, звук его шагов раздавался с удивительной звонкостью. В дуновении сырого ветерка он опять уловил все тот же запах гари, плесени и еще чего-то ужасного. Когда он дошел до угла, запах этот стал еще ошутимее.

Нечаев свернул за угол. По-видимому, эта улица и есть Фридрихштрассе... Впрочем, он отчасти в этом сомневался, так как слышал, что Фридрихштрассе — одна из главных улиц Берлина, а улица, по которой он шел, показалась ему слишком узкой — налитое тьмой узкое глубокое прямое ущелье между двумя

рядами домов, сквозь пустые окна которых видно небо, потому что ни перекрытий, ни крыш не сохранилось... На тротуаре Нечаев то и дело спотыкался о кирпичи и пошел по мостовой. Тут идти было легче, и он зашагал быстрее, прислушиваясь к равномерному стуку своих шагов. И вдруг наткнулся животом на шершавую доску, которая при этом подалась и качнулась.

Он мгновенно замер, с трудом удержавшись на ногах. Несмотря на темноту, он безошибочно понял, что вот это, нечто еще более темное прямо перед ним, — яма, провал, пропасть... Какая-то пробоина в мостовой, кое-как обнесенная досками. Оттуда ощутимо несло холодом, в котором чувствовался все тот же отвратительный запах... Далеко внизу раздался легкий плеск текущей воды, и по этому плеску Нечаев понял, как глубока яма... Покрывшись потом, не дыша, он осторожно отпрянул, отступил и вернулся на тротуар.

Он долго не мог забыть это мгновение испуга и шел теперь медленно, выставив вперед руку. Спустя некоторое время у него появилось новое опасение: не прошел ли он мимо комендатуры. Слишком уж далеко он зашел от угла. Улица все тянулась и тянулась, а никаких признаков комендатуры не было. Он решил пройти еще сто шагов и повернуть назад. Однако после ста шагов решил пройти еще сто. И когда уже не сомневался, что придется возвращаться, наткнулся на часового.

В вестибюле колеблющееся пламя керосиновой лампы без стекла озаряло основания колонн, уходивших в незримый потолок, и нижние ступени широчайшей лестницы. Дежурный офицер — уже третий за эту ночь — объяснил Нечаеву, что ламповое стекло разбилось, а новое достать невозможно. Он сунул ему в руку талончик и сказал:

— В кассу. Вам придется заплатить за номер вперед: у них такое правило. Ведь гостиница-то частная, мы в это не вмешиваемся. Денег хозяин может брать сколько захочет, но пускать постояльцев мы ему разрешаем пока только по нашим талонам...

Оказалось, что тут же рядом, в ближайшей стене, окошечко кассы. За окошечком при свете фитилька;

воткнутого в крошечную баночку из-под лекарства, сидела дородная пожилая кассирша. Подняв вверх три пальца, она предложила Нечаеву заплатить за трое суток и назвала сумму. Нечаев выворотил из кармана гимнастерки все свои марки. Он никак не мог в них разобраться: было темно, да, кроме того, он не привык к их виду. Кассирша ловко отсчитала то, что ей следовало, остальное отодвинула к нему и протянула большой ключ на деревянной груше.

— Номер четыреста тридцать один. Четвертый этаж, — сказала она.

Тут же из тьмы возникла горничная — самая настоящая, в белом фартучке, с белой наколкой на голове. Она сделала попытку овладеть чемоданчиком Нечаева, чтобы отнести в номер, но Нечаев чемоданчика ей не отдал. Тогда она повела его вверх по широкой мраморной лестнице, держа в руках скляночку с горящим фитильком.

— Лифт у нас сейчас не работает, — пояснила она таким тоном, словно это была мелкая случайная неполадка и словно можно было предположить, что в этом городе где-нибудь работает лифт.

Они поднялись на четвертый этаж и свернули в коридор. Огонек на фитильке заметался от сквозняка, и Нечаев вдруг обнаружил, что коридор этот ведет в никуда, в пустоту, что там, впереди, нет стены, а просто мутное ночное небо. И все же этот коридор оставался обыкновенным гостиничным коридором — с мягкой дорожкой посередине, с двумя рядами закрытых дверей по обеим сторонам. У двери с цифрой «431» горничная остановилась. Щелкнул ключ. Нечаев вошел в номер.

Он увидел широкий прямоугольник окна без стекла и без рам. Мигающий огонек в руке горничной озарил письменный стол, кресло, диванчик. Сбоку темнел альков, как просторная темная пещера.

— Постельного белья у нас нет, — сказала горничная. — Но, наверно, у господина офицера есть свое постельное белье, — прибавила она, взглянув на чемоданчик Нечаева, такой маленький, что никакое постельное белье не могло в нем поместиться.

Затем она пожелала Нечаеву доброй ночи, присела и вышла.

Нечаев, оставшись в темноте, стал ощупью устраиваться. В алькове он наткнулся на кровать, однако на ней не оказалось не только белья, но и матраца. Кое-как он расположился на диванчике.

Он очень устал за длинный трудный день. И все же ему долго не удавалось заснуть.

За тучами луна поднялась выше, и, несмотря на то, что дождь шел по-прежнему, стуча по железу стрех и желобов, небо стало еще светлее. И с диванчика сквозь пустой проем окна на фоне неба отчетливо видны были очертания разбитых стен, верхние выступы и зубцы которых казались то стаей огромных птиц, то скопищем фантастических чудовищ, то зловещим войском, состоящим из карликов и великанов.

И чтобы забыть о всем том чуждом, неприятном и жутком, что окружало его, Нечаев стал думать о Тоне. Это было испытанное, верное средство, к которому за годы войны он прибегал всякий раз, когда ему бывало слишком трудно, тоскливо или страшно. И сейчас, как всегда, это верное средство подействовало. С Тониными удивленными бровками над строгими доверчивыми глазами, с маленькими жесткими пальцами Тониных рук пришел к нему сон.

Каждое утро в Берлине Нечаев начинал с того, что направлялся в то военное учреждение, куда был командирован. Встречали его там довольно холодно, даже не совсем дружелюбно, и скоро он стал понимать отчего.

Нечаев еще в Москве знал, что между тем отделом управления, в котором он служил, и тем учреждением, куда он сейчас был командирован, уже и прежде нередко возникали натянутые отношения. Работа велась сложная, трудоемкая, и проделать ее быстро не удавалось. Затеялась длительная служебная переписка между отделом управления и учреждением, находившимся в Берлине, причем генерал, начальник отдела, человек крутой и раздражительный, прибег в этой переписке к весьма резким выражениям. В сущности, это было опрометчиво с его стороны, особенно если принять во внимание, что

берлинские работники не находились в его подчинении. Ими распоряжался другой отдел другого управления, который считал, что они работают именно так, как следует. На свои телеграммы генерал стал получать ответы, хотя и не столь резкие по форме, но достаточно колючие. Ему объяснили, что все идет так, как должно идти, что своим вмешательством он не ускорит дело ни на час. Генерал, еще более раздраженный, решил послать в Берлин своего офицера с весьма неопределенным заданием: «На месте все выяснить и поторопить». К своей неудаче, офицером этим оказался Нечаев.

С самого начала он убедился, что задания своего он по-настоящему выполнить не может, так как выяснять было нечего, а торопить бесцельно. Приезд его только еще больше накалил отношения между двумя ведомствами, и без того уже достаточно накаленные. Несмотря на то, что все работники здесь отнеслись к нему холодно, они охотно посвятили его в суть дела, и он увидел, что дело идет именно так, как о нем докладывали в Москву, и ничего дополнительного «выяснить на месте» невозможно.

Убедясь в том, что, по правде говоря, от присутствия его в Берлине никакой пользы для дела нет, и к тому же имея и личные причины не задерживаться здесь слишком долго, Нечаев решил доложить обо всем своему начальству. По служебному телеграфу он связался с полковником, начальником того подотдела, в котором работал. Он изложил ему состояние дел, но, разумеется, без всяких чувств, сухо и сжато, как полагается на службе. Полковник ответил ему дважды. Из первого ответа, довольно расплывчатого и неясного, Нечаев понял, что полковник, вероятно, согласен с ним, но что необходимо доложить начальнику отдела. Потом пришел второй ответ, ясный и точный. Нечаеву приказывалось оставаться в Берлине и торопить работу. Вероятно, генерал, узнав о телеграмме Нечаева, велел передать ему, чтобы он, «пока дело не будет окончено, возвращаться не смел».

И Нечаеву осталось только одно — ждать.

Каждое утро он добросовестно отправлялся проверить, как же подвинулось дело за минувшие сут-

ки. Дело двигалось, но не быстрее, чем можно было ожидать. Порой возникали и непредвиденные затруднения, тогда дело еще замедлялось. Убедившись, что ничего ускорить нельзя, Нечаев уходил. Все остальное время он был предоставлен самому себе и той жизни, которая окружала его.

О Берлине он знал теперь несравненно больше, чем в ту первую ночь, и с каждым днем знания его все расширялись.

Прежде всего он узнал, что Берлин пустынен только по ночам, а днем это чрезвычайно многолюдный город. Всякий раз, когда он выходил на улицу, он оказывался в густой спешащей толпе, сквозь которую приходилось проталкиваться не без труда. Толпа эта заливала всю улицу от стены до стены, двигалась по мостовой так же густо, как и по тротуарам, потому что в городе не было никакого транспорта, кроме велосипедов. Одни только велосипедисты возвышались над морем голов, с удивительной ловкостью прокладывая себе путь среди пешеходов.

Но самая примечательная особенность этой толпы заключалась в том, что вся она состояла почти исключительно из одних только женщин. Взрослые нестарые мужчины не попадались совсем; мальчики и старики составляли не больше одной десятой всех прохожих. На велосипедах тоже ехали женщины, причем и молодые и старухи. Все шагавшие по улице женщины что-нибудь несли на себе — ни одну не увидишь с пустыми руками: та тащила ребенка, другая кровать, коляску или детскую ванну, третья волокла тюфяк, или кастрюли, или зеркало, или электрический камин; и плыли на поднятых руках, на плечах, на согнутых спинах узлы, чемоданы, корзины, коробки. У всех этих женщин были разрушены их бесчисленные гнезда, и теперь каждая несла то, что сберегла, или то, что достала, в какое-то новое подобие гнезда. Чулок у них не было. Обуты они были в туфли на деревянных подошвах. И торопливый стук деревянных подошв о камни звучал над Берлином, как тысячи трещоток, не умолкая с рассвета до ночи.

Узнал он, что та яма посреди мостовой, в которую он чуть не свалился ночью, — пробоина, образо-

вавшаяся от взрыва авиабомбы и соединившая улицу с пролежавшим внизу тоннелем метро. Когда днем Нечаев подошел к доскам, кое-как огораживавшим яму, и глянул вниз, он под собой увидел воду. Его, привыкшего к глубокому московскому метро, поразило, что здесь тоннель находится так близко от поверхности. Тоннель пролегал непосредственно под Фридрихштрассе, причем мостовая улицы служила ему верхним сводом. Толщина этой мостовой не превышала полуметра, и не мудрено, что она оказалась пробитой во многих местах. Все тот же смрад, знакомый и отвратительный, вырывался из этих пробоин...

Узнал он — чуть ли не во время первого своего появления на улице, — что жители города лишены табака. Для курильщиков это было страданием. Выйдя из подъезда гостиницы, он по привычке закурил в толпе. И едва запах табачного дымка коснулся ноздрей, как к Нечаеву со всех сторон стали оборачиваться лица с мучительно закушенными губами. И не только мужские, а главным образом женские лица — за годы войны женщины приучились курить. Смущенный, Нечаев поспешил свернуть за угол, в переулок, где было меньше народу. Но не прошел он и нескольких шагов, как перед ним с умоляющим видом остановились два небольших старичка в кепочках и в потертых пиджачках, вымазанных известковой пылью.

— Мы, два старых бедных черта, просим вас... — начал один из них.

Нечаев дал каждому по папиросе.

И сейчас же услышал женский голос:

— О сударь!..

Высокая пожилая женщина в очень хорошем сером костюме, с какой-то узенькой цепочкой на груди стояла перед ним. Когда она брала протянутую ей тоненькую папироску, из тех, что в годы войны называли гвоздиками, пальцы ее дрожали.

И Нечаев больше никогда не курил на улицах.

Узнал он — по многим, слишком хорошо знакомым ему признакам, — что люди эти всегда голодны, что голод этот застарелый, привычный, начавшийся не сейчас, после падения Берлина, а год или два на-

зад. Следы его лежали почти на всех лицах, молодых и старых, и особенно страшны были на личиках детей, обтянутых бледной прозрачной кожей.

Узнал он, что те женщины, которые целыми отрядами, словно на посту, стоят перед подъездом гостиницы, перед дверьми того военного учреждения, в которое он был командирован, перед дверьми всех пивных, на углах всех улиц, — проститутки. Когда он выходил и они все разом кидались к нему с льстивыми улыбками и двусмысленными немецкими фразами, которые он плохо понимал, он робел, терялся и изо всех сил старался как можно скорее прошмыгнуть мимо. Но отвязаться от них было делом нелегким: обычно находилась одна особенно решительная и бесстрашная, которая шла за ним до самого угла, громко восхищаясь им, предлагая ему свою любовь, упрашивая.

Проститутки были бесстрашны, но остальные жители города были по большей части необычайно пугливы, и это он тоже очень скоро узнал. Как-то совсем неподалеку от своей гостиницы он вдруг заблудился, потерявшись среди разбитых зданий, которые казались ему похожими одно на другое. Он шагал по людной улице и не был уверен, приближается он к своему дому или удаляется от него. И он обратился по-немецки к идущему ему навстречу мужчине средних лет, в сером пальто и серой шляпе:

— Скажите, пожалуйста, как пройти на Фридрихштрассе?

Он еще не успел договорить эту фразу до конца, а уж бритое лицо мужчины стало белым, как известка. Вероятно, слов Нечаева он не понял. Он побледнел от страха потому, что русский военный остановил его на улице. И все, кто шел мимо и видел, как его остановил Нечаев, тоже остановились — поодаль, чтобы доказать свою непричастность. Не дыша, с замирающим сердцем, они смотрели, что сделает русский военный с этим человеком, которого для чего-то понадобилось остановить.

Нечаев при виде таких неожиданных последствий своего поступка растерялся. Он повторил свой вопрос, стараясь возможно яснее и мягче произнести каждое слово, и улыбнулся. И было видно, как на

бритые щеки мужчины возвращался румянец. И раздался громкий радостный вздох — это вздохнули все, кто стоял вокруг. И все лица расцвели счастливыми улыбками, и все, все разом, стали объяснять, как пройти на Фридрихштрассе. Оказалось, что Фридрихштрассе совсем рядом, за ближайшим углом. Нечаев давно это понял и благодарил, поднося руку к своей фуражке, но объяснения, самые пылкие и благожелательные, все продолжались. Мало того, всем непременно хотелось довести его до Фридрихштрассе, чтобы он уж никак не мог сбиться с дороги: и мальчишка, подпрыгивая, побежал впереди, и девушка, улыбаясь, зашагала сбоку, и старушка, лучась морщинками и стуча концом зонтика в тротуар, засемила сзади, а тот мужчина, к которому Нечаев обратился с вопросом, выступал рядом, и кланялся, приподымая шляпу, и все объяснял, объяснял. Так рады они были, что офицер победоносной вражеской армии, который, по их представлениям, мог совершить все, что угодно, задал простой человеческий вопрос, как какой-нибудь самый обыкновенный приезжий.

Берлин был так велик и густо населен, что советские войска, войдя в него, как бы затерялись в нем. Они были сосредоточены в отдельных кварталах, в казармах, в районных и участковых комендатурах, а в прочих местах их было так мало, что Нечаев мог бродить часами, не встретив ни одного советского бойца или офицера. И подавляющее большинство жителей Берлина еще просто не имело случая вступить в личный контакт с советским человеком и составить себе о нем хоть отдаленно правильное представление. Еще между побежденными и победителями стояло все ожесточение грандиозной войны, отчаяние поражения, смерть и плен близких, униженная национальная гордость, боязнь мести. Дни взятия Берлина действительно были страшными днями для жителей города, и действительно советские люди возникли перед берлинцами прежде всего в виде страшных людей. А ведь дни эти еще только что миновали. И особенно отдаляла их от советских людей та пропаганда, которая до последней минуты внушала каждому, что люди, наступающие на Бер-

лин, — жестокие люди и что никто не может ждать от них пощады. И за любым шагом любого советского человека пристально наблюдали тысячи глаз, стараясь угадать, как он поступит, подтвердит он или не подтвердит своим поступком то, что они о нем слышали.

Над круглой людной площадью плыл плачущий голос гармони. Кучка стоящих людей чернела под огромной стеной разбитого дома, ажурной от пробоин. Гармонь отчетливо звучала в неподвижном сыром воздухе, и Нечаев, подчиняясь тоскливому звуку, подошел к слушавшим, чтобы узнать, кто это там играет. Но спины загораживали от него музыканта, и, как он ни вытягивался, никого увидеть ему не удавалось. Тогда он сделал попытку протиснуться вперед и только тут, наконец, сам был замечен. И сразу же, как по команде, все расступились перед ним, образовав проход.

Он увидел человека в куцем кителе гитлеровского солдата, сидевшего прямо на мокрых камнях мостовой. Одной ноги у него не было. Он держал гармонь и сильными движениями рук раздвигал и сдвигал ее. Голова его, ничем не прикрытая, склонилась к плечу, и на пушистые волосы неправдоподобно светлого, желтого цвета капал дождик. Пока он играл, девочка лет семи с совершенно такими же пушистыми желтыми волосами ходила по кругу, держа в руках перевернутую солдатскую фуражку без кокарды, и собирала монеты.

Все это Нечаев наблюдал не дольше мгновения. Одноногий уловил предостерегающее движение толпы, поднял глаза и увидел Нечаева. И тотчас же музыка оборвалась. Гармонь неподвижно застыла у него в руках. Одноногий немецкий солдат снизу смотрел в смуглое, со следами ожогов лицо Нечаева. И девочка с фуражкой, замерев на месте, смотрела в лицо Нечаева. И все, кто был здесь, человек двести, неподвижно и молча стояли и смотрели на Нечаева.

Чего они ждали от него? Неизвестно. Во всяком случае, чего-то недоброго. А между тем Нечаев, едва только заметил монеты в фуражке, как полез в карман и вытащил пригоршню таких же монет — только что полученную сдачу. Смущенный тем, что все на

него смотрят, он бросил монеты в фуражку и поспешил уйти, слыша у себя за спиной радостный шепот.

Впрочем, все это случилось с ним позднее, во время его долгих прогулок по городу. А первое свое знакомство с Берлином начал он с той гостиницы, в которой жил.

Странная это была гостиница. Во всех окнах ее шести этажей, выходявших на улицу и на двор, не осталось ни одного стекла. Мало того, у нее совсем не было одной стены, и все коридоры, идущие влево от главной лестницы, оканчивались ничем — провалом. Да и лестница вела, собственно, прямо в небо, потому что ни крыши, ни большей части верхнего этажа не существовало. Электричества и воды не было, белья не было тоже, плюшевая и кожаная обивка диванов и кресел была наскоро срезана лезвиями безопасных бритв. Стены внутри — в вестибюле, в коридорах, в ресторанных залах — были так густо побиты пулями, что напоминали соты. Казалось бы, как может существовать и действовать гостиница, раз в ней ничего не уцелело? Да и гостиница ли это в самом деле? Не случайное ли это пристанище нескольких советских офицеров и хозяйственников, ночующих в разбитом доме? Нет, это была настоящая гостиница, потому что в ней сохранилось самое главное — распорядок, твердый, неизменный, сложившийся много лет назад.

В каждом коридоре за столиком сидела коридорная — важная старуха с крашеными, тщательно причесанными волосами — и следила за тем, чтобы все совершалось так, как установлено. Горничные — помоложе, но тоже немолодые — повиновались каждому ее взгляду. Ежедневно в семь часов утра начиналась уборка всех коридоров. Из-за отсутствия электричества пылесосы не действовали, и покрытые линолеумом полы протирались мокрыми швабрами. Мыли стены. Картины, пробитые пулями, снимали с крюков, вытирали с них пыль и вешали обратно. Постояльцам, которых было всего человек пятнадцать, приносили холодную и горячую воду. Потом начиналась уборка номеров, длившаяся несколько часов. Все номера, и населенные и пустые, убирались ежедневно. Так как стекла всюду были выбиты, Не-

чаев, сидя у своего окна, слышал все, что происходило во всем доме. Снизу, из первого этажа, из комнат, в которых жили служившие в комендатуре бойцы, долетала тягучая русская песня, которая звучала то тише, то громче, то прерывалась, то возникала вновь, и чувствовалось, что поют ее бессознательно, по привычке, не замечая, что поют. А из верхних окон доносился стук передвигаемой мебели, плеск воды, треск паркета, шелест щеток. Крупные костистые немки-горничные, деловито переключаясь через выбитые окна из этажа в этаж, без усталости скребли, терли, мыли, и по виду их было ясно, что работу свою они считают чрезвычайно важной и не сомневаются, что выполнять ее нужно именно так, как они ее выполняют.

В тех комнатах, которые занимала участковая комендатура, Нечаеву бывать не приходилось. Там беспрерывно шла очень напряженная деятельность, несколько загадочная и вызывающая его любопытство. Прием в комендатуре прекращался только по ночам. Немцы с утра до вечера, то поодиночке, то группами, входили в комендатуру и выходили из нее. Порой они ждали чего-то, нервно шагая взад и вперед по вестибюлю. Проходя через вестибюль, Нечаев обычно слышал за дверью комендатуры то возбужденные, пылкие речи, то жалобные причитания, то смех, даже хохот. Но сам он туда не заходил, считая это неудобным, так как был человеком посторонним, командированным совсем в другое учреждение, и никакого отношения к работе комендатуры не имел.

Впрочем, он питался в столовой комендатуры и там встречался с ее работниками. Эта столовая помещалась здесь же, в одном из малых ресторанных залов гостиницы, и Нечаев прикрепил к ней свой продовольственный аттестат. Столовались в ней и некоторые другие военные, весьма немногочисленные, приехавшие, подобно ему, в Берлин по командировкам и остановившиеся в гостинице. Столовую посещали они в разные часы, и потому Нечаев видел их редко. Офицеры комендатуры, очень занятые, ели наспех и в столовой не задерживались. И когда Нечаев заходил пообедать или поужинать,

в разных концах длинного стола обычно сидели всего двое-трое.

Обедающих обслуживал немец-официант, совсем еще молодой человек, очень высокого роста и очень худой. Возможно, он страдал какой-нибудь болезнью — у него был нездоровый, желтый цвет лица. Только этим можно было объяснить, что он не попал в армию и остался в Берлине. На нем был черный фрак, черные лакированные полуботинки, ослепительно белый крахмальный воротничок, крахмальная манишка и манжеты. Тонкий нос с легкой горбинкой и чуть-чуть выступающая вперед нижняя губа придавали профилю его такое изящество, что хоть чекань на медаль или монету. Он был похож на молодого лорда из произведений Оскара Уайльда, или на советника посольства какой-нибудь небольшой, но богатой буржуазной республики, или на дирижера симфонического оркестра, любимца дам, который вот-вот станет мировой знаменитостью. В этом ободранном зале с обвалившейся штукатуркой и дырами вместо окон он двигался, как во дворце, бесшумно и точно, останавливаясь за широкими плечами лейтенантов с обветренными лицами, людей, привыкших спать под открытым небом. Очень белыми, узкими и длинными пальцами расставлял он подогретые тарелки с мутным супом, от которого пахло треской, или с кашей из той перловой крупы, которую в армии называли «шрапнелью», предварительно обтерев снизу каждую крахмальной салфеткой. В его движениях чувствовался тот высокий профессионализм, который дается только долгой выучкой и наследуется одним поколением мастеров у другого.

Через полуоткрытую дверь, ведущую в маленькую комнатку перед кухней, Нечаев однажды увидел, как официант этот сливал остатки супа из разных тарелок в одну и кормил какую-то старуху в черном платье и в ветхой, допотопной шляпе с цветами — быть может, мать или тетку.

Сначала прогулки Нечаева по городу были непродолжительны, и уходил он недалеко, так как не совсем был уверен, что найдет дорогу назад. Неторопливо шагал он по Фридрихштрассе мимо разру-

шенных домов, разглядывая толпу и читая вывески. Все это были вывески банков, акционерных обществ, оптовых складов, торговых представительств; они поражали взгляд своим множеством, они покрывали, как чешуя, сплошь все фасады, громоздясь одна над другой, но значение они все имели только, так сказать, историческое, потому что позади них не было ни банков, ни акционерных обществ, ни оптовых складов, а лишь груды мусора и битого кирпича. Однако на одном из ближайших углов Нечаев обнаружил вывеску, которая извещала прохожих о предприятии, действующем сейчас, в настоящее время.

Это была парикмахерская. И самодельная вывеска ее, крупно и старательно написанная от руки на длинном листе картона, свидетельствовала, что она открыта совсем недавно. Вход в парикмахерскую никогда не запирался, так как дверь отсутствовала: она была сорвана с петель.

За время путешествия волосы у Нечаева стали длиннее, чем следовало, и, поколебавшись, он решил войти.

Окно без стекла. Через двухметровую пробоину в потолке сквозь все семь этажей видно небо. При всем том это была самая настоящая парикмахерская, так же как та гостиница, в которой жил Нечаев, была самой настоящей гостиницей. У порога его встретил четырнадцатилетний мальчик с тощей шейкой, торчавшей из широкого воротника черной форменной куртки с золотыми пуговицами. Это был гардеробщик. С поклоном принял он из рук Нечаева фуражку и выдал ему изящный прозрачный плексигласовый номерок с цифрой. Благоухание одеколонов и пудр наполняло воздух. Венские стулья, расставленные вдоль стены, пустовали. Большое, почти целое зеркало — у него отбит был только верхний правый угол — отражало стены с обвалившейся штукатуркой. Перед зеркалом — столик с мраморной доской, а перед столиком — настоящее парикмахерское кресло, обитое кожей, с подголовником, с начищенными до блеска металлическими частями.

У кресла стоял высокий старик в белейшем хала-

те, с голубовато-серебряной головой, похожий на главного хирурга большой клиники. Несмотря на свою важность, он поклоном, впрочем полным достоинства, дал Нечаеву понять, что считает его особой еще более важной, чем он сам. Он бережно усадил Нечаева в кресло, укутал простыней и приступил к работе. Работал он с явным удовольствием, так как, видимо, любил, уважал свой труд, истосковался по нему. Ножницы, мелко-мелко звеня, пели в его мягких пальцах. Время от времени он подносил к голове Нечаева небольшое зеркало, чтобы тот с помощью двух зеркал мог увидеть собственный затылок, и в этом с несомненностью сказывалось откровенное желание похвалиться своим искусством. Окончив стрижку, он приступил к бритью, налив в металлический стаканчик горячей воды из термоса, и брил так легко и нежно, что Нечаев почти не чувствовал бритвы.

В тщательно выработанный ритуал бритья входила обязанность занимать клиента разговором. Но как было поступить в данном случае? На английском языке парикмахер спросил у Нечаева, говорит ли он по-английски. Нечаев замотал головой. Тогда он был спрошен на французском языке, не говорит ли он по-французски. Нечаев опять замотал головой и на немецком языке признался, что понимает по-немецки.

— Ах, господин офицер! — воскликнул парикмахер. — Я сразу почувствовал, что передо мной образованный человек!..

С этого мгновения он уже больше не замолкал. Мягким грудным голосом, с тем профессиональным почтительным дружелюбием, которое тоже вырабатывалось десятилетиями, как и движения его пальцев, он занимал Нечаева беседой. Он не задавал ему никаких вопросов, очевидно считая это бестактным. Он сказал, что открыл свою парикмахерскую всего час назад и что господин офицер — второй его клиент. Конечно, за помещение ему приходится краснеть перед клиентами, но что поделаешь! Впрочем, кое-что он все-таки попытается сделать. Дырку в потолке можно забить фанерой. Стены можно оклеить белой бумагой, картинки повесить. Вот только со стеклом плохо, в Берлине нет стекла, ни за какие

деньги не достанешь. Но в конце концов не это важнее всего, а важнее всего мастерство. Если клиент оценит мастерство, он будет ходить... Разумеется, мужской парикмахер не может рассчитывать на слишком большую клиентуру в городе, где осталось так мало мужчин... Выговорив эту фразу, он умолк: вероятно, решил, что сказал лишнее. Ведь он невольно намекнул на то обстоятельство, что большинство мужчин-немцев погибло или находится в плену. А намекать на подобные вещи, по его мнению, не следовало. И не из страха перед русским офицером, а просто из профессионального такта, запрещавшего в беседе с клиентом затрагивать темы, которые могут вызвать разногласия... Окончив брить, он тщательно, с пристрастием художника осмотрел Нечаева и с поклоном, сверкая своими профессорскими сединами, проводил до дыры, служившей дверью.

По Фридрихштрассе Нечаев дошел до очень широкой, очень людной улицы. «Унтер-ден-Линден», — прочитал он на табличке и с любопытством огляделся. Это название он часто встречал в газетах и знал, что так называется главная улица Берлина. Однако то представление об этой улице, которое заранее у него составилось, так не соответствовало увиденному, что он сперва даже усомнился, та ли это самая Унтер-ден-Линден. Ведь «Линден» — это липы, Унтер-ден-Линден — значит «Под липами», и он представлял себе улицу под большими зелеными кронами вековых лип. А оказалось, что никаких лип почти нет, то есть были липки, но совсем маленькие, чахлые, тоненькие, посаженные на большом расстоянии одна от другой. Улица эта, чрезмерно широкая и довольно короткая, напоминала скорее вытянутый плац, чем улицу, и явно была создана для военных парадов. Сейчас всю ее от края до края заливала огромная толпа пешеходов, озабоченно снующих в разные стороны прямо по мостовой. На перекрестке, напротив Фридрихштрассе, стояла советская девушка-регульщица, небольшая, тоненькая, в пилотке, в гимнастерке, туго перетянутая красноармейским ремнем, и держала в руке красный флажок. Работы у нее было немного: раз в десять-пятнадцать минут проплывал мимо грузовик с бойцами, и тогда она лихо

поворачивалась, щелкала каблуками, взмахивала флажком и приветствовала водителя, поднося маленькую свою ладошку к виску. Все время была она окружена плотным кольцом зрителей, состоявшим главным образом из женщин и мальчишек, которые неотступно, с робким любопытством вглядывались в ее молоденькое, круглое личико, следили за каждым ее движением.

Нечаеву хотелось дойти до здания рейхстага, о взятии которого он столько читал в газетах. Он догадывался, что оно находится где-то здесь, поблизости, но, вместо того чтобы свернуть направо, он по ошибке свернул налево. Он шел по Унтер-ден-Линден, вглядываясь в каждый дом: не рейхстаг ли? Здания здесь все были особенно огромные, служившие не для жилья и не для торговли, а для разных парадных и торжественных целей. Все они были щедро украшены колоннами и всякими другими архитектурными затеями, но колонны их пообвалились, украшения пообсыпались, и теперь, закоптев в дыму, они, угрюмо-тяжелые, напоминали исполинские утюги.

Нечаев дошел до конца улицы, до площади, где стояла черная чугунная статуя Вильгельма Первого, расколота, как пустой орех. Голова статуи, огромная, пустая, в каске, валялась на земле, топорща чугунные усы. Нечаев повернулся и пошел по Унтер-ден-Линден обратно, по другому тротуару. Рейхстаг, наверно, находится где-то там, на той стороне. Он прошел мимо Оперы, миновал перекресток Фридрихштрассе; впереди улицу перегораживало какое-то громоздкое архитектурное сооружение, состоявшее из ряда могучих колонн, увенчанных четверкой скачущих коней. Вспомнив фотографии в газетах, Нечаев понял, что это знаменитые Бранденбургские ворота. Чем ближе он подходил к ним, тем яснее было видно, до чего они изъедены осколками снарядов. Направо от Бранденбургских ворот шла улица, и, заглянув в нее, он увидел рейхстаг.

Он сразу узнал его, потому что во всех газетах всякий раз, как заходила речь о взятии Берлина, неизменно печатались изображения рейхстага. Много раз описывался подвиг советских бойцов, укрепивших красный флаг на крыше. Красный флаг разве-

вался там и сейчас, и действительно, дух замирал при мысли о том, каково было лезть с ним на такую головокружительную высоту, да еще под обстрелом.

На улице перед рейхстагом, довольно пустынной, хорошо заметны были советские военные — несколько офицеров и красноармейцев, — которые стояли, задрав головы вверх. Очевидно, каждый советский человек, попав в Берлин, старался, подобно Нечаеву, поглядеть на здание рейхстага. Возле здания, словно на страже, дежурила большая стая проституток. Они совершали мгновенные нападения на каждого мужчину, который здесь появлялся; для того чтобы дойти до лестницы, ведущей в рейхстаг, нужно было пройти сквозь их строй.

Широчайшая каменная лестница рейхстага была так искрошена снарядами, что ступени большей частью пообсыпались, и всходить на нее приходилось, как по косогору. Поднявшись и пройдя между искалеченных и чудом державшихся колонн, Нечаев через вход, похожий на большую пробоину, вошел внутрь. Внутри он увидел то, что видел уже сотни раз, — пустую сердцевину разрушенного дома, от которого осталась только «коробка». Единственной подлинной достопримечательностью рейхстага были надписи на стенах.

Это были русские надписи, начерченные то мелом, то краской, то сажей, поразительно многочисленные, покрывавшие стены сплошь до такой высоты, что немыслимо было себе вообразить, как писавший мог туда забраться. Содержание всех надписей было одно и то же. Каждый писавший стремился кратко удостоверить, что он, пройдя столько дорог, испытав столько чудовищных мук, отстоял свою Родину в кровавой борьбе и победоносно вошел в Берлин. «Сержант Осинин из Ельца», «Лейтенант Егоров из Томска», «Ефрейтор Мустафа Хабибабуллин», «Евгений Пенкин из Сталинграда». И на совершенно недостижимой высоте крупнейшими буквами: «Капитан Гофман из Одессы».

Выходя, Нечаев с огорчением заметил, что сапоги его до самого верха покрыты слоем белой пыли. Рыхлый камень-известняк, щедро использованный строи-

телями при сооружении рейхстага, раскрошился от взрывов снарядов в мельчайшую пыль, похожую на муку, и всякий, кто заходил в рейхстаг, проваливался в барханы и дюны этой пыли. Как пойти в таких грязных сапогах по городу? Но тут же, под колоннадой, Нечаев увидел стайку босоногих подростков с сапожными щетками в руках. Оказалось, что белая пыль внутри рейхстага, пачкавшая сапоги советских офицеров, приходивших посмотреть это памятное место, породила целый промысел. Сапоги Нечаева начистили до блеска и взяли с него одну марку. Еще одну марку заплатил он печальному тощему оборванцу с бельмом на глазу, который настойчиво продавал посетителям открытки, где изображен был рейхстаг, но не такой, как сейчас, а целый и невредимый, каким он был до взятия Берлина.

Заметив, что Нечаев понимает по-немецки, этот одноглазый немец стал объяснять ему, что здание напротив рейхстага — та самая Имперская канцелярия, под которой в бетонированном бомбоубежище скрывался Гитлер. Нечаев обернулся и окинул Имперскую канцелярию взглядом, но ничего не увидел, кроме очень длинного, скучного фасада, попорченного разрывами шрапнели. Он спустился по лестнице и, пораздумав, зашагал не обратно к Унтер-ден-Линден, а в противоположную сторону — туда, где впереди он угадывал набережную Шпрее.

По мере того как он шел, тот отвратительный запах, который в смеси с запахами гари и плесени здесь всюду его преследовал, становился все сильнее. Он давно уже догадался, что это за запах, он давно уже безошибочно узнавал его. Слишком много раз приходилось ему вдыхать этот страшный запах за последние четыре года. Так пахли мертвецкие в тех госпиталях, где он лежал. Так пахли окопы и овраги после боя. Так пахли начавшие гнить раны. Так пахли братские могилы, засыпанные наскоро, в пылу сражения, слишком тонким слоем земли... В этом городе совсем недавно окончилась одна из грандиознейших битв в истории человечества. И хотя мертвых уже успели убрать с улиц и площадей, запах смерти все еще вырывался из неразобранных развалин, из канализационных люков, из подвалов,

из тоннелей метро, из всех водоемов. Особенно из водоемов...

Шпрее оказалась узенькой извилистой речкой, текущей в искусственных каменных отвесных берегах. Тот запах нигде не был так силен, как здесь, на ее набережной. Нечаев заставил себя подойти к чугунной балюстраде и глянуть вниз. Он увидел черную воду, густую, как черный кофе, и совершенно непроглядную. Пахло так, что почти невозможно было вытерпеть. Что скрыто там, на дне, в этом лениво текущем настое?.. Нечаев отпрянул и торопливо зашагал по пустынной набережной. И поспешно свернул в первый же переулок.

Там, в этом глухом переулке, в двадцати шагах от Шпрее, он наткнулся на витрину книжного магазина. И остановился перед ней в удивлении. Прежде всего совершенно целое стекло! Он посмотрел кругом. Быть может, здесь сохранились и другие стекла? Но нет, все окна в переулке, как и во всем Берлине, зияли пустотой. Значит, стекло это вставлено недавно, сейчас, уже после взятия Берлина... Магазины помещались несколько ниже мостовой, в так называемом полуподвале. За стеклом были разложены книги. Только немецкие. Нет, вот французская. Вот две английские. Русской — ни одной. Некоторые раскрыты, чтобы видны были иллюстрации или таблицы. Книжки все старые, подержанные. Букинистический магазин. Неужели в этом городе сейчас кто-нибудь покупает книги?

Среди книг на витрине лежала карта Берлина — не очень большая, довольно помятая и, вероятно, вырванная из какого-нибудь справочника. Нечаев подумал, что хорошо бы иметь такую карту. За годы войны он привык всегда носить с собой карту той местности, в которой он находился. С картой ему было бы гораздо удобнее в Берлине. А не купить ли ее? Если только магазин действительно открыт...

Нечаев спустился на три ступеньки и толкнул дверь. И дверь открылась.

Он оказался в комнате, все стены которой от пола до потолка были уставлены стеллажами с книгами. Покупателей было человек шесть. Все они рылись в книгах, кто сидя в углу на корточках, кто стоя

перед стеллажами на ступеньках переносных деревянных лесенок. Все это было точь-в-точь так, как в московских букинистических магазинах. И Нечаев, который в студенческие годы сам подолгу вот так же сидел в углу на корточках и рылся в старом книжном хламе, был поражен этим сходством и почувствовал внезапный прилив дружелюбия ко всем находившимся здесь людям.

А между тем его появление в лавке перепугало всех до крайности. Сидевшие на корточках выпрямились с книгами в руках. Стоявшие на лесенках неподвижно застыли на своих ступеньках. Со всех сторон Нечаев видел бледные лица и встревоженные глаза. Из-за прилавка выскочил небольшой лысый человечек в светло-коричневом костюме и покатился прямо к Нечаеву. Губы у него побелели, все черты лица прыгали от страха. Это был хозяин лавки.

Чего они так испугались? Того ли, что Нечаев начнет проверять документы? Или того, что он обвинит их в торговле книгами, изданными при гитлеровском режиме? Или просто грабежа? Трудно сказать. Вероятно, они и сами не знали точно, какого именно страшного поступка ожидают от этого русского офицера. Просто он был представителем победоносной армии, за приближением которой они следили с таким невообразимым ужасом. Он был представителем народа, которому причинили огромное зло и от которого, по их мнению, они не могли ждать ничего, кроме мести. Он был представителем того таинственного общественного строя, о котором они почти ничего не знали и «ужасами» которого их пугали столько лет. Он был представителем новой власти, безмерно могущественной, всесильной и особенно жуткой оттого, что повадки ее еще незнакомы, и неведомо, чего она потребует от каждого из них.

— Господин русский комендант разрешил...— лепетал хозяин.— Эта торговля разрешена самим господином русским комендантом.

Нечаев от растерянности и оттого, что все на него смотрят, никак не мог придумать немецкую фразу и молчал, а хозяин, уверенный, что его не по-

нимают, в отчаянии без конца повторял, стараясь говорить как можно выразительнее:

— Герр комендант... Сам герр комендант...

Нечаев, наконец, нашел немецкие слова.

— У вас там... на окне... карта... — произнес он.

Услышав, что он говорит по-немецки, все разом насторожились и затаили дыхание.

— А! — воскликнул хозяин. — На окне? Карта? Это карта Берлина... Что? Нельзя?

— Пожалуйста... Дайте ее мне...

— Сейчас! — выговорил хозяин, задохнувшись от готовности.

Он кинулся к окну, нагнулся, выставив зад в светло-коричневых брюках, и через мгновение дрожащими руками протянул Нечаеву карту.

— Сколько? — спросил Нечаев.

Хозяин молчал, стараясь догадаться, чего еще хочет русский офицер. То, что он может спросить о цене, ему не приходило в голову.

— Сколько стоит эта карта?

Хозяин молчал, в отчаянии глядя на Нечаева.

На углу карты Нечаев заметил выведенную карандашом цифру 2 и черточку.

— Две марки? — спросил он.

— Да, да, две марки... — сказал хозяин.

И все, кто был в лавке, повторяли:

— Две марки! Две марки!

И кивали головами и подымали вверх по два пальца.

Нечаев вынул из кармана гимнастерки две бумажные марки и дал их хозяину.

И только тут они все догадались, что этот напугавший их человек — всего-навсего покупатель, такой же самый, как они. И все лица порозовели и расцвели улыбками. И такое многозначительное «о!» раздалось со всех сторон! И хозяин, улыбаясь и кланяясь, провожал его до двери...

У себя в номере Нечаев разложил карту на столе перед выбитым окном и принялся изучать ее. Прежде всего он нашел Фридрихштрассе и определил место, где находится его гостиница. Вот на этой улице учреждение, в которое он командирован. Вот Шпрее, Унтер-ден-Линден, Бранденбург-

ские ворота, рейхстаг — все, что он видел. Позади Бранденбургских ворот и рейхстага на карте находился большой зеленый прямоугольник, на котором написано было: «Тиргартен». Так вот он где, этот Тиргартен! Оказывается, совсем недалеко... Нечаев был рядом с ним и не знал... О Тиргартене он слышал и до приезда в Берлин. Он очень мало слышал о Берлине до того, как попал в него: Шпрее, Моабитская тюрьма, рейхстаг, Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота, Тиргартен. По-русски слово «тиргартен» переводится словом «зверинец». Однако это, кажется, вовсе не зверинец, а просто большой парк в самом центре города, с аллеями, клумбами и прудами. Он читал об этом в какой-то газетной корреспонденции. Там есть колонна Победы, воздвигнутая в честь победы Пруссии над Францией в 1871 году. И еще аллея Победы, украшенная какими-то памятниками...

На другой день Нечаев направился в Тиргартен. Он прошел между щербатых колонн Бранденбургских ворот, и перед ним открылись зеленые свежие кущи высоких вязов, лип и каштанов, прорезанные широким прямым шоссе. А тут еще выглянуло солнце, затрепетав светом на влажных листьях, и птицы зашевелились в ветвях, наполняя воздух щебетом.

И Нечаев пошел вперед по пересекающему парк шоссе, такому же людному, как улицы. Несмолкаемый стук деревянных подошв раздавался вокруг.

Он сразу же убедился, что война оставила здесь ничуть не меньше следов, чем в других местах города. Гравий тянувшихся вдоль шоссе пешеходных дорожек казался желтым — столько в нем было стреляных гильз, втоптаных ногами. Гильзами и стаканами от снарядов была полна вся трава. В кудрявых чащах деревьев стояли поднятые взрывами на дыбы сгоревшие танки, дотянув свои широкие стальные лбы до самых вершин старых каштанов и вязов. То тут, то там над солдатскими могилами торчали низенькие деревянные кресты с надетыми на них стальными касками — такие самые, как те, которые Нечаев десятками тысяч видел и под Калинином, и под Харьковом, и над Днепром.

В нескольких сотнях метров от Бранденбургских ворот шоссе внезапно расширилось, образовав нечто вроде площади, окруженной деревьями. На этой площади слева и справа стояли два ряда больших фанерных щитов, ярко расписанных клеевыми красками. Щиты эти были поставлены так, что каждый прохожий, пересекающий Тиргартен, должен был неизбежно пройти между ними.

Самый большой щит, метров в пять вышиною, занимал середину левого ряда. На нем безвестным армейским художником изображены были руководители трех великих союзных держав, победивших Германию, — Сталин, Черчилль и Рузвельт. Художник в работе своей воспользовался известной фотографией, снятой во время Ялтинской конференции зимой 1944 года. Летя в Ялту, Черчилль, как писалось во всех газетах того времени, потерял свою военную фуражку, и ему в Советском Союзе была выдана высокая теплая котиковая шапка самого гражданского образца. В этой шапке, очень странной на человеке в военном мундире и получившейся благодаря увеличению громадной, Черчилль на щите курил сигару в полметра длиной, надменно глядя на проходивших немцев.

Остальные щиты, поменьше, числом около двадцати, все одинакового размера, изображали гербы государств, принимавших участие в войне против гитлеровской Германии, хотя бы самое незначительное или даже только номинальное. Герб Люксембурга был такой же величины, как герб Соединенных Штатов, и герб Коста-Рики такой же величины, как герб Советского Союза. Этим равенством выражалась добродушная щедрость и скромность Советской Армии, которая, одержав великую победу почти одна, не хотела обидеть никого, кто хоть сколько-нибудь ей помогал.

Шоссе бежало через Тиргартен дальше, обегая с двух сторон неуклюжую башню, увенчанную крылатой женской фигурой, массивной и грубой на вид. Это, безусловно, и была колонна Победы. Водруженная на ней здоровенная валькирия должна была, по-видимому, воплощать в себе Германию и ее мощь. Колонна была пустая внутри, в нее можно

было войти через дверь. За раскрытой настежь дверью видна была винтовая лестница; по ней все желающие могли подняться на верхушку колонны. Задрав голову, Нечаев увидел наверху, на площадке под каменной юбкой валькирии, трех красноармейцев, озиравших окрестности.

Лезть на колонну Нечаеву не хотелось. Он покинул шоссе и углубился в густые зеленые заросли, в сеть узеньких, прихотливо извивавшихся пешеходных дорожек. Здесь было совсем пустынно и тихо. В Тиргартене толпа заполняла только шоссе, так как оно соединяло два главных района города — Митте и Шарлоттенбург; а на боковые аллеи, созданные для прогулок, не забредал никто: немцам было не до гулянья. Нечаев встретил лишь сгорбленную, жалкого вида старуху, которая собирала здесь, в центре города, хворост, как в лесу. Буйная зелень изо всех сил старалась прикрыть собой следы битвы и разгрома. Перевернутые орудия валялись в кустах. На лужайках, в высокой траве, пестревшей цветами, толпились остовы сгоревших грузовиков. Взорванные танки стояли среди влажной, пронизанной солнцем листвы, как черные тени. В зелени то здесь, то там блестела вода; Тиргартен был пронизан цепью небольших прудов, соединенных протоками, над которыми горбились мостики. Но ни к прудам, ни к протокам невозможно было подойти, потому что и тут от воды несло все тем же жутким смрадом.

Нечаев неожиданно вышел на аллею Победы. Он сразу ее узнал по двум рядам белых статуй, находившихся в состоянии такого разрушения, что трудно было определить, кого они изображают. Почти у всех вместо рук и голов торчали железные пруты каркаса. Благодаря напыщенной воинственности своих поз, благодаря всем этим мечам, коронам, щитам, шлемам, гербам, расколотым и поваленным, они казались особенно жалкими. У подножия их лежали груды какого-то бумажного мусора, опаленного огнем, вымоченного дождями, высушенного солнцем и взъерошенного ветром. Надо полагать, здесь, на аллее Победы, кто-то в последнюю, уже роковую минуту сжигал какие-то документы.

Кроме Нечаева, тут находился еще один человек — старик в не по сезону теплом добротном пальто, в отличной шляпе, с элегантною тростью в руке. Седые усы, подусники и баки делали его похожим на бывшего австрийского императора Франца-Иосифа. Нечаев заметил его издали, но он, вероятно, Нечаева долго не видел, так как с величайшим вниманием смотрел вниз, себе под ноги. Иногда он приостанавливался и осторожно трогал что-то на земле концом трости. Он постепенно приближался к Нечаеву и наткнулся на него неожиданно для себя.

— Сударь, — сказал он, поклонясь, сняв шляпу и обнажив редкие седые волосы, — я здесь ищу окурки. Но найти ничего невозможно... Нет ли у вас сигареты?

Нечаев дал старику папиросу и быстро ушел от него за кусты, чтобы не видеть его благодарственных поклонов. Ему и самому захотелось покурить. Он нашел зеленую садовую скамью на пустынной боковой аллейке и, убедясь, что вокруг никого нет, уселся на нее и закурил.

Но в одиночестве он пробыл недолго. За деревьями раздались звонкие детские голоса, и на лужайку против скамейки выбежали четыре мальчика, босые, белобрысые и очень оживленные. Старшему было лет одиннадцать, младшему не больше шести. Они подпрыгивали на бегу. Время от времени то один, то другой нагибался и подымал что-то с земли. Тогда все они собирались в кружок и рассматривали находку.

Наконец они заметили Нечаева, сидевшего на скамейке, и бесстрашно подбежали к нему.

— Господин полковник, дайте покурить! — сказал старший мальчик.

— Я детям курить не даю, — ответил Нечаев.

— Я не для себя прошу, а для мамми, — сказал мальчик.

— Я не так глуп, чтобы поверить, — ответил Нечаев.

Мальчик рассмеялся. Его рассмешила и неуклюжая немецкая фраза Нечаева, дословно переведенная с русского, и неудача собственной лжи.

Тем временем остальные мальчики, подойдя к скамейке, стали выворачивать на нее содержимое своих карманов. Оказалось, что карманы их доверху набиты пустыми патронами и всяким другим металлическим хламом. Они подбирали эти отходы войны, оставшиеся здесь после боя, и играли. Когда все это было разложено на скамейке, стало казаться невероятным, что столько могло поместиться в карманах их штанишек. Не обращая на Нечаева никакого внимания, они любовались своими сокровищами, хвастались, перебранивались.

— Как тебя зовут? — спросил Нечаев старшего мальчика.

— Хорст.

— А это твои товарищи или братья?

— Братья.

— Все?

— Да. Нас четверо. Вот Альфред, вот Карль, вот Вольфганг.

Вольфганг, самый маленький, стоял голыми расцарапанными коленками на скамейке и, упоенно сопя, перебирал патроны.

— А кто ваш папа? — спросил Нечаев.

— Наш папа был на войне, — ответил Хорст.

— Где же он сейчас?

— Пропал без вести.

— А мама?

— Мамми работает.

— Где?

— На разборке. Ей обещали дополнительную карточку. Дадут?

Говоря по совести, Нечаев ничего об этом не знал. И ответил не совсем уверенно:

— Если обещали, значит, дадут.

— А что русские с нами сделают? — спросил вдруг Хорст.

— Что сделают? С кем?

— Ну с нами! Со всеми! С теми, кто здесь живет?

К такому вопросу Нечаев не был подготовлен. Как на него ответить? Он призадумался.

Но Хорст и не стал ждать ответа. Все внимание

его было занято папиросой Нечаева, докуренной уже почти до конца.

— Дайте затянуться, — попросил он.

— Не дам, — сказал Нечаев, нахмурясь. — Дети не курят.

Он потушил окурок о край скамьи и бросил его в траву.

Тогда Хорст отошел от Нечаева шага на три — из осторожности — и, глядя ему прямо в лицо, произнес:

— А Гитлера русские не нашли!

Он, несомненно, был убежден, что эти слова уязвят Нечаева в самое сердце. Так он мстил за то, что Нечаев не дал ему затянуться. Он отпрыгнул и готов был пуститься в бегство, если Нечаев подымет.

— Послушай, — сказал Нечаев. — Проводи меня туда, где я живу. Я дам тебе немного хлеба.

У Нечаева в чемодане завалился кусок черствого хлеба весом в полкило, полученный в Польше. Он хотел отдать этот хлеб горничной в гостинице, но не успел.

Чуть речь зашла о хлебе, Хорст насторожился. Лицо его дрогнуло. Он стал серьезен. Его младшие братья тоже сразу оторвались от своих драгоценностей и прислушались.

— А где вы живете? — спросил Хорст.

— В комендатуре.

— В какой?

— На Фридрихштрассе.

— Знаю.

Нечаев встал со скамейки.

— Хорошо, — сказал Хорст. — Мы проводим вас.

Он зашагал рядом с Нечаевым. Братья его немного задержались, запихивая разложенный по скамейке хлам в карманы, потом с гиканьем пустились вдогонку. Они то забегали далеко вперед, то отставали, то оказывались где-нибудь в стороне. При этом они продолжали свои поиски, перебранивались из-за патронов и раза два даже подрались. Голоса их звенели не умолкая, белые головенки то исчезали в кустах, то появлялись снова, затвердевшие подошвы босых ног были совершенно нечувствительны

ни к камням, ни к корням, ни к железу. Рядом с Нечаевым шел один Хорст. Он не отходил от него ни на шаг и не спускал с него глаз. Когда они проходили под Бранденбургскими воротами, он спросил:

— У вас пятно на лице от огня?

— Да, — ответил Нечаев. — От ожога.

На улицах младшие поминутно пропадали в толпе, но Хорст по-прежнему был всегда рядом. Так дошли они до комендатуры. Метрах в пяти от часового Хорст остановился.

— Подожди меня здесь, — сказал Нечаев и вошел в подъезд гостиницы.

Подняться на четвертый этаж, дойти до своего номера, достать хлеб, завернуть его в бумагу и возвратиться — все это заняло минут пять, даже больше. Когда Нечаев вышел из дверей, все четыре мальчика стояли на противоположном тротуаре. Нечаев подозвал Хорста рукой. Хорст двинулся к нему через улицу, но шел, чем дальше, тем медленнее. Повидимому, комендатура и часовой у подъезда несколько пугали его. Нечаев шагнул ему навстречу.

— Гитлер во всем виноват, а не мы, — сказал Хорст, прижав сверток с хлебом к груди.

Они бросились бежать, все четверо, и сразу исчезли.

9

Шарлотта Фенске... Так звали ту случайную попутчицу Нечаева, которую он после множества новых впечатлений мог бы, казалось, и забыть. Однако он не только не забыл ее, но думал о ней так часто, что сам удивлялся. Не то чтобы она ему нравилась; скорее, пожалуй, напротив. Вспоминая ее, он испытывал злость. Ну, разумеется, и жалость. Главным образом жалость. Она была бедна, одинока. Как ее не пожалеть? И все же не злость и не жалость заставляли Нечаева думать о ней. Мысль об этой женщине сидела в нем, как отравы, и он не мог от нее избавиться. В ее разговорах с ним, во всех ее взглядах и суждениях было что-то такое, очень его задевавшее.

Мир устроен подло и жестоко. В мире все принадлежит богатым. У бедных нет и не может быть

ничего, даже любви, дружбы, родины. Так было, так всегда и везде будет. Все остальное — слова, обман. Никакая борьба невозможна. Никто никому не может помочь. Выхода нет.

Всему этому научила ее та жизнь, которую она прожила. И научила крепко. Возражения вызывали у нее только насмешку. Да он, по правде сказать, почти ей не возражал, потому что любые доводы отскакивали от ее озлобленной убежденности. Не успел он ей ничего возразить. Они не договорили, не dospорили. Она слезла с кузова машины, пропала в темноте, и он никогда больше ничего о ней не узнает.

В том, что они не увидятся, нельзя было сомневаться. Вероятность случайной встречи с ней на улицах этого громадного города совершенно ничтожна.. Он понимал, что любые попытки искать ее не приведут ни к чему. И все же он сделал одну такую попытку... С помощью старой телефонной книги...

У него в номере на столе возле бездействующего телефона лежала толстенная берлинская телефонная книга на 1942 год. Так как никаких других книг у него не было, он иногда от нечего делать перелистывал ее. Обтрепанные страницы с загнутыми углами были вымазаны чернилами и покрыты всякими записями, сделанными за три года прежними жильцами этого номера. Очень много места в ней занимали рекламные объявления. Целый отдел был посвящен телефонам и адресам гитлеровских правительственных учреждений, уже не существующих. Фамилии частных абонентов, набранные мелким шрифтом и расположенные по алфавиту, строились в столбики.

Нечаев, ни на что не надеясь, машинально стал искать Фенске Шарлотту — просто потому, что эта фамилия и это имя засели у него в голове. Разумеется, никакой Шарлотты Фенске в телефонной книге не обнаружилось. Глупо было предполагать, что такая, как она, могла иметь когда-нибудь телефон. Тогда он так же машинально стал разыскивать другую фамилию — Борманн. О, сколько в Берлине Борманнов! Столбец за столбцом, страница за страницей — все Борманны, Борманны, Борманны. Есть,

конечно, и объявление фирмы «Борманн» — кассовые и счетные аппараты. Одних Августов Борманнов шесть человек. Борманн Бруно, Борманн Элеонора, Херберт Борманн!..

Черт возьми, да уж не тот ли это самый? Племянник?.. Вот номер его телефона... Ну, это ни к чему: кроме советских военных телефонов, все остальные телефоны в Берлине бездействуют... Но вот его адрес: Дюссельдорферштрассе, 36...

Он сам над собой посмеивался, когда, разложив на столе карту, стал разыскивать Дюссельдорферштрассе. Действительно, разве не смешно искать на карте улицу, где живет человек, которого ты никогда не видел и который тебе совсем не нужен? Конечно, есть шансы, что этот Херберт Борманн знает, где найти Шарлотту Фенске... Есть такие шансы, но их очень мало; верней всего, она, вернувшись с пустыми руками, и не пошла к Херберту Борманну... Ох, сколько улиц в этом Берлине!.. Он внимательно просматривал квадрат за квадратом, прочитывая все названия. Был уже вечер, смеркалось, и он, напрягая глаза, все ближе придвигал лицо к карте.

Дюссельдорферштрассе нашлась в юго-западной части города. Вот Тиргартен. Недалеко от его левого нижнего угла начинается длинная широкая прямая магистраль по названию Курфюрстендамм. До этих мест Нечаев ни разу еще не доходил. Параллельно Курфюрстендамм, несколько южнее, тянется Дюссельдорферштрассе...

Следующее утро было солнечное, ясное, первое по-настоящему ясное утро за то время, что Нечаев провел в Берлине. Нечаев позавтракал и прежде всего направился в то учреждение, куда был командирован. Там из добросовестности толкался он часа полтора, чувствуя, что в этом нет никакого смысла и что он только всем мешает. Потом вышел на залитую солнцем мостовую и отправился искать Дюссельдорферштрассе.

Он говорил себе, что идет туда только для того, чтобы прогулка имела хоть какую-нибудь цель. Ведь ему все равно, куда идти, так почему бы не побывать на Дюссельдорферштрассе. Он посмотрит ту

часть города, в которой ни разу еще не был... Путь его лежал через Тиргартен. Он прошел мимо колонны Победы, потом свернул налево — в пункте, заранее намеченном по карте. Тиргартен остался позади. Он вышел к большой разрушенной церкви, похожей на потонувший корабль. Церковь эта на карте называлась Гедехтнис-кирхе, то есть церковь Поминовения. За Гедехтнис-кирхе начиналась Курфюрстендамм.

Ему сразу стало ясно, что он попал как бы во второй центр Берлина, не менее людный и застроенный, чем первый. Курфюрстендамм до войны была, по-видимому, очень нарядной улицей с громадными домами и роскошными магазинами. Сейчас и здесь, как всюду, тянулись к небу исполинские развалины. Впрочем, Нечаеву показалось, что разрушений здесь все-таки меньше, чем в той части города, откуда он пришел. Там, в районе Унтер-ден-Линден и Фридрихштрассе, были разбиты все дома сплошь. Здесь же разрушение шло как бы на выборку: рядом с рухнувшими зданиями стояли почти не поврежденные. Полностью, кажется, уцелело здание кинотеатра под названием «Марморхауз».

На Курфюрстендамм было не менее людно, чем на Унтер-ден-Линден, и Нечаев все время двигался в густой толпе. Раза два, не уверенный в том, где нужно свернуть, и не желая спрашивать, он вынимал свою карту и, как привык на фронте, расстилал ее на каком-нибудь вывалившемся из здания камне. Сразу его окружало кольцо зрителей, с жадным вниманием следивших за каждым его движением и, несомненно, строивших самые разнообразные догадки. Свернув, наконец, с Курфюрстендамм влево, он оказался в сети улиц, каких до сих пор не видел.

Это были улицы не для торговли и не для дел, а только для жилья. И надо полагать, жили здесь люди не бедные — такой солидный и добротный вид был у не слишком высоких домов, у каменных ступеней перед подъездами, у массивных, тяжелых дверей. Уцелевших домов тут оказалось еще больше, чем на Курфюрстендамм. Целые кварталы стояли почти не поврежденными, если, конечно, не считать выбитых окон. Тут было несравненно тише и без-

люднее, чем на других улицах, и прохожие попадались все больше пожилые, неторопливые и хорошо одетые. Ни одного босого ребенка не встретил здесь Нечаев; все дети были умыты, причесаны, в носочках и туфельках.

Дюссельдорферштрассе оказалась одной из этих улиц. Разыскивая № 36, Нечаев впервые обнаружил, что нумерация домов в Берлине не имеет ничего общего с нумерацией, общепринятой в советских городах. Прежде всего это была нумерация не домов, а подъездов. От начала улицы до ее конца каждый следующий подъезд носил следующий порядковый номер, и, если дом имел, скажем, четыре подъезда, он носил соответственно четыре номера. Затем, у немецких улиц не было четных и нечетных сторон, как в русских городах, а все номера, четные и нечетные, шли подряд, доходили по одной стороне до конца улицы и шли дальше, продолжая возрастать, по другой стороне улицы в обратном направлении. Нечаев не знал этого и прошел всю Дюссельдорферштрассе до конца, потом вернулся по другому тротуару на несколько десятков метров и лишь тогда очутился у подъезда № 36.

Теперь, когда он дошел, нелепость всей его затеи стала ему особенно ясна. Он остановился. Дом пятиэтажный, богато облицованный по фасаду серым гранитом, вполне целый, только стекла выбиты. Впрочем, задрав голову, Нечаев увидел, что во всех окнах четвертого этажа — стекла... Как искать в этом большом доме господина Херберта Борманна, если он не знает номера квартиры? Да и вряд ли этот Херберт Борманн до сих пор живет здесь, а если и живет, так вряд ли в такой час, в середине дня, сидит дома... Разумнее всего повернуть и пойти назад... Но раз уж он добрался сюда... Из упрямства, из привычки доводить все начатое до конца он вошел в подъезд № 36.

Лифт. Конечно, бездействующий. Двери двух квартир. Ах, вот как тут устроено: у квартир номеров нет, а на каждой входной двери узенькая медная табличка с фамилией жильца! Не здесь. Посмотрим, что там, выше. Нечаев зашагал по лестнице вверх. Второй этаж — не то. Третий этаж — опять две фа-

мили на двух дверях, и опять не те. Четвертый этаж. На медной табличке правой двери — «Х. Борманн».

Теперь можно повернуться и уйти: ведь поиски Борманна — только предлог для прогулки... Нечаев стоял, вслушиваясь. Ни звука. В этом районе города удивительно тихо... На двери возле медной таблички — белая кнопка электрического звонка. Ну, звонок, ясное дело, не звонит...

Нечаев постучал.

Он подождал, вслушиваясь. Полнейшая тишина. Никто не шел открывать ему дверь. В квартире, конечно, никого нет. Теперь можно уйти. Он подумал об этом со смешанным чувством облегчения и разочарования.

Нет, что это?.. За дверью раздались быстрые приближающиеся шаги.

Где-то в глубине звякнул железный засов. Повидимому, там есть вторая дверь, тоже запертая, и ее открывают...

— Кто здесь? — раздался из-за двери женский голос.

Нечаев промолчал, потому что от неожиданности не успел составить немецкую фразу.

— Кто стучал? — донеслось из-за двери.

— Я желал бы видеть господина Херберта Борманна, пожалуйста... — произнес Нечаев.

За дверью все смолкло. Потом резко щелкнул ключ в замке. Дверь чуть-чуть приотворилась, образовав узенькую щелку. Там, в темноте, в этой щелке, поблескивал глаз, его разглядывавший... Затем щелка исчезла, дверь закрылась опять. Громко лягнула дверная цепочка. Дверь распахнулась настежь.

— Как это вы?.. О, герр капитэн!..

Шарлотта Фенске стояла на пороге.

На лице ее было изумление. И радость. Несомненная радость, которую она не успела, или не умела, или не хотела скрыть.

— Вы искали меня?.. Нет, этого не может быть... Как вы меня нашли?..

Но тут вдруг лицо ее потухло, в глазах появилось недоверчивое выражение, и она спросила подозрительно:

— Или, может быть, вас прислали?.. Может быть, вам действительно нужен господин Борманн?

— Никто меня не прислал... Я нашел адрес господина Борманна в телефонной книге.

— И вы пришли, чтобы спросить его обо мне!.. — Лицо ее опять просияло. — О, как это мило, господин капитан!.. Заходите, заходите... Никого нет. Я одна.

Он нерешительно переступил через порог, прошел мимо нее и остановился, озираясь. Она, с улыбкой глядя на него, быстро и ловко закрыла обе тяжелые двери с множеством лязгающих и щелкающих запоров.

В просторной прихожей с высоким потолком было сумрачно; тускло мерцали зеркала, поблескивала бронза, темные шкафы, большие, как мамонты, отсвечивали лаком. Сквозь раскрытую дверь видна была глубина квартиры, казавшейся огромной: комнаты, комнаты, комнаты, блики света, падавшие там, вдали, с разных концов освещали кресла, диваны, шкафы, картины, портьеры, люстры в чехлах... Каким же образом здесь очутилась Шарлотта Фенске? На каких правах? Да она и сама совсем другая, чем в дороге. Какие у нее нарядные туфли с пряжками, какие чулки, какое платье! Нечаев, как многие мужчины, ничего не понимал в женской одежде, не умел ее рассматривать и запоминать, но не мог не видеть, что серое платье на Шарлотте нарядно и сшито из дорогой материи. Откуда все это? Как это не вяжется со всем тем, что несколько дней назад она рассказывала ему о себе, о своей жизни, о своем знакомстве с тем же господином Хербертом Борманном!.. Теперь подозрительность овладела Нечаевым, и он помрачнел. Ложь, снова ложь. Опять она все ему солгала, и он опять, во второй раз, всему поверил!..

А она, по-видимому, совсем не заметила его внезапной угрюмости и, обрадованная его приходом, все больше оживлялась.

— А ведь вы были правы! — сказала она. — Все вышло в точности по-вашему!

— По-моему?

— Ну да! Помните, вы мне говорили, что господин Херберт Борманн отблагодарит меня, если я

вернусь к нему и без арифмометра? Помните, а? Я еще вам ответила, что зачем я ему нужна без арифмометра. Я вправду даже встречаться с ним больше не хотела. Он так был огорчен, когда я ему сказала, что того арифмометра нет и быть не может. И все же, знаете, пожал мне руку и сказал, что друзья познаются в беде и что фирма «Борманн» теперь передо мной в неоплатном долгу и никогда меня не оставит, хотя я вернулась с пустыми руками...

— Они взяли вас на службу? — спросил Нечаев.

Она пренебрежительно свистнула, по своему обыкновению, через угол рта.

— Какая теперь служба, в такое время! Служба будет. А пока он сказал, что я нужна для важнейших дел, и дал мне серьезнейшее поручение. Прежде всего он поселил меня в своей квартире...

— Вместе с собой?

— Он уехал.

— Уехал? Куда?

— В Гамбург, к дяде. Он, конечно, вернется, но только в нужный момент. И доверил мне стеречь квартиру до своего приезда. Теперь я здесь хозяйка!

Она подняла за кольцо связку ключей и лихо позвонила ими над ухом Нечаева. Потом протянула вперед одну ногу и круто повернулась вокруг себя на другой ноге. Все это она проделала с таким простодушным и ребячливым торжеством, что подозрения Нечаева рассеялись. За эти несколько дней она сама очень изменилась, не только ее одежда. Значки ее опять стали большими, как той ночью, лицо разругалось. Она взяла Нечаева под руку и потащила в комнаты.

— Пойдемте, пойдемте, я покажу вам квартиру.

Она останавливалась с ним на пороге то одной комнаты, то другой, наслаждаясь его изумлением. Действительно, комнаты были большие и заставленные поражающим множеством вещей. Столовая. Гостиная. Кабинет. По правде говоря, Нечаева больше всего удивляли стекла в окнах — такого количества оконного стекла, совершенно целого, он не видел с самой Москвы.

— Это я вставила стекла, — сказала она.

— Вы?

— За два с половиной дня семь окон. Я только полчаса назад кончила и переделалась. Я собиралась уходить. Если бы вы пришли на десять минут позже, вы бы меня не застали...

— А откуда у вас столько стекла?

— Ну вот! Неужели господин Херберт Борманн не может достать стекло!

— В этом и заключалось поручение, которое он вам дал, — стекла вставить?

— Поручение? Нет, поручение у меня поважней, — сказала она многозначительно. — Поручение у меня такое... А стекла вставить он попросил между прочим, попутно...

— Где же его семья? — спросил Нечаев.

— У него нет семьи. Он холостяк.

— Так он тут один жил?

— Один.

— Во всей квартире?

— Естественно. У него были слуги — камердинер и повар. Служанок он не держал. Женщины приходили для других целей... Конечно, в последнее время у него не было ни камердинера, ни повара...

Болтая оживленно и быстро, она вела его из комнаты в комнату. Она садилась в каждое кресло, чтобы показать ему, как оно мягко и удобно.

— Сюда, сюда! Вы только поглядите!

Она распахнула перед ним дверь ванной. Тут действительно было на что поглядеть. Ванная не меньше гостиной. Дневной свет проникал сюда сложно, откуда-то с потолка, создавая мягкий сумрак. Изразцовые плитки покрывали пол и стены. Ванны не было, а был целый бассейн, в котором можно даже плавать. Показывая этот бассейн Нечаеву, она старательно объясняла ему, что из одного крана течет горячая вода, а из другого холодная, полагая, по-видимому, что он, будучи русским, никогда не видел подобных кранов. Впрочем, сейчас не текла ни горячая вода, ни холодная, потому что водопровод на четвертом этаже не действовал и воду приходилось приносить откуда-то из подвала. Ванная служила не только для мытья, но и для гимнастических упражнений. Гантели разного веса — чтоб развивать мускулату-

ру — лежали в углу. Шарлотта схватила боксерские перчатки, надела их себе на руки и стала колотить свисавший с потолка специальный кожаный мешок, чтобы показать, как господин Херберт Борманн упражнялся в боксе. Откуда-то вытащила она широкий резиновый пояс, который господин Херберт Борманн носил, видимо, для уменьшения объема живота, и стала со смехом примерять его сначала к себе, потом к Нечаеву.

— Теперь он сильно похудел, и этот патентованный пояс ему не нужен, — сказала она.

Из ванной она повела Нечаева в спальню. Спальня была невелика, и половину ее занимала громадная двуспальная кровать. Впрочем, такую кровать смело можно было назвать даже четырехспальной. Ну, разумеется, он не часто спал здесь один. У нее есть неопровержимые доказательства... Она присела на кровать, чтобы показать, как тут мягко. Потом загнула одеяло и пощупала угол простыни, чтобы обратить внимание Нечаева на восхитительное качество постельного белья.

В спальне было множество предметов, свидетельствовавших о пристрастии господина Херберта Борманна к комфорту, и предметы эти занимали и забавляли ее чрезвычайно. Она играла бездействующим телефонным аппаратом, стоявшим у изголовья кровати, она перебирала на туалетном столике все щеточки, все ножницы, все напильники для ногтей, она открывала все скляночки с духами и мазями, и нюхала их, восхищаясь, и подносила к носу Нечаева, чтобы и он понюхал. Она открыла маленький шкафчик в углу, показала четыре запечатанные сургучом бутылки не то с вином, не то с ликером, причмокнула языком, подмигнула, потом захлопнула дверцу, сказав:

— Это не для нас с вами.

Она вытащила даже фаянсовый ночной горшок из-под кровати и с хохотом показала большой раскрытый глаз, изображенный на его дне.

— А хотите посмотреть на господина Херберта Борманна? — спросила она. — Вот он какой!

Она вынула из ящика и бросила на стол пачку фотографий. Господин Херберт Борманн был изоб-

ражен на них в самых разных положениях и одеждах: и стоящий, и сидящий, и гуляющий, то во фраке, то в коротких штанах и спортивной куртке, то в пальто, в шляпе, с тростью в руке. Это был высокий, осанистый, но еще не потерявший статности мужчина с узким длинным лицом и зачесанными назад гладкими редкими волосами. Некоторые фотографии были групповыми, изображавшими деловые собрания или торжественные заседания, и на них господин Херберт Борманн был изображен важно заседающим среди других господ. Впрочем, при всей своей важности он, очевидно, вовсе не чурался и веселья — вот он стоит в обнимку с двумя другими господами, и у всех у них развязаны галстуки, и шляпы сдвинуты набок, и по открытым ртам видно, что они поют. Нечаев научился находить господина Херберта Борманна сразу среди множества лиц, хотя никаких особых примет у него, в сущности, не было. Даже возраст его было определить нелегко.

— Сколько ему лет? — спросил Нечаев.

— Пятьдесят пять!

— Вот не думал! — удивился Нечаев. — Я полагал, ему сорока нет.

— Богатый человек, — сказала она. — Питание хорошее.

И вдруг вскрикнула. Подняв глаза и глянув туда, куда глядела она, Нечаев увидел, что матовый шар электрической лампы над кроватью налился неярким желтым светом. Шарлотта была так потрясена, словно увидела воскресение из мертвых. Электричество! Ток! Дали ток! Электрический свет в Берлине — впервые с апреля месяца! Она подскочила к выключателю, потушила, зажгла. Она стремительно помчалась по всем комнатам, щелкая выключателями, чтобы проверить, всюду ли горит. Горело всюду, где лампочки не были разбиты. Только свет казался очень слабым — вероятно, не хватало напряжения, а впрочем, к тому же слишком ярко сияло солнце за окнами.

— Вы собирались уходить, фрейлейн Фенске? — сказал Нечаев.

— О! Раз у меня такой почетный гость...

— Гостю тоже пора уходить.

— Уже? — Она огорчилась. — Но ведь вы только что пришли!

— Выйдем вместе... Пойдем погулять...

— Погулять? — Она призадумалась. — А вы не покинете меня сразу? Вы никуда не торопитесь?

— Не тороплюсь...

Ему и вправду некуда было торопиться.

— Хорошо, пойдемте погулять. Вы будете моим галантным кавалером.

Лицо ее еще больше оживилось. Новая мысль пришла ей в голову.

— Момент. Я переоденусь. Я хочу, чтобы ваша дама была достойна вас!

Она отвела его в ту комнату, где жила сама. Тут он должен был ее подождать. Оказалось, что в этой обширной квартире она занимала комнату величинной с чулан, где не было ничего, кроме узкой железной койки, стула и зеркала. Через спинку стула перекинут был серый халат, выпачканный замазкой; в этом халате она, конечно, вставляла стекла. Влажный ком замазки лежал на подоконнике. В углу стояли ее парусиновые туфли с деревянными подошвами; черное платье и тот прозрачный плащ с капюшоном, в котором он встретил ее там, за Одером, висели рядом на стене, на двух гвоздях. Она оставила Нечаева здесь одного, а сама ушла куда-то в глубь квартиры заниматься своим туалетом. Сквозь раскрытую дверь он слышал постукивание ее каблучков где-то там, перед дальним зеркалом. Ждать пришлось недолго. Минут через десять она явилась.

Она остановилась в дверях, с тревогой и надеждой глядя ему в лицо. Она, несомненно, надеялась, что преображенная ее внешность произведет ослепительное впечатление, и в то же время, несомненно, опасалась, что, может быть, это и не так. Действительно, на ней было что-то роскошное, цвета беж, отороченное мехом по подолу и у ворота, с огромными пуговицами. Возможно, сшито все это было на женщину покороче и потолще ее. От этого слишком большим казался и вырез на груди, обнаживший сильно выступающие ключицы, густо покрытые пудрой. Лицо ее и тонкая шея тоже были очень напудрены, и вся она благоухала теми духами, которые

давала нюхать Нечаеву в спальне господина Херберта Борманна. Стоя в дверях, она беспокожно одергивала и поправляла свой роскошный туалет то здесь, то там, и еще заметнее было, что жилистые руки ее с крупными, тяжелыми кистями — руки работницы.

Ее неуверенность в себе тронула Нечаева, и, чтобы подбодрить ее, он сказал:

— Вот и отлично!

Она мгновенно воспрянула духом.

— Элегантно, не правда ли? — быстро заговорила она. — Да, элегантная была дама! Можно про нее думать все, что угодно, но в элегантности ее нельзя сомневаться. Эти господа требуют от женщин прежде всего элегантности. В элегантности ей отказать невозможно...

— Про кого это вы говорите? — не понял Нечаев.

— Про даму, которая забыла здесь все эти наряды.

— Забыла?

— Ну, может, не забыла, а просто оставила на время. Целый шкаф дамских вещей, — вот это все: и туфли, и чулки, и то серое платье. Вещи ношенные, конечно, но все с таким, знаете, шиком. Я их погладила, заштопала дырочки, проеденные молью... Господин Херберт Борманн уверял меня, что их оставила какая-то его воспитанница. Знаю я этих воспитанниц! Их тут, думается мне, немало перебывало — одну вещь оставила, другая другую... Он сам подвел меня к шкафу и сказал, что я, пока живу здесь, могу пользоваться этими вещами. Ну, ясно, раз он дал мне такое ответственное поручение, раз я представляю такую фирму, как фирма «Борманн», я должна иметь вид!..

— Какое же он дал вам поручение? — спросил, наконец, Нечаев.

Она, несомненно, давно ждала этого вопроса. На лице ее появилось горделивое, таинственное выражение.

— Теперь я на заводе самая главная... Да, да, так выходит!.. Он поручил мне присматривать за тем, что творится на заводе. Здрóрово, а? И чуть что, дать знать в Гамбург. Заводские — такой народ, что ни

на кого нельзя положиться. Он полагается только на меня!

— Разве завод работает? — удивился Нечаев.

— Нет, стоит, конечно... И хозяин очень рад, что стоит... Потому что сейчас совсем не время... И он боится...

— Кого?

— Ну, ясно кого. Своих рабочих. Рабочие ждут, когда он возобновит работу, они хотят работать. А он не торопится. Он тоже ждет.

— Чего же он ждет?

Она свистнула уголком рта.

— Ну, мало ли чего!.. Он знает, чего ему ждать... А они опасаются, что он возьмет других...

— А может он так сделать?

— Отчего же нет?

— Тогда они правы, — сказал Нечаев. — Разве вы им не сочувствуете?

— С какой стати! — возразила она. — Они мне не сочувствуют, а я им!.. Такова жизнь. Прежде они работали. Теперь буду я!

Говоря, она поглядывала на себя в зеркало и, кажется, все больше была собою довольна.

— Пойдемте, герр капитэн!

Опять началось отпирание и запираание квартирных дверей. Господин Херберт Борманн по мере приближения смутных времен сооружал все новые и новые запоры. Лязг и звон замков раздавался по всей лестнице, слышен был в соседних квартирах, и, когда Нечаев и Шарлотта шли вниз, двери квартир приоткрывались и в щелях появлялись лица важного вида старух. Глядя на Шарлотту Фенске, они корчили презрительные и брезгливые мины, а она, чувствуя их взгляды, подымала плечи и надменно закидывала голову назад.

Солнце успело подняться высоко, и камни разбитого города накалились. Стало жарко, запахи сделались еще сильнее. Шарлотта ни на мгновение не забывала о великолепии своего туалета. У нее не было привычки к нарядам, и ей чудилось, что все на нее смотрят. Это и радовало и беспокоило ее одновременно. Она была возбуждена и говорлива.

Она повела Нечаева на Курфюрстендамм, пото-

му что ей хотелось толпы, оживления, блеска, и только эта улица казалась ей достойной их прогулки. О, если бы герр капитэн знал, какая эта была улица, если бы он видел ее раньше! Какая публика! Какое богатство, какой шик, какая роскошь! Сколько элегантности, изысканности, утонченности! Какие магазины, кафе, рестораны, конторы! Какие автомобили, о! В глазах пестрело от сверкания витрин и вывесок! А по вечерам все здесь было залито потоками света, ослепительные бушевали огни! О нет, сейчас, конечно, ничего этого не осталось, сейчас по этим грязным развалинам и вообразить себе невозможно того, что тут было. Да и люди здесь теперь совсем не те. Эти люди, которые прут сейчас по мостовой, никогда прежде здесь и не бывали, они жили на окраинах, а сюда и не заглядывали, потому что и одежды у них такой не было и цены в магазинах на Курфюрстендамм были не по их карманам. Все лучшие фирмы Германии, обслуживавшие лучшее общество, находились именно тут, на Курфюрстендамм. Шарлотта называла эти фирмы, показывала Нечаеву кое-где сохранившиеся вывески и дивилась тому, что он никогда этих названий не слышал. Перзиль — мыльный порошок, Дюжардэн — коньяк, Осрам — электрические лампочки. Не только дивилась, но и посмеивалась над ним и даже ужасалась его дикости, так как ей казалось диким и комичным, что могут существовать на свете люди, которые не знают вещей, известных всякому ребенку. «Опель», «Симменс», «Фарбениндустри», «Борманн», «Хейнкель». Все эти фирмы, все эти акционерные общества представлялись ей как бы таинственной первоосновой мира, всеобщей, изначальной и вечной, средоточием всего земного великолепия и могущества.

Так, болтая, довела она Нечаева до разбитой кирпичной Гедехтнис-кирхе, до конца Курфюрстендамм. Куда же идти дальше?

— Может, побродим по Тиргартену? — предложил Нечаев.

— Нет, там слишком воняет.

Они остановились в нерешительности.

Внезапно она заметила афишу на огромном щите

перед входом в кинотеатр. Толпа стояла перед щитом и изумленно читала.

— Момент! — сказала Шарлотта. — «Мраморхауз» открыт! О! Колоссально! Дали электричество! Теперь начнут работать кинотеатры!

Охваченная любопытством, она приблизилась к афише, ведя за собой Нечаева и протискиваясь сквозь толпу.

— «Иллюзия», драма в семи частях, — читала она вслух. — С разрешения господина коменданта... За вход — две марки... Гм, две марки..

— Это дорого — две марки? — спросил Нечаев.

— Может, и недорого для того, у кого они есть.

— Так у нас они есть, — сказал Нечаев, вынимая из кармана гимнастерки кипу бумажных денег.

Она хлопнула его пальцами по руке.

— Спрячьте деньги!

— Почему же? — удивился он. — Вы не хотите посмотреть картину?

— Я не хочу, чтобы вы тратились на меня, — сказала она решительно.

— Стоит ли говорить о таких пустяках...

— Не хочу! — сказала она еще решительнее и потянула его прочь за рукав гимнастерки.

Он шел за ней, слегка упираясь.

— Но я сам хочу посмотреть картину, — сказал он. — Я хочу потратиться на себя.

Она остановилась.

— Правда?

— И потом, почему вы хотите лишить меня радости доставить вам удовольствие?

Эта фраза, с трудом им составленная, прозвучала по-немецки неуклюже и тяжеломерно. Но кажется, именно благодаря своей неуклюжей тяжеломерности она произвела на Шарлотту большое впечатление. Лицо Шарлотты Фенске порозовело под слоем пудры. Она кончиком пальца благодарно коснулась его руки.

— Спасибо. Пойдемте.

В вестибюле у окошечка кассы стояла очередь — человек тридцать, только женщины. Все они молча, но упорно разглядывали русского офицера и его даму. Получив билеты, Шарлотта и Нечаев вошли вме-

сте с толпой в просторный полукруглый зал, отделанный светлым мрамором. Электрические лампочки в люстрах и бра сияли тускло, вполнакала. Женщины степенно рассаживались по рядам. Нечаев был единственный не немец в этой немецкой толпе.

— «Иллюзия»... «Иллюзия»... — повторяла Шарлотта, усаживаясь рядом с ним. — Это старая картина. Я припоминаю. Она шла еще до войны. Я, не видела, но мне подробно рассказывали. Я, помню, рассматривала фото у дверей кинотеатра... Бедную девушку, швею, полюбили двое — граф и миллионер. Автомобили. Рестораны. Пальмы. Варьете. Роскошная жизнь. Она колеблется, она не может решиться. Трагедия. Замок на Рейне, на высокой скале. Граф бросается со скалы в Рейн. Бал на пароходе через Атлантический океан. Девушка выходит замуж за миллионера...

Но зрелище началось не с «Иллюзии». На узенькую эстраду перед экраном выбежали с двух сторон две молоденькие женщины — одна в красном платье, другая в голубом. Два прожектора — красный и голубой — озарили их. Женщина в красном подняла руку и громко сказала на довольно правильном русском языке:

— Привет, привет, привет нашим дорогим гостям, представителям славной Советской Армии, оказавшим нам честь своим посещением нашего кинотеатра!

Произнеся это, она поклонилась со сладчайшей улыбкой.

Тогда подняла руку вторая женщина, в голубом. Она произнесла те же слова, но не по-русски, а по-английски. Только вместо «славной Советской Армии» она сказала «доблестные американские и английские войска». Она тоже поклонилась, улыбаясь не менее сладко, и они обе убежали.

Все это придумал хозяин кинотеатра из угодливости перед новым начальством. Он, конечно, считал, что этим обезопасил свое предприятие. Годы гитлеровского режима приучили его к пресмыкательству. До падения Берлина он подобными штучками перед каждым сеансом прославлял нацистов, теперь он славил неприятельские войска. Немки, на-

полнявшие зал, смотрели на обеих красоток, красную и голубую, с каменными лицами — тринадцать лет насилия приучили их в рискованных случаях не выражать ни чувств, ни мыслей. Единственным представителем Советской Армии в зале был Нечаев. Представителей американских и английских войск здесь не было и не могло быть. Нечаев, пожалуй, поступил бы правильно, если бы задумался над тем, чего ради хозяин кинотеатра приветствует американцев и англичан, которых нет в Берлине. Но в ту минуту эта мысль не пришла ему в голову.

— Жарко, — вздохнула Шарлотта.

Действительно, здесь было гораздо жарче, чем на улице. Женщины обмахивали лица платочками. Шарлотте в ее наряде, отороченном мехом, было особенно жарко. Однако радостное оживление не сходило с ее лица. В ожидании, с надеждой смотрела она на экран. Свет ламп отражался в ее расширенных зрачках. И вот свет погас.

Но сеанс начался вовсе не с драмы «Иллюзия». На экране вдруг появились обвалившиеся стены разбитых домов. Такие же самые, как там, кругом, снаружи. Что это? Неужели Берлин? Нечаев удивленно вглядывался. Конечно, Берлин! Это наш, советский хроникальный фильм «Взятие Берлина», снятый здесь, на этих улицах, в дни последних боев. Взрывы, взрывы, взрывы, белые и черные дымы. Грохот, подобный грохоту океанского прибоя. Вон движутся наши танки, вон между танками бегут бойцы. Двое из них на бегу обернулись и глянули в камеру киноаппарата. И Нечаев увидел закоптелые, загорелые лица, до того родные и привычные, что у него защемило сердце.

— Это скоро кончится, — шепнула Шарлотта. — В кино всегда так: перед настоящей картиной показывают что-нибудь короткое.

Эти кинооператоры — отважные люди. Ведь для того чтобы снять, как бойцы под огнем наводят мост через Шпree, надо стоять рядом. Вот падают убитые, вот раненых с искаженными от боли лицами волокут на себе санитары. И опять падение зданий, горящий город, дымы, движущиеся по провалам улиц, как тучи по горным ущельям, и наши бойцы, ползу-

щие вперед и вперед по вставшим дыбом камням... Конечно, заснять удалось какую-нибудь одну стомиллионную часть этой великой битвы, но и одной стомиллионной части достаточно.

Если бы Нечаев смотрел эту кинохронику где-нибудь в Москве и вокруг него в темной глубине зала сидели бы такие же советские люди, как он сам, он, вероятно, ничего не испытал бы, кроме торжества победы. Конечно, торжество победы он испытал и сейчас. Но здесь, в Берлине, в толпе немок, смотрящих вместе с ним, ощущения его были несравненно сложнее. Ему в высшей степени была свойственна присущая многим русским людям способность понимать чувства людей, с которыми он вступал в соприкосновение, и заражаться этими чувствами. Вот на экране между двух горящих зданий бредет женщина, испуганно оглядываясь и прижимая к себе ребенка. Вот в дыму под стук автоматных очередей четыре девочки-подростка волокут тачку с домашним скарбом, старательно объезжая трупы немецких солдат, разбросанные по мостовой. Вот после того, как бой ушел дальше, к центру города, из подвала вылезает толпа голодных, смертельно испуганных людей... И опять дети, дети... Вот женщина скребет пальцами по стенкам какой-то пустой бочки и облизывает руки...

— В этом зале, безусловно, не работает вентиляция, — сказала Шарлотта. — Здесь задохнуться можно...

На экране появился шестиэтажный дом, все окна которого были заложены кирпичом и превращены в бойницы. По всему фасаду этого дома огромными буквами было написано мелом: «Wir kapitulieren niemals», — что значит: «Мы не капитулируем никогда». И сразу вслед за этим все сидевшие в зале увидели, как из подвала этого же дома один за другим с поднятыми руками выходят сдавшиеся немецкие солдаты. Искаженные ужасом мертвенно-бледные лица, головы, вжатые в плечи... Весь зрительный зал вздохнул, потрясенный...

— Нет, еще не настало время ходить в кино, — сказала Шарлотта. — Я говорила вам, что не нужно брать билеты... О, как душно!..

— Давайте уйдем, — предложил Нечаев. — Но ведь

сейчас начнется «Иллюзия»... вы хотели ее посмотреть...

— Черт бы побрал эту «Иллюзию»! Жарко...

— Так пойдёмте!

— Нет, нет! — запротестовала она. — Как же уйти? Ведь вы заплатили четыре марки!

Но он решительно взял ее за руку, и они, низко нагнувшись, чтобы никому не мешать, вышли из зала.

На улице они остановились в тени, стараясь отдышаться. Лицо у Шарлотты было раздраженное, Она пошла в кино, чтобы получить удовольствие, а ей показали то самое, что она видела без всякого кино и на что глаза бы ее не глядели. Вытирая пот, она размазала пудру и губную помаду. Нечаев тоже был мрачен. Что за скотина этот хозяин кинематографа! Из подхалимства перед новым начальством показывать женщинам, как сдаются в плен их мужья и братья!.. В Германии от войны больше всего пострадали как раз те люди, которых меньше всего можно винить... И ведь война кончилась, и кончилась не как-нибудь, а победой над неправдой, враждебные людям силы уничтожены, так нужно же, наконец, устанавливать между людьми человеческие отношения!..

Шарлотта первая пришла в себя.

— Чего вы рассердились, господин капитан? — сказала она. — А, бросьте!.. Все это нас с вами не касается!..

Ей не хотелось, чтобы такая славная прогулка была испорчена. Мало ли что... Подумаешь!.. Глаза ее посветлели. С помощью зеркала, платочка и губной помады она приводила свое лицо в порядок.

— Ну, пойдёмте, герр капитэн!

Она снова почувствовала себя нарядной дамой, гуляющей с кавалером по самой роскошной улице города. Они шли теперь в обратном направлении, но по другому тротуару, и потому в глаза им бросались другие вывески. И она с прежним увлечением объясняла Нечаеву, что они означают.

— О, мой бог! — воскликнула она. — Этот ресторан, кажется, открыт! Колоссально!

Они стояли возли угрюмого пышного здания, облицованного серым гранитом. Верхние этажи его были разбиты, и цел был только нижний этаж, украшенный солидными золотыми буквами над входом, похожим на вход в банк, на вход в собор, но только не на вход в ресторан.

— Какой же тут может быть ресторан! — сказал Нечаев, указав Шарлотте на торчащие в небо причудливые зубцы обвалившихся стен.

— Это еще осенью разрушили американские самолеты, — сказала Шарлотта. — А ресторан в нижнем этаже, и он был открыт до конца, до последних дней, до двадцатых чисел апреля. Он последним закрылся в городе и первым открылся... Нет, нет, он открыт! Смотрите!

И Нечаев увидел молоденькую женщину в щеголеватых серых брюках, легко поднявшуюся по гранитным ступеням крыльца. И тяжелая дверь сразу распахнулась перед ней, словно сама собой. И за дверью оказался — о чудо! — негр швейцар, черный, как уголь, но с серебряными седыми волосами, в черном мундире, расшитом серебряными позументами. На улицу вырвалось далекое и словно приглушенное пение скрипки. Женщина в брюках вошла. Дверь захлопнулась.

— Давайте зайдём и мы, — предложил Нечаев.

— Куда? — не поняла она.

— В ресторан.

— В какой? В этот?

— Ну да.

— Да что вы!

Она рассмеялась нелепости его выдумки.

— А вы были там когда-нибудь? — спросил он.

— Конечно, никогда не была.

— Почему же?

— Потому что никогда не имела кавалера, который мог бы водить меня по таким ресторанам.

— Так зайдём, посмотрим.

Он поставил ногу на первую ступеньку, приглашая ее идти вперед, но она в испуге даже отпрянула.

— Чего вы боитесь? Не осмелятся же они выгнать нас!

— Этого я не знаю, — сказала она. — Но на одно

посещение такого ресторана не хватит всего вашего капитанского жалованья. Особенно если принять во внимание, что вы пока еще не совсем герр капитэн, а всего только герр обер-лэйтнант...

— Ну, это уж мое дело! — сказал Нечаев. — Прошу вас.

Она нерешительно посмотрела на себя в зеркальце и опять что-то поправила на лице. Сознание того, что на ней пышный и необыкновенный наряд, помогло ей преодолеть робость. Подняв подбородок и приняв по возможности гордый вид, она пошла вверх по ступенькам.

Дверь открылась и перед ними, только, пожалуй, не так быстро. Опять стали слышны скрипки. Они прошли мимо негра, блеснувшего курчавой сединой, белками глаз, зубами, галунами, и очутились в каком-то пустом коридоре, показавшемся после улицы прохладным и сумрачным. От стены отделился мужчина во фраке и, слегка поклонясь им, повел за собой. Они довольно долго шли в полутьме и несколько раз спускались по двум-трем ступенькам. Музыка становилась все громче, все пронзительнее. Человек во фраке раздвинул перед ними портьеру, и они вошли в просторный зал.

Очевидно, зал этот находился в подвале. Окон он не имел и освещался электричеством, горевшим довольно тускло. Здесь трудно было представить себе, что где-то за этими стенами с золоченым багетом — солнечный, яркий, летний день. Тут, под низким потолком, не было ни дня, ни ночи, ни зимы, ни лета. Казалось, истории тут тоже не было. За круглыми столиками, среди щетинистых пальм в кадках, сидели господа и дамы. Кельнеры — в черных фраках, с белыми салфетками — стояли у стен. На эстраде, слегка приподнятой над полом, сидели оркестранты — шестеро лысых мужчин — и играли. Кое-где в разных концах зала между столиками танцевали томные вялые пары.

Ресторана с оркестром и танцами Нечаев не видел с довоенных времен и не ждал, что увидит его здесь, в этом разрушенном городе, полном голодных, нищих, смертельно испуганных, растерянно мечущихся людей. С удивлением смотрел он на этих ве-

сельчаков, кутил и прожигателей жизни, которым ничем все, даже поражение в войне, даже развал государства, даже полное разрушение родного города, которым даже безоговорочная капитуляция не мешает плясать.

Его появление тоже, конечно, было сразу замечено всеми. Однако здесь при виде советского офицера никто не выразил ни страха, ни особого беспокойства. Взоры, которые с разных концов бросали на него и на его даму, были откровенно насмешливы, пренебрежительны и враждебны. Нечаев жил в Германии уже несколько дней, общался с многими людьми, а между тем только сейчас впервые встретился с почти откровенной враждебностью. Он помрачнел, внутренне собрался и замер на пороге, хмуро озираясь.

Впрочем, никто не сказал им ни слова, никто не сделал ни малейшей попытки задеть их или оскорбить. В противоположном конце зала от стены отделился метрдотель и пошел прямо к ним.

Это был великолепный мужчина высокого роста, с юношески гибкой и тонкой талией, с на редкость длинными ногами, с движениями одновременно и важными, и скромными, и расслабленно-нагло-изнеженными. В отличие от кельнеров, одетых в черное, он одет был в отличный голубовато-серый костюм, сидевший на нем превосходно и очень шедший к его твердым, стального цвета глазам. Лицом он тоже был весьма хорош, несмотря даже на несколько выступающие вперед тяжелые челюсти с крупными желтоватыми зубами. У него были юношеские волнистые каштановые волосы, и вообще весь облик его на некотором расстоянии дышал молодостью. И только вблизи по несвежей коже и подозрительным теням под глазами можно было отгадать, что это лицо немало пожившего прощелыги.

Он приблизился к Шарлотте и Нечаеву со спокойно-почтительным видом и учтивым жестом предложил им следовать за собой. Шарлотту он принял за проститутку, подцепившую русского офицера; имея огромный опыт в обращении с проститутками, приводившими своих клиентов в ресторан, он заговорил с ней попросту, откровенно, без всяких обиня-

ков, убежденный, что Нечаев ни слова не понимает по-немецки.

— Ну, веди, веди его сюда! — говорил он ей. — Ты ловка, ловка, вон какого выудила! Хвалю. Я посажу вас вот за этот столик, чтобы вы не так бросались в глаза. И он отсюда ничего не увидит, и тебе будет свободнее...

Метрдотель подошел с ними к столику за огромной бочкой с пальмой и, умело подставив стулья, усадил их таким образом, что Нечаев оказался сидящим спиной к залу. При этом он, учтивейшим образом кланяясь Нечаеву, продолжал говорить Шарлотте:

— Общипай его хорошенько, выдерни из него все перышки... Да нет, не бойся, он ничего не понимает. Они ни слова не знают ни на одном человеческом языке и только лопочут по-своему: гау, гау, гау...

Шарлотта собиралась сказать, что этот офицер все понимает, но Нечаев сжал ее руку, чтобы она промолчала. Его поразила наглость этого человека. Он хотел знать, до чего тот может договориться.

А тот между тем спокойно исполнял свои обязанности, развернул перед ними меню, вложенное в кожаный переплет с золотым тиснением. В меню было только одно блюдо — компот. Прочитав цену, Шарлотта изменилась в лице.

— Десять марок — одна порция! Нет, это невыносимо...

Она с отчаянием взглянула на Нечаева, замотала головой и стала подыматься со стула. Но Нечаев опять тронул ее за руку и заставил сесть. А метрдотель сказал:

— Не беспокойся, он заплатит. Итак, два компота. — Он приказал почтительно согнувшемуся перед ним кельнеру принести компоты. — У нас ничего, кроме компота, нет. По крайней мере, для таких гостей, как этот. Он ведь знает, что в Берлине карточная система, которую нарушать запрещено. Так пусть убедится, что мы не нарушаем... А ты с ним не церемонься: их власти приходит конец. Скоро мы их и на порог пускать не станем. Сюда явятся настоящие господа. Слыхала?

— Знаю, знаю. В Берлин войдут американские войска,— ответила Шарлотта, к величайшему удивлению Нечаева, который ни о чем подобном еще не слышал.— Да, это достоверно известно. Мне это сказал один очень важный человек с огромными связями, который сейчас уехал на Запад и вернется сюда вместе с американцами...

Она, несомненно, имела в виду господина Херберта Борманна. Ей хотелось показать, что и она знает не меньше других.

— Мы открылись еще вчера, при керосиновых лампах, и ты не представляешь себе, какой сброд осмеливается заходить к нам в ресторан,— сказал метрдотель.— Азиаты с такими рожами, социалисты, евреи, лагерники! Но с божьей помощью всему этому скоро конец. Вот если бы тебе удалось поймать на удочку американского офицера — дело другое!.. Не думаю. По правде сказать, ресурсы у тебя неважные, а они в вашем ремесле знают толк, не то что эти, которые, кроме грязи, ничего не видели и способны принять жабу за форель и глину за мармелад. Доллары, доллары — вот что сейчас надо. Только доллары! Все остальное не имеет никакой цены. Все эти господа за нашими столиками сейчас только и делают, что покупают доллары...

Ему, видимо, доставляла удовольствие эта игра — сладким голосом говорить гадости советскому офицеру, стоя с ним рядом и при этом чувствуя себя в безопасности, так как тот ничего не понимает. Ненависть, переполнявшая его, таким образом получала выход. Игра эта занимала и Нечаева: прикинувшись непонимающим, слушать то, что иначе ему услышать не удалось бы. Он старался быть спокойным и действительно внешне ничем не выдал себя, но внутри у него все клокотало. Одна только Шарлотта не придавала этой игре, кажется, никакого значения. Сознание того, что она впервые в жизни находится в таком шикарном ресторане, заслоняло от нее все. В течение многих лет название этого ресторана связывалось у нее в уме с той великолепной, роскошной жизнью избранных счастливых, к которой она не была причастна. Притихшая, не без робости разглядывала она лепнину вдоль потолка,

лысины оркестрантов, наряды танцующих дам, мелькающие за пальмовыми листьями. Она, наверно, не очень даже вслушивалась в речи красавца метрдотеля, который отошел от их столика только тогда, когда кельнер принес два компота.

— Один ломтик сушеной груши и ни грамма сахара, — сказала Шарлотта, поднеся ложечку с компотом ко рту.

Она посмотрела через столик в угрюмое лицо Нечаева и прибавила:

— Сейчас все богатые ждут американцев.

— Вы, я вижу, тоже ждете, — сказал Нечаев сердито.

— Я? — удивилась она. — Мой бог, на что мне они! Бедному человеку безразлично, кто у власти, — русские, немцы или американцы. Нас это не касается. Нам и при людоедах не было бы хуже.

Видя, однако, что лицо Нечаева по-прежнему угрюмо, она ласково похлопала его по руке и сказала:

— А вы славный парень, герр капитэн, и нечего вам хмуриться. Мне только жаль ваших денег. Напрасно я послушалась вас и позволила вам привести меня сюда...

Однако лицо Нечаева не прояснилось. Она, видя это и стремясь доказать ему, что солидарна с ним, принялась поносить метрдотеля.

— Он просто грязный сутенер, и нечего обращать на него внимание, — сказала она. — Все эти ресторанные молодцы промышляют сводничеством и служат в полиции, чтоб черт их побрал! Даже в самых дорогих, изысканных и аристократических ресторанах. Я уверена, что он поставлял женщин важным господам и только благодаря этому не попал в армию. Естественно!.. Фу! герр капитэн, стоит ли дуться из-за такого куска грязи! Глядите веселее!..

Но Нечаев уже глядеть веселей не мог. Глухой гнев нарастал в нем, и гнев не на этого ресторанный мерзавца, а прежде всего на самого себя. Он был глубоко недоволен собой, он чувствовал, что поступил неправильно... Но чем, собственно? Тем, что, поддавшись любопытству, зашел в этот ресторан? Нет, раньше, раньше... Он размяк — вот в чем его ошибка! Он, увидев детей, увидев бездомных, уви-

дев голодных заплаканных женщин, размяк и все забыл!..

И когда метрдотель опять подошел к столику, Нечаев сказал по-немецки — громко, отдельно и спокойно:

— Получи за свою кислятину.

И с наслаждением увидел, как у того от страха дрогнуло, одрябло лицо, как оно все покраснело, даже лоб и уши. Положив на тарелку двадцать марок бумажками, Нечаев швырнул на стол горсть металлических монет и прибавил:

— А это тебе на выпивку.

Нечаев встал из-за стола, шумно отодвинул стул. У метрдотеля дрогнул кадык, он проглотил слюну. К деньгам он не притронулся.

Он испугался смертельно, но только в первое мгновение. Через минуту лицо его уже посветлело, он оправился от неожиданности и овладел собой. Нет, он был не из трусов, этот наглец, он молчал, но глядел на Нечаева через стол с откровенной ненавистью.

Пропустив Шарлотту вперед, Нечаев двинулся к выходу. Едва он вышел из-за пальмы, как почувствовал, что глаза за всеми столиками обращены на него. Оркестр умолк, танцующие остановились, разговоры оборвались. Нечаев не слышал ничего, кроме стука собственных сапог. Когда Нечаев приближался, перед ним расступались, когда он пристально вглядывался — отворачивались. Все эти люди ненавидели его и даже не считали нужным свою ненависть скрывать.

На Курфюрстендамм на тротуаре Шарлотта взяла Нечаева под руку и осторожно заглянула ему в лицо. Лицо у него было угрюмое и сердитое, и она с женской мягкостью попыталась рассеять его гнев.

— Оставьте, герр капитэн,— сказала она.— Стоит ли дуться из-за одного дурака! По правде говоря, вы же сами во всем виноваты. Ну чего ради было скрывать от него, что вы понимаете по-немецки?..

Нечаев ничего не ответил. Лицо его было угрюмо по-прежнему.

— Улыбнитесь, герр капитэн! Право, вы гораздо милее, когда улыбаетесь.

Но у Нечаева не было ни малейшего желания улыбаться.

— Что ж, мы так и будем здесь стоять?— спросила она.— Давайте еще раз пройдемтесь по Курфюрстендамм. Гулять, гулять!

— Я больше не хочу гулять,— сказал Нечаев.

— Не хотите — не надо,— согласилась она, стараясь быть покладистой и всячески ища примирения.— Признаться, и мне надоело. Что теперь за гулянье! Это моя ошибка. Напрасно я вас повела гулять. Разве плохо в квартире у господина Борманна? Слушайте,— сказала она, с робкой надеждой заглядывая ему в глаза,— давайте вернемся! Пустая квартира, уютно, чисто, прохладно...

Но Нечаев не собирался возвращаться на квартиру Борманна.

— Хоть проводите меня,— попросила она грустно.

— Не могу.

— Почему?

— Я занят.

Она нахмурилась.

— Вы рассердились, герр капитэн,— сказала она.— Вы, может быть, правы, что сердитесь на них. Но я тут при чем? Почему вы на меня рассердились? Где ваша справедливость? Я ведь уговаривала вас не ходить в этот ресторан!

Она все еще держала его за рукав. Она действительно не хотела с ним расставаться. Он промолчал.

— Вы не имеете права сердиться на меня,— продолжала она убежденно.— Разве между мной и тем человеком есть что-нибудь общее?

— Есть,— сказал он жестко.

Она подняла голову.

— Что же?

— Есть общее, есть!— ожесточенно говорил Нечаев, чувствуя, что не находит достаточно точных слов для своих мыслей.— Ваш господин Борманн...

Она отпустила его рукав.

— Но ведь я не господин Борманн!— сказала она.

— Все равно!— продолжал он запальчиво.— Вы спутались с ним!

Теперь уж и она рассердилась:

— Вовсе я с ним не спуталась. Я у него работаю!

— Вы не работаете, вы приглядываете за его рабочими и доносите ему.

— Ну что ж! Это такая же работа, как всякая другая!

— Нет, не такая же!..

— Такая же!— она смотрела на него уже с не меньшим ожесточением, чем он.— И не учите меня, пожалуйста! Я, может быть, годы ждала, когда Борманны меня позовут... И по какому праву вы меня учите? Разве вы можете предложить мне что-нибудь получше?

— Я вас не учу,— сказал он.— До свидания.

— До свидания,— ответила она.

Он повернулся и твердо зашагал прочь.

10

По Данцигерштрассе пошел трамвай.

Это событие тоже было следствием того, что заработала электростанция. Но чтобы пустить трамвай, мало было восстановить электростанцию: нужно было еще расчистить рельсы от завалов и подвесить оборванную контактную сеть. Совершалось это не быстро, и два-три первых маршрута восстановленного трамвая были очень коротки. И все же появление трамвайных вагонов, помятых, облезлых, с выбитыми стеклами, но движущихся, было колоссальным событием в жизни громадного многолюдного города, совершенно лишенного каких бы то ни было средств транспорта и связи. Неправдоподобно домашним, уютным, мирным казался трамвайный вагон, неторопливо бегущий, позванивая, по одичалым улицам среди бесконечных развалин.

Нечаев на остановке вошел в трамвай, рассчитывая попасть в северную часть города, которую еще не видел. Трамвай был похож на московский, и пассажиры вели себя в нем точь-в-точь так, как вели себя московские трамвайные пассажиры. Счастливики сидели на скамейках, а остальные стояли, тесно прижавшись друг к другу, как спрессованные. И кондук-

торша была такая, какие бывают в Москве, — раздраженно-говорливая. Громкий и резкий голос ее звучал почти не умолкая.

Вместе с Нечаевым в вагон забрался калека на двух костылях. Всяческих калек в солдатских обтрепках в то время так много было в Берлине — а впрочем, и в Москве, — что никто не обращал на них особого внимания. Однако едва этот калека, подпрыгивая на своих костылях, вошел в вагон, какая-то девица поднялась со скамейки и уступила ему свое место. И он немедленно уселся, как раз против кондукторши.

Раздраженной кондукторше это почему-то не понравилось. Она сердито поглядывала на калеку, словно ожидая от него чего-то. А он между тем смотрел на нее спокойно и равнодушно и, казалось, не замечал ее взглядов.

— Ну, — сказала она ему, наконец, угрожающе.

— Это вы мне говорите? — спросил калека, делая вид, что очень удивлен.

— А кому же? Долго мне еще ждать? Надо платить!

— За что?

— Не притворяйтесь глупцом! Надо платить за проезд!

— Но ведь я инвалид, — сказал калека и легонько постучал одним костылем о другой.

— Это при Гитлере инвалиды катались в трамваях бесплатно. А теперь все должны платить. Теперь все равны — с ногами, без ног...

«Экая скверная баба! — подумал Нечаев. — Куда она гнет!..»

Весь вагон молча и напряженно прислушивался к этому разговору. И симпатии всех были, безусловно, на стороне инвалида.

— Ну! Долго я буду ждать?

— У меня нет денег, — сказал калека.

— У кого нет денег, тот ходит пешком. Вылезайте!

Но солдат смотрел на кондукторшу спокойными голубыми глазами и не двигался с места.

— Так будете платить или нет?

Солдат молчал.

— Тогда я остановлю вагон и заставлю вас выйти. И не надейтесь, что вам удастся устроить скандал и за вас кто-нибудь заступится! Никто рта не раскроет, потому что два господина русских офицера едут в нашем вагоне...

Нечаев огляделся. Где же второй русский офицер? И действительно, далеко впереди, возле передней площадки, он увидел крепкий бритый затылок, краешек целлулоидного подворотничка и погон с майорской звездой. Это нисколько не обрадовало Нечаева. Он собирался вступить за солдата на костылях, но в присутствии другого офицера, да еще старшего по званию, дело это могло принять хлопотливый оборот. Во-первых, этот майор, конечно, ни слова не понимает по-немецки, и ему придется все объяснять. А во-вторых, еще неизвестно, не станет ли он на сторону кондукторши.

Но только он об этом подумал, как майор звонким, ясным голосом, слышным из конца в конец вагона, произнес на отличном немецком языке:

— Стыдно так говорить! Раненый солдат повсюду имеет особые права, и никто этих прав отнимать у него не собирается. И нам всем, и немцам и русским, слушать вас стыдно.

Он сказал как раз то, что хотел бы сказать Нечаев, и сказал гораздо резче и находчивее, чем удалось бы Нечаеву. Но не этим Нечаев был поражен. И даже не отличным немецким языком советского майора. Он был поражен тем, что хорошо знал этот голос. Это был голос, который когда-то он слышал чуть ли не каждый день. Прошло уже более пяти лет с тех пор, как он слышал его в последний раз, но он узнал его мгновенно. Это был голос Коли Новикова, соученика Нечаева по педагогическому институту, не слишком приятный для Нечаева голос, потому что Колю Новикова, насмешливого, задиристого и прямого, он недолюбливал еще с первого курса.

Отчитав кондукторшу и тем самым завоевав симпатии всего вагона, Коля Новиков в майорских погонах повернул к Нечаеву свое круглое курносое лицо, взглянул на него знакомыми насмешливыми глазами и сказал по-русски:

— Мне здесь выходить. Ты не выходишь, Нечаев?

И Нечаев, хотя вовсе еще не собирался выходить, стал протискиваться к передней площадке и вышел на ближайшей остановке.

Трудно передать, сколько чувств, самых разноречивых, возбуждал в нем когда-то этот круглолицый Коля Новиков. Их неприязнь друг к другу началась чуть ли не с первого знакомства. Осенью 1936 года в толпе семнадцатилетних мальчиков и девочек, только что принятых в институт, молчаливых от застенчивости и жмущихся к стенам от робости, Коля Новиков выделялся начитанностью, уверенностью суждений, остроумием и, главное, отвагой в разговорах с преподавателями. Нечаев же, начитанный, может быть, не меньше, чем он, оказался в числе самых застенчивых и робких, и самолюбие его жестоко страдало. У Коли Новикова было обыкновение насмешливо щурить свои маленькие глазки, и Нечаев не раз принимал этот обидный прищур на свой счет.

И теперь, через столько лет встретив Новикова в берлинском трамвае, Нечаев в первый момент почувствовал к нему неприязнь. Вот уж не ожидал он увидеть Новикова офицером, да еще майором! Как большинство некадровых офицеров времен войны, Нечаев был довольно равнодушен к своему воинскому званию. Не все ли равно, кем быть, лейтенантом или капитаном, раз он собирается после войны демобилизоваться и стать штатским человеком! Однако то обстоятельство, что Новиков, такой же школьный учитель, как он сам, вместе с ним окончивший педагогический институт, оказался майором, тогда как он всего только старший лейтенант, задело его.

И все же Нечаев невольно обрадовался встрече с Новиковым. Все-таки свой, знакомый человек. И по первому зову Новикова он поспешно и не без волнения вышел вслед за ним из трамвая на ближайшей остановке.

Новиков ждал его в толпе. Он внимательно посмотрел Нечаеву в лицо. Прежде всего он, конечно, заметил белые пятна у него на коже.

— Ты горел? — спросил он.

— И горел, — ответил Нечаев.

Он не любил распространяться о своих ранениях,

но тут не прочь был упомянуть о них, так как подозревал, что Новиков провел войну в каком-нибудь более или менее спокойном месте. Однако, опустив глаза, вдруг увидел черную перчатку на левой руке Новикова. Глаз у Нечаева был наметанный, и он сразу понял, что руки у Новикова нет. Протез. И тут же заметил тонкий розовый шрам, идущий вдоль уха вниз, переходящий на шею и пропадающий за воротничком гимнастерки.

Вообще чем больше он на Новикова смотрел, тем меньше этот Новиков оказывался похож на того прежнего, институтского. Поразительно, до чего людей меняет война! Не только выражение глаз стало другим, но как будто даже черты лица изменились. Новиков смотрел на Нечаева, вероятно, с тем же чувством. Рассматривая друг друга, они торопливо обменивались коротенькими вопросами и ответами, с одного слова все понимая.

— В полку или в дивизии? — спросил Нечаев.

— До сорок третьего в полку.

— Чем командовал?

— Сначала ротой, потом батальоном. А ты?

— До последнего ранения был начальником штаба отдельного саперного батальона.

Новиков, оказалось, весь сорок третий пролежал в госпитале и в строй уже не вернулся.

— Куда же попал?

— На политработу.

— Замполитом?

— Нет, в политуправление фронта.

— А сейчас ты где?

— В районной комендатуре. А ты кем тут?

— Да вот, в командировке.

И Нечаев объяснил, в каком он досадном положении: сидит в Берлине без всякого толку, а уехать не может.

— Так ты сейчас свободен? — спросил Новиков.

— Свободен.

— Куда ж ты ехал на трамвае?

— Никуда. Катался.

— Так идем с нами!

Нечаев не был подготовлен к такому предложению и заколебался.

— А куда ты идешь? — спросил он.

— Да вот. Одно дело есть.

— А чем ты ведаешь в комендатуре?

— Чем ведаю? — переспросил Новиков. — Право, затруднительно даже ответить. Тут у нас всякий и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник. Видал, в каком состоянии город?

— Видал.

— А как люди живут, присмотрелся?..

— Немножко...

— Нужно прежде всего хоть как-нибудь их накормить, нужно расселить их, потому что они все бездомные. А для этого нужно электричество, транспорт, водопровод... Свет мы уже дали, пустили несколько кинотеатров, по трем улицам ходит трамвай... Сейчас мы бьемся над метро, хотим пустить хоть одну линию... Главное — заводы. Тут такие заводы! Но разрушены, стоят. Если бы удалось оживить заводы, город ожил бы. Заводы — ключ ко всему!

Новиков проговорил это скороговоркой, стремительно, захваченный течением своих мыслей и, по видимому, обрадованный, что есть кому их высказать.

— Оживишь заводы, спасешь самое главное — рабочий класс, — продолжал он. — Нужно не дать ему разбрестись, деклассироваться. Если возобновится работа, рабочие организуются, разберутся во всем. Вот один мой друг меня уверяет, что рабочим прежде всего нужно разобраться в вопросах собственности... Ну как, идешь с нами?

— А куда ты идешь? На завод, что ли?

— Нет, сейчас не на завод. Мы идем открывать кабаре.

Нечаев уже несколько раз с удивлением заметил, что Новиков говорит о себе «мы». Только теперь он стал догадываться, что тот рослый молодой немец, который вышел одновременно с ним из трамвайного вагона и, чего-то ожидая, застрял в густой толпе на остановке, — спутник Новикова. На спокойном его лице несколько раз появлялась тень нетерпения. Видимо, задержка сердила его. Он рассматривал Нечаева внимательно и, кажется, не совсем дружелюбно.

— Это Шульц, Гюнтер Шульц, мой товарищ и

друг, работник управления бургомистра нашего района. А это, — продолжал он, перейдя на немецкий, — Сергей Нечаев, мой коллега по институту, еще более старый друг... Впрочем, — добавил он по-русски, — мы с тобой, кажется, не особенно ладили... Будьте знакомы.

Шульц протянул Нечаеву сильную, крупную руку. Это был один из тех рыжеватых рослых немцев, которые обычно к пятидесяти годам очень толстеют и превращаются в широколицых, грузных гигантов. Но сейчас он был молод и костляв — весь, казалось, состоял из розовой кожи да больших, тяжелых костей. Одет он был вполне по-штатски — в коричневый потертый пиджачок поверх серой рубахи без галстука и в серые мешковатые брюки. Но Нечаев по еле приметным признакам безошибочно отгадал в нем недавнего солдата.

К появлению Нечаева Шульц, кажется, отнесся несколько ревниво; вероятно, он дорожил возможностью говорить с Новиковым наедине. Нечаев это почувствовал и заколебался. Однако впечатления и мысли, которыми не с кем было поделиться, слишком переполняли его. Новиков же человек, умеющий думать... И, бросив на Шульца хмурый взгляд, Нечаев сказал:

— Ну что ж, если я не помешаю, я готов...

Они пошли втроем по тротуару — Новиков с краю, затем Шульц, затем Нечаев. Нечаеву пришло в голову, что, быть может, Шульц намеренно старается оттеснить его от Новикова. Ну что ж, Нечаев, конечно, не станет противиться... Шагая рядом с Новиковым, Шульц вполголоса торопливо рассказывал ему о каких-то своих встречах и разговорах с людьми. В речи его мелькали названия фирм, фамилии, упоминались какие-то комитеты: он негодовал, сердился, ужасался, издевался над чьей-то глупостью, но Нечаев не мог ни в чем разобраться, да и не вникал в его слова. Новиков отвечал Шульцу короткими немецкими фразами, тоже вполголоса. Потом вдруг повернулся к Нечаеву и, улыбнувшись, громко сказал по-русски:

— Мы с Шульцем подружились на допросах.

— Кто ж кого допрашивал? — спросил Нечаев.

— Разумеется, я его... Да нет, не бойся, он ни слова по-русски не знает, хотя восемь месяцев пробыл у нас в плену... Прошлой осенью я допрашивал свежих военнопленных, чтобы выяснить настроения. Он поразил меня: умен, все понимает, начитан, расстановку классовых сил в Германии знает наизусть... Допрос прекратился, мы просто с ним рассуждали ночи напролет. Если я хоть немного разбираюсь в том, что здесь творится, так на три четверти благодаря ему. Теперь работаем вместе...

Шульц, несомненно, догадывался, что речь идет о нем, и лицо его стало еще строже. Заметив это, Новиков прибавил по-немецки:

— Он собирался социализм в Германии строить, а ездит со мной открывать увеселительные заведения.

— Социализм — вещь веселая, — сказал Шульц, и вдруг хмурое лицо его расплылось в улыбку.

— Я на днях видел, как здесь веселятся, — вспомнил Нечаев и рассказал про ресторан с танцами на Курфюрстендамм.

— Там веселятся только богатые, — проговорил Шульц. — Рабочим туда хода нет. Гитлер в последний год строжайше запретил танцы и увеселения, чтобы не отвлекать народ от войны. Однако на такие рестораны, куда ходили только богатые, запрещение это не распространялось. Там танцевали до самого конца.

— И опять танцуют, — сказал Нечаев.

— Вот и неплохо, если будут такие места, где и бедный человек сможет повеселиться, — сказал Новиков. — Жутко смотреть, какие людям приходится терпеть лишения...

— Рабочие к лишениям привыкли, — сказал Шульц. — Любые лишения можно вынести, если есть надежды, если знаешь, чего хочешь... Вот буржуазия твердо знает, чего хочет и на что ей надеяться.

— А рабочие?

— Рабочие?.. Так жить, как прежде жили, им больше нестерпимо. И все же робеют, не верят, что основы жизни могут измениться. Что вы киваете? Вы, может быть, и сами уже это заметили?

— Пожалуй, заметил, — подтвердил Нечаев.

— Не заметить этого невозможно: с этим встре-

чаешься на каждом шагу! — продолжал Шульц оживленно. — Они особенно начинают робеть, когда дело касается вопросов собственности. Владельцы предприятий выжидают, не хотят, чтобы предприятия работали. Они сбежали на запад, сидят в Гамбурге, в Кёльне, во Франкфурте-на-Майне и оттуда через своих уполномоченных шлют указания: не приступать к работе. А рабочие хотят работать и знают, что возобновление работы в их интересах и в интересах всего народа, и, однако, не осмеливаются дотронуться до станков, потому что станки эти — чужая собственность. Представление о собственности действует на них как колдовство, как слово «табу» на дикарей...

Нечаев понял, что Новиков именно Шульца имел в виду, когда говорил о друге, который уверяет его, что немецким рабочим нужно прежде всего разобраться в вопросах собственности. Шульц, несомненно, был увлечен этой мыслью до крайности. Обрадованный, что у него есть новый слушатель, он оживлялся все больше.

— А чего ждут предприниматели? — спросил Нечаев.

Новиков и Шульц переглянулись.

— Как вы думаете, Гюнтер, чего они ждут? — спросил Новиков. — Вот старший лейтенант не понимает.

— Лучших времен, вероятно, — сказал Шульц.

— А есть у них основания рассчитывать сейчас на лучшие времена? — спросил Нечаев.

Новиков рассмеялся. Шульц тоже.

— По-видимому, основания у них сейчас есть, — сказал Новиков. — Как вы думаете, Шульц, а?

— Быть может, и есть, — сказал Шульц и опять засмеялся.

Нечаев задумался.

— Вот вы сказали: немецкий рабочий не верит, что основы жизни могут измениться. Почему не верит? — спросил он.

— Есть причина, — сказал Шульц. — История Германии за последние тридцать лет.

— Жуткая история!

— Трагическая для немецких рабочих! В семнад-

цатом году русский рабочий класс одержал великую победу. А поднявшийся год спустя немецкий рабочий класс потерпел тяжелейшее поражение. Революция в Германии была раздавлена. И все, что случилось потом, было лишь следствием поражения немецкого рабочего класса.

— Это вы про Гитлера говорите?

— И про Гитлера. Перепуганная революцией буржуазия призвала Гитлера. А Гитлер привел к войне, к разгрому, к национальной катастрофе...

— Это еще не все последствия, — сказал Новиков. — То, что мы, русские, на столько лет оставлены были одни и принуждены были в одиночестве строить социализм, — это тоже последствия поражения немецкой революции.

— Но самым страшным последствием поражения немецкой революции было то, что многие немецкие рабочие потеряли веру в возможность преобразования мира!.. — сказал Шульц. — Гитлеровцы сделали все, чтобы порвать нить, которая связывает немецкий рабочий класс с его прежней многолетней борьбой за социализм. И нам нужно теперь во что бы то ни стало эту нить связать. Потому что для Германии возможны сейчас только два пути. Либо социализм — и тогда она станет великой, богатой, могучей. Либо все опять пойдет по старому кругу...

— А что это за старый круг? — спросил Нечаев.

— Победа буржуазии, затем фашизм, затем война и разгром, — сказал Шульц. — Разгром в третий раз, страшнее двух предыдущих. Такой разгром, после которого уже не встанешь...

Они шагали среди развалин высоких домов по узким, перегороженным горами кирпичей переулкам, на дне которых уже скапливались сумерки, так как приближался вечер. Народу здесь было немного, редкие прохожие оборачивались на громкий голос Шульца и с удивлением разглядывали рослого молодого немца, что-то шумно доказывавшего двум русским офицерам. В глазах у некоторых мелькала тре-

вога: они, вероятно, опасались за него. Но он ни на кого не обращал внимания, совершенно поглощенный своими мыслями. Нечаев слушал серьезно и напряженно, стараясь вникнуть в каждое его слово. Новиков тоже слушал внимательно, хотя видно было, что рассуждения Шульца для него не новы, и все поглядывал на Нечаева: какое Шульц произвел на него впечатление. Новиков, несомненно, гордился им и словно все время спрашивал Нечаева: «Ну что? Каков?»

Однако он не хотел, чтобы Шульц слишком уносился ввысь. И вернул его к делу.

— А на заводе фирмы «Борманн» вы сегодня сами были? — спросил он.

— Разумеется, сам, — ответил Шульц.

— И рабочие опять не приступили к работе?

— Я же вам объяснял! Хозяин запретил.

— А вы хозяина видели?

— Хозяина нет. Правление фирмы переехало в Гамбург. Рабочих мутят оставленные хозяевами люди. Рабочие мечтают работать, но боятся. Сегодня их опять сбила с толку какая-то женщина...

— Женщина! — воскликнул Нечаев внезапно. — Я, кажется, знаю эту женщину!..

Новиков и Шульц остановились и повернулись к нему. И Нечаев, вероятно, рассказал бы о Шарлотте Фенске, если бы не одно обстоятельство, которое отвлекло их внимание в сторону.

Дело в том, что за ними давно уже шла следом почтенного вида старушка. Нет, не старушка, а пожилая дама. Несколько полная, приземистая, она высоко держала крупную горделивую голову. Весь вид ее свидетельствовал о скромности, соединенной с чувством собственного достоинства, и нельзя было не испытывать уважения, глядя на ее седые волосы, тщательно причесанные, на весь ее наряд, добротный, приличный и вполне соответствующий ее возрасту. Она шла за ними, с учтивым видом прислушиваясь к их разговору. Встреча с двумя русскими офицерами, свободно говорившими по-немецки, безусловно, очень ее заинтересовала; она, несомненно, хотела заговорить с ними, но это ей долго не удавалось. Лишь теперь, когда они на мгновение остановились, она

решила, что представилась возможность обратиться к ним. И немедленно воспользовалась этой возможностью.

— Высокочтимые господа! — сказала она. — Господин полковник! Господин капитан! Великодушно извините меня за то, что я осмелилась прервать вашу беседу. Но я имею удовольствие сделать вам одно весьма интересное предложение...

У нее были очень белые, ровные, блестящие зубы, составлявшие странный контраст с увядшими, слегка трясущимися щеками. Новиков и Нечаев, обольщенные ее почтенной внешностью, с вежливым любопытством ждали, что она скажет. Один только Шульц нахмурился, заподозрив, по-видимому, кое-что с самого начала. Впрочем, она к нему и не обращалась.

— Я имею честь и удовольствие предложить вам, господа, — сказала она слащавым голосом, — квартиру, вполне целую, роскошно обставленную, с молодыми прекрасными немецкими дамами...

— Как это с дамами? — спросил Нечаев.

Старуха улыбнулась еще слаще, блестя зубами.

— С образованными, элегантными, прекрасными дамами...

— Пойдем, пойдем, — сказал Новиков по-русски, дотронувшись до плеча Нечаева и повернувшись к старухе спиной. — Это сводня.

— Две сестры, дочери генерала, убитого на войне, принадлежащие к самому избранному обществу... — сказала старуха.

Шульц уже быстро шагал впереди. Новиков спешил за ним, и один только Нечаев несколько поотстал, так как раза два в недоумении обернулся на старуху, которая, поняв, что сделка не осуществится, потеряла к ним всякий интерес и неторопливо побрела по тротуару все с тем же достойным видом.

— Что ты так удивился? — спросил Новиков, когда Нечаев догнал его. — Не привык еще?

— Вот уж не ждал... — сказал Нечаев растерянно. — Такая почтенная...

— А у нее нет ни малейшего сомнения, что дело ее самое почтенное. Она работает на процентах, совершенно так же, как агент по распространению стирального порошка «Перзиль» или швейных машин.

Отрасль промышленности — такая же, как всякая другая...

Они подошли к подъезду, озаренному висячим фонарем, сиявшим уже довольно ярко в сгущавшихся сумерках.

— Сюда? — спросил Новиков у Шульца. — Здесь это ваше кабаре?

— Сюда, сюда, — сказал Шулец.

— Ну что ж, посмотрим, — сказал Новиков. — Вы потребовали, чтобы комендатура разрешила открыть это заведение, так вы и в ответе. А, вот и хозяин!

Хозяином оказался лысый, коротенький, толстый немец лет шестидесяти. Он стоял под фонарем перед дверью и, очевидно, давно уже ждал, волнуясь. На нем был темно-синий костюм, тщательно вычищенный и выглаженный, но блестящий на рукавах и коленях. Воротничок, манишка, манжеты чистейшие, но слегка пожелтевшие от употребления. Живой цветок в петлице пиджака свидетельствовал, что он старался придать себе вид праздничный и артистический.

— Мое почтение, господа! — сказал он обрадованно и поклонился. — А я уж начал беспокоиться, вдруг не придете... У меня все полно, ни одного свободного стола нет. Пора начинать. Проходите, прошу вас.

Он распахнул дверь и пропустил их вперед.

Они спустились ступенек на пять вниз, открыли еще одну дверь и очутились в просторном зале без окон, тускло освещенном. Углы терялись во мгле. Весь зал из конца в конец был уставлен столами разной величины, скамейками, стульями, табуретками. Потолок был так низок, что Шулец без труда мог бы достать его рукой. Щербатый цементный пол в выбоинах. За всеми столами, на всех скамейках, стульях и табуретках сидели люди и что-то пили из больших кружек.

— Неужели пиво? — спросил Нечаев у Новикова.

— Пиво? Ого! Это было бы недурно! — сказал Новиков. — В Берлине еще нет пива. Это так, бурда, мутная водичка, эрзац. Пьют ее в воспоминание о пиве...

Однако пили этой бурды, видимо, много. Вдоль

левой и вдоль правой стен, сияя над всеми головами, тянулись две очень крупные, ярко светившиеся надписи: слева — «Для господ», и справа — «Для дам». Две громадные огненные стрелы указывали, куда именно следует идти господам и куда дамам. И Нечаев сразу заметил, что «дам» здесь было по крайней мере раз в десять больше, чем «господ». Как почти все немецкие толпы того времени, это была по преимуществу женская толпа. Женщины, множество женщин всевозможных возрастов, большие и маленькие, сидели за столами и пили эрзац-пиво.

Хозяин кабаре, протискиваясь между скамьями и стульями, провел их троих в дальний угол и усадил за специально для них приготовленный стол в каком-то углублении стены, похожем на нишу или ложу.

— Тут вам будет покойно, — сказал хозяин. — И хорошо видно нашу эстраду.

На столе уже стояло двенадцать полулитровых кружек с пенящимся эрзац-пивом. Все это угощение стоило три марки, которые немедленно были уплачены Новиковым хозяину лично.

— В этом помещении находилось бомбоубежище, — объяснил хозяин. — Да, штукатурка на стенах обрушилась... Но пока нет средств на ремонт... Вот, может, со временем, если дело пойдет... И мебель вся сборная...

Откланявшись, он ушел распорядиться, чтобы начинали представление. Нечаев из любопытства пригубил одну кружку. Безалкогольное эрзац-пиво оказалось просто водой, в которой был растворен какой-то коричневый порошок, горьковатый на вкус и дававший жиденькую пену. Нужно было иметь долготелетнюю привычку к питью пива и очень по нему истосковаться, чтобы в память о нем тянуть подобную жидкость кружку за кружкой. А между тем женщины собрались здесь, по-видимому, прежде всего ради этого. Положив локти на мокрые столы, они с удивительным умением выпивали кружку разом, не переводя дыхания, и тут же брались за вторую. Официантки, крупные, костистые тетки в залитых пивом платьях, с ловкостью эквилибристок беспрестанно протискивались между столами, неся в вытянутых вверх руках все новые грозди пенистых кружек.

Привыкнув к тусклому свету, Нечаев стал вглядываться в лица. Среди женщин за столами были и проститутки. Их сразу можно было отличить по огромным шляпам, по тяжелым стеклянным серьгам, по перстням, по загнутым ресницам, по теням под глазами. Эрзац-пива пили они мало: перед каждой стояло по одной полупустой кружке, заказанной, вероятно, давно. Они сидели молча, в беспокойном ожидании, резко отличаясь от остальных женщин и не сливаясь с их множеством.

Большинство посетительниц этого заведения одето было просто, без всякой претензии на нарядность. Ноги их, без чулок, с не по-женски крупными ступнями, были обуты в стоптанные, самодельного вида туфли с деревянными подошвами.

Многие пришли сюда с детьми. Возле матерей сидели девочки-подростки с нежными голодными личиками и белоголовые мальчики, болтавшие не достигающими до пола ногами. При некоторых были и старики — отцы или свекры, с лицами, словно вырезанными из коричневой древесины. Эрзац-пиво все они пили с одинаковым усердием — и деды, и матери, и дети.

— Здесь рядом громадный мыловаренный завод, — сказал Шульц. — Это по большей части работницы оттуда. Есть, наверно, и с товарной железнодорожной станции, до которой тоже недалеко. Есть и с разных мелких предприятий — их полно было в этой части города. Сейчас все это стоит, хозяева в бегах, рабочим можно сидеть здесь за столами хоть с утра...

— У нас в комендатуре большой спор был, разрешить это заведение или нет, — сказал Новиков Нечаеву. — Многие были против. Говорили, что для рабочих нужно открывать клубы при предприятиях. Ну, разумеется, нужно, кто же против этого станет возражать!.. Но когда будут эти клубы, если профсоюзы только еще начинают складываться, помещений нет, средств нет, мебели нет и привычки ходить в клубы у рабочих тоже нет?.. И тут Шульц предложил разрешить вот это кабаре. Хозяина он знает, тот держал когда-то подобное заведение в северной части города, в самом рабочем районе. Такой же предприниматель, как всякий другой, заботится о

своём кармане, но вредить не будет, да это и не в его интересах. Шульц утверждает, что на первых порах это хорошее средство собирать рабочих вместе. Пивнухи — испытанное, привычное место встреч. У них ведь сидеть и пить пиво — дело семейное, народное, освященное обычаем... Мы посоветовались и решили попробовать... Смотри, занавес раздвигается!

Запела скрипка, зазвенели литавры, задудела медная труба, и под эти звуки темная длинная занавеска в конце зала раздвинулась. На низкую, не слишком освещенную эстраду вышел хозяин заведения с цветком в петлице и, почтительно склонив блеснувшую лысину, провозгласил:

— Сейчас перед почтеннейшими дамами и господами фрейлейн Магда Мюних исполнит лирический танец «Ночь».

Программа началась.

Первый номер был, как водится, не лучшим. На эстраду вышла девица в длинном, до пят, черном платье, украшенном множеством блесток, похожих на лепестки нафталина. Она под музыку прохаживалась по эстраде, приседала, кланялась, размахивала руками, и блестки на ее платье, отражая свет, мерцали. В этом и заключался весь эффект. Однако и этого было достаточно. Артистке хлопали.

Потом выступили две акробатки — большая и маленькая — в каких-то светло-зеленых трико и красных коротких юбочках. Большая, с толстыми ляжками и неестественно вздутыми бицепсами, производила неприятное впечатление. Зато маленькая была прелестна. Узкая и легкая, как стрелка, она кружилась, вертелась, летала, подбрасываемая могучими руками своей грузной товарки, и светлые ее волосы развевались в воздухе. Зрители каждый новый ее трюк встречали одобрительными возгласами, а когда она напоследок, взлетев на плечи партнерши, согнулась дугой, уперлась теменем в ее темя, подняла вверх легкие ноги, свободно раскинула руки и застыла в таком положении, многие повскакали со своих мест. Новиков тоже привстал со стула.

Затем на эстраде появилась рослая и не очень молодая женщина, одетая как девочка-подросток. Она

изображала школьницу, читавшую наизусть перед классом стихотворение Шиллера «Перчатка». Это стихотворение, известное, безусловно, каждому сидевшему в зале, она безбожно перевернула, вызывая взрывы смеха. В потешных обмолвках и заключалась вся суть номера. И хотя шутила она тяжеломерно и работала не слишком искусно, успех у нее был шумный.

— Сколько им платят за выступление? — спросил Нечаев у Шульца.

— Вероятно, ничтожно мало, — ответил Шульц. — Опасаюсь, что хозяин кабака расплачивается с ними одним эрзац-пивом.

— И они соглашаются?

— Еще бы! Берлин полон безработных плясуней, певец, акробатов. Они готовы волосы друг у дружки повыдергать за возможность выступить на эстраде. А кроме профессионалов, есть еще и любители. На заводе или в конторе делать им сейчас нечего, так они вспомнили о своих забытых талантах и стараются их использовать. Да и эрзац-пива выпить вволю хорошо. И есть надежда получить продовольственную карточку не самой последней категории...

А между тем на эстраде начался новый номер. Артист, высокий молодой человек, державшийся очень прямо, вздумал написать письмо. Кому — неизвестно, но в том, что он хочет написать письмо, не было никаких сомнений. Он об этом не объявлял, он вообще ни разу не разжал губ и не произнес ни слова. Но он таким точным движением взял с воображаемого стола несуществующий лист бумаги, так аккуратно сложил его вдвое и так при этом задумался, стараясь сочинить первую фразу, что всем стало ясно: он хочет написать письмо. Положив несуществующий лист на воображаемый стол, он привычным движением пальцев вытащил из верхнего кармана пиджака невидимую самопишущую ручку. С невидимой ручки он снял невидимый колпачок и стал писать по несуществующему листу бумаги. Но, увы, ручка почему-то не пишет! Взяв ее двумя пальцами за невидимый кончик и подняв перед лицом, он стал внимательно ее рассматривать, чтобы понять причину. Ну конечно, в ней нет чер-

нил, только и всего! Он выдвинул ящик воображаемого стола и извлек из него вымышленную склянку с чернилами. Как осторожно вынимал он пробку, стараясь не сломать ногтей и не запачкать пальцев! Вот невидимая ручка погружается в вымышленную склянку, стоящую на воображаемом столе, и наполняется чернилами. Теперь ее нужно обтереть специальной тряпочкой, конечно, тоже воображаемой. Готово! Можно начать писать письмо... Но что это? Невидимая ручка неисправна, и вымышленные чернила текут из нее! Они текут по рукам, по рукавам, они крупными каплями падают на полы пиджака! Иллюзия была так сильна, что женщины в разных концах зала вскрикнули, предупреждая артиста, что он губит свой костюм...

Невидимая ручка брезгливо отброшена, пальцы вытерты воображаемой тряпочкой, но письмо написать необходимо. Артист шарит в карманах и находит несуществующий карандаш. Огрызок карандаша, маленький и, к сожалению, неочиненный. Но это беда поправимая. Осмотрев воображаемый стол, он осторожно снял с него двумя пальцами воображаемое лезвие безопасной бритвы. Держа в левой руке несуществующий огрызок карандаша, он стал чинить его воображаемым лезвием. Но, увы, в несуществующем карандаше сломан весь грифель и только крошится, падая кусочками на пол. Карандаш тоже приходится бросить.

Что же делать? Человек, который хочет написать письмо, растерянно смотрит вокруг себя. И вдруг на полу, в углу, он что-то замечает. Обрадованный, он идет в угол, нагибается, берет в руки что-то невидимое, но, несомненно, довольно громоздкое и изрядно тяжелое; напрягаясь всем телом, подымает с пола и несет на вытянутых руках. И мгновенно всем становится ясно, что невидимая эта вещь — пишущая машинка, причем не маленькая, портативная, а большая, канцелярская, на развернутый лист. Он ставит ее на воображаемый стол, снимает с нее невидимый металлический футляр, движет невидимую каретку, нажимает клавиши, проверяет ленту... Машинка исправна! Тогда он садится на незримый стул, вставляет несуществующий лист и пишет пись-

мо. Потом вынимает лист из машинки, складывает и сует в невидимый конверт. Высунув кончик языка, заклеивает конверт...

— Ну и работа! Вот это работа! Отличная работа! — восклицал время от времени Новиков, не спуская с него глаз.

Вообще Новиков с явным интересом следил за всем, что совершалось на эстраде. Вначале он улыбался то насмешливо, то снисходительно, но человек, пишущий письмо, привел его в восторг. Он вслух восхищался выразительностью, четкостью и точностью его движений.

— Каждый жест обдуман и отработан до тонкости! — говорил он. — Пустяк совершеннейший, вздор абсолютный, а зрители смотрят и не дышат... Заметил, как он прямо держится?

— Заметил, — сказал Нечаев.

— А догадался почему?

Нечаев подумал.

— У него с позвоночником неладно, — сказал он.

— Правильно! Ручаюсь, что у него под рубахой ремни, которые заставляют его держаться прямо. То же раненый солдат... А как работает! Что ни говори, а немцы замечательные работники! За что бы ни взялись!

— Это верно, — согласился Нечаев. — Я уже не раз об этом думал.

— Народ, который так умеет работать, — великий народ. При социализме он займет важное место в мире! — сказал Новиков.

— Высоко ты их ставишь...

— Высоко, — подтвердил Новиков. — Если мы, русские, начав с гораздо меньшего, добились благодаря победе рабочих за два десятилетия таких неслыханных успехов, так они...

— Это ясно, — согласился Нечаев.

— Нам, русским, это ясно, — сказал Новиков, — потому что нас этому научил наш собственный исторический опыт. А у немецкого рабочего такого опыта еще нет. У него есть страшный опыт поражения революции и победы фашизма. Нам нужно показать им, что социализм — это факт, реальность.

Нечаев задумался.

— Это ты очень верно, насчет нашего исторического опыта, — проговорил он наконец. — Они словно где-то внизу остались, а мы взобрались на горку, и нам все видно. Ходишь тут и видишь все, как сквозь чистое стекло.

А между тем, пока два русских школьных учителя, только что встретившиеся после многолетней разлуки, с таким единодушием и жаром обсуждали судьбы народов, классов, революций, на эстраде одно выступление сменялось другим. Увлеченные разговором, два-три номера они почти не заметили. Но потом начался номер, не заметить который было невозможно.

— Музыкальный эксцентрик!

Исполнитель номера несколько не был похож на профессионального эстрадника и не старался быть похожим. Старая кепка, рубаха с расстегнутым воротом, потертый пиджачок и мятые дешевые брюки. Ничем он не отличался от любого посетителя этого зала. Остановившись на краю эстрады, лицом к залу, он поднял вверх руки, держа за горлышки две пустые пивные бутылки. Он скрестил их у себя над головой, слегка ударил одну об другую, и неожиданно раздался мелодичный протяжный звон.

— Где я его уже видел? — сказал Шульц. — Никак не могу припомнить...

Человек на эстраде обладал способностью превращать в музыкальные инструменты самые неожиданные предметы. Хозяин заведения по его знаку подавал ему то пивные кружки, то поднос с набором графинов самых разных размеров, то ножи, ложки, вилки, то набор разнокалиберных рюмок, бокалов, стаканов, то кастрюльки, кофейники и, наконец, даже кочергу. Из всех этих неподходящих вещей он безошибочно, свободно и как бы случайно извлекал музыку.

Особенно удавалась ему игра на бокалах и рюмках разного размера. Он быстро расставил их по столу в несколько рядов, стал ударять по ним ложкой, словно проверяя, и получилась гамма. Вооружившись двумя чайными ложечками, он постукивал по рюмкам то сверху, то сбоку, и веселая, нежная мелодия понеслась в зал.

— Что-то знакомое... — сказал Шульц, внимательно вслушиваясь.

Мелодия звенела все бойчее, и вдруг ее подхватил в зале нетвердый женский голос. За столиками уже многие негромко и несмело подтягивали, слегка раскачиваясь.

— Знаю, знаю! — обрадовался Шульц. — Это новая песенка такая есть! Я ее уже несколько дней повсюду слышу.

А мелодия все крепла, перелетая со столика на столик, все новые вступали голоса, и уже можно было различить слова. Это была совсем простая песенка, в которой много раз повторялось все громче и звонче: «Берлин воспрянет!» Дальше шло что-то довольно бесцветное — о каких-то влюбленных парах, которые опять будут гулять под фонарями, — но суть заключалась в словах: «Берлин воспрянет!», повторяемых вновь и вновь и звучавших такой страстной надеждой в этом городе развалин. И вот уже пели за всеми столиками, пели громко, ничуть не стесняясь, со все возрастающим волнением, пели бодро, весело пели, не спуская глаз с того человека в кепке, там, на эстраде. А тот, возбуждаясь вместе со всеми, бил уже не по рюмкам, а по кастрюлям, по ведрам, колотил кочергой по медным тазам для варенья, и, во что бы он ни ударял, у него получалось: «Берлин воспрянет!» Внезапно он оставил свои кастрюли и ведра, вышел вперед и, стоя перед всеми с поднятою кочергой в руке, сам запел. Голос его, мягкий и чистый, звучал, выделяясь среди всех голосов: «Берлин воспрянет, воспрянет, воспрянет!..»

Потом наступила тишина.

— Нет, где я его уже видел?.. — еще раз сказал Шульц, напрягая память.

Шульц был взволнован, как все в этом зале. За столами — ни разговоров, ни смеха. В напряженной тишине все смотрели на человека в кепке, ожидая, что он сделает дальше. Человек в кепке поклонился. Неужели выступление его окончено и он уйдет с эстрады? Этого не хотел никто. Когда он стал помогать хозяину собирать кастрюли и бутылки, вздох огорчения пронесся по залу.

И вдруг, к всеобщему удовольствию, он, словно

преодолевая колебания, вышел вперед, к самому краю эстрады, и спросил:

— Ну как? Может, споем еще?

В утвердительном ответе зала не могло быть сомнения. Но он сам все еще, кажется, не был уверен, как поступить. Он задумался.

— Какую же песню нам спеть?

Казалось, вопрос этот он задал самому себе. Он размышлял, вспоминая напевы. Раза три-четыре он, проходя мимо, звякнул ложкой по рюмкам, зазвеневшим задумчиво и грустно.

— Есть одна старая песня... Позабитая старая песня... Не знаю, помнит ли ее кто-нибудь здесь...

Он склонился над залом, вглядываясь в лица, словно стараясь угадать, может ли быть здесь кто-нибудь, кто помнит ту старую песню.

— А впрочем, многих тут нельзя назвать молодыми... — Он говорил вслух с самим собой. — Кто-нибудь, быть может, и помнит...

Лицо его попало в более яркий луч света, и стало видно, что и он сам, несмотря на свою сухощавость и подвижность, далеко не молод. Впалые, желтые щеки и глубокие складки у губ...

Он опять в задумчивости мимоходом коснулся рюмок на столе, и сочетание возникших звуков показалось Нечаеву удивительно знакомым. Затем, словно окончательно решившись, он повернулся к столу с рюмками спиной и запел негромко, но твердо:

Wacht auf, Verdammte dieser Erde,
Die stets man noch zum Hunger zwingt!

«Интернационал!»

От неожиданности Нечаев, узнав мотив, все еще не верил, что не ошибся. Сидевшие в зале тоже как будто опешили. Человек в кепке пел один. Он стоял на эстраде, прямой, спокойный. Он пел, смотрел в зал и, протянув вперед руки с раскрытыми ладонями, казался, старался вырвать на него ответный звук.

Неужели никто не подхватит?

Но сомнение длилось только несколько первых мгновений. Низкий женский голос негромко поднял где-то в темном углу:

Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger,
Alles zu werden, strömt zu Hauf!

Нечаев повернул туда голову, но увидал только сутулую спину в шерстяном платке. Наверное, старуха.

И сразу же присоединилось еще несколько женских голосов, и один из них — молоденький, девичий, высокий-высокий:

Völker, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
Erkämpft das Menschenrecht!

Теперь пели уже по крайней мере за десятью столиками. Старую песню, оказывается, помнили и знали все посетители этого заведения. В разных концах гудели уже и мужские голоса:

Uns aus dem Elend zu erlösen,
Können wir nur selber tun!

Чем дальше, чем могущественнее гремела эта песня, тем сильнее ощущение общности, единства охватывало этих людей, случайно забредших сюда. Многие пели уже стоя, и стоявших становилось все больше и больше. Женщины, встав из-за столиков, клали друг дружке руки на плечи, образовав несколько поющих рядов, перегородивших зал.

Новиков, Нечаев и Шульц тоже давно уже стояли. Нечаев и Новиков пели по-русски. И хотя голоса у обоих были слабые и пели они негромко, то там, то здесь замечали они обращенные к ним лица. Раньше на них, сидевших в стороне, в нише, не глядел никто, да, вероятно, большинство и не знало об их присутствии. Теперь на них глядели со всех концов, и глядели приветливо, с ласковым, дружеским любопытством. Все яснее становилось, что ощущение общности и единства, вместе с этой песней охватившее всех, кто был в зале, распространяется и на них, двух русских офицеров. Каким испытаниям ни подвергалось это единство за годы чудовищной бойни, за годы фронтов, перегородивших весь мир, оно сразу снова возникло при звуках этой песни:

Unmündig nennt man uns und Knechte,
Duldet die Schmach nun länger nicht!

Увлеченный, Нечаев пел, испытывая чувство уверенности, чувство гордости за людей, чувство дружбы к тому человеку на эстраде, ко всем этим женщинам и старикам тут, внизу, когда вдруг услышал, как Шульц, нагнувшись к Новикову, отчетливо прошептал по-немецки:

— Стреляют!..

Новиков перестал петь и прислушался.

Но Нечаев, весь во власти величавой песни, продолжал петь со всеми:

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute,
Wir sind die stärkste der Parteien.
Die Müssiggänger schiebt beiseite!
Diese Welt muß unser sein!
Unser Blut sei nicht mehr der Raben...

Однако теперь пели уже не так дружно, как раньше. То один, то другой голос отпадал от хора. Тревога постепенно охватывала зал. В углах началась суматоха. И Нечаев, наконец, тоже услышал четкую, так хорошо ему знакомую дробь автоматной очереди.

Пение оборвалось на полуноте.

Стреляли где-то близко, судя по тому, что стрельба была слышна за толстыми стенами этого подвала.

Потом оглушительно стукнула входная дверь, и кто-то вбежал в зал с улицы.

Женщина. Сбитая набок шляпка, растрепанные волосы, упавшие на левое плечо.

Отчаянным, пронзительным голосом она закричала:

— Русские грабят!

Обернувшись к Нечаеву, Новиков сказал:

— Пойдем.

И зашагал между столиками к двери, положив уцелевшую руку на кобуру пистолета. Нечаев шел за Новиковым, слыша позади шаги Шульца.

И люди, еще минуту назад смотревшие на них так дружелюбно, теперь отчужденно отводили от них глаза.

На улице было уже совсем темно. Фонарь над дверью освещал всего несколько метров тротуара. Дальше висела плотная тьма.

Ничего не было слышно, кроме легкого шелеста ночного ветра; казалось, вокруг не город, а лес. Новиков, первым вышедший из двери, остановился. Куда идти?

Нечаев остановился тоже, оглядываясь. Он почему-то ожидал, что из кабаре должна хлынуть толпа. Однако вслед за ним из дверей вышел только Шульц. И еще один человек, в кепке.

Тот самый, что пел на эстраде! Нечаев лишь потому узнал его не сразу, что слишком уж не ожидал тут увидеть. На эстраде он казался выше ростом. Здесь, на улице, стало ясно, что роста он небольшого, узкоплечий, весьма невзрачный на вид.

Потом из дверей вышла старуха.

— Это она кричала, — негромко сказал человек в кепке, обращаясь к Шульцу.

Конечно, это та самая, которая кричала: «Русские грабят!» Развалившиеся полуседые волосы; она напрасно старалась засунуть их под сбившуюся набок шляпу. Впалые глазки, ее возбужденно и злобно блестели.

Новиков круто к ней повернулся.

— Куда идти? Веди нас! — сказал он по-немецки.

Он дрожал от гнева. После торжественного пения «Интернационала», еще звучавшего у него в ушах, весть о негодях, опозоривших все для него дорогое, привела его в бешенство. Поймать их, сокрушить немедленно!

— Скорей! Скорей! — твердил он старухе.

Она отшатнулась, свирепо взглянула на него и ничего не ответила. С русским она не хотела разговаривать. Но когда к ней обратился Шульц, она заговорила торопливо и сбивчиво:

— Никто не хочет помочь, никто. Кричишь, зовешь — никого. Все их боятся. А что можем мы, две женщины? Старуха и девочка. Моей дочке только шестнадцать лет...

- Что они ограбили? — спросил Шульц.
- Портняжную мастерскую господина Грубера.
- А что там было? Что они взяли?
- Сукно. Там еще оставалось хозяйское сукно...

Я за него отвечаю.

— А вы кто?

— Я сторожика. Господин Грубер уехал и поручил сторожить мастерскую мне. Господин Грубер знает, кому можно доверять, я у него двадцать лет работаю. Но что я могу сделать против вооруженных мужчин? Я вцепилась в них ногтями... У моей дочери храброе сердце... Они истязали ее... Я рвала на них шинели... Они — трррр!.. — она очень похоже изобразила языком автоматную очередь.

— Сколько их было?

— Сначала трое. Потом пришел еще один... Дочь сказала: «Мама, беги! Зови на помощь!..»

Все это она быстро-быстро говорила Шульцу, бросая мрачные косые взгляды на Новикова. Лицо Новикова побледнело от гнева. Поймать бандитов во что бы то ни стало и наказать их, наказать!

Отчетливо и гулко щелкнул выстрел где-то за ближайшими домами. И сейчас же словно в ответ протрещал автомат, будя среди развалин длинное дробное эхо.

— Там дочь моя! — вскрикнула старуха. — Ее убьют!

— За мной! — сказал Новиков.

И торопливо двинулся в темноту переулка.

Старуха, мелко семеня, обогнала его и проворно побежала впереди всех.

Свет фонаря исчез за поворотом. Но глаза их начали привыкать к темноте: они видели небо с низкими тучами и громадные черные глыбы развалин.

Вместе с ними шагал и тот человек в кепке, который выступал на эстраде. Он старался держаться рядом с Шульцем, и Шульц все на него поглядывал.

— Ты с товарной станции? — спросил его Шульц.

— Да.

— Это ты выступал вчера у железнодорожников?

На профсоюзном?

— Я.

— Я тебя сразу узнал бы, если бы ты не на

эстраде... Кто мог бы подумать, что ты играешь на рюмках!.. Твоя фамилия Герике?

— Мерике.

Переулок был узок, завален обломками, и они двигались гуськом, поминутно спотыкаясь, натываясь друг на друга. Что-то громоздкое, темное загородило им дорогу: зад большой грузовой машины с брезентовым верхом. Новиков зажег электрический фонарик. В движущемся кружке света появились грязные стертые покрышки, обшарпанные деревянные борта. Номер советский, армейский.

— Но машина не советская, — сказал Нечаев.

— Трофейная, — сказал Новиков. — Мало ли у нас таких? Эй, кто там есть?

Никто не ответил. Новиков отогнул край брезента. В кузове пусто. Протискавшись вперед между бортом машины и стеной, он заглянул в кабину. Никого.

— Какого черта бросили тут пустую машину?

Но они сразу забыли о машине, потому что снова услышали выстрелы. Отрывистый, одиночный. Затем автоматный раскат.

Торопясь, они зашагали. Старуха, сильно их опередившая, была еле видна во мраке. Однако они заметили, как она свернула в другой переулок, направо, и свернули вслед за ней. Они обходили квартал кругом и были теперь где-то позади того дома, в котором помещалось кабаре.

Здесь им встретился ночной комендантский патруль — сержант и два бойца, все с красными повязками на рукавах.

Это получилось очень удачно, их силы значительно возросли. У бойцов были автоматы. Сержант сразу узнал майора Новикова и доложил ему, что они уже минут десять пытаются понять, где стреляют. Они находились в двух кварталах отсюда и, чуть слышали выстрелы, прибежали сюда. Но тут такое эхо, что не поймешь, где настоящий выстрел, где только отзвук. Проклятый участок, развалины сплошь, населения почти не осталось, электричество только там, на одной улице, проезды завалены битым кирпичом, идешь в темноте — ноги ломаешь...

Старуха, сбежав куда-то вбок по ступенькам, ныр-

нула в черную дверь. Стало слышно, как она зовет:

— Эрна! Эрна!

И все поспешили за ней.

Темный просторный полуподвал. Запах плесени; какие-то перегородки, раскрытые двери; еле светящиеся оконца под самым потолком, забранные решетками, словно тюремные. Новиков зажег свой фонарик, и в кружок света стали попадать большие голые столы, шкафы, ножные швейные машины. Старуха металась, заглядывала во все двери, громко зовя дочь. Судя по количеству комнат, столов, машин, в портняжной мастерской Грубера работало в свое время несколько десятков человек. Старухиной дочери не было нигде. Никого, пусто. Вслед за старухой вышли они в коридор, в конце которого мутно светлела раскрытая настежь наружная дверь. Эта была не та наружная дверь, через которую они вошли, а другая, выводящая куда-то на противоположную сторону дома.

Нечаев споткнулся о что-то мягкое и упал на одно колено. Руками нащупал он на полу большую тяжелую штуку сукна, очевидно оброненную в суматохе. Он отпихнул ее в сторону, вскочил и вместе со всеми вышел вслед за старухой наружу.

После темноты в мастерской им показалось, что снаружи довольно светло. Поднявшись по нескольким ступеням, они очутились во внутреннем дворе дома, среди колоссальных разрушенных стен, напоминавших кружево благодаря пробоинам и пустым впадинам окон, сквозь которые тускло мерцало небо. Загромождавшие двор конусообразные кучи штукатурки и битого кирпича достигали вышины третьего этажа. Двор этот не имел точных границ и очертаний: широчайшие провалы в стенах соединяли его с дворами других домов. Весь этот бесконечный лабиринт проходов, завалов и ям казался совершенно пустынным.

— Тут целую дивизию можно спрятать, — проговорил Новиков.

— И очень просто, — сказал сержант, командир патруля.

Старуха кричала:

— Боже мой! Эрна! Эрна!

И вдруг умолкла, увидев легкую тень, выскользнувшую из-за груды обломков.

Это была девушка, даже девочка, небольшого роста, поражавшая своей худобой. Она приближалась к ним неторопливо и молча. Правую часть лица она закрывала ладонью, выставив вперед острый голый локоть. Ни на кого не глядя, она подошла к матери.

Новиков осветил девушку фонариком. Угрюмо блеснул ее левый глаз, досадливо жмурясь от света. Правый глаз был прикрыт рукой. По руке, прижатой к лицу, проступая между пальцами, текла кровь, казавшаяся черной при свете фонарика.

— Вы ранены? — спросил Новиков.

Девушка ничего не ответила и только сердитым взмахом левой руки заставила потушить фонарик. Она негромко переговаривалась с матерью, ни на кого больше не обращая внимания.

— Сколько они взяли? — спросила старуха.

— Пять штук, — ответила девушка.

— А не шесть?

— Пять. Одну они уронили в коридоре.

Кровь, проступая меж пальцами, текла уже по всей ее тощей руке до локтя.

— Что у тебя там? — спросил Шульц.

— Пустяки. Царапина, — ответила она небрежно.

— Нужно сделать перевязку.

— Успеется.

— Они топтали ее сапогами, а она хватала их за ноги и не пускала, — сказала старуха.

Это вызвало у Новикова новый порыв гнева.

— Чего же мы стоим? Надо догнать их! — говорил он. — Куда они пошли? — спрашивал он у девушки.

— Поздно, — сказал Шульц. — От них давно уже и следа не осталось.

— Нет, они здесь, — спокойно сказала девушка.

— Где?

— А вон в том дворе. Может быть, не все, а один. Тот, большой, который пришел последним. Он залег там в яме с револьвером.

— Откуда ты знаешь? — спросил Шульц.

— Я сейчас там была и видела. Он стрелял.

— В тебя?

— Не знаю...

— Идем! — воскликнул Новиков.

— А ты оставайся, — сказал Шульц девушке.

— Нет, я вам покажу, как к нему подойти, — сказала она. — А то он вас перестреляет.

Они двинулись. Девушка, по-прежнему прикрывая рукой левую щеку, уверенно шла впереди. Голые ноги ее, торчавшие из-под короткой юбочки, были неправдоподобно тонки. Узкоплечая, тощая. Однако двигалась она легко и быстро, ловко перескакивая с камня на камень. Новиков приказал не разговаривать и соблюдать тишину.

Новый двор, в который они вошли, был в темноте похож на исполинский цирк. Разрушенные стены громоздились вокруг амфитеатром, уходящим во тьму, ярус над ярусом, все выше и выше. Внизу же был хаос обломков, рывин, куч и ям, казавшийся в темноте непроходимым.

— Он там, — прошептала девушка.

— Где?

Она протянула левую руку.

— Я шла вот так, вдоль стены, и поднялась вон на ту кучу. Глянула вниз, а он там лежит, большой, с револьвером...

— Он мог уйти с тех пор, — сказал Нечаев по-русски.

В словах Нечаева Новикову почудилась нерешительность, и он возмущенно взглянул на него. Сам Новиков, полный гнева, был настроен крайне решительно. Он сразу придумал план действий и каждому дал задачу. Нечаев, сержант, оба бойца и он сам должны были подползти к указанному девушкой месту с разных сторон. Таким образом, они прочешут весь двор. Чуть что — немедленно друг другу на помощь. По возможности не стрелять, по возможности взять живым. Обоим немцам и девушке, как безоружным, он приказал уйти.

Нечаев двинулся в порученную ему сторону, привычно согнувшись, держась под прикрытием каменных глыб и стараясь не шуметь. Он сразу потерял всех из виду и остался один. Глаза его совсем уже привыкли к сумраку, и вечер больше не казался ему

темным. Он отлично различал и осыпи стен, и конусы мусорных куч, и узкие провалы между ними. Через каждые несколько секунд он останавливался и прислушивался. Но все было тихо.

Так, вдоль стен, добрался он до противоположного края двора и повернул, чтобы пойти наперерез к середине. Сделав несколько осторожных шагов, он увидел прямо перед собой лежащего в неглубокой впадине человека.

Человек лежал плашмя на животе и показался Нечаеву на редкость длинным и широким. Без всякого сомнения, это был советский военный. Его ноги в большущих кирзовых сапогах были протянуты в сторону Нечаева, а смотрел он как раз в противоположную сторону, слегка приподняв голову в фуражке и стараясь не показываться из-за кирпичей. Держа перед своим лицом протянутую вперед руку с наганом, он, видимо, вглядывался в тьму и к чему-то прислушивался.

Нечаев сразу понял, к чему он прислушивается. Там, впереди, меж камней, кто-то ползет, приближаясь. Там ползет Новиков. Глядя вверх лежащего плашмя человека, Нечаев несколько раз смутно видел Новикова. Новиков ползет прямо на ствол нагана. Сейчас лицо его появится вон там, грянет выстрел — и все кончится.

Нечаев прыгнул и с размаху упал на широкую спину лежащего. С силой ударил он по руке, рука дернулась, наган взлетел в воздух и свалился куда-то в темноту. Нечаев почувствовал, что могучая спина под ним движется и подымается. Лежащий вскочил, огромные ручищи сгребли Нечаева, подняли и бросили спиной на кирпичи.

От удара Нечаев на несколько мгновений лишился способности дышать. Неподвижно лежа на спине, он видел, как огромный человек этот шарил руками между кирпичей, стараясь найти свой наган. Но наган ему все не попадался, а тем временем сержант и оба солдата налетели на него, схватили его за руки, за шею. Однако совладать с ним было нелегко: он тряс их и сбрасывал с себя, как медведь. Боролся он молча, ожесточенно, и слышно было только его громкое дыхание.

— Лейтенант, сопротивлением вы ухудшаете свою участь! — раздался резкий голос Новикова.

Великан, услышав этот голос, перестал бороться. Солдаты повисли на его руках, а он, повернув голову, возвышавшуюся над всеми, посмотрел на Новикова, который стоял перед ним — прямой, решительный.

— Да что это? — сказал он с изумлением. — Товарищ майор! Как вы сюда попали?

Сержант нагнулся, поднял наган и положил себе в карман.

— Патруль! — воскликнул задержанный, заметив повязки на рукавах сержанта и бойцов. — А я вас принял за тех... Вот и отлично! Они еще где-нибудь здесь. Вон там, в тех камнях!.. Они сгреляли в меня и заставили меня залечь. Их было трое, у них автомат. Но нас теперь много!.. Надо торопиться, товарищ майор, а то они могут уйти...

Он рванулся, но бойцы крепко держали его за руки.

— Документы, — холодно сказал Новиков.

Задержанный хотел освободить руку, чтобы достать документы из кармана, но этого ему не позволили. Новиков сам расстегнул карман гимнастерки на его широкой груди, вынул документ и осветил своим фонариком. Прочитав, он спрятал документ задержанного к себе в карман.

— Вы забрали мое удостоверение? — сказал тот удивленно. — Там все в порядке... Хорошо, мы потом разберемся... Сейчас нельзя терять ни минуты!.. Иначе мы их не поймаем!..

— Хватит! — сказал Новиков. — Вы нас не собьете. А соучастники ваши будут пойманы, рано или поздно, можете не сомневаться...

— Соучастники! Какие, к черту, у меня соучастники! Кто мои соучастники? Они, что ли?.. Я шел мимо и увидел, как они бьют немецкую девчонку! Мерзавцы! Я им велел прекратить, они побежали сюда, во двор, я за ними, они меня обстреляли!

— Вы все это расскажете военному суду! — оборвал его Новиков.

Тем временем Нечаев медленно овладевал своим телом. Он был оглушен падением на кирпичи, у

него трещал затылок и ныла спина. Но мало-помалу к нему вернулось дыхание, руки и ноги стали ему повиноваться. Когда Новиков освещая фонариком документ, на мгновение озарил лицо задержанного человека, Нечаев сел. Он внимательно вслушивался в то, что происходило перед ним, и, наконец, произнес:

— Черета!

Шатаясь, он поднялся на ноги.

— Товарищ старший лейтенант! — воскликнул Черета оглушительным голосом, полным изумления и радости. — Вот так встреча! Я рад, рад! Я хотел непременно вас найти. Сегодня отпросился и пошел вас искать. В трех комендатурах был... Ну, как вы устроились? Ох!.. Это, значит, я вас... толкнул?..

Новиков повернулся к Нечаеву.

— Ты что, Сережа? Расшибся? — спросил он участливо. — Спасибо тебе, друг. Если бы не ты, этот мародер всадил бы мне пулю в лоб.

В том состоянии раздражения и гнева, в котором он находился, ему, очевидно, было приятно произнести это оскорбительное слово «мародер».

— Я не мародер! Ложь! — крикнул Черета грозно.

— Послушай, Новиков, он действительно не виноват, — сказал Нечаев. — Мы тут спутались...

— А ты что? Знаешь его? — спросил Новиков.

— Знаю.

— Кто же он?

— Лейтенант Черета.

— Ну, это и я знаю, — усмехнулся Новиков. — Это у него в удостоверении написано. Вы что, вместе служили?

— Нет, не служили... — сказал Нечаев. — Так, встретились...

— Где?

— В поезде. Потом на машине вместе ехали...

— И это все?

— Все... Но уверяю тебя...

— Не смей меня! — жестко сказал Новиков. — Ты ничего о нем не знаешь.

— Нет, знаю!..

— Товарищ сержант! Ведите арестованного!

— Но послушай, Новиков, что я тебе говорю... — сделал Нечаев последнюю попытку.

— Ты еще успеешь сказать. Здесь не место для пререканий.

И Череду повели.

13

По длинным, заваленным обломками дворам двинулись они обратно к портняжной мастерской.

Шульц и немец в кепке оказались совсем недалеко и пошли вместе со всеми.

Старуху с дочерью они увидели через раскрытую дверь в одной из комнат мастерской, когда проходили мимо по коридору.

Старуха держала в руке зажженный огарок свечки, высоко подняв его над головой, а дочь засовывала в раскрытый шкаф штуку сукна.

— Осторожней, ты, замараха, не выпачкай сукно кровью! — кричала ей мать.

Заметив, что на них смотрят из коридора, дочь поспешно захлопнула дверцу шкафа.

-- Вот она, эта девчонка! — закричал Черета, остановясь перед дверью. — Это ее они били. Я вступился за нее! Спросите у нее, кто знает по-немецки, она вам скажет...

Он сделал неуверенный шаг в ее сторону, но она отпрыгнула от него, как испуганная кошка. Один ее глаз распух и заплаыл, но другой, отражавший пламя свечи, смотрел на Череду с такой злобой и ненавистью, что он невольно попятился. Тогда она прыгнула за дверь перед самым его лицом, оставив их всех в темном коридоре.

— Арестованным разговаривать не полагается, — сказал сержант. — Идемте.

Двинулись по переулку. Впереди шагал сержант с солдатами, конвоируя Череду. Позади шли оба немца, переговариваясь между собой вполголоса.

Новиков и Нечаев брели посередине, отстав от патруля шагов на пять и на столько же опередив немцев.

Новиков весь кипел. Негодовал он теперь не только на Череду, но и на Нечаева: ведь Нечаев посмел за Череду заступиться! Едва они вышли в переулок, Новиков заговорил раздраженно и запальчиво. Обида дрожала у него в голосе:

— Из-за такого негодяя вся наша работа здесь насмарку. Немцы наблюдают за каждым нашим движением, надеясь узнать о нас правду. Ведь о нас им только лгали! Мы должны быть чисты, справедливы! А этот выродок, этот низкий мерзавец...

Он в таком находился волнении, что даже не взглянул на Шульца, который догнал его и старался привлечь к себе его внимание, чтобы что-то ему сообщить. Не надеясь дождаться конца непонятной страстной русской речи, Шулец сделал попытку перебить Новикова.

— Тут стояла пустая машина. Помните? — сказал он. — Ее нет. В ней кто-то уехал...

Действительно, грузовой машины с брезентовым верхом, загоразивавшей недавно переулок, здесь больше не было. Однако Новиков, так подозрительно разглядывавший эту машину, когда наткнулся на нее, теперь пропустил слова Шульца мимо ушей. Он слишком был раздражен.

Нечаев тоже на исчезновение машины никакого внимания не обратил.

— Что с ним сделают? — спросил он Новикова.

— Почему я знаю? — ответил Новиков. — Я не военный прокурор. Но если его расстреляют, это будет только справедливо!..

Шулец, услышав, что опять заговорили по-русски, отстал. Он пошептался с немцем в кепке, и они оба исчезли где-то позади, во мраке.

— Я тебе повторяю, он тут ни при чем! — сказал Нечаев, не на шутку рассердясь.

— Он мародер! — крикнул Новиков.

— Он не мародер! Мародеры в него стреляли.

— Он прятался от нас! Он чуть не пробил мне лоб.

— Он ошибся. Он принял нас за них.

— Хороша ошибка! Принял советских военных за бандитов!

— Те, кто в него стрелял, тоже были советские военные.

— Я доставлю его прокурору, и там разберутся! Я там все доложу...

Они оба горячились.

Разговор их был прерван новым появлением Шульца и немца в кепке, которые не без труда их догнали.

— Постойте! — проговорил Шульц таким задышающимся от бега и тревоги голосом, что остановились не только Новиков с Нечаевым, но и патруль с Чередой. — Та машина сейчас вот в этом проезде, налево. Мы были там и видели...

— Какая машина?

Новиков не сразу понял, о какой машине идет речь. Он вообще, кажется, в пылу объяснений с Нечаевым забыл обо всем и теперь лишь постепенно приходил в себя. А, эта машина с брезентовым верхом, которая прежде стояла здесь в переулке! Так, значит, она по-прежнему здесь, только переменила место? Ну и что же?

— Мы вдвоем заглянули сейчас вон в тот проезд, а она там стоит! — сказал Шульц. — У домов того же квартала, что и раньше, но с другого бока.

Нечаев тоже прислушивался к разговору о машине с большим вниманием.

— Пустая? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Шульц. — Мы близко к ней не подходили.

— Это их машина! — воскликнул Нечаев. — Тех, которые стреляли!

Все умолкли.

Новиков исподлобья поглядывал на Нечаева.

Нечаев не глядел на Новикова.

Однако в Новикове происходило что-то трудное, медленное. Он был упрям, но машина, переменившая место, заставила его задуматься.

— Это их машина, — сказал он по-русски. — Тех, которые стреляли в вашего лейтенанта...

Новиков был вспылчив, горяч и нелегко изменял сложившееся мнение. Но почувствовал, что был не прав, и признал это.

Перейдя на немецкий, он сказал обоим немцам:

— Бандиты в той машине!

Потом обернулся и взглянул на Череду. Черета стояла рядом и, вытянув шею, с волнением вслушивался в немецкие слова, стараясь понять, о чем идет речь. Возможно, Новиков хотел о чем-то спросить его, но после всего, что произошло, разговаривать с Черетой было ему нелегко.

Нечаев догадался и спросил:

— Вы их видели, лейтенант?

— Ну еще бы! — сказал Черета. — Я вырывал девчонку у них из рук!

— А кто они были? Советские бойцы?

— Ясное дело! Они еще здесь! — воскликнул Черета в крайнем волнении. — Идем!.. Они переставили машину к другому выходу со двора... Товарищ старший лейтенант, объясните товарищу майору... Мы захватили их! Идем, идем!

Черета уже торопливо шагал к углу, за которым стояла машина, и все шагали вместе с ним.

Они обогнули угол, и перед ними открылся неширокий проезд между двумя длинными стенами. В глубине проезда что-то темнело. Чем дальше они шли, тем яснее становилось, что это действительно зад все той же грузовдой машины с брезентовым верхом.

Машина казалась пустой и брошенной. Вдруг какая-то тень отделилась от пролома в стене и подошла к машине. Щелкнула дверца кабины, хлопываясь.

Новиков зажег свой фонарик и озарил брезентовый верх.

И сейчас же из машины брызнула автоматная очередь.

Повинуясь долголетней фронтовой выучке, они мгновенно упали, прижались к земле. Слышно было, как пули стучат над ними в стену. Взревел мотор, и машина, гремя, гудя, раскачиваясь, стала уходить вперед, во тьму.

Сержант, положив перед собой автомат, стрелял ей вслед. Но она там, впереди, свернула за угол и скрылась. И только эхо долго еще разносило над разбитыми домами удаляющийся гул мотора.

Догнать! Догнать во что бы то ни стало!

Они сидели в кузове маленького грузовичка-«пикапа» на скамейках и неслись неведомо куда по бесконечным длинным улицам ночного Берлина. Черные, жуткие громады зданий без конца проплывали мимо них во тьме. Трясаясь на выбоинах, переползая через завалы, скрежеща и воя на поворотах, шаря во мраке лучами фар, «пикап» упорно стремился вперед. Их подкидывало так, что они боялись откусить себе языки. Скорей! Скорей!..

Нечаев с самого начала считал погоню делом безнадежным. Прежде всего время упущено — столько ушло на разговоры в участковой комендатуре, на телефонные звонки, на добывание «пикапа»! А затем — кто знает, в какую сторону направилась эта машина с брезентовым верхом? Однако Новиков на доводы его не обратил никакого внимания, даже слушать их не стал. После того как он понял, что совершил ошибку, задержав Череду, он был весь охвачен одной мыслью — догнать бандитов. Его чувство справедливости было оскорблено и попрано. Он ненавидел их, как своих личных врагов, и не мог успокоиться. Эта он привел всех в ближайшую участковую комендатуру, поднял коменданта, вызвал «пикап», это он заставил запросить по телефону посты, стоявшие на разных улицах, не проходила ли мимо них машина с брезентовым верхом.

Между прочим, один пост, довольно близкий, сообщил, что заметил машину, похожую по описанию на ту, которую они искали. Она пронеслась мимо с большой скоростью, держа направление на запад — куда-то к Хафелю, к Потсдаму. Собственно, это было все, что удалось узнать. Нечаев полагал, что начинать погоню, основываясь на таких скудных сведениях, нет смысла. Мало ли военных грузовых машин с брезентовым верхом! И что это за указание — движется на запад? По какой из бесчисленных улиц громадного города будет она продолжать свой путь? И откуда может быть уверенность, что она не изменит направление, не свернет в какой-нибудь двор, тупик, переулок?

Однако Новикова подобные сомнения только возмутили. Он отметал их, охваченный гневом и жадной деятельностью. Отношения его с Чередой теперь уже совершенно наладились. О былом недоразумении оба, казалось, забыли. Они теперь понимали друг друга с полуслова, и Черета соглашался с Новиковым решительнее всех. В своих действиях Новиков теперь опирался прежде всего на поддержку Череды. Скорей, скорей! Там, к западу от Берлина, стоит множество советских воинских частей, и машина может принадлежать любой из них... Новикова довольно уверенно поддержал не только Черета, но и Шульц. Он сказал, что в Берлине совсем немного улиц, расчищенных для проезда, и не так уж трудно предугадать, по каким из них двинется та машина. Нужно ее перехватить. Если, конечно, не поздно... И Шульц, лучше всех знавший город, сел в кабину «пикапа» рядом с водителем, чтобы показывать дорогу.

Остальные сидели в кузове — Новиков, Нечаев, Черета, сержант, два бойца и Мерики. Новиков надеялся только на быстроту. Скорей, скорей! Они тряслись, подскакивали, чуть не вылетали из кузова на крутых поворотах и все же чувствовали, что движутся недостаточно быстро. Мотор у «пикапа» был старый, чихающий, да и Шульц, стараясь сократить путь, не раз заводил их в такие места, где двигаться можно было только ощупью.

Но вот все-таки повеяло влажным запахом травы. Меж стволов деревьев блеснула вода.

Эта была речонка Хафель, обтекающая Берлин с запада и превращенная рядом плотин в цепь тихих прудов. Дома отступили, улицы превратились в шелестящие гравием аллеи, «пикап» пошел ровнее. Но Шульц, по-видимому, начал терять уверенность. Он явно колебался перед поворотами, и это отражалось на скорости. Да и повороты стали что-то слишком часты.

Наконец «пикап» остановился, и Шульц вышел из кабины, чтобы посоветоваться с Новиковым.

Шульц считал, что машина с брезентовым верхом вряд ли отважилась ехать через Потсдам. В Потсдаме за последние дни шло какое-то важнейшее сове-

щание представителей союзных держав, о котором ходило много слухов, но ничего достоверного еще никто не знал. В связи с этим совещанием на всех дорогах вокруг Потсдама поставлены контрольно-пропускные пункты. Бандиты, ясное дело, постараются их избежать. Поэтому Шульц полагал, что и им на своем «пикапе» следует выбраться на автостраду, проходящую южнее Потсдама. Новиков возразил, что у этих бандитов документы, вернее всего, в полном порядке и они не опасаются никаких контрольно-пропускных пунктов. Однако спорить он не стал и согласился ехать на автостраду. Он, кажется, и сам уже отчасти терял веру в успех и настаивал на продолжении погони главным образом из упрямства.

До автострады добирались долго. Когда впереди засветлела ее широкая бетонная полоса, Нечаев предложил свернуть налево и вернуться в Берлин.

— Как же так?.. — спросил Черета. — Значит, все бросить?..

— Да ведь смысла нет... — ответил Нечаев.

Ждали, что скажет Новиков. Однако Новиков промолчал. В глубине души он, вероятно, был уже согласен с Нечаевым. Но никакого приказа водителю не отдал. «Пикап», выехав на автостраду, свернул направо и покатил на запад.

На прямой широкой автостраде, совершенно пустынной, можно было значительно увеличить скорость. Но бессмыслица этой поездки становилась для всех все очевиднее.

— Так недолго и к американцам въехать, — сказал Нечаев.

— Ну, положим, — ответил Новиков, — американцы за Эльбой, а до Эльбы еще сто километров.

Но тут уж не выдержал и Шульц. «Пикап» остановился у какого-то перекрестка, дверца кабины открылась, и Шульц вышел на дорогу.

— Нет, дело безнадежное, — сказал он по-немецки Новикову. — Надо возвращаться...

Новиков был раздосадован неудачей. Но сам видел, что упорствовать дальше глупо.

— Поступайте как знаете... — сказал он.

— Эх, черт их заberi!.. — разочарованно вздохнул Черета, догадываясь, о чем идет речь.

«Пикап» сделал полный разворот. Они повернулись лицами к Берлину. Нечаев заметил, что там, впереди, на востоке, небо уже чуть-чуть посветлело. Короткая летняя ночь шла к концу.

Вдруг сбоку, слева, раздался гул, треск, лязг. И с узкого бокового шоссе на перекресток, как раз позади «пикапа», выскочила большая грузовая машина с потушенными фарами, с высоким темным качающимся верхом. Вынесшись с громом на автостраду, машина эта, не замедляя хода, свернула вправо и понеслась на запад.

— Она! Держи! — закричал Череда, вскочив.

И всем сразу стало ясно, что он прав. Несмотря на темноту, они безошибочно узнали ту самую машину с брезентовым верхом.

Однако задержать ее было не просто: для этого «пикап» прежде всего должен был снова развернуться. А пока он маневрировал, разворачиваясь, машина с брезентовым верхом, сильно разогнавшаяся, ушла так далеко, что почти исчезла из виду, хотя тьма уже слегка поредела.

И началась гонка.

Две машины неслись на рассвете по широчайшему пустынному шоссе. Сначала казалось, что «пикап» отстает и передняя машина продолжает уходить от него. Однако через несколько минут и «пикапу» удалось разогнаться; теперь расстояние между машинами уже уменьшалось, хотя и медленно, но несомненно. Уже видно было, как плохо прикрепленный край брезента хлопает на ветру.

Все сомнения Нечаева исчезли, теперь он не меньше других был охвачен азартом погони. Он поднялся со скамейки и ехал стоя, опершись грудью на крышу кабины рядом с Новиковым и Чередой. Дать бы из автомата по этому брезенту! Однако Новиков был против стрельбы: у тех тоже есть автоматы, и они могут перестрелять всех в открытом кузове «пикапа». Да и брать их нужно живыми, чтобы узнать, с кем они связаны, из каких они частей, кто им в частях потворствует...

— Поравняемся, и я прыгну к ним, — говорил Череда.

Он уже заранее готовился к прыжку и даже ногу

поставил на борт «пикапа». Но машины сближались так медленно!.. Между тем с каждой минутой становилось заметно светлее. По обеим сторонам автострады под мягкой шкурой низких туч открывались поля, перелески, зеленые бугры, сырые низинки, прикрытые неподвижным голубым туманом, кучки разбитых кирпичных домиков. Автострада, прямая и плоская, была видна уже на несколько километров вперед и там растворялась во влажной дымке. И весь этот хмурый утренний простор, через который мчались две машины, полон был каким-то тяжелым металлическим жужжанием, словно пульсировал.

Задний край брезента удиравшей машины внезапно распахнулся, отогнутый чьей-то рукою, и все находившиеся в «пикапе» увидели двух мужчин, которые стояли в кузове, положив руки друг другу на плечи, рассматривали «пикап» и издевательски улыбались. На головах у них торчали пилотки советских бойцов. На одном висела плащ-палатка, широко распахнутая. Солдатские брюки, сапоги. Но больше ничего советского и армейского на нем не было. Под распахнутой плащ-палаткой виднелась куртка странного покроя. На втором не было и плащ-палатки, а просто серенький штатский пиджачок.

— Да ведь это немцы! — воскликнул Новиков, изумленный.

Нечаев тоже был изумлен. Немцы, переодетые в советских бойцов! Изумляла не только наглость их проделки, но еще большая наглость их саморазоблачения. Они, казалось, настолько были уверены в своей безнаказанности и неуязвимости, что не считали даже нужным скрываться, соблюдать осторожность. Они не давали себе даже труда притворяться и сняли с себя свои маскировочные одежды, как актеры после спектакля. Им наскучило прятаться за брезентом, и они, презирая своих преследователей, показали в своем настоящем виде.

Один только Мерике не удивился.

— Я говорил, что это не советские солдаты, — сказал он Новикову.

— Кто же они? — спросил Новиков. — Просто грабители?

Мерике свистнул.

— Сейчас в таких вещах трудно разобраться,— сказал он.— Просто — не просто... Если хозяин мастерской нанимает парней, чтобы они ограбили его собственную мастерскую и вывезли сукно к нему на запад, так кто они: просто грабители или не просто?

— Вы думаете, их нанял хозяин мастерской?

— Сейчас это сплошь да рядом: хозяева предприятий грабят самих себя,— сказал Мерике.

— А как же та старуха? Та девушка?

— Может, их ограбили, а может, они ограбили... Сейчас много диковинных вещей совершается... Да и не в грабеже тут главное.

— Не в грабеже? В чем же?

— В клевете.

Как и Череда, Мерике держал уже правую ногу на борту «пикапа», готовясь к прыжку. Хоть местность вокруг Берлина плоская, автострада, как всякая дорога, состояла из чередующихся подъемов и спусков, очень, впрочем, пологих. Когда обе машины шли по спуску вниз, расстояние между ними оставалось неизменным. Но на подъемах «пикап», как более легкий, шел быстрее машины с брезентовым верхом, и расстояние между ними уменьшалось. Как раз сейчас обе машины шли вверх по очень длинному подъему. Это благоприятствовало преследователям.

Теперь все заключалось в том, успеет ли «пикап» догнать ту машину прежде, чем кончится подъем. За гривкой — самым высоким местом подъема — ничего не было видно, кроме туч. Там начинался спуск. Все, кто был в «пикапе», отмеряли глазами расстояние до этой гривки, приближавшейся неуклонно. Напряженные, готовые к борьбе, они стоя неслись вперед сквозь какой-то странный грохот, сквозь удивительный тяжелый гул, заставлявший дрожать весь воздух под просторным утренним небом.

Этот грохот, этот гул они слышали уже давно, его не мог заглушить ни шум бегущего «пикапа» ни свист ветра в ушах. Вначале в увлечении погоней они не обращали на него внимания. Но он все усиливался, все рос. Он был так оглушительен, этот загадочный грохот, что у них начал ослабевать интерес к машине с брезентовым верхом. Приближаясь к кон-

цу подъема, они думали только о том, что сейчас увидят там, за гривкой.

Машина с брезентовым верхом первая вползла на гривку и перевалила через нее. Пошла вниз, пропала.

Вот, наконец, на гривке и «пикап».

Новый простор открылся перед ними.

Весь этот новый простор — под утренним пасмурным небом — был полон движения. По автостраде, видной отсюда километров на шесть, шли машины, великое множество машин. Серо-зеленые, они двигались, тесно сдвинутые в восемь рядов, и покрывали автостраду всю, до предела видимости, шершавой чешуей. Машины шли не только по автостраде — все поля вокруг, насколько мог охватить взор, были полны машин. Разбросанные повсюду большими группами, они отчетливо выделялись на влажной зелени травы. По всем дорогам, которые с разных сторон вливались в автостраду, и по тем, которые проложены были параллельно автостраде, сплошными потоками двигались машины. Колесные машины — слоноподобные грузовики, мелкие «виллисы» и изредка вкрапленные в них лимузины — ползли по дорогам; машины на гусеницах — танки, самоходки, а также тягачи, тащившие тяжелые орудия, — предвигались прямо по полям. Они текли все в одном направлении — с запада на восток, к Берлину.

Кто это?.. Наши или нет?..

Нечаев много раз видел передвижение наших танков и батарей... Нет, тут что-то не так... Цвет не тот, и все не то... Нечаев взглянул в удивленные глаза Череды, потом в глаза Новикова и немца Мерике и почувствовал, что смутная его догадка им тоже пришла на ум.

— Неужели?.. — начал было он и замолк.

Новиков кивнул.

Американцы!.. Американская армия, перейдя Эльбу, двигалась к Берлину, и они встретили ее на полпути!

Так, значит, Шарлотта Фенске говорила в ресторане с полным знанием дела! Ей уже и тогда все было известно!

«Пикап» катился вниз по пологому склону, постепенно замедляя ход. Расстояние между ним и ма-

шиной с брезентовым верхом увеличивалось и продолжало стремительно увеличиваться. Им теперь было уже не до этой машины, они следили за ней далеко не с прежним вниманием. А она между тем, поравнявшись с потоком встречных машин, съехала на обочину, пропустила их мимо себя и вдруг оказалась заслоненной ими, затерянной среди них, неотличимой издали, так как большинство американских грузовиков тоже было покрыто сверху брезентом.

— Не думал я, что это начнется так скоро... — проговорил Новиков, прищуренными глазами оглядывая пространство, по которому двигалась американская армия.

— А ты что? Знал? — спросил Нечаев.

— У нас в комендатуре уже два дня ходили слухи про новое соглашение. Союзные войска будут в Берлине вместе с нами... Но я не думал, что так скоро...

— Берлин мы брали без них!.. — сказал Черета.

— Как так — вместе с нами? — спросил Нечаев. — Сообща, что ли?.. Или поделим на части?..

Но Новиков ничего не мог ответить, даже если бы и знал, потому что волна машин, летевших навстречу «пикапу», была уже здесь, в нескольких метрах, и нужно было решать, что делать дальше.

«Пикап» катился уже еле-еле, потом съехал на обочину, на самый край, и остановился.

И сразу же мимо него, почти задевая его бортами, понеслись американские машины.

Шульц и шофер вылезли из кабины в левую сторону и подошли к кузову посоветоваться.

— Надо возвращаться, — сказал Нечаев.

Он чувствовал себя неуютно среди этого множества чужих людей и машин.

— Разве мы больше не будем догонять? — спросил Черета, неуверенно глядя на Новикова.

В Черете еще не погас охотничий азарт, и он продолжал думать о машине с брезентовым верхом. Однако Новиков махнул рукой:

— Что вы, сами не видите?..

Действительно, нелепо было предположить, что эту лавину машин можно заставить потесниться, чтобы пропустить идущий им навстречу «пикап».

Теперь стало понятно, почему те, удиравшие, не побоялись откинуть брезент и показаться. Они просто раньше своих преследователей узнали, что происходит. «Пикапу» оставалось только одно: как-нибудь, исхитрившись, развернуться и идти вместе с американцами к Берлину.

Глядя на американские «виллисы», грузовики и танки, Нечаев старался определить, чем они так отличаются от тех «виллисов», грузовиков, тягачей, танков, которые он видел на советских фронтах. Конечно, отличий было множество, но одно выделялось как главное, как самое разительное: все американские машины были новенькие. Казалось, они только что сошли с заводского конвейера.

Были на них, конечно, и пятна дорожной грязи, но грязь эта лежала на такой новенькой, чистенькой краске, непокоробленной и необлезшей, что казалась как бы ненастоящей, декоративной грязью. Покрышки на колесах тоже были новенькие, с нестертым заводским рисунком.

На машинах этих стоял знак американских вооруженных сил — белая пятиконечная звезда. Такая же пятиконечная звезда, но только красная, была намалевана на помятом борту маленького советского «пикапа». И потрепанный «пикап» с красной звездой, старый, грязный, много раз чиненный, имел вид настоящей боевой машины среди всех этих танков и орудий, от которых отдавало не то складом, не то выставкой.

Он не остался незамеченным, маленький советский грузовичок на обочине автострады. Хотя машины мимо шли быстро, все, кто был в этих машинах, успевали повернуть головы и взглянуть на «пикап», на красную звезду и на кучку советских военных. В этих мгновенных взорах были удивление, напряженное внимание, была настороженность и почтительность. Сказалась эта почтительность и в том, что, когда «пикап» стал разворачиваться, громадные «студебеккеры» посторонились, притормозили, потеснились и дали ему место.

И «пикап» покатил на восток, к Берлину, вместе с американскими машинами.

Это оказалось нелегким делом для водителя.

Автострада была так загромождена, что постоянно приходилось лавировать, подвергаясь риску то быть раздавленным, то выпихнутым в кювет. Машины шли почти вплотную, и до американцев можно было дотянуться рукой. Все это были крупные, хорошо упитанные, благодушного вида здоровяки. С одним таким, сидевшим в кузове «студебеккера», нагруженного снарядами ящиками, они ехали довольно долго рядом. Он разглядывал русских, сдержанно улыбаясь. Собрав все свои скудные познания в английском языке, Новиков сказал ему:

— How do you do?

Тот спокойно ответил с высоты снарядного ящика:

— How do you do?

Уже совсем рассвело, пасмурное летнее утро не казалось больше таким угрюмым, и на зеленых склонах по сторонам автострады стали появляться немцы. Впрочем, вначале только дети. Взрослые еще не решались подходить близко к такому множеству солдат, но дети — беспризорные, оборванные, голодные дети Германии сорок пятого года — были отважнее. Стайки мальчиков и девочек стояли за кюветами вдоль автострады, протягивали ручки к танкам и орудиям и кричали пронзительными голосами:

— Schokolade! Schokolade!

Они просили американских солдат угостить их шоколадом. Эта просьба была вызвана толками о богатстве американцев и о том, как замечательно кормят американских солдат. Для того чтобы выразить всю немыслимую роскошь, какой, по слухам, наслаждались американские солдаты, говорили: «Им каждый день выдают шоколад». Эти слухи потрясали сердца голодных, они родили великую детскую мечту о шоколаде, и американская армия двигалась через Германию под несмолкавшие крики немецких детей:

— Schokolade! Schokolade!

При малейшей задержке машин, идущих впереди, на автостраде становилось так тесно, что «пикап» несколько раз только тем избегал опасности быть раздавленным, что съезжал вбок, в поле, и ехал по

мокрой траве сотни метров, пока ему не удалось снова вползти на бетон. Особенно большая пробка образовалась у одного перекрестка, где с бокового шоссе на автостраду хлынул новый поток американских машин. «Пикап», съехав в поле, остановился, дожидаясь того времени, когда пробка рассосется и можно будет продолжать путь.

Они вылезли из «пикапа» и расселись на траве. На поляне вокруг было тесно и людно. Танки, грузовики, орудия. Многие остановились здесь, потому что их тоже задержала пробка на автостраде, другие — ради ремонта, ради заправки горючим или чтобы дать людям отдохнуть, позавтракать. Между рядами стоящих машин образовались улицы и переулки, словно в городе, и по всем этим улицам и переулкам расхаживали, покуривая и болтая, американские солдаты.

В большинстве это были рослые парни с простодушными лицами новобранцев. Нечаеву невольно вспомнились привычные лица советских бойцов, на которых после четырех лет войны можно было прочесть боль и заботу, лукавство и бесшабашность, надежду и раздражение, житейскую умудренность, усталость и все, что угодно, но только не этакое простодушие. Американские солдаты напоминали непомерно разросшихся школьников, отправившихся на загородную экскурсию под руководством своих учителей. Это сходство с экскурсантами еще увеличивалось благодаря тому, что почти у каждого на груди висел фотоаппарат или бинокль. Обмундирование на них было такое же новенькое, как их машины и орудия, и застегивалось оно на много разных мудреных застёжек; эти застёжки, вероятно, казались очень остроумными заказавшему их военному министерству, но Нечаев со своим боевым опытом сразу почувствовал, как именно из-за своей замысловатости ненадежны они для солдата в условиях настоящей фронтовой жизни.

Советские военные и их «пикап», затесавшиеся в толпу американских машин, сразу возбудили общее любопытство. Глядели на них все с тем же настороженным удивлением, со сдержанной почтительностью. Эти американцы, по крайней мере

большинство из них, ни разу еще не видели советских людей. Но в течение ряда лет они ежедневно читали о них в газетах, слушали о них по радио — и все разные чудеса, необычайности, противоречивые, по большей части злобные, но странно задевающие восбражение. Четыре года следили они за грандиозной схваткой Советского Союза с гитлеровской Германией, заучивали диковинные названия русских городов и рек. Разгром немцев под Сталинградом потряс и изумил всех. Так вот они, эти русские, которые освободили пол-Европы и взяли Берлин! Вот они, большевики, русские коммунисты, красные, о которых говорят столько разноречивого, тревожного!.. Замолкали, останавливались. У «пикапа» все время толпился народ. Глянув на небо, чтобы определить, с какой стороны солнце, пристраивались с фотоаппаратами и снимали, снимали.

Все американцы были опытными автомобилистами, и, естественно, их интересовали не только сами русские, но и машина русских. Обладая живым любопытством ко всему механическому и движущемуся, они знали марки всех автомобилей всего мира, кроме тех, которые изготовлялись в Советском Союзе. Внимательно они разглядывали скромный маленький «пикап», представлявший собой легковую машину горьковского завода с небольшим грузовым кузовом. Они заглядывали в окна кабины, чтобы рассмотреть нехитрое его управление, внимательно созерцали радиатор, садились на корточки возле колес и щупали резину пальцами, заглядывали даже под кузов. Молоденький боец, водитель «пикапа», с нервным тонким лицом, потемневшим от пыли и бессонной ночи, стоя рядом, следил за разглядыванием своей машины с глубоким волнением, которое напрасно старался скрыть. Он молчал, он хотел казаться безразличным, но узкие губы его вздрагивали от ревности и обиды.

Сначала среди окружавших их американцев были только солдаты, но потом появились и офицеры. Двое. Звания их определить не удалось, так как никто из русских не разбирался в американских знаках различия. Оба были очень молоды: один тощий, длинный, с сухим, костлявым лицом, другой

среднего роста, полный, с румянцем на больших щеках. Солдаты при их появлении присмирели.

Оба офицера подошли одновременно, но с разных сторон, остановились далеко друг от друга — один справа от русских, другой слева — и стали громко переговариваться между собой с таким видом, словно здесь никого, кроме них, не было. На приветствия русских они ответили небрежно. Долговязый прислонился к кузову «пикапа» — как раз возле красной звезды, — а румяный стал ловить его в объектив. Но долговязому хотелось попасть на карточку вместе с кем-нибудь из русских, и он стал разглядывать их, выбирая. Взор его скользнул по бойцам, по сержанту, по небольшой суховатой фигурке Нечаева, и всех их он браковал одного за другим, что ясно отражалось на его лице. Потом он заметил обоих немцев, Шульца и Мерики, которые сидели рядом в траве. На лице его появилось брезгливое выражение. Он что-то спросил сквозь зубы у Новикова. Видя, что Новиков не понимает, он повторил свой вопрос, отдельно произнося слова.

Новиков скорее догадался, чем понял.

— Нет, нет! Nein! No! — ответил он американцу на трех языках, отрицательно мотая головой.

И объяснил Нечаеву:

— Он спрашивает, не арестованные ли они.

Американец продолжал подыскивать русского для снимка. Забраковал он и Новикова. Зато Череду подошел ему вполне. Он даже восхищенно щелкнул языком. И подозвал Череду движением пальца.

Черета растерянно оглянулся. Он не знал, стоит ли сниматься. Но американец крепко ухватил его за руку выше локтя, подтянул к «пикапу» и поставил рядом с собой. Черета бросил на Новикова страдальческий взгляд, полный мольбы о помощи. Однако Новиков, чувствуя ответственность и считая необходимым поддерживать с союзниками корректные отношения, ответил ему взглядом, который можно было истолковать только так: терпи, это дело важное, нужно терпеть из высших соображений.

И Черета терпел. Долговязый офицер, громко совещаясь с краснощеким, долго вертел Череду ру-

ками так и сяк, стараясь, чтобы он повыигрышнее получился на снимке, и даже, приподняв его фуражку, собственными пальцами взлохматил ему волосы. Возможно, он не имел в виду ничего обидного и считал подобную бесцеремонность вполне естественной. Но когда он стал знаками и мимикой требовать, чтобы Черета улыбался, лицо Череты потеряло последние остатки своего обычного добродушия.

Долговязый американец не оставил Черету в покое и после того, как обряд фотографирования был окончен. Он не расставался с ним и продолжал похлопывать его по плечам, по широкой груди, по лопаткам. Он, рассматривая, ковырял звездочки у него на погонах, вертел пуговицы, дергал его за пояс. Кажется, Черета представлялся ему чем-то вроде большого ласкового пса, с которым приятно забавляться. Впрочем, все это, очевидно, было проявлением дружелюбия. Потому что все кончилось предложением выпить.

Выпивку организовал румяный толстяк. Он захлопотал, сбегал куда-то в ближайшие машины и вернулся с большой четырехгранной бутылкой, в которой плескалось литра два жидкости странного сургучного цвета. Он держал бутылку, как держат на руках младенца, заслонил ее спиной от стоявших вокруг американских солдат, для которых она не предназначалась, и с ужимками, подмигивая то одним глазом, то другим, показывал ее своему долговязому приятелю и русским. Потом осторожно извлек из кармана пластмассовые стаканчики разного цвета, вставленные один в другой. Он разъединял их с большой ловкостью пальцами одной руки, наполнял жидкостью из бутылки и раздавал. Новиков получил стаканчик первым и поблагодарил кивком головы. Получили по стаканчику долговязый американец, Нечаев, сержант. Поколебавшись, краснощекий протянул стаканчик и бойцу — водителю «пикапа». Однако тот стаканчика не принял. Улыбающийся Новиков знаками объяснил, что боец этот — шофер, а шоферам в дороге пить нельзя. Краснощекий понял и презрительно пожал плечом, но не настаивал и передал стаканчик Черете.

Черета замотал головой и тоже отказался.

Его отказ удивил всех.

Оба американца больше всего хотели выпить именно с Чередой. Они стали его уговаривать, действуя своим прежним методом — румяный толстяк бил его локтем в живот, а долговязый ухватил за плечи и тряс.

Новиков поддержал их.

— Ну, товарищ лейтенант, неудобно получает-ся,— сказал он.— Угощают союзники... В таких случаях нужно выпить.

— Ему нельзя пить!— воскликнул Нечаев.— Он больной. Ему никак нельзя пить, я знаю!..

— Здесь и ста пятидесяти граммов нет,— возразил Новиков.— Пейте, лейтенант, спокойно.

И Черета взял стакан.

Оба бойца из комендантского патруля тоже получили по стакану. Все держали свои стаканчики в руках, полагая, что приготовления не кончены: у краснощекого оставались еще пустые стаканы, да и жидкость в бутылке не иссякла. Ждали, не будет ли какого-нибудь тоста. Но долговязый офицер внезапно поднял свой стакан и опрокинул себе в глотку. Его приятель мгновенно сделал то же самое. Остальным пришлось последовать их примеру.

Жидкость на вкус отдавала лекарством, а пахла москательной лавкой. И была обжигающе крепка. Новиков поперхнулся, закашлялся. Остальные справились нормально, но закусить было нечем. У долговязого американца повлажнели глаза. У румяного запыхали даже уши.

— Что же это они... кхе... наших немцев... кхе... не угостили?— сказал Новиков, борясь с кашлем.— Шульц как раз любит выпить...

Новиков проговорил это с досадой, но негромко и довольно спокойно. Однако на Череду слова его неожиданно произвели огромное впечатление.

Череду давно уже раздражали все эти дружеские пинки, похлопывания, поглаживания, и раздражение его, до сих пор сдерживаемое, все разрасталось. Теперь оно внезапно вырвалось наружу.

— Действительно!..— воскликнул Черета гораздо громче, чем можно было ожидать.— Действительно,

что же это такое?.. Разве так поступают?.. Мы едем с людьми вместе... Если хочешь нас угостить, так и их угости. Нет, так не потупают!..

— Конечно, свинство,— согласился Новиков, чувствуя себя неловко перед Шульцем.— Но бог с ними! Не стоит шум поднимать. Я в комендатуре отдам Шульцу свои пол-литра...

Шульц к тому, что его обнесли, отнесся с полным безразличием.

Но Черета воспламенялся все больше.

— Да разве я стал бы пить, если бы знал!— говорил он, и голос его гремел над заставленной машинами поляной.— Хочешь меня уважить, так и моего товарища уважь!..

«Да он совсем пьян!» — подумал Нечаев в тревоге. И правда, Черета был уже в крайнем возбуждении, глаза его блестели. Его громкий негодующий голос привлек внимание всех. Шульц и Мерике, догадываясь, что речь идет о них, встали. Румяный американец собирал у выпивших свои цветные стаканчики и вкладывал их один в другой. Услышав голос Череды, он обернулся в недоумении.

— Да будь ты человеком!— сказал Черета грозно.— У тебя вон еще сколько осталось! Налей ты им по стакану!

Он протянул свои большие руки к бутылки. Румяный сначала решил, что Черета сам хочет еще выпить, и готов был угостить его. Но Черета, тыкая Шульцу в грудь, закричал:

— Нет, нет! Ему, ему дай!

— Бросьте, лейтенант!— сказал Новиков сердито.— Оставьте его в покое! По местам, товарищи, в машину!— крикнул он.— Сейчас поедем!

Но было уже поздно. Румяный офицер понял, чего от него хочет Черета, и стал еще краснее. Теперь у него пылали не только щеки и уши, но и широкий бритый затылок. Он тоже был изрядно пьян. Приземистый, плотный, подошел он к высокому Шульцу почти вплотную и посмотрел на него, выставив вверх подбородок. Потом поднял руку и толстым указательным пальцем провел несколько раз по воздуху вправо и влево перед самым лицом Шульца, едва не задевая его за кончик носа.

Лицо Шульца оставалось спокойным и бесстрастным. Он даже не мигнул.

— Не смей! — рявкнул Череда в гневе, окончательно теряя самообладание.

Неизвестно, толкнул ли он румяного американца под локоть или тот сам оплошал, но только бутылка вдруг выскользнула и стала падать. И американец и Череда разом нагнулись, чтобы поднять ее. Но поднять ее им не пришлось.

До земли она не долетела. Мерике, тот немец в кепке, который стоял рядом с Шульцем, протянул вперед ногу, и она упала ему на ступню.

Она успела лишь едва коснуться его ботинка. Он сделал какое-то еле приметное движение ногой, и бутылка, как живая, переползла по его ноге вверх, от ступни к колену. Он двинул коленом, и она подскочила в воздух. Толстый офицер протянул руки, чтобы схватить свою собственность. Но промахнулся. Мерике поймал бутылку на лету за горлышко.

Бутылка была открыта, и все же из нее не пролилось ни капли. Мерике согнулся вдвое, бутылка оказалась у него между ногами, потом он стремительно выпрямился, как бы раздвинутый пружиной, и бутылка, вырвавшись из его рук, полетела вверх, вверх, вверх, неторопливо кувыряясь в воздухе.

Все кругом вздохнули разом, и этот общий вздох пронесся над поляной, как шум ветра. Румяный офицер, закинув голову, следил за полетом. А бутылка летела все выше и выше, медленно, словно лениво, переворачиваясь... Еще, еще... Шестой переворот... восьмой, девятый... двенадцатый!.. В вышине, достигнув предела своего полета, она замерла на мгновение и стала падать, по-прежнему кувыряясь. Румяный офицер с воздетыми руками смотрел на нее и прыгал, надеясь ее поймать и в то же время опасаясь, как бы она его не ушибла. Мерике стоял спокойно, равнодушно, даже глаза вверх не поднял. Однако бутылка попала ему прямо в руки.

Румяный офицер при этом споткнулся и выронил свои разноцветные стаканчики. Они рассыпались, но ни один из них не долетел до земли. Мерике сделал легчайшее, почти неуловимое движение в их сторону, и все они ярким фонтаном брызнули

вверх, взлетели над головами пестревшим павлиньим хвостом, и потом вдруг все оказались в руке Мерике, аккуратнейшим образом вставленные один в другой.

И Мерике неторопливо пошел вокруг «пикапа», правой рукой подбрасывая и ловя тяжелую бутылку, а левой — цветные стаканчики. Они мелькали под пасмурным небом, яркие, как огоньки, — желтые, красные, синие, зеленые. Мерике то распускал над собой, то свертывал исполинский веер, многоцветную радугу. И всякий раз эта радуга имела другое чередование цветов и другую форму — она превращалась то в язык пламени, то в два крыла, то в диковинный цветок. И среди этих летучих стаканчиков-огоньков металась бутылка с сургучного цвета жидкостью, описывая в воздухе то круг, то эллипс, то восьмерку. Мерике шел вокруг «пикапа», и со всех сторон на него с изумлением, с восхищением глядели солдаты. Они смеялись, потому что полный краснолицый офицер шел за ним с поднятыми руками и подпрыгивал, стараясь поймать свою бутылку на лету.

Боец — водитель «пикапа» сел за баранку и включил мотор; Шульц уже сидел в кабине рядом с ним. Новиков сам торопился и всех торопил. Последним вскочил в кузов Мерике.

Стоя в кузове, он снова развернул над собой свой яркий веер. Лицо полного офицера пылало от гнева. Он упорно простирает руки за своей бутылкой. И Мерике швырнул ему крутящуюся бутылку, швырнул так, что она пронеслась на расстоянии сантиметра от его пальцев и, описав круг, вернулась в кузов, к Мерике. Теперь уже кругом не смеялись, а хохотали, и долговязый офицер, раскрыв рот, хохотал вместе со всеми над неудачами своего товарища. А Мерик обтер бутылку полкой своего пиджака и с учтивым поклоном вручил владельцу. Затем отдал и стаканчики, аккуратно вставленные один в другой.

«Пикап» уже двигался. Объезжая машины, загромадившие поляну, он выбрался на автостраду. Пробка к этому времени рассосалась, и грузовики, полные американских солдат, не останавливаясь,

мчались к Берлину. Влившись в их поток, «пикап» покотил вместе с ними.

— Какой он был красный от злости! Хоть прикуривай от него! — кричал Черета, вспоминая. — Будет знать, как пальцем перед носом водить! Тоже победитель!..

К Мерике он теперь относился с восторженной почтительностью и даже слегка поддерживал его за плечи, чтобы тот не упал, не ушибся.

В узких глазах Новикова тоже светился смех. Однако он считал своим долгом старшего сдерживать Череду.

— Вы бы потише, товарищ лейтенант, — говорил он. — На нас и так все смотрят.

Он все время делал попытки усадить Череду на скамейку, но Черета, посидев не больше минуты, снова вскакивал и торчал, огромный, посреди кузова, размахивая руками и громко обсуждая все, что видел вокруг.

А вокруг уже был Берлин. Поток американских машин, дробясь, расползлся по улицам юго-западной части города. Вместе с этими машинами двигался и «пикап». Вокруг них был тот самый Берлин, который они покинули несколько часов назад, — зубчатые развалины громадных зданий, — тот самый, но уже не такой. Здания, камни не изменились. Но во всем остальном чувствовалась перемена — трудно определяемая и все же несомненная.

Прежде всего изменилась толпа на тротуарах. В ней стали заметны богатые и нарядные. То ли они переоделись, то ли лишь сейчас осмелились выйти на улицы. Вчера почти все мужчины были в кепках, а теперь, куда ни взглянешь, шляпы — коричневые, серые, жемчужно-серебристые. И великолепные пиджаки, и галстуки, и осанки, соответствующие шляпам, пиджакам, галстукам. Появились девушки в изящных брюках, в лакированных туфлях, с веселыми, нежными и, главное, сытыми лицами. Конечно, те, вчерашние люди, в кепках, в солдатских обтрепках, с прозрачными от голода щеками, тоже были здесь, никуда не делись, и по-прежнему стучали о камни деревянные подошвы на тысячах женских ног, но этих вчерашних людей как бы оттеснили, они стали менее

заметны, а в глаза бросались нарядные, важные, уверенные в себе. Кое-где на углах эти богато одетые люди собирались целыми стайками, и, когда мимо них проезжал чистенький, сияющий свежей краской американский танк, они приветственно махали ему руками.

На дверях магазинчиков и лавчонок появились надписи: «Spoken english», что значит: «Говорят по-английски». Торговали везде: в подворотнях, на тротуарах. Появились люди, предлагавшие часы, или самопишущую ручку, или открытки, или почти не ношенные брюки довоенного английского сукна. Люди эти со всех сторон кидались к каждому американскому солдату, проходившему по улицам.

Американские солдаты небольшими кучками бродили уже повсюду. Рослые здоровяки с детскими навивными глазами, они озирались с брезгливым любопытством, презрительно обороняясь от мальчишек, выпрашивавших шоколад, от продавцов, от проституток. Несмотря на ранний час, проститутки были уже во всеоружии, они всюду сопровождали американцев, как конвой, они улыбались им с разрушенных лестниц, из пустых окон, на всех углах они умильно глядели на них с робкой надеждой в голодных глазах. Американцы поглядывали на небо, определяли, где солнце, и без конца фотографировали друг друга на фоне развалин. Пожалуй, ни в чем с такой ясностью не выражалась их полная отчужденность от всего окружающего, как в этом беспрестанном фотографировании.

С особенным усердием снимали они советскую девушку-регулирующую, которая в то утро все еще управляла движением на одном из перекрестков переданного американцам сектора города. Они ловили ее в свои объективы с разных ракурсов, с разных расстояний, они, пригнувшись, бегали вокруг нее и опускались перед ней на колени. «Пикап» остановился возле нее, так как Новиков хотел хоть что-нибудь проведать о границах советского сектора.

— Теперь тебя весь мир узнает! — крикнул он ей. — Во все американские журналы попадешь!

Но она была не в духе и не улыбнулась в ответ.

Комендатура, в которой она работала, еще ночью ушла в восточную часть города, а ее по договоренности с американским командованием оставили тут одну, потому что мимо должны еще пройти на восток какие-то запоздавшие советские части и она обязана показать им дорогу. Она объяснила Новикову, что за нами осталась вся восточная часть города и весь центр, начиная от Бранденбургских ворот. Таким образом, выяснилось, что и та комендатура, в которой работал Новиков, и та, в которой жил Нечаев, находились на прежних местах.

— Дорогу в наш сектор вы по народу найдете, — сказала регулировщица. — Сейчас тут весь народ либо туда идет, либо оттуда. Кто победней — туда, кто побогаче — оттуда...

Приглядываясь к толпе, они скоро убедились, что она права. Это двойное движение стало особенно заметно, когда они в Тиргартене выехали на главную аллею, ведущую прямо к Бранденбургским воротам. Широчайшая эта аллея была полна людьми, шагавшими одни на запад, другие на восток. Эти две струи, не сливавшиеся, текли в противоположных направлениях и были резко различны по внешнему виду...

— Эй, старый черт! — крикнул Мерике старику, который шагал рядом с «пикапом», неся на плече девочку лет четырех с босыми грязными ножками. — Где я тебя видел? Железнодорожник, что ли?

Старик кивнул, не повернув головы.

Вся его одежда была черна от мазута. Сухое лицо, покрытое твердой старческой кожей, было нарезано глубокими морщинами на треугольнички, квадратики, ромбики. Рядом со стариком шагала костлявая, тощая женщина; она казалась ничуть не моложе его, и только по удивительному сходству в выражении глаз, в очертаниях запавшего рта, в расположении морщин можно было догадаться, что она не жена его, а дочь. Она несла на спине большой тюк, а рядом с ней шли два босых мальчика лет десяти-двенадцати, которые тоже тащили по тюку и тянули вверх тощие, гусиные шеи.

— Куда ползешь, старый? — спросил Мерике из кузова.

— За Банденбургские ворота, — ответил старик.
— Думаешь, там лучше?
— Как кому, — сказал старик.
— Тебе, что ли, там будет хорошо?
— Ну, на хорошее я нигде не рассчитываю, — ответил старик. — Там душе не так противно, как здесь.

Нечаеву тоже не терпелось поскорее очутиться в советском секторе, хотя, казалось бы, у него не было никаких причин спешить. Когда «пикап», наконец, прошел под перекрытием Бранденбургских ворот и, миновав одинокого советского часового, вышел на простор Унтер-ден-Линден, он почувствовал облегчение. А Черета, стоявший посреди кузова, радостно всплеснул руками и закричал:

— Мы дома! Дома!

Но тут он покачнулся, потом сел на дно кузова, потом растянулся на дне во весь рост, держась обеими руками за живот, потом скорчился. Лицо его побелело, глаза были закрыты, он стонал.

— Стой! Стой! — закричал Новиков, стуча кулаком в крышу шоферской кабины. — Лейтенанту плохо! Нужно везти его в госпиталь!..

— Только не в госпиталь, товарищ майор! — взмолился Черета. — Только не в госпиталь! Ох!

Нечаев, наблюдавший это уже во второй раз, мигом все понял и стал распоряжаться.

— Ему нужно полежать полчаса, и все пройдет, — сказал он. — Зря ему дали выпить... Я живу здесь, за углом, на Фридрихштрассе... Завезем его ко мне.

И «пикап» свернул за угол.

Лето стояло на редкость дождливое, и после короткого перерыва в несколько дней опять пошел дождь, теплый и мелкий, и уже не прекращался. Под этим заунывным дождем разрушенный город казался еще грязнее и печальнее. Прогулки Нечаева сильно сократились — он стал гораздо больше времени проводить в том учреждении, куда был командиро-

ван. Не потому, что в этом была необходимость,— дело и без него шло своим чередом,— а просто из желания быть добросовестным.

Он отправлялся туда сразу после завтрака. Однажды, открыв наружную дверь своего отеля, он на противоположном тротуаре увидел Шарлотту Фенске. Он сразу заметил ее в уличной толпе. Она была точь-в-точь такая, как тогда, когда он увидел ее в первый раз: дождевик с поднятым капюшоном и мокрые парусиновые туфли на мокрых ногах. Шелестел дождь, раздавался стук бесчисленных деревянных подошв по камням, а она стояла против дверей отеля и ждала. Вероятно, она стояла здесь уже очень долго и устала ждать, потому что в тот момент, когда Нечаев приоткрыл дверь, она смотрела куда-то в сторону и не заметила его.

Нечаев нерешительно замер на пороге. Дело в том, что, увидев ее, он вдруг обрадовался и сам очень этому удивился. И не только удивился, но и рассердился на себя. Чему радоваться? Расстались они недружелюбно, и он совсем не собирался с ней снова встречаться... Потоптавшись на пороге, он хотел уже отступить в вестибюль и закрыть дверь. Но было поздно.

Она повернула к нему мокрое лицо и увидела его. И побежала к нему через улицу. И он опять услышал такой знакомый возглас:

— О, герр капитэн!

У нее были большие зрачки, как тогда, ночью на берегу Одера. И те же порывистые движения. Она схватила его за руку холодной мокрой рукой.

— Я ждала вас! Я так вас ждала!

— Давно вы здесь? — спросил он.

— С рассвета... Я боялась вас пропустить! Только вы один можете помочь.

Возле дверей стоял часовой и с любопытством рассматривал их. Чтобы избавиться от этого разглядывания, Нечаев поспешно отнял у нее свою руку и зашагал прочь по тротуару. Она пошла рядом с ним.

— Так зачем я вам понадобился на этот раз? — спросил он угрюмо, не повернув к ней лица.

— Не мне, не мне, о герр капитэн! — воскликнула она. — Если бы дело шло обо мне, я ни за что не осмелилась бы вас беспокоить. Вы думаете, я не поняла... когда мы с вами вышли из ресторана... и вы так рассердились... О нет, я поняла! Я отлично поняла, что вы уже никогда не захотите меня видеть. Мне было больно, но я не могла сделать так, как вы хотели, потому что я должна думать о своей жизни, а раз мне представился такой случай... Нет, дело идет не обо мне!

— О ком же?

— О сотнях людей.

Она была крайне взволнована и не обходила лужи, а шагала прямо по ним, равнодушная к воде, к дождю, ко всему, кроме того, о чем она говорила.

— Что же случилось? — спросил Нечаев.

Она быстро взглянула на него и сказала, понизив голос:

— Он приехал.

— Кто? — спросил Нечаев, хотя сразу догадался.

— Господин Херберт Борманн!

— Ну что же, — сказал Нечаев. — Я вас поздравляю. Вы так его ждали!

— Он прибыл вместе с американцами. Даже раньше американцев. На несколько часов раньше. Американцы утром, а он ночью.

— Ну видите, какая у него была информация!

— Конечно! Ведь это я же его и вызвала.

— Чем же вы теперь недовольны? Не сомневаюсь, что он как следует отблагодарил вас.

— Нет, — сказала она.

— Нет? — удивился Нечаев. — Разве вы не получили места у него в конторе?

— Нет, — повторила она. — Работников своей конторы он привез с собой.

— Ну, а вы?

— А я опять осталась ни с чем.

— Что же он вам сказал?

— Он сказал, что я сама должна понимать.

— Что понимать?

— Что мне не место в конторе фирмы «Борманн». У меня нет ни знаний, ни опыта.

— Но ведь он вам обещал!

— Он объяснил, что обещал мне в одно время, а теперь наступило другое время. «Вы ведь сами понимаете, фрейлейн Фенске, то было время неестественное, и приходилось прибегать к неестественным средствам. А теперь пришли американцы, естественные люди, все стало так, как всегда бывает, как вечно было и вечно будет, и начались естественные отношения. Посудите сами, было бы совершенно неестественно, если бы вас приняли в контору фирмы «Борманн».

— Вы ради него ходили пешком из Берлина на Одер! — сказал Нечаев, взволнованный ее рассказом больше, чем ожидал. — Вы это ему говорили?

— Он мне ответил: «Но ведь вы не нашли арифмометра. И потом, фрейлейн Фенске, у вас был внебрачный ребенок. Это не в нравах нашей фирмы».

— И что же?

— Я ушла.

— И он так ничего вам и не дал?

— Он сказал, что я могу взять себе то платье, которое вы видели, и чулки, и туфли...

— Вы взяли? — спросил Нечаев, останавливаясь и поворачиваясь к ней.

Она тоже остановилась.

— Нет, не взяла. Хотя это очень глупо с моей стороны, правда? Ведь у меня ничего нет. Он давал мне деньги за то, что я вставила стекла в квартире, и я тоже не взяла. Семь больших окон, двойные рамы... Я надела свой дождевик и ушла.

Она умолкла и опять зашагала по лужам. Он шагал рядом с ней.

— Куда же вы от него пошли? — спросил он.

— На завод.

— На завод? На какой?

— Ясно, на какой! На завод «Борманн»!

Нечаев удивился.

— Почему?

— Потому что я знала, чего он боится. Я знала, где его укусить!

Мокрое ее лицо потемнело от злости.

— Вы, верно, тоже думаете, что мною можно полподтирать, как грязной тряпкой? А? — спросила она

и вдруг подозрительно взглянула на Нечаева сузившимися от ненависти глазами.— И что я никогда не укушу? Так, что ли? Нет? Кто вас знает... Господин Херберт Борманн в этом не сомневается! По мне можно ходить, на мне можно сидеть, моим затылком можно гвозди в стену вколачивать.— Она дернула головой, чтобы показать, как затылком вколачивают гвозди.— Нами всеми можно пол подтирать, и мы никогда не укусим! Не осмелимся укусить, вот в чем он уверен! Но я-то знала, чего он боится. Ха! Я-то знала, что его тревожит...

Она была в исступлении от обиды и боли и вела Нечаева все дальше и дальше, разбрызгивая лужи.

— Чего же он боится? — спросил Нечаев.

— Границы.

— Границы?

— Ну, границы между секторами. Неудачно легла граница. Ха!

— Неудачно?

— Если бы граница легла одним кварталом правее, завод оказался бы в американском секторе. Но границу провели слева от завода. Совсем близко. Между заводом и границей пустырь, и больше ничего.

— Завод фирмы «Борманн» в восточном секторе, я об этом слышал, — сказал Нечаев.

— И я из его квартиры пошла прямо на завод. И рассказала все, что он задумал.

— Он хочет бросить свой завод и вывезти оборудование. Так?

— Чего там бросать! Заводской корпус разбит и не стоит трех пфеннигов. Кроме оборудования, там ничего ценного нет. Завод с виду совсем невелик, кто не понимает, скажет: маленький заводик. А зачем ему быть большим? Не паровозы в нем строили. Станки, оборудование! Другого такого оборудования, может, во всей Европе нет. Фирма «Борманн»! Прошлой зимой во время американских бомбежек работницы все эти станки на себе в подвал перетаскали. Собственных детей так не берегли. А теперь он их увезет. Захочет — поставит где-нибудь в Гамбурге, захочет — продаст за границу. Почему я знаю?

Я знала только, что станки хотят вывезти, пошла на завод и сказала.

— Кому?

— Работницам, ясно. Работницы там злые, не любят меня! Сразу разгадали, что со мной случилось. Кричат: «А! Выгнал тебя! Где твои туфли, Шарлотта? Где твои шелковые чулки?» Но я стала рассказывать, и они поняли, что я говорю правду. Они ведь и сами предчувствовали уже, что фирма будет вывозить станки. Конец их заводу! А многие там по двадцать лет работают, вся жизнь прошла на заводе. Меня водили по всему подвалу, я все рассказывала, и никто меня не перебивал, и никто не посмел сказать, что я лгу. Они подумали и решили из советского сектора никуда не уходить, и станки не отдавать, и сидеть на станках.

— Сидеть? Они там сидят?

— Сидят. Даже за хлебом сами не ходят, детей посылают. И я с ними. Так и сидим — днем, ночью.

— И что же будет?

— Неизвестно. Сидят и волнуются.

— Волнуются?

— Но ведь это не их станки! Это станки чужие! Это станки фирмы «Борманн»! А господа из конторы все ходят по заводу, и все смотрят, и пишут в книжечки. Вчера вечером пришел сам господин Херберт Борманн.

По своему обыкновению она понизила голос и произнесла имя господина Херберта Борманна почти шепотом.

— Он сказал что-нибудь? — спросил Нечаев.

— Нет, ничего не сказал. Вошел, и все встали и крикнули: «Здравствуйте, господин Борманн!» Он кивнул головой, и пошел от станка к станку, и что-то тихонько говорил господам из конторы, которые шли за ним. Мы слышали, что речь у них шла про вес станков и про габариты, и мы понимали, зачем им нужен вес и габариты. И уже какие-то незнакомые женщины стали разбирать мусор на пустыре позади завода, и мы понимали, что это они расчищают путь для проезда машин через пустырь со стороны новой границы. Тогда стало ясно, что станки начнут вывозить совсем скоро.

— И никто из рабочих ничего ему не сказал?

— Никто. И я бы ничего ему не сказала, если бы он сам со мной не заговорил.

— Как? Он заговорил с вами?

— Ну да! Я же это вам без конца повторяю. Он увидел меня и говорит: «А, и вы здесь, фрейлейн Фенске!..» Я вовсе не собиралась попадаться ему на глаза, но женщины, которые меня не любят, зашипели: «Вот, раньше к нему бегала, а теперь боишься, теперь прячешься». А мне что бояться? Я вышла на середину и стою прямо перед ним в проходе. Он посмотрел на меня и говорит: «И вы здесь, фрейлейн Фенске! Не понимаю, что вам здесь нужно. Ведь вы, насколько мне известно, не служите в фирме «Борманн». Все смотрят на меня и ждут, что я отвечу...

Она замолчала и сделала длинную паузу, чтобы Нечаев спросил ее. И Нечаев спросил:

— Ну? Ну?

— И я ответила: «Не вы теперь будете решать, кому служить в фирме «Борманн» и кому не служить!»

Она с торжеством взглянула на Нечаева.

— Ого! — воскликнул Нечаев. — А господин Борманн?

— Ушел. Меня обступили, и одни стали кричать, что я хорошо ему сказала, а другие — что не надо было так говорить, что нельзя так дерзко разговаривать с племянником хозяина и что я только все дело им испортила. Тогда я выложила все свои карты на стол!

— Какие у вас были карты?

— Я им сказала, что у меня есть друг, господин советский капитан, и стоит мне промолвить этому моему другу одно слово — и станки навсегда останутся на заводе. А господин Херберт Борманн проклянет день, в который он родился, потому что господин советский капитан...

— Вы так сказали?

— Ну да!

— Это вы про кого же? Про меня, что ли?

— Я не имела права назвать вас своим другом?..

— Друг или не друг, не в этом дело. Какое право вы имели обещать рабочим, что я...

— Но что мне оставалось? У меня не было другого выхода. Если бы я им не обещала, они меня прогнали бы... Ах, господин капитан, но ведь это для вас так просто!

— Почему вы знаете!

— Возьмите несколько ваших солдат и поставьте их на пустыре позади завода. Те машины, которые придут за станками, вы конфискуйте, а господина Херберта Борманна отправьте в Сибирь или в какое-нибудь другое место, только очень-очень далеко!..

Она, по-видимому, действительно верила, что все это просто. Но Нечаев нахмурился.

— Ах вот оно что! — сказал он. — Я должен помочь вам свести с ним личные счеты?

— Личные? — спросила она.

— Личные! Он вас обидел, и вы...

— Нет! — сказала она. — Если бы он обидел только меня, я не стала бы вас утруждать. Я прыгнула бы в Шпрее — и конец.

— Вы подлизывались к нему, — продолжал Нечаев настойчиво, — готовы были по одному его знаку бежать куда угодно, а когда он выгнал вас в шею, я должен отправить его в Сибирь, чтобы доставить вам удовольствие укусить его!

Она выслушала эти слова Нечаева в сильнейшем волнении и ответила не сразу, ей понадобилось некоторое время, чтобы собраться с мыслями.

— Это вы верно сказали, про удовольствие, — выговорила она наконец. — Мне доставило бы большое удовольствие его укусить. Но не только после того, как он меня выгнал. Я мечтала об этом давно, еще когда моя девочка умирала у моей матери. Укусить кого-нибудь из владельцев фирмы «Борманн» больно-пребольно, и так, чтобы он знал, что это я его укусила!

— А на деле вы прислуживались к ним! Вы только на них и надеялись!

— Вы правы, надеялась, — согласилась она. — Слишком трудно всегда только хотеть укусить и не надеяться... Когда господин Херберт Борманн по-

слал меня за арифмометром, а потом так любезно говорил со мной, поселил меня в своей квартире и дал мне платья, чулки, туфли, я надеялась... К тому же нельзя ведь ходить голой, а у меня ничего нет... Я еще надеялась, когда вы зашли ко мне, но уже в глубине души чувствовала, что надеюсь понапрасну и что у меня опять не выйдет. У другой какой-нибудь вышло бы, а у меня не выйдет. И когда вы мне сказали, чтобы я не возвращалась к господину Херберту Борманну, я уже знала, что лучше не возвращаться, но все-таки немножко надеялась и вернулась...

— И следили за его рабочими и сообщали ему!

— Видно, не так следила и не так сообщала, иначе он меня не выгнал бы...

Она посмотрела на Нечаева. Но Нечаев не сказал ничего. И она продолжала:

— Я каждый день ходила на завод, а на заводе нет ни одного человека, которого господ Борманны не обидели бы так же, как меня... Да что завод — посмотрите кругом! У людей нет ни пицци, ни одежды, ни жилья; все семьи разбиты, все женщины вдовы, а господа Борманны по-прежнему продают, покупают... Так ведите же ваших солдат, господин капитан! Я обещала. Они ждут!

— Зачем вы обещали! — воскликнул Нечаев. — Это так легкомысленно с вашей стороны!

— Нет, не пугайте меня, — сказала она. — Если вы откажетесь, я не посмею вернуться на завод.

— Но послушайте, фрейлейн Фенске, это всё ваши фантазии! У меня нет никаких солдат! Вы совершенно неправильно представляете себе мои возможности... И вообще, вы, кажется, неправильно себе представляете, что можно тут сделать и чего нельзя... Я незнаком с подобными делами, но убежден, что они решаются не так...

Она остановилась и внимательно слушала его. И чем дальше он говорил, тем ниже опускала она голову.

— Я все поняла, — сказала она, помолчав. — Значит, станки будут увезены. Значит, господа Борманны останутся господами Борманнами. Все, все оста-

нется так, как было всегда. И ничего изменить невозможно.

Она проговорила это глуховатым ровным голосом, с тем внешним спокойствием, в котором чувствовалась долголетняя привычка к отчаянию, привычка к тому, что никакая надежда никогда не сбывается. Она презирала себя за то, что позволила себе опять на что-то понадеяться.

И Нечаеву стало больно.

— Неправда! — сказал он. — Ничто не останется так, как было всегда. Все изменится. Пойдемте со мной.

Он отправился разыскивать Новикова.

16

Майор Новиков мог дать ему совет.

Желание повидать еще раз Новикова было у него и раньше и возникло совершенно независимо от событий на заводе фирмы «Борманн».

Дорогу ему показывала Шарлотта. Они прошли по Унтер-ден-Линден, свернули и углубились в сеть второстепенных улиц берлинского центра, таких многочисленных и таких однообразно разрушенных, что Нечаев непременно в них запутался бы. Но она уверенно сворачивала на углах; она так торопилась, что поминутно опережала его, а потом останавливалась и поджидала с откровенным нетерпением.

Но возле здания районной комендатуры она оробела и пропустила Нечаева вперед. Нечаеву тоже пришлось здесь замедлить шаги — столько попадалось ему навстречу офицеров старше его по званию. Едва он откозырял подполковнику, как из дверей комендатуры вышел полковник. Едва он поставил ногу на крыльцо, как ему пришлось посторониться и вытянуться, потому что из дверей вышел генерал-майор.

— Я подожду вас здесь, герр капитэн, — сказала она, искоса взглянув на часовых.

Она, несомненно, готова была безропотно простоять еще несколько часов под дождем. Не без тру-

да ему удалось уговорить ее войти вместе с ним в вестибюль. Но дальше она не соглашалась ступить ни шагу. Смущенная своими мокрыми туфлями и своим плащом, с которого капало на пол, она отошла в темный угол и там, у стены, остановилась, угрюмо и боязливо.

Нечаеву сначала ответили, что майора Новикова нет и что ждать его не стоит. Так сказал дежурный, но помощник дежурного возразил, что майор Новиков еще не ушел и проводит у себя в кабинете совещание учителей. Нечаев спросил, где кабинет Новикова.

— На четвертом этаже. Но он все равно вас сейчас не примет.

По широкой лестнице вверх и вниз шагали с бумагами капитаны, майоры и подполковники. На четвертом этаже Нечаев свернул в коридор. Дверь в конце коридора отворилась, и из нее высыпала целая толпа пожилых немцев и немок, громко и оживленно разговаривавших. Нечаеву пришлось посторониться, потому что они запрудили весь коридор. И тут он на пороге раскрытой двери увидел Новикова.

— Теперь вам ясно, что главное сейчас — вопрос школьных помещений? — громко говорил он по-немецки вслед уходящим.

Он заметил Нечаева и, переходя на русский, воскликнул:

— А, Сергей! Вот отлично! Заходи!

Пропустив Нечаева мимо себя в кабинет, он закрыл дверь.

Нестройным стадом стоявшие стулья свидетельствовали о только что закончившемся совещании. С круглого лица Новикова еще не сошло оживление. Раздвигая стулья коленями, Новиков обошел стол кругом, сел и с деревянным стуком положил на стол свою искусственную руку.

— Учителя! — сказал он. — Жаль, ты не пришел минут на двадцать раньше! Вот бы посмотрел! Нам с тобой это вдвойне интересно. Очень похожи на наших — и лица такие же, и манера говорить. Профессия на всех накладывает отпечаток... Да, мне понравились, много славных... Но до того голодны,

забиты, запуганы, что не знаешь, с чего начать. Гитлер с интеллигенцией не церемонился, и они даже мысли не допускают, что их может ждать что-нибудь хорошее. Всю прошлую зиму здесь ни одна школа не работала, учителя разбежались, попрятались, нелегко их собрать. А первого сентября надо начинать занятия. Как же! Они тоже не верят. «Неужели, — говорят, — вы так скоро откроете школы?» — «Нет, — говорю, — это не мы, это вы откроете школы!..» Чем им только башки не забивали! Так все и лежит в мозгах до сих пор, вся гитлеровская премудрость, непереваренная, целенькая, со всеми придаточными предложениями... Есть, конечно, и поумнее. Потом разберемся, а пока надо учить детей читать и считать... Сейчас магистрат всех учителей возьмет на зарплату. Карточки получше выдадут. Они повеселее уходили, чем пришли, видел? Вот помещений школьных нет. Ну, хватит о них... Ты как? Как твой лейтенант? Все еще у тебя?

— Нет, он через два часа был уже в порядке и ушел.

— Сейчас идет бой — ого! — за нас, против нас, за рабочих, против рабочих, за новую Германию, за то, чтобы все осталось по-старому. Схватки вспыхивают каждую минуту на каждом шагу: в трамваях, в очередях, в пивных, на заводах...

— Вот я к тебе как раз насчет завода, — сказал Нечаев. — Хозяин хочет вывезти оборудование, а рабочие сидят на станках и боятся...

— Это что, завод Линдемманна? — спросил Новиков.

— Нет, завод фирмы «Борманн».

— Счетные машины... Ну и у Линдемманна то же самое.

В словах Новикова Нечаеву почудилось равнодушие, и он сказал, нахмурясь:

— Линдемманна я не знаю, а рабочим Борманна надо помочь.

— Общее положение, — ответил Новиков. — Сейчас то же самое происходит на десятках предприятий. Хозяева стараются вывезти оборудование поценней, а рабочие противодействуют как умеют.

— Борманн продаст станки, если ему не помешать, — сказал Нечаев.

Новиков, сощуривав глаза, насмешливо посмотрел Нечаеву в лицо.

— Эге, да ты, я вижу, здорово втянулся в здешнюю жизнь! — проговорил он. — Что ж, оставайся в Берлине, переходи на работу к нам в комендатуру. Думаю, при желании это можно устроить.

— Брось шутить...

— Какие же шутки! Я, например, так втянулся, что меня придется отсюда клещами вытягивать. Очень уж здесь людей видишь. Тут сейчас так горячо, как нигде в мире. Стоишь все время нос к носу с врагом — и кто кого: он ли тебя, ты ли его. История идет, как глыбы в ледоход, а ты багром то одну льдину подвинешь, то другую, чтобы затора не было. Самое занимательное занятие — немного помогать истории. Не пускать же ее на самотек!

— Верно, — сказал Нечаев. — И надо не дать Борманну вывезти станки.

— Как же это, по-твоему, сделать?

— Вот для тебя случай подтолкнуть багром.

— Нет, ты скажи яснее, — настаивал Новиков. — Ну, как ты себе представляешь?

— Я?..

— Чтобы ты сделал?

— Мало ли есть способов... — ответил Нечаев неопределенно. На ум ему приходило только то, что предлагала Шарлотта. — Я, например, поставил бы вокруг завода часовых...

Новиков откинул назад свою круглую голову и весь закачался от смеха.

— Э, да ты, я вижу, политик! — сказал он сквозь смех. — Тонкая штучка! Ишь до чего додумался — часовых поставить... Этак хорошо бы! Ты для нас легкую жизнь придумал!..

Он смеялся от души, раскачиваясь на стуле.

Нечаев нахмурился. Когда Шарлотта потребовала, чтобы расставили часовых и арестовали Борманна, он сам почувствовал, что этот план вряд ли хорош. Но он не терпел, когда над ним смеялись. И уперся.

— Не вижу, почему не поставить часовых, если это нужно для рабочих,— сказал он угрюмо.— Но я замечаю, что вся эта история со станками тебе кажется только смешной...

Теперь уже нахмурился и Новиков.

— Подумай сам,— сказал он.— Как же можно выставить часовых, если в Берлине существует общая комендатура, состоящая из представителей четырех союзных держав?..

— Понимаю,— сказал Нечаев.

— Но не только в этом дело.

— А в чем же?

— В том, что за социализм в Германии будут бороться немцы, а не мы. Немецкие рабочие.

— Так они борются,— сказал Нечаев.— Они сидят на станках!

— И правильно,— проговорил Новиков.

— А станки увезут!

— Увидим,— сказал Новиков.— Либо увезут, либо нет.

— Но если их увезут,— продолжал Нечаев горячо,— так что будет в этом хорошего?

— Будет и хорошее.

— Например?

— Прояснение мозгов.

Новиков встал, прошелся в возбуждении между столом и окном, вернулся и снова сел, подложив под себя согнутую ногу.

— Грандиозное прояснение мозгов — вот главное, что сейчас происходит в немецком рабочем классе. Идет размежевание сил. Два лагеря, два стана выстраиваются друг против друга для смертельной борьбы!

— Борьба будет трудная,— сказал Нечаев.

— Нелегкая,— согласился Новиков.

— И долгая.

— Все может быть,— сказал Новиков.— Увидим.

Из-за двери донесся шум голосов. Два голоса — мужской и женский — переругивались в коридоре на немецком языке. Впрочем, мужчина был немногословен и, кажется, не столько бранился, сколько старался усюветить и успокоить. Женщина насканивала на него и бойко сыпала словами.

В дверь постучали. Дернулась дверная ручка. В комнату вошла Шарлотта Фенске.

Она вошла боком, потому что вслед за ней вошел пропустивший ее вперед Гюнтер Шульц, которого она с увлечением поносила.

— Советоваться! Я! С кем? С тобой? Ох, важная персона! — говорила она ему. — Очень тебя испугается господин Херберт Борманн! А вот у меня есть друг, господин капитан, и он сам привел меня сюда, и здесь господа офицеры дадут мне самый лучший совет...

Последние слова она произнесла совсем другим голосом, весьма любезным, потому что только теперь заметила Нечаева и Новикова.

— Вы что? Знакомы? — удивился Нечаев, пожимая протянутую Шульцем руку.

— С этим? — угрюмо спросила Шарлотта, исподлобья взглянув на Шульца. — Знакомы...

— Каждый день с ней ругались у «Борманна», — сказал Шульц. — Путала, сбивала рабочих, то одно, то другое, а сейчас вхожу сюда, смотрю — стоит в вестибюле, вся мокрая, словно ее только что из Шпрее вытащили. «Ты зачем?» — «А тут мой друг, герр капитан, и мы с ним добьемся, чтобы часовых поставили и не дали увезти станки. А господина Борманна арестуем...» Ну, я ее привел сюда...

— Так это она тебя научила расставлять часовых? — сказал Новиков Нечаеву.

— Она, — признался Нечаев.

— Садитесь, фрейлейн, — обратился Новиков к Шарлотте. — Нет, нет, садитесь, пожалуйста. Мы сейчас все обсудим.

Перед Новиковым Шарлотта несколько оробела. Она нерешительно опустилась на край стула. Заметила, что наследила на полу своими мокрыми парусиновыми туфлями, и смущенно спрятала ноги под стул.

Шульц был рад встрече с Нечаевым и улыбался ему во весь рот.

— Как живете, геноссе?

Но сразу обернулся к Шарлотте и стал расспрашивать ее о том, что происходило на заводе «Борманн» минувшей ночью, называя множество имен и

упоминая разные обстоятельства, совсем непонятные Новикову и Нечаеву. Шарлотта отвечала резко, хмуро, стараясь показать свое пренебрежение к Шульцу и свою независимость.

— Там теперь жарко, — сказал Шульц. — Но в общем, все развивается правильно. Нужно только не дать им натворить глупостей. Сейчас я туда пойду. Пойдешь со мной? — спросил он у Шарлотты.

— Если господин комендант считает... — начала Шарлотта, глядя на Новикова.

— Господин комендант считает, что ты должна идти со мной, — перебил ее Шульц. — А вы, старший лейтенант? — обратился он к Нечаеву. — Может, и вы пойдете посмотреть? Ведь вам, кажется, интересно.

Нечаеву действительно было интересно.

— Пойду, — сказал он и встал.

Так, втроем, они покинули кабинет Новикова.

Они спустились по лестнице мимо спящих вверх и вниз майоров и подполковников. Нечаев приветствовал их машинально. Как и Шульц с Шарлоттой, он весь был захвачен мыслями о фирме «Борманн» и расспрашивал их, далеко ли отсюда до завода. Но ему не суждено было попасть на завод фирмы «Борманн».

Они были уже в самом низу, в вестибюле, как вдруг сверху донеслось:

— Нечаев! Постой!

Нечаев, остановясь, поднял голову.

Наверху, на площадке четвертого этажа, стоял Новиков и, перегнувшись через перила, кричал вниз, в пролет:

— Беги сюда, Нечаев! Тебя по всем телефонам ищут!

Вот уж этого Нечаев не ожидал. Кто может разыскивать его в Берлине по телефонам? Кому он нужен?

— Момент! — сказал он Шульцу и Шарлотте, как говорят немцы, когда просят, чтобы их немного подождали.

И с бьющимся сердцем побежал вверх по лестнице.

Новиков ждал его на площадке.

— Скорей! — сказал он. — Москва на проводе! Москва!

Нечаев, растерянный, бежал по коридору за Новиковым. Кто мог звонить ему из Москвы? Как могли разыскать его в этом здании?

— Сюда, сюда! — говорил Новиков. — Едва ты вышел, я забежал в кабинет к своему начальнику, а там мне говорят: «Москва требует к телефону какого-то старшего лейтенанта Нечаева». Видно, звонили туда, куда ты командирован, оттуда соединились с твоим отелом, а так как тебя и там не оказалось, дали районную комендатуру...

Нечаев уже стоял у какого-то стола и, дрожа от волнения, держал телефонную трубку. После шумов, звонков и гулов, которые казались ему бесконечно долгими, он услышал голос полковника, начальника того подотдела, в котором он служил.

— Слушаю, товарищ полковник!

Из дальней дали знакомый голос полковника объявил ему, что звонит с самого утра.

— Выезжайте немедленно в Москву!

— Слушаю!..

— На вас есть приказ, — продолжал полковник. — Да, да, то самое, чего вы ждали. Очень рад за вас...

И только когда их разъединили, Нечаев понял весь смысл того, что произошло. Он поедет домой, домой, к Тоне! А приказ, который он ждал, — это, конечно, приказ о демобилизации... Ну да, все кончилось, он может уехать. Подтверждение этого он видел на улыбающемся лице Новикова и на улыбающихся лицах каких-то совсем незнакомых офицеров, которые слышали его разговор с полковником и обо всем догадались.

— Теперь прямой поезд ходит, Берлин — Москва, с Силезского вокзала, — говорил Новиков. — Уже несколько дней, как наладили. Сегодня ты уже не попадешь, а завтра уедешь. Три дня — и дома. В школу вернешься? Что будешь преподавать?

— Историю, — ответил Нечаев. — Мой предмет.

Летя вниз по ступенькам, Нечаев думал о том, что ему нужно успеть сделать в ближайшие часы. Поставить штамп на командировочном удостоверении

нии... Достать железнодорожный билет... Получить сухой паек по продовольственному аттестату... А Берлин? Так он с ним и расстанется? Так и не узнает, что здесь будет дальше?..

Он был счастлив, что едет. И все же ему было грустно — до боли.

Он подошел к Шульцу и Шарлотте. Они ждали его.

— Извините меня,— сказал он.— Я не пойду с вами... Я уезжаю...

— Уезжаете? — спросила Шарлотта.— Куда?

— Домой. В Москву.

— Совсем?

— Совсем.

— И никогда сюда не вернетесь?

Нечаев молчал.

— О, герр капитэн!

У нее дрожали губы.

17

На другой день она провожала его от участковой комендатуры на Фридрихштрассе до Силезского вокзала.

Все еще привычно брызгал дождик, но слой туч был тонок, сквозь него чувствовалось солнце, грустно и робко поблескивавшее в каплях. Нечаев нес свой чемоданчик, она шагала рядом. Очертания развалин вокруг них медленно менялись, как меняется очертание гор, когда идешь по ущелью.

— Нам еще далеко. Четыре улицы осталось,— говорила она не столько ему, сколько себе в утешение.

Она спрашивала его о жене.

— Как ее зовут?

— Тоня.

— Тонья! — старалась она повторить.— Тонья! И долго она ждала вас?

— Четыре года.

— Четыре? Не нахожу, что это особенно много. Я могла бы и больше... И еще она приезжала к вам, когда вы лежали в госпитале... Ждать можно сколько угодно, когда есть чего ждать... Нетрудно быть

верной, если кому-нибудь нужна твоя верность...
У вас девочка?

— Девочка.

— У меня тоже была девочка.

— Наш первый ребенок умер.

Он рассказал ей о своем мальчике, родившемся зимой сорок второго и прожившем только восемь месяцев. Сам он никогда его не видел, так как все время был на фронте. Даже фотографии не сохранилось.

— У нее что-нибудь было, когда вы на ней женились? — спросила она.

Он не сразу понял, что она хочет узнать. Потом догадался и ответил:

— Ничего.

— Совсем ничего?

— Совсем ничего.

— А у вас?

— Тоже ничего. Уже началась война, и я уходил на фронт.

— А вы не думали, что если у вас нет ничего, так вы должны жениться на девушке, у которой что-нибудь есть?

— Не думал.

— Вам даже в голову это никогда не приходило?

— Никогда.

Она задумалась. Потом с тревогой посмотрела вокруг.

— Нам осталась только одна улица. И площадь.

— А что вы теперь будете делать, фрейлейн? — спросил Нечаев.

— Что-нибудь.

— На заводе у Борманна?

— Если господин Борманн не выгонит.

— Не бойтесь.

— А я не боюсь. У меня ничего нет, а у кого ничего нет, тот ничего не может потерять и ничего не боится... Вот через этот мост... через площадь...

С мостика бы снесен весь настил, и переходить нужно было по узкой доске над черной вонючей водой канала. Нечаев перешел первым, балансируя своим чемоданом, и обернулся, чтобы посмотреть, удастся ли перейти ей. Но она перешла с лег-

костью, не заметив. Она вся была поглощена только тем, что до их разлуки осталось так мало. С той минуты, как длинное вокзальное здание открылось перед ними, она умолкла. Идя рядом с Нечаевым через площадь, она держала его за палец левой руки и искоса заглядывала ему в лицо. Он тоже молчал и тоже на нее поглядывал, пораженный ее бледностью и чернотой широко раскрытых зрачков.

Когда они вошли в вокзал, он переложил чемоданчик в левую руку, потому что ему на каждом шагу приходилось приветствовать советских офицеров. Она держала его двумя пальцами за левый рукав. Он видел, что офицеры поглядывают на них обоих с усмешкой, и это смущало его; однако у него не хватало духу отнять у нее руку.

Перед длинной и грязной платформой под просторным измятым сводом из черных от копоти рам стоял состав, пришедший сюда из Москвы по только что проложенным рельсам. Вагоны были наши, советские, казавшиеся такими мило привычными и родными после жизни среди ненаших вещей. И русской была толпа военных, возвращавшихся на Родину, и русской была вокзальная суматоха под мелким дождиком, брызгавшим сквозь разбитые стекла сводов. Из-под вагона вылез русский мальчишка лет двенадцати, лохматый, рваный, весь в мазуте, с умными бесстрашными глазами на голодном лице. Он приехал откуда-то из-под Вязьмы в вагонном ящике, и офицеры, окружив его, расспрашивали, бранили, кормили хлебом с особой нежностью, потому что не видели ни одного русского ребенка после того, как наша армия перешла границу.

Нечаев вошел в вагон, нашел свое место, поставил чемоданчик, посмотрел на соседей, и ощущение покоя и уюта охватило его. Но он знал, что она ждет; и пошел к выходу. С площадки он увидел ее смятенное лицо: она, кажется, сомневалась, что он выйдет попрощаться. Он спрыгнул к ней, и лицо ее озарилось. Поезд дрогнул. Она сняла с него фуражку и провела ладонью по его волосам. Потом быстро наклонила его голову и прижала его лоб к своей щеке, к шее.

Он вскочил на ходу. Когда он уселся и выглянул в окно, платформа еще тянулась, но ее на платформе уже не было видно. И все быстрее и быстрее ползли мимо, уходили куда-то назад, прочь, разбитые дома и пустые поля Германии. И, смотря в эти пустые поля, вспоминая многие глаза, в которые он заглянул за время своей последней командировки, Нечаев думал о том, как огромно все, что объединяет людей, в сравнении с тем, что их разъединяет.

1955—1957

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Писатель и человек. Лев Успенский</i>	<i>3</i>
Трудна любовь	17
Двое	75
Кайт	108
Талисман	121
Остров Сухо	135
Девочка-жизнь	183
Цвела земляника	213
В последние дни	264
Суд	279
Последняя командировка	311

Уважаемые читатели!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания автору и издательству.

Пишите по адресу: Москва, А-30, Суцеская, 21. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.

Чуковский Николай Корнеевич

ЦВЕЛА ЗЕМЛЯНИКА. М., «Молодая гвардия», 1970.

544 стр. с илл.

P2

Иллюстрации художника *В. Гольдьева*

Оформление художника *Д. Шмилиса*

Редактор *Е. Максакова*

Худож. редактор *В. Плешко*

Технический редактор *Н Михайловская*

Сдано в набор 9/IX 1969 г. Подписано к печати 20/III 1970 г. А00653. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 2. Печ. л. 17 (усл. 28,56)+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,6. Тираж 100 000 экз. Цена 99 коп. Т. П. 1969 г., № 206. Заказ 1960.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21.

